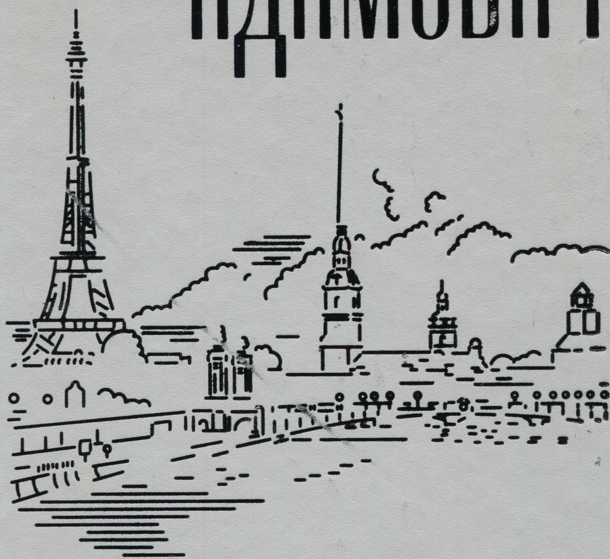


ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

СТИХИ. ПРОЗА. ПЕРЕВОДЫ

ГЕОРГИЙ
АДАМОВИЧ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Дмитрий
Сечин

ГЕОРГИЙ
АДАМОВИЧ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 18 ТОМАХ

ГЕОРГИЙ
АДАМОВИЧ

ТОМ 1

СТИХИ, ПРОЗА,
ПЕРЕВОДЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДМИТРИЙ СЕЧИН
МОСКВА 2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А28

Вступительная статья, составление, подготовка текста
и примечания *Олег Коростелев*

Художник *Екатерина Березина*

А28 Адамович Георгий Викторович
Собрание сочинений: В 18 т. Т. 1: Стихи, проза, переводы / Вступ. статья, сост., подгот. текста. и примеч. О.А. Коростелева. – М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2015. – 640 с.

ISBN 978-5-904962-46-3 (общ.)

ISBN 978-5-904962-47-0 (т. 1)

В том вошли все известные на сегодняшний день стихотворения Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), а также все его немногочисленные опыты в жанре прозы и большинство выполненных им переводов. Это наиболее полное на сегодняшний день собрание стихов, прозы и переводов вдохновителя «Парижской ноты».

Для настоящего тома тексты Адамовича заново сверены с первыми публикациями, комментарии существенно расширены и дополнены по сравнению с предыдущими изданиями.

Перевод повести Альбера Камю «Незнакомец» переиздается впервые.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

© О. Коростелев, составление,
вступительная статья, примечания, 2015

© Е. Березина, оформление, 2015

© Издательство «Дмитрий
Сечин», 2015

ISBN 978-5-904962-46-3 (общ.)

ISBN 978-5-904962-47-0 (т. 1)

От составителя

Научное издание авторов XX века представляет собой отдельную проблему, с которой давно уже столкнулись литературоведы, посвятив ей немало статей и докладов.

Научное издание наследия Г.В. Адамовича представляет собой еще более сложную проблему, поскольку он был не только поэт и критик, но и журналист, причем весьма плодовитый. И если с поэзией и прозой XIX века отечественное литературоведение выработало определенные эдиционные традиции и принципы (хотя и отнюдь не на все случаи жизни, до идеального золотого стандарта еще далеко), то с веком двадцатым все не так просто даже по части поэзии и прозы, а научных изданий журналистики у нас и вовсе до сих пор было осуществлено, прямо скажем, немного.

Всякий раз такая конкретная задача решается исследователями и издателями в индивидуальном порядке. Собственный подход и ряд самостоятельных решений требуется и для собрания сочинений Г.В. Адамовича. Этому даже была посвящена отдельная радиопередача, записанная по инициативе сотрудников радиостанции:

Как издавать Георгия Адамовича? Беседа с литературоведом Олегом Коростелевым // Передача «Поверх барьеров с Дмитрием Волчком» на радио «Свобода» 17 июня 2009 г. <http://www.svoboda.org/audio/25630929.html>; текст: <http://www.svoboda.org/content/transcript/1756781.html>

Действительно, как его надо издавать?

С архивом понятно, отдельные корпуса эпистолярия Адамовича публикуются уже много лет, и тут остается ждать только книжного издания, где все письма были бы собраны вместе и снабжены единым указателем для удобства пользования.

Все более или менее очевидно с беллетристикой и эссеистикой Адамовича – количественно это не самая крупная часть его наследия, она вся умещается в двух томах.

Но как быть со статьями и заметками, которых Адамович за свою долгую жизнь опубликовал огромное количество, причем в разных жанрах?

Вот самый общий список, дающий картину его публикационной активности.

Периодические издания, в которых Г.В. Адамович сотрудничал постоянно на протяжении ряда лет

Звено (Париж, 1923–1928). — С июля 1923 по июнь 1928 г. в общей сложности 330 публикаций, в том числе 150 больших подвалов под названием «Литературные беседы».

Последние новости (Париж, 1920–1940). — С июля 1926 по май 1940 г. в общей сложности почти 2400 публикаций, в том числе свыше 600 больших подвалов (чаще всего под названием «Литературные заметки»).

Иллюстрированная Россия (Париж, 1924–1939). — С июня 1929 по март 1934 г. более сотни заметок и рецензий под рубрикой «Литературная неделя».

Русские новости (Париж, 1945–1970). — С мая 1945 по ноябрь 1949 г. в общей сложности более 300 публикаций, в том числе более сотни больших статей.

Новое русское слово (Нью-Йорк, 1910–). — С августа 1950 по февраль 1972 г. более 150 статей и рецензий, плюс ряд публикаций был осуществлен посмертно в 1972–1981 гг.

Русская мысль (Париж, 1947–). — С марта 1956 по январь 1972 г. более сотни статей, плюс ряд публикаций был осуществлен посмертно в 1972–1983 гг.

Кроме того, более двухсот статей, рецензий и заметок Адамович опубликовал в журналах («Современные записки», «Числа», «Встречи», «Новая Россия», «Сатирикон», «Русские записки», «Новоселье», «Опыты», «Новый журнал», «Мосты», «Воздушные пути» и др.), а также в альманахах, сборниках, в виде предисловий к книгам и т. д.

В большинстве из этих изданий (особенно в межвоенный период) Адамович публиковал наряду с большими статьями о литературе также статьи о балете, кино и

театре, обзоры, некрологи, публицистику, разного рода хронику, объявления и анонсы, случайные заметки на самые разные темы, вел колонки, предназначенные скорее для развлечения тогдашней публики, в общем, занимался обычной журналистской рутинной, которая вовсе не требует сплошной и полной перепечатки.

В одних только «Последних новостях», помимо еженедельного четвергового подвала, который, как правило, был гвоздем литературной страницы, Адамович вел несколько постоянных колонок. Под псевдонимом Пэнгс он каждый понедельник с сентября 1926 по апрель 1940 г. публиковал ряд заметок с общим названием «Про все» – своеобразную хронику светской и интеллектуальной жизни. По средам с ноября 1927 по август 1939 г. под псевдонимом Сизиф печатал колонку «Отклики», посвященную преимущественно литературе. Начиная с марта 1936 г. «Отклики» посвящались больше новостям иностранных литератур, для советской же была создана специальная рубрика «Литература в СССР», которую Адамович подписывал инициалами Г. А. С 1933 года «Последние новости» по пятницам стали давать страницу о кино, Адамович с перерывами публиковался и там, в моменты особой активности печатая до трех кинокритических в номере. Помимо всего этого, его перу принадлежит множество «внеплановых» публикаций, подписанных полным именем, либо: Г. А.; А.; Г. А-вичь; -овичь; -ичь; -чь; -ъ, а иногда неподписанных вовсе¹.

Количественно весь этот разнородный материал распределяется так:

1. Четверговые подвалы под общим названием «Литературные заметки» (июль 1926 – май 1940; 611 публикаций);
2. «На парижских экранах», рецензии и заметки о кино (январь 1932 – февраль 1940; 351 публикация);
3. «Про все» (Пэнгс; сентябрь 1926 – апрель 1940; 709 публикаций);
4. «Отклики» (Сизиф; ноябрь 1927 – август 1939; 584 публикации);
5. «Литература в СССР» (Г. А.; март 1936 – август 1939; 146 публикаций).

¹ Язвительный Набоков, в общем-то, неспроста назвал персонажа своего рассказа «Уста к уста» Евфратского, прототипом которого был Адамович: «журналист с именем, – вернее, с дюжиной псевдонимов» (*Набоков В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 2008. Т. 5. С. 341*).

Издавать все это в хронологическом порядке нецелесообразно уже из-за объема. Если в стандартный том входит в среднем около 80 статей, нетрудно посчитать, какое количество томов потребовалось бы, чтобы напечатать все эти тексты, число которых переваливает далеко за 3,5 тысячи. С беллетристикой, публицистикой, эпистолярным и аппаратом, а также текстами выпущенных самим Адамовичем книг, все вместе значительно превысит объем академического 30-томника Ф.М. Достоевского и если даже не достигнет размера 90-томника Л.Н. Толстого, то будет сравнимо с ним, а у Адамовича читателей, стремящихся знать каждую его строку, все же меньше, чем у Толстого и Достоевского, так что вряд ли стоит так уж стремиться непременно переиздать все до последней заметки.

Кроме того, опубликовать все эти разнородные тексты подряд означало бы утопить серьезные статьи во множестве случайных заметок, написанных подчас только для денег и соблюдения обязательств перед редакциями.

Адамович и сам относился к своим публикациям по-разному: ко многим подходил с предельной ответственностью и серьезностью (прежде всего это стихи, «Комментарии», некоторые журнальные статьи, а также главные рубрики «Звена» и «Последних новостей»), другие писал спустя рукава, отчаянно халтурил или вымучивал ради денег, жалуюсь друзьям на тяготы журналистской ляжки.

Из всего обилия публикаций в «Последних новостях» первостепенный историко-литературный интерес имеют только «Литературные заметки», да и то не все, настоятельного переиздания требуют примерно две трети, остальные – просто дежурные отклики на текущие новинки, сегодня уже не вызывающие большого интереса ни предметом, ни содержанием.

Определенный интерес представляют также кинорецензии, которые можно переиздать целиком в силу их компактности. Но все остальное имеет смысл перепечатывать только отдельными выдержками и фрагментами, включая в общий том «Литературной хроники» (некоторые материалы рубрик «Отклики», «Литература в СССР», а также «Литературная неделя» из «Иллюстрированной России»).

С тем, что стихи и «Комментарии» представляют собой отдельные жанры и должны печататься в разных томах, а не попеременно, никто спорить не будет. Но точ-

но так же отдельными томами должны печататься и «Литературные беседы» из «Звена», «Литературные заметки» из «Последних новостей» и, затем, «Русских новостей».

Сложнее с послевоенными публикациями в «Новом русском слове» и «Русской мысли», там Адамович печатался уже не постоянно, а от случая к случаю, хотя статьи под названием «Литература и жизнь» в «Русской мысли» и претендовали одно время на то, чтобы превратиться в полноценную постоянную рубрику. Дело осложняется еще и тем, что парижская и нью-йоркская газеты при тогдашнем сообщении имели настолько разные аудитории, что Адамович время от времени позволял себе продублировать один и тот же текст для европейской и американской эмиграции. Однако и в этот период его газетные статьи все же заметно отличаются от статей, опубликованных в «Опытах» или «Новом журнале».

Публицистика Адамовича включается в собрание как дополнение к его книгам «L'autre patrie» (статьи 1930–1940-х) и «Василий Алексеевич Маклаков» (статьи 1950–1960-х).

Остаются еще статьи и рецензии, опубликованные вне рубрик в самых разнообразных, «случайных» для Адамовича изданиях, начиная с «Голоса жизни» (1915) и кончая «Вестником РХД» (1971), а также в альманахах, сборниках, в виде предисловий к книгам и т.д. Это материал для отдельного тома, подверстывать его к рубрикам соответствующих периодов было бы неоправданно.

Сами издания, в которых он печатался, довольно жестко структурировали материалы по разным рубрикам, в зависимости от содержания, размера и многих других обстоятельств. Точнее даже, сами складывающиеся рубрики изначально диктовали авторам то, что сейчас журналисты называют «форматом». И статьи, написанные Адамовичем, например, для «Современных записок», заметно отличаются от «Литературных заметок», опубликованных в те же годы в «Последних новостях». Статьи из журналов значительно больше по размеру (что не всегда идет им на пользу, у Адамовича было «короткое дыхание», и в длинных статьях он порой увядал), наряду с концептуальными обобщающими статьями здесь и обзоры, литературные портреты, предисловия (от сборников стихов З. Шаховской и П. Бобринского до книг Набокова, Камю, Кафки), заметки по конкретному поводу (причем

поводом могла быть статья Л. Шестова или выход собрания сочинений Мандельштама).

Некоторые из этих статей (в том числе такие программные, как «Наследство Блока», «Поэзия в эмиграции» и «Невозможность поэзии») Адамович включил в свои книги почти без изменений, в их составе они и вошли в соответствующий том собрания, и перепечатывать их еще раз в составе другого тома не имеет смысла. Однако несколько статей, материалы которых Адамович использовал в книге «Одиночество и свобода», радикально переработав, переиздаются в томе «Статьи и рецензии 1915–1971» в своем первоначальном виде.

За пределами издания остается часть его «необязательной» журналистики, большинство радиоскриптов, включая брошюру «О книгах и авторах» (все же это было предназначено для советской аудитории тех лет, да и вообще радиопередачи лучше слушать, а не читать их транскрипцию). Остальной материал разбивается на тома по хронологически-жанровому принципу. В результате получается вот такая картина:

Перспектива собрания сочинений Г.В. Адамовича

- Т. 1. Стихи, проза, переводы – 34 а. л.
- Т. 2. Литературные беседы: «Звено» (1923–1928) – 42 а. л.
- Т. 3–5. Литературные заметки: «Последние новости» (1928–1939) – 120 а. л.
- Т. 6. От Ахматовой до Кафки: Статьи и рецензии 1915–1971 – 35 а. л.
- Т. 7. «На парижских экранах»: О кино, театре и балете – 35 а. л.
- Т. 8. «L'autre patrie». Публицистика 1930–1940-х – 25 а. л.
- Т. 9. Литературные заметки: «Русские новости» (1945–1949) – 30 а. л.

Т. 10. Литературные размышления: «Новое русское слово» (1950–1972) – 30 а. л.

Т. 11. Литература и жизнь: «Русская мысль» (1955–1972) – 30 а. л.

Т. 12. Одиночество и свобода – 15 а. л.

Т. 13. «Василий Алексеевич Маклаков». Публицистика 1950–1960-х – 25 а. л.

Т. 14. «Комментарии» – 25 а. л.

Т. 15. Литературная хроника: «Отклики», «Литературная неделя», «Литература в СССР» – 25 а. л.

Т. 16–18. Письма

Хотелось бы также выпустить тома-сателлиты к изданию (в том же оформлении, но без номера):

Библиография публикаций Г.В. Адамовича и о нем.

Летопись жизни и творчества Г.В. Адамовича.

«Без красок и почти без слов...» (поэзия Георгия Адамовича)

Поэтическая карьера Адамовича с самого начала складывалась весьма успешно. По свидетельству Георгия Иванова, первая же книга Адамовича ««Облака» сразу сделала никому неведомого юного поэта “своим” в наиболее изысканном и разборчивом литературном кругу»¹. На сборник появилось восемь одобрительных рецензий, в том числе отзывы Гумилева, Ходасевича, Жирмунского. Почти все рецензенты писали об Адамовиче, как о поэте еще не установившемся, но обладающим необходимой самостоятельностью, а также хорошим вкусом (категория в акмеистской среде очень значимая). И все сошлись на том, что его поэзию следует отнести к чистой лирике. Гумилев писал об Адамовиче: «Он не любит холодного великолепия эпических образов, он ищет лирического к ним отношения»². «За исключением двух или трех стихотворений, представляющих собою стихи-живопись, “Облака” всецело относятся к чистой лирике», вторил ему другой рецензент³. Жирмунский добавлял к этому еще одно наблюдение: «Лирика Адамовича носит почти всегда элегический характер»⁴.

Через несколько лет М. Кузмин подчеркнул эту особенность как едва ли не главную в стихах Адамовича, выгодно отличающую их от общей литературной продукции того времени. Делая обзор пореволюционной поэзии,

¹ Иванов Г. Третий Рим. Художественная проза. Статьи. Тель-Авив: Эрмитаж, 1987. С. 304.

² Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

³ Северные записки. 1916. № 2. С. 229. Подп.: Р. Д.

⁴ Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

М. Кузмин заметил, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича “Чистилище”»¹.

Казалось, столь удачно начавший автор надолго, если не навсегда, был обречен оставаться местной знаменитостью в столичных кругах литературной аристократии. Жизнь, однако, распорядилась по-другому.

«Чистилище» вышло в 1922 году, ситуация в стране была иная, изменилось и отношение к поэзии. Почти все немногочисленные отзывы на стихи Адамовича начала двадцатых годов излишне политизированы и, будучи написаны в свойственной тому времени манере, посвящены по большей части не особенностям поэтики, а инвективам в адрес автора. Наряду с упреками в несовременности критики постоянно подчеркивали литературность и безжизненность этих стихов. Николай Тихонов в статье о третьем альманахе Цеха поэтов заявил: «несмотря на то, что форма у них классическая по-своему <...> стихи Г. Адамовича, Оцупа и Г. Иванова бесплодны и сухи»². Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны»³. Тот же упрек слышен и в отзыве Нины Берберовой: «отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс: гораздо тоньше, но и сильнее, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переняты им, но часто звучат искусственно»⁴.

Одобрительный пафос критики тех лет тоже нельзя назвать очень метким. Например, Борис Гусман в своей книге «100 поэтов» на трех страницах набросал портрет Адамовича в таком духе: «Застывшая оледеневшая душа <...> опустошенное сердце и отравленный сомнениями ум, — вот с чем пришел Георгий Адамович в мир»⁵.

¹ Кузмин М. Парнасские заросли // Завтра: Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119.

² Тихонов Н. Граненые стеклышки: о третьем альманахе Цеха Поэтов // Жизнь искусства. 1922. 23 мая. № 20. С. 4.

³ Книга и революция. 1922. № 7. С. 59.

⁴ Современные записки. 1924. № 19. С. 432.

⁵ Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. Тверь, 1922 (на титуле 1923). С. 5.

Роман Адамовича с советской критикой был непродолжителен и завершился вместе с его эмиграцией. После 1925 года в течение шестидесяти лет случайные упоминания самого имени Адамовича в советской печати можно пересчитать по пальцам, и о каких-либо критических оценках его поэзии в России в этот период говорить не приходится. Наиболее обстоятельной оставалась характеристика, данная в десятом томе «Истории русской литературы», где в связи с акмеизмом, «течением, выразившим все наихудшие, наиболее декадентские черты символизма», упоминалось и о Третьем Цехе поэтов, который «имел ярко выраженный контрреволюционный характер. Его вожди — Г. Иванов и Г. Адамович — вскоре перешли в лагерь белой эмиграции»¹.

На славе Адамовича в эмиграции отзывы советских критиков никак не сказались. В Париж он прибыл с прочной репутацией «тишайшего поэта»², строгого мастера с негромким голосом, и на это звание здесь никто всерьез не посягал. Даже наиболее ярые противники литературной позиции Адамовича не подвергали сомнению его положение мэтра, право быть наставником молодежи, положительно отзываясь о его поэзии не только в печати, но и в частных высказываниях.

Например, Ходасевич в письме Карповичу от 3 июня 1925 года, весьма нелицеприятно говоря об Адамовиче как человеке, все же признает, что он «способностей стихотворных не лишен»³. Глеб Струве, более, чем кто-либо другой, имевший претензий к критической деятельности Адамовича, находил в его поэзии немало достоинств и некоторые стихотворения считал «действительно прекрасными»⁴. Альфред Бем, притерявшийся к воззрениям на литературу, чем Глеб Струве и Ходасевич, но тоже вечный оппонент Адамовича, находил у последнего «несомненное поэтическое дарование»⁵. Даже Набоков, в пылу острой литературной борьбы позволявший себе любые выражения в адрес противника вплоть до заведомо

¹ История русской литературы. М.; Л.: Наука, 1954. Т. 10. С. 724, 777–778.

² Звено. 1923. 26 ноября. № 43. С. 3.

³ Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

⁴ Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 320.

⁵ Бем А. Письма о литературе: Культ Пушкина и колеблющие треножник // Руль. 1931. 18 июня. № 3208. С. 2.

эпатажных, выводя в романе «Дар» пародийный портрет Адамовича под именем Христофора Мортуса, упоминает о печатавшихся им «в молодости в “Аполлоне” отличных стихах»¹. Пожалуй, единственным исключением была резко отзывавшаяся о стихах Адамовича Марина Цветаева, но тут уже сказывалась принципиальная противоположность литературных и жизненных установок. Ю. Иваск верно заметил, что «если бы они неожиданно сблизились — Цветаева перестала бы быть Цветаевой, а Адамович Адамовичем»².

В Париже о поэзии Адамовича писали мало, слишком большое место занял он в сознании поколения, как критик, эссеист и наставник молодых поэтов, наиболее острая полемика разворачивалась вокруг этих областей его деятельности, собственно же поэзия оказалась отодвинута в сторону славой «первого критика эмиграции», как назвал Адамовича Бунин³. Усугублялось это и тем, что Адамович, регулярно публикуя свою критическую прозу, на которой сосредоточилось всеобщее внимание, не столь уж часто напоминал о себе, как о поэте. Стихи его изредка появлялись в эмигрантской периодике, обязательно включались во все альманахи и антологии, и воспринимались всеми как-то безоговорочно, споров не вызывали. Как позднее заметил Георгий Иванов, «обращенные к широкой аудитории образцовые статьи, заслуженно создавшие имя автору — несколько отодвигали в тень еще более замечательного “другого Адамовича” — поэта и критика поэзии, не для всех, а для немногих»⁴.

Свой новый сборник стихов «На Западе» Адамович выпустил только в 1939 году, перед самой войной. На него отозвались ведущие критики эмиграции. Обостренным чувством ответственности за свои слова объясняла Зинаида Гиппиус простоту и недосказанность стихов Адамовича: «как бы замирение голоса, остановку на полуфразе-полуслове <...> Лучше недоговорить, лучше умолчать <...> Простота бывает и своего рода изыскан-

¹ *Набоков В.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 151.

² *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958–1971) // *Новый журнал.* 1979. № 134. С. 92.

³ *Литературное наследство.* Т. 84. Кн. I. М.: Наука, 1973. С. 679.

⁴ *Иванов Г.* Третий Рим. Художественная проза. Статьи. Терафлу: Эрмитаж, 1987. С. 322.

ностью, но в этих стихах она прямо, просто (и сознательно) проста»¹.

Свой «ключ к пониманию поэзии Адамовича» предложил П.М. Бицилли. По его мнению, «всякое искусство рождается из “тревоги” и является своего рода спасением от нее посредством перехода в “иной план бытия», касания «иных миров”. Но есть различные виды “тревоги” и различные способы видения “иного мира”». В отличие от метафизической тревоги Баратынского и Тютчева в стихах Адамовича Бицилли усмотрел «тревогу совести — индивидуальной и коллективной, тревогу бл. Августина, ужас перед однажды совершившимся и непоправимым злом <...> переживание, из которого вышла вся философия Шестова с ее постулатом, обращенным к Богу: “сделать бывшее небывшим”». Бицилли считал, что Адамович находит в своей поэзии единственно верный выход: «выход не из жизни, а из “истории”» — в иной жизненный план «ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви»².

После войны в эмиграции при упоминании имени Адамовича в первую очередь приходила на ум его критическая деятельность, хотя, например, Н. Станюкович считал, что «вопреки общему мнению, он больше поэт, чем критик»³. Ему вторил Ю. Иваск, утверждая, что Адамович «прежде всего был поэт, а не критик»⁴.

Ко времени выхода итогового сборника стихов «Единство» Адамович многими в эмиграции воспринимался уже не просто мэтром, а «патриархом зарубежной поэзии», как титуловал его Валерий Перелешин в своей «Поэме без предмета»⁵. Под стать этому были и критические суждения о его поэзии, — как правило, восхищенные, без каких-либо попыток анализа. Лишь Роман Гуль, говоря о нескольких стихотворениях, позволил себе «упрекнуть поэта за некую риторичность — в ущерб словомузыке. Но таких пьес мало»⁶. Аналогичный упрек высказывал позднее и Игорь Чиннов, в целом высоко оценивая поэзию своего учителя. В некоторых стихах Адамовича он на-

¹ Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

² Современные записки. 1939. № 69. С. 383–384.

³ Возрождение. 1955. № 48. С. 139–140.

⁴ Иваск Ю. Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

⁵ Перелешин В. Поэма без предмета. Холиок, 1989. С. 71.

⁶ Новый журнал. 1967. № 89. С. 278–279.

ходил нехарактерную для «апостола аскетизма» «добавку контрастной поэтической риторике»¹. Ю. Терапиано отдавал должное «Адамовичу-поэту, в силу обстоятельств, при жизни в Париже, имевшему мало времени для писания стихов»².

Зарубежные слависты также первоначально обратили внимание на Адамовича-критика. Лишь в нескольких работах исследователи касались его поэзии³. Известность и даже своеобразная слава Адамовича-эссеиста и вдохновителя «парижской ноты» отвлекли внимание публики от его стихов, тем более, что он не стремился что-либо делать для своей поэтической популярности, предпочитая оставаться поэтом для немногих. По крайней мере отчасти Адамович сознательно отходил в тень, уступая пальму первенства Георгию Иванову. В результате его нередко считали тем же Ивановым, но разливом пожиже. Думается, тут все сложнее, причем дело не только в разных масштабах дарования. Ю. Терапиано недаром возражал Ю. Иваску, считая, что «он напрасно слишком сближает поэзию Георгия Адамовича с поэзией Георгия Иванова. Эти поэты совсем различны по существу»⁴. Сам Адамович склонен был считать так же и в письме Одоевцевой однажды заявил: «Когда-то Лозинский (помню это хорошо, на каком-то Цехе или вроде, после смерти Гум[илева]) сказал, что нет на свете людей и литераторов более различных, чем Ив[анов] и Ад[амович] — при кажущейся близости. Что совершенно верно»⁵. Через вторые руки до

¹ Чипцов И. Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 140.

² Русская мысль. 1972. 15 июня. № 2899. С. 9.

³ *Tjalsma William*. The Petersburg Modernists and the Tradition // Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Munich, 1973. P. 7–26; *Tjalsma William*. Acmeism, Adamovic, the «Parisian Note» and Anatolij Steiger // Russian Language Journal. Supplementary issue. (East Lansing, Michigan) 1975. P. 92–105; *Smith G.S.* The versification of Russian Emigre Poetry 1920–1940 // The Slavonic and East European Review. 1978. Vol. 56. № 1. P. 52–66; *Hagglund Roger*. A vision of Unity: The Poetry of Georgij Adamovic // Slavic and East European Journal. 1981. Vol. XXV. № 1. P. 39–51; *Hagglund Roger*. A vision of Unity: Adamovic in Exile. Ann Arbor: Ardis, 1985.

⁴ Русская мысль. 1969. 13 февраля. № 2725. С. 8–9.

⁵ Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О.Л. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 420.

нас дошло и мнение Гумилева на этот счет, который склонялся к этой же точке зрения. Н. Чуковский вспоминал, что Гумилев о Георгии Иванове и Адамовиче «отзывался всегда как о крупнейших, замечательнейших поэтах. По его словам, они олицетворяли внутри “Цеха” как бы две разные стихии — Георгий Иванов стихию романтическую, Георгий Адамович — стихию классическую»¹.

В эмиграции и в первой, и во второй, и в третьей волне то и дело кто-нибудь к собственному искреннему удивлению открывал заново Адамовича и изумлялся, какой это интересный поэт. Д. Бобышев, впервые прочитав большую подборку лучших стихов Адамовича в антологии Вадима Крейда «Ковчег», был потрясен, обнаружив «большого поэта»². Но свой круг поклонников и почитателей у Адамовича был всегда.

«Дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь...»

На генеалогии поэзии Адамовича, на родословной его души следует остановиться подробнее. Мандельштам писал: «На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан»³. Первые критики стихов Адамовича сочли своим долгом сделать именно это. Практически каждый рецензент его первой книги «Облака» назвал имена тех поэтов, которые, по его мнению, оказали влияние на стихи Адамовича. И уже здесь обнаружилась любопытная особенность стихов, проявившаяся по-настоящему гораздо позднее.

Одни рецензенты усмотрели в Адамовиче типичного представителя поэтической школы «Гиперборейя». В. Жирмунский написал, что «учителями его, по преимуществу, должны считаться Кузмин, И. Анненский и Ахматова»⁴. То, что Адамович «слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», отметил также И. Оксенов⁵. Другие рецензенты, кроме «гиперборейства», увидели

¹ Чуковский Н. Литературные воспоминания. М.: Советский писатель, 1989. С. 35.

² Бобышев Д. «Ковчег», или укладка с грамотами // Панорама (Лос-Анджелес). 1993. 3–9 февраля. № 617. С. 20.

³ Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 76.

⁴ Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

⁵ Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74.

и иные основы. Ряд влияний, «почти обязательных для поэтов “Гиперборея”», особенно влияние А. Ахматовой, а через нее — Иннокентия Анненского и — дальше — Верлена, — отмечал в «Облаках» и В. Ходасевич, добавляя затем: «также есть в них кое-что от Блока, кое-что от Андрея Белого»¹. К. Липскерову тоже показалось, что в стихах Адамовича «слышится то Блок, то Белый, то Ахматова»².

Имя Блока было названо не всуе, в позднейшей литературе об Адамовиче оно встанет на первое место, см., например, мнения З. Гиппиус³ или Ю. Иваска⁴. Но Блок и «гиперборейцы», казалось бы, «две вещи несовместные», особенно в те времена открытого противоборства двух направлений. И тем не менее сборник не был рядовой дилетантской эклектикой, что чувствовали и сами рецензенты. Недаром почти каждый из них, перечислив влияния, тут же считал необходимым упомянуть и о самостоятельности. «Ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным», — писал Ходасевич⁵. «Хорошую школу и проверенный вкус» с удовлетворением отмечал и Гумилев, прозорливо добавляя, что «иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение»⁶. «Непохожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления», — заключал Жирмунский⁷. Суммируя все это, В. Еникальский заявил, что «можно составить генеалогию почти каждого образа Адамовича. Среди “источников” — и Анненский, и Блок, и Кузмин, и Гумилев, и Ахматова, и т.д. вплоть до Георгия Иванова. Однако, несмотря на все это, уже сразу, после 2–3 стихов Адамовича становится ясно, что у него есть свое лицо»⁸.

¹ Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

² Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5.

³ Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

⁴ Иваск Ю. Эпоха Блока и Мандельштама: Главы из задуманной книги // Мосты. 1968. № 13–14. С. 209–235.

⁵ Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7.

⁶ Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

⁷ Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

⁸ Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9.

Уже в этих первых рецензиях на ранние стихи были верно отмечены черты будущей зрелой поэтики Адамовича: заметное воздействие двух разных поэтик — акмеизма и символизма, ярко выраженная цитатность, и при всем внешнем эклектизме свое самостоятельное лицо, собственная поэтика, способная сплавить столь разнородные элементы в единое целое.

Младшие акмеисты

Первый, дореволюционный этап Адамовича прошел под знаком акмеизма, уже переживающего кризис. Самое раннее из известных нам датированных стихотворений Адамовича обозначено 1914 годом. В начале того же, 1914 года Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдикатами, Гумилевым и Городецким»¹. Отпечаток своеобразно усвоенного акмеизма сохранился на страницах первого сборника Адамовича «Облака», а в трансформированном виде — и на последующих стихах.

О содержании понятия «акмеизм» до сих пор ведутся горячие споры². Суть их сводится к тому, что одни авторы вообще отказывают акмеизму в праве считаться литературным направлением, признавая его новой ступенью развития символистской поэтики. Мнение это восходит ко взглядам Б. Эйхенбаума, выраженным в известной книге об Ахматовой, или даже к высказыванию Вяч. Иванова, уверявшего Гумилева: «ничем вы от нас не отличаетесь». Похожие мысли высказывал в начале двадцатых годов и Мандельштам в ряде статей в «Русском искусстве», однако впоследствии он не пожелал переиздать эти статьи, где «все оценки кривы и косы», заявив, по свидетельству Н.Я. Мандельштам, что «это не то»³.

Оппоненты, при всей расплывчатости термина «акмеизм», находят все же в поэтике его представителей

¹ Два неизвестных письма Г. Адамовича / Публ. Жоржа Шерона // Новый журнал. 1988. № 172–173. С. 569.

² См. тематические номера журнала «Russian Literature», посвященные акмеизму, а также специальный выпуск «Russian Language Journal» — «Toward a Definition of Acmeism» (East Lansing, Michigan, 1975).

³ Цит. по: Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама: Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990. С. 438–439.

достаточное единство друг с другом и в то же время достаточное количество различий с поэтами иных ориентаций, чтобы считать именно литературным направлением, пусть неточно сформулировавшим собственные цели, но все же их имевшим и существовавшим не только в манифестах, но и на практике. В первом мнении есть своя доля истины. Утверждение, что акмеизм был головной выдумкой Гумилева, во многом верно. Многие положения манифестов и особенно сам термин, действительно, были выдуманы наспех и не выдерживают критики. Верно и что эти положения далеко не всегда соблюдались. Но самоопределения, манифесты, теоретические суждения и высказывания всегда не полностью соответствуют поэтической практике, и чем крупнее поэт, тем несоответствий больше. Символисты тоже не были так уж точны в своих определениях и точно так же далеко не всегда соблюдали собственные установления на практике.

Если вожди акмеизма в юношеском задоре не сумели правильно сформулировать отличия новой школы от старой, — это еще не значит, что отличия были несущественны. Даже если признать задачи направлений несопоставимыми по масштабу, трудно не видеть явную разнонаправленность этих задач.

В. Гофман считал, что «всякая новая поэтическая школа отличается от предшествующей обращением к иным структурным возможностям, заложенным потенциально в слове как материале. Понятие школы есть, по видимому, понятие, в значительнейшей мере, отрицательного единства»¹. И действительно, все описания поэтики акмеизма начинаются (а порой и заканчиваются) выявлением различий с символистской поэтикой. Да и мудро было бы без этого обойтись. Мандельштам утверждал, что «не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма»². Но одним изменением отношения к слову дело не исчерпывается, ибо отталкивание было не только в области стилистики, но и в мировоззрении.

Символистскому «сверх-я» и перманентному горению акмеисты противопоставляли соразмерность человека миру и дискретность вдохновения, тонкую психо-

¹ Гофман В. О Мандельштаме: Наблюдения над лирическим сюжетом и семантикой стиха // Звезда. 1991. № 12. С. 176.

² Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 261.

логичность, антиутопизм. С. Аверинцев остроумно назвал акмеизм «вызовом духу времени, как духу утопии»¹. Богоискательство было оставлено за ненадобностью, ибо у акмеистов Бог был изначально найден и находился на своем месте. Акмеисты даже родословную себе подыскали иную: ясные романские стихи вместо сумрачной германской мистики. Странствования в мирах иных превратились у Гумилева во вполне конкретные путешествия по Африке, символистская риторика — в экзотику, а напевный стих Бальмонта сменился разговорным стихом Ахматовой. Музыкальной стихии символистов акмеисты противопоставили картинность живописи и стройность архитектуры, резко обновили словарь и, наконец, ввели иной принцип словоупотребления. «Размазанная по тексту семантика»² символистов сменилась поисками полноценного слова.

Различия слишком велики, чтобы считать акмеизм только легким изменением символистского курса. Пусть многие акмеисты в юности прошли через символизм, и впоследствии поэтика их значительно изменилась, но по крайней мере как этап в творчестве нескольких крупных поэтов акмеизм останется в истории русской литературы, и в этом качестве термин имеет полное право на существование. Старшие акмеисты при всей значительной эволюции сохранили тем не менее многое из своих убеждений акмеистского периода.

Точно так же и Г. Иванов с Адамовичем, несмотря на эмансипацию от гумилевского влияния в эмиграции, от многих акмеистских устоев не отреклись.

Когда современные слависты (Roger Hagglund, William Tjalsma) называют младших акмеистов «третьим поколением символистов», в этом есть свой резон, так как младшие акмеисты в зрелом возрасте уже не столько отталкивались от символизма, сколько тянулись к нему, и это определение можно было бы принять, если бы оно не вносило некоторую путаницу.

Во-первых, все время придется оговаривать, что имеются в виду именно Г. Иванов и Г. Адамович, а не много-

¹ *Мандельштам О.* Сочинения в двух томах. М. Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 24.

² *Лотман Ю.М.* Поэтическое косноязычие Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988. С. 439.

численные эпигоны символистов, «обозная сволочь», по выражению Андрея Белого. А оговаривать это придется хотя бы уже потому, что разница между непосредственными эпигонами символизма и поэтами, вернувшимися к некоторым идеалам символизма после того, как они прошли акмеистский искус, — весьма велика, налицо глубокие отличия и в мировоззрении, и в стилистике.

Во-вторых, акмеистский этап в биографиях Г. Иванова и Адамовича налицо, и придумывать ему иные названия можно, но нецелесообразно. На этом этапе они считали себя, да в большой мере и были именно «младшими акмеистами». Конечно, Г. Иванов успел побывать и в эгофутуристах, что еще не дает права приписывать ему и такой этап в творческой биографии, но не дает только потому, что эгофутуризм не оказал значительного и устойчивого влияния на его дальнейшую поэтику, т.е. был по сути эпизодом, так же как кратковременное воздействие Кузмина и некоторые другие влияния.

Собственно, спор идет только о двух поэтах очень разной индивидуальности: Г. Иванове и Адамовиче. И. Одоевцеву при этом всегда стараются не вспоминать, ибо ее поэзия и к акмеизму-то имеет гораздо более отдаленное отношение, а уж к символизму любого поколения — вовсе никакого. Н. Оцуп, оказавшись наиболее стойким гумилевцем из всех четверых, в эмиграции пытался основать собственную школу — «персонализм», что от символизма было тоже довольно далеко.

«Акмеистов было всего шесть, и седьмого, как постоянно подчеркивала Ахматова, никогда не было»¹. (На роль седьмого претендовал, как известно, Г. Иванов, которого Ахматова недолюбливала.) Точно так же и младших акмеистов было четверо: Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп и И. Одоевцева. Пятого не было. (На роль пятого претендовал было одно время Вс. Рождественский, но неудачно. Его и многих других *dii minores* правильнее называть поэтами акмеистской ориентации. Впечатляющий список их имен приводит Р. Тименчик²). Каждый из четверых нашел в акмеизме что-то свое, но при всей непохожести друг на друга и несопоставимости масштабов поэтического

¹ Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. Р. 34.

² Тименчик Р. По поводу Антологии петербургской поэзии эпохи акмеизма // Russian Literature. 1977. Vol. 4. Р. 315–323.

дара, все четверо имеют и нечто общее, отграничивающее их как от предшественников, так и от современников.

То, что почти каждый из участников очередной поэтической затеи понимает ее смысл несколько по-своему, еще не говорит о том, что сама затея является непременно мертворожденной, а самоопределение — не имеющим никакого значения. В конечном счете, «теория поэзии состоит из выводов, а не из предпосылок»¹.

Именно младшим акмеистам в эмиграции суждено было стать лидерами «парижской ноты», и новый термин был еще более расплывчатым, чем невразумительный «акмеизм». Однако и за тем, и за другим стояло некое объединяющее и одновременно отъединяющее от других групп мировоззрение и, главное, довольно определенная поэтическая практика.

Эйхенбаум говорил об акмеистах как о завершителях модернистского движения. Думается, подлинными завершителями, окончательно замкнувшими круг, стали, повзрослев, «младшие акмеисты».

Из истории акмеизма Адамовича не вычеркнуть. И ранние стихи его без упоминания об акмеизме не объяснить. Он использовал общеакмеистские приемы в своей поэтической практике, защищал в статьях акмеистские мнения, и многие современники, даже весьма пронизательные, довольно долго воспринимали его именно как «гиперборея»², одного из правоверных членов Цеха поэтов, «гумилевского мальчика»³. Надо признать, что определенные основания у них для этого были. Вел себя Адамович в литературном быту в полном соответствии с правилами Цеха, предписанными Гумилевым: с футуристами не дружил, Бунина, как велено было, не любил, на символистов если и косился, то втихомолку.

Были и более веские основания. Жирмунский справедливо усматривал во многих стихотворениях «Облаков» «обычный для поэтов “Гиперборея” прием передачи художественного настроения точно подмеченными и четко воспроизведенными образами внешнего мира, которые делают это настроение более законченным и понятным <...> явления душевной жизни передаются не в

¹ Адамович Г. На полустанках // Звено. 1923. 8 октября. № 36. С. 2.

² Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

³ Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 144.

непосредственном, песенном, музыкальном выражении, но через изображение внешних предметов. Есть четкость и строгость в сочетании слов»¹.

В одной из статей Гумилев заметил, что в двадцатом столетии «мир стал больше человека»². Символисты как раз и ставили перед собой задачу стать вровень с расширившимся миром. Акмеисты в своих манифестах призывали ограничиться лишь той областью, которая подвластна запечатлению точным словом. Наиболее отчетливо это выразилось в стихах младших акмеистов, которые, избегая высокопарных слов, предпочли сузить мир до нужных размеров. Жирмунский считал, что «это сужение проявляется <...> у младших “гиперборейцев” — в тесноте кругозора, в душевном обеднении, в миниатюрном игрушечном характере всех переживаний»³. К Адамовичу все это он относил самым непосредственным образом: «Поэтический мир Адамовича именно такой: миниатюрный, игрушечный, странно суженный и урезанный в своих размерах и очертаниях»⁴.

В «Облаках» и впрямь очень суженный, комнатный мирок, вся жизнь течет преимущественно за окном. Это сразу же бросилось в глаза Блоку, которому Адамович послал свой первый сборник. В утраченном письме от 24 января 1916 года Блок высказал Адамовичу свое недовольство «комнатностью» стихов и посоветовал «раскачаться выше на качелях жизни». Упоминания об этом сохранились в ответном письме Адамовича от 26 января 1916 года: «Я так ведь знаю, что живу в “комнате”, и что никогда мне не “раскачаться”, чтоб дух захватило, не выйдет и не знаю, как»⁵.

Но было при этом в стихах и нечто иное, для акмеизма не очень характерное. Интуитивно Адамович ощущал величие символистского миропонимания и не желал совсем отказаться от попыток выразить невыразимое, к чему призывал Гумилев. Однако свое собственное, незаменимое содержание Адамович упорно хотел выразить акмеистическими средствами, не желая становиться очерде-

¹ Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

² Гумилев Н. Анненский – критик // Речь. 1909. 11 (24) мая. № 127. С. 3.

³ Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 132–133.

⁴ Биржевые ведомости. 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5.

⁵ РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20.

ным эпигоном блекнувшего символизма. И акмеизм в его биографии не случаен. Современная исследовательница считает основным принципом поэтики акмеизма «принцип собирательства, концентрации, сосредоточения вокруг субъекта его мира, его личного космоса. Это — принцип ассоциативных метонимических связей, сцеплений, крючков, которыми как бы соединяются разрывы мировой ткани», а главным качеством акмеистического текста признает «установку текста на самопознание»¹. Вряд ли этими принципами можно объяснить поэтическую практику любого из акмеистов. К поэзии Нарбута, Зенкевича, да и Гумилева, не говоря уже о Городецком, они применимы с большими оговорками. Но Адамович привлекало в акмеизме именно это. И еще — ориентированность акмеизма на интенсивную силу слова, на остроту, заложенную уже в самом понятии².

«Неоклассицизм»

«В начале двадцатых годов акмеизм уже эволюционировал столь значительно, что в нем почти ничего не осталось от акмеизма десятых годов»³, по мнению исследователя. По выражению современника, «неоклассицизм вылутился из скорлупы акмеизма»⁴. В эти годы, по свидетельству К. Мочульского, и Адамович «руководится идеей “классического искусства”»⁵.

Неоклассическая фаза акмеизма до сих пор остается самым неисследованным периодом его истории и нуждается в более пристальном изучении. Обычно вспоминают о нем лишь в ходе не утихающего спора о противоборстве классического и романтического начал в искусстве. Необходимо предварительно оговориться, что «неоклассицизм» Цеха поэтов в большей степени был полемиче-

¹ *Полтавцева Н.Г.* Анна Ахматова и культура «серебряного века» // Царственное слово: Ахматовские чтения. Вып. I. М.: Наследие, 1992. С. 45, 48.

² О категории остроты у акмеистов см.: *Тименчик Р.Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1974. № 7–8. Р. 40–46.

³ *Богомолов Н.А.* Талант двойного зрения // *Иванов Г.* Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М.: Книга, 1989. С. 515.

⁴ Цит. по: *Тименчик Р.Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1974. № 7–8. Р. 30.

⁵ *Мочульский К.* Новый Петроградский цех поэтов // Последние новости. 1922. 2 декабря. № 804. С. 2.

ским самоопределением, чем действительно продуманной поэтикой и тем более практическим следованием этой поэтике. С подлинным историческим классицизмом он имел не много общего. Тем не менее, термин был широко распространен в то время как среди поэтов, так и среди литературоведов¹. Правда, каждый из авторов вкладывал в этот термин свое содержание.

О причинах появления на свет «неоклассицизма» именно в это время можно говорить много. Главной из них была естественная реакция на заумный язык футуристов. Мандельштам даже попытался сформулировать закон, утверждая, что «революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму»². Вряд ли обошлось и без воздействия популярных в те годы на Западе, особенно во Франции, разговоров о «новом классицизме», о классическом художественном мировоззрении. Члены Цеха поэтов, всегда внимательно следившие за западными литературами, особенно за французской, на которой были воспитаны, чутко улавливали все близкие им по духу веяния. Но и тут о прямом заимствовании говорить не приходится.

Если что и сближало неоклассицизм первой четверти XX века с французским классицизмом XVII столетия, то не схожесть в поэтике, а общая охранительная функция, стремление противостоять разрушительным, как они их понимали, тенденциям в литературе. Как французский классицизм «послужил художественным и эстетическим противовесом необузданным силам барокко, его безмерности»³, так и русский неоклассицизм начала двадцатых годов сознавал себя в первую очередь противовесом безудержности футуризма и других многочисленных в то время групп, разрушающих установившиеся каноны стиха. Классическое наследие противопоставлялось погоне за новизной во что бы то ни стало. Не случайно содержание понятия определялось прежде всего в отталкивании. Это был принципиальный отказ от неконтролируемого

¹ *Жирмунский В.* О поэзии классической и романтической // Жизнь искусства. 1920. 10 февраля. № 339–340; *Оцун Н.* О Н. Гумилеве и классической поэзии // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 45–47; *Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // Современные записки. 1922. № 11. С. 368–379; и др.

² *Мандельштам О.* Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 40.

³ Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М.: Наука, 1982. С. 352.

потока слов, пусть даже очень вдохновенного, что считалось веянием романтическим. Именно на этом основании Мандельштам делал вывод о том, что «русский футуризм гораздо ближе к романтизму»¹. Реакцией на такой романтизм и была попытка защитить поэзию строгими рамками «неоклассицизма».

«Пафосом новой поэзии должна быть ликвидация романтизма», — заявлял Адамович, добавляя тут же: «В наши дни Маяковский, человек даровитый, есть недосягаемый и непревзойденный образец того, чем *не* должен быть поэт»². Как не надо писать стихи, — определялось вполне отчетливо, положительная программа формулировалась куда туманнее: «Обрисовываются вдалеке линии искусства, которое должно было бы быть завтрашним: его не легко определить несколькими словами, но достаточно сказать, что его тональностью является пресыщение шумом и пестротой XIX века и начала XX века, реакция против романтизма, понятого по-французски, и в поэзии обратный перелет к тем берегам, на которых последним удержался Андрей Шенье. Люди, знакомые с развитием форм поэзии, поймут, какие теоретические требования выдвигает этот “неоклассицизм”»³.

Члены Цеха даже не сразу договорились, что из классики предпочесть в качестве образца. Первое время в этом качестве фигурировали и Расин, и французские парнасцы, и античная трагедия. И лишь позже за идеал было принято творчество Пушкина. Позднее Адамович написал, что провозглашался «Пушкин как метод, как отношение к творчеству, как анти-поза»⁴. К. Мочульский уже прямо говорил о неоклассицизме как «пушкинизме в современной поэзии»⁵. Эти устремления сказались и на стихах. Вадим Крейд находит, что периоду «неоклассицизма» в творчестве Мандельштама, Ахматовой и Георгия Иванова соответствует большее, чем до того, количество условно-поэтических эпитетов, лексически близких пушкинско-

¹ Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 205.

² Адамович Г. Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

³ Адамович Г. На полустанках // Звено. 1923. 8 октября. № 36. С. 2.

⁴ Адамович Г. Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 47.

⁵ Мочульский К. Возрождение Пушкина // Звено. 1924. 16 июля. № 72. С. 2.

му словарю¹. Рецензент альманаха «Дракон» счел, что и в стихах Адамовича этой поры «слишком явно слышатся перепевы из Пушкина»².

Многие программные положения акмеизма перешли неизменными в «неоклассицизм», и в первую очередь понятие «меры», соразмерности всех частей и уровней стихотворения. Члены третьего Цеха поэтов были убеждены в том, что прогресса в искусстве нет и быть не может, и формула стихотворения Георгия Иванова «Меняется прическа и костюм...» очень напоминает манифест:

И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера.
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!»

Другим краеугольным принципом «неоклассицизма» стало также общее для акмеистов убеждение в том, что «слово должно значить то, что значит». Положение это в различных вариациях можно найти и в ранних манифестах Гумилева и Городецкого, и в статьях начала 20-х годов Мандельштама и Адамовича³.

После смерти Гумилева Адамович становится ведущим критиком и одним из главных идеологов Цеха поэтов, отстаивая «неоклассические» настроения в своих статьях этого периода: «В живом стихотворении первоначальная, хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики. Воля поэта поднимает музыку до рассказа»⁴. С изрядной категоричностью он заявлял даже, что «все запомнившиеся людям, удержавшиеся в их памяти стихи, так наз. классические, бесспорно-прекрасные, все могут

¹ Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Тенaflu: Эрмитаж, 1989. С. 111.

² Начала. 1922. № 2. С. 294.

³ Можно было бы привести длинный список совпадений, в том числе и дословных, в статьях Адамовича и Мандельштама общего для них периода «неоклассицизма». У обоих в высказываниях явственно слышатся отголоски гумилевских мыслей, во многом сходен и набор авторитетных имен, которыми они оперируют: Анненский, Розанов, Бергсон, Расин, Шенье, Бодлер и т.д. Совпадения — явно результат цеховых словопрений, дань школе, поэтическому кружку; интуитивно оба не могли не сознавать, что дороги их скоро разойдутся.

⁴ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 5 января. № 101. С. 2.

быть пересказаны, переведены на другой язык, изложены прозаически, не превращаясь в бессмыслицу, т.е. имеют ясно выраженный смысловой стержень, содержание. Нет никаких оснований думать, что закон, действительный для двух тысячелетий, вдруг в последние годы потерял значение»¹. Здесь отчетливо ощутим полемический пафос, направленный прежде всего против футуристской зауми и символистских темнот. Подобные заявления не приходится, конечно, принимать всерьез в каждой букве, но основное убеждение, избавленное от крайностей, осталось неизменным до конца: первый, внешний план стиха должен быть понятен или, во всяком случае, должен наличествовать, слово в стихе должно оставаться словом значащим, а не служить только инструментом для передачи непроясненной музыки либо материалом для лингвистических упражнений.

С появлением на литературной арене «неоклассицизма» произошло окончательное разграничение двух линий, двух разнородных направлений в акмеизме, который недаром уже при своем рождении имел два названия: гумилевский акмеизм и провозглашенный Городецким адамизм, т.е. поэтический взгляд «нового Адама», который, «сняв наслоения тысячелетних культур», может «опять назвать имена мира»². Этот адамизм, представленный именами Нарбута, Зенкевича и, отчасти, самого Городецкого, сразу значительно отличался от парнасски ориентированного акмеизма. Именно это и вызвало недоумение критики, тут же заявившей, что под знаменем акмеизма объединились поэты слишком разные, не сводимые к единой поэтике. Неудивительно, что ни один из адамистов не присоединился ни ко второму, ни к третьему Цеху поэтов. Попытки «бунта» предпринимались и раньше, еще в 1913 году Нарбут подбивал Зенкевича выйти из группы акмеистов и основать собственную, из двух человек, или примкнуть к кубофутуристам, чей антиэстетизм Нарбуту был гораздо больше по душе, чем «тонкое эстетство Мандельштама». Любопытно, что и при этом всплывало имя Пушкина, отношение к которому и определило в конце концов расхождение: «Поистине, отчего не плюнуть на Пушкина?

¹ *Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1926. 29 августа. № 187. С. 2.

² *Городецкий С.* Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 48–49.

Во-первых, он — адски-скучен, неинтересен и заимствовать (в отношении сырого матерьяла) от него — нечего, во-вторых, отжил свой век»¹.

В определенном смысле можно было бы сказать, что «неоклассицизм» Цеха поэтов был акмеизмом, очищенным от адамизма. Но различия этим не исчерпывались. Сказывалась, кроме того, и неудовлетворенность узкими рамками самого акмеизма, как он был преподнесен в манифестах. Бывшие акмеисты искали возможностей расширить масштабы, горизонты поэзии, при одновременном устрожении формальных приемов. Научившись использовать интенсивную силу слова, они хотели применить свое умение на задачах, которые акмеизм перед собой не ставил, считая невыполнимыми.

То требующее воплощения содержание, которое мучило Адамовича с ранних лет, он теперь пытается выразить на более широком материале. Если в «Облаках» он пользовался преимущественно акмеистическими средствами, то теперь в ход пущен весь арсенал мировой литературы. Стих Адамовича в этот период становится строже и самостоятельнее. Характерные для акмеистов дольки вытесняются более классическими размерами, появляются сонеты, стилизации.

В «Чистилище» мир расширился, хотя и не слишком значительно, — от размеров комнаты до масштабов библиотеки. Книга пестрит звучными именами и названиями, мифологическими, литературными, историческими: Венера и Орфей, Гудруна и Саломея, князь Игорь и царевич Дмитрий, а также Троя, Версаль, Афины и вовсе уж экзотические Манчжурия или Ниагара. Ни в одном другом сборнике стихов Адамовича такого обилия имен нет. Возможно, тут сказался пример Мандельштама. Некоторые стихи Адамовича этого периода отдаленно напоминают мандельштамовское воспроизведение культурных эпох.

Свое знакомство с русской и мировой поэзией Адамович начал с конца, как это чаще всего и происходит, т.е. с ее последних достижений — русского и французского декадентства — и был покорен в первую очередь ими. Все его мироощущение в юности определялось именно этой поэзией, и первые пробы пера также шли в русле этих «последних веяний».

¹ ГЛМ. Ф. 247. Оп. 1.

Затем он по-настоящему прочувствовал мир поэзии классической, найдя в ней немало достоинств. Вот в этот период и выступает на арену понятие «неоклассицизма», под которым подразумевалась не только учеба у классиков, но еще и продолжение их дела, поддержание статуса поэзии на должном уровне, отказ свести ее только к игре и развлечениям.

«Парижская нота»

Третий и последний, зрелый этап в самосознании и лирике Адамовича почти совпадает с внешним событием эмиграции. Недостаточность «неоклассицизма», смутно ощущаемая всегда, стала все больше осознаваться Адамовичем. В 1924 году, размышляя о Брюсове, он написал: «Пороком брюсовского творчества навсегда осталось несоответствие его огромного чисто-словесного дарования его скудным замыслам, помесь блестящего стихотворца со средней руки журналистом»¹. «Серебряный век» русской поэзии из эмигрантского далека начал восприниматься во всей его сложности и величии, и Адамович все чаще принялся обращать свои взоры к символизму, к его грандиозным целям. Первые два-три года после прибытия в Париж в статьях его еще мелькают по инерции упоминания о «неоклассицизме», но потом плавно сходят на нет.

Происходит и переоценка французской литературы. Если раньше во всех статьях альманахов Цеха поэтов декларировалась учеба у Запада, то теперь, оказавшись «лицом к лицу с тем, что книги эти питает», Адамович вынужден был заявить о французской поэзии, что «поэзии русской — если не склонна она отречься от самой себя, — у нее почти нечему учиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним»².

Но самым значительным изменением и наиболее заметным со стороны было освобождение Адамовича от гумилевского влияния. Полного взаимопонимания у Адамовича с Гумилевым не было никогда, даже в самые первые годы посещения Цеха. Адамович был слишком самостоятельным, чтобы разделять все утверждения вождя акмеистов. Но внешние правила литературной игры

¹ Адамович Г. Литературные заметки // Звено. 1924. 3 ноября. № 92. С. 2.

² Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 173.

он соблюдал и сомнения высказывал чаще вслух, чем на бумаге.

В 1920 году Адамович писал Гумилеву из Новоржева о давней «привычке вести с Вами полу-оппозиционные разговоры <...> Меня чуть отпугивает только Ваше желание всех подравнять и всех сгладить, Ваш поэтический социализм к младшим современникам, — но даже тут я головой понимаю, что так и надо, и что нечего носиться с “индивидуальностью” и никому в сущности она не нужна. Хорошая общая школа и общий для всех “большой стиль” много нужнее»¹.

Характерна оговорка: «головой понимаю». Сердцем, стало бы, не принимал. Гораздо позднее он назвал «гумилевскую, цеховую выучку, очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью ремесла». И добавил о Блоке: «с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он»².

На четвертом году эмиграции Адамович сформулировал один из законов литературного созревания так: «Понимание необходимости для литературы быть лично-одухотворенной дается как намек, как проблеск человеку в начале его “пути”, затем при развитии в человеке ума и вкуса, исчезает и только много позже, к концу, к “закату” целиком и во всей полноте возвращается <...> в конце концов неизбежно приходит сознание, что все суета сует, все напрасно, тщетно и просто-напросто глупо, если ко второму не прибавить чего-то из первого и не утвердить за этим первым вечного и неоспоримого главенства»³. И хотя, формулируя это, от «заката» Адамович был еще очень далек (ему исполнилось всего 35 лет), это было сказано и о себе.

¹ Хранящееся в РГАЛИ (Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 145) письмо публиковалось трижды: *Тименчик Р.Д.* Неопубликованное письмо Георгия Адамовича Николаю Гумилеву // *Philologia: Рижский филологический сборник. Выпуск I: Русская литература в историко-культурном контексте. Рига: Латвийский университет, 1994. С. 109–112; Письмо Н.С. Гумилеву / Публ. Л. Володарской // Стрелец. 1996. № 2. С. 253–254; Новоржевский период Георгия Адамовича / Сост. и пред. О.А. Коростелева // Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 87–90.*

² *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 171, 175.

³ *Адамович Г.* Литературные беседы // *Звено. 1927. № 2. С. 67.*

В 1925 году Адамович знакомится с З. Гиппиус, и это можно считать начальной точкой отсчета, одним из побудительных толчков к пересмотру литературной, а в чем-то и жизненной позиции.

Влияние Гиппиус на Адамовича не стоит преувеличивать. Оно не было столь безоговорочным, как влияние Гумилева, с которым можно было спорить, но нельзя было не подчиняться и не соблюдать условий литературных баталлий, если уж находишься в том лагере, где он, Гумилев, генерал. Скорее это выразилось в установлении общих интересов, а для Адамовича еще и в востребовании тех граней духовной жизни, которым в Цехе не уделялось должного внимания.

Более того, влияние с самого начала было обоюдным, и на стихах сказалось в усвоении друг у друга некоторых манер и словечек, отдельных переключек, как когда-то было у Адамовича с братьями по Цеху поэтов. На какое-то время их устремления совпали, обнаружилось немало общего в литературных воззрениях и стихотворной практике. Отголоски споров Адамовича и Гиппиус, частично запечатленные в их переписке, можно найти в статьях и стихах обоих поэтов-критиков.

Окончательно эмансипировавшись в эмиграции от гумилевского влияния, Адамович отказался и от настойчиво выдвигаемой Цехом поэтов идеи мастерства как главной духовной ценности. Любопытно, что ему, бывшему члену Цеха, довелось в эмиграции выступить против этой идеи, ревностно защищаемой Ходасевичем и Набоковым, которые всегда относились к Цеху скептически, не приемля коллективизм в любой форме.

Гиппиус очень высоко оценивала стихи Адамовича, особенно когда пускалась в полную откровенность¹: «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны»; «Если б мне вздумалось кого-нибудь “в гроб сходя, благословлять” — то именно вас»². Определяя, чем именно привлекли ее

¹ Лишь с несколькими людьми Гиппиус любила быть предельно откровенной, в частности, в разные периоды жизни, с Розановым, Философовым, а в эмиграции, среди немногих, с Адамовичем. В письме от 14 января 1928 года Гиппиус призналась Адамовичу: «Вы один из самых живых людей из долгого моего антуража» (*Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus / Comp. by T. Pachmuss. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. P. 364*).

² *Ibid.* P. 383, 345.

стихи Адамовича, Гиппиус писала 14 февраля 1928 года: «Есть два рода стихов; два разных рода. С одним из них дело не в “нравлении”, а в “пронзении” <...> Я не знаю, как бы еще пояснить это “пронзение”, — заметьте, я претендую, что это свойство “самых стихов” <...> ваши стихи принадлежат именно к этому роду “пронзения”»¹.

В то же время некоторые черты у Адамовича она принять не могла, всячески пытаясь наставить его на путь истинный. Убедившись, что Адамович в своих заблуждениях упорствует, она махнула рукой и отступилась. Гиппиус смущало кое что в стихах Адамовича «с их свойствами декаденто-цинико-утонченности, заранее предрешающей безвыходность — главное — упивающейся этой безвыходностью. Упоение это и решает все»².

Гиппиус не нравилось безволие. В христианском аскетизме она не терпела прежде всего не смирение, а именно «блаженность безволия». Гиппиус ждала, что Адамович пойдет дальше вслед за «обещанным», начнет собирать всю свою волю для этого, а ему ближе оказалась эта самая «блаженность безволия».

Упоение и впрямь было. Адепты «парижской ноты» дорожили этим блаженным состоянием души при полном сознании безнадежности, упивались отчаянием, обреченностью и стремились воплотить в своем творчестве именно этот сложный комплекс «последних» чувств и настроений человека, оставшегося наедине с вечностью, с жизнью и смертью. Страстности, активизма в их стихах и не предполагалось, стихи должны были произноситься как бы случайно, сами собой, без усилия, в этом виделась их главная прелесть и главный яд, от которого трудно отделаться. Это проявлялось не только в стихах, но и в модусе жизни. 1 марта 1953 года Адамович писал Лидии Червинской: «По моему глубокому, глубочайшему убеждению в любовном отчаянии есть тоже крупица блаженства»³.

Адамович много расспрашивал Гиппиус о символизме, горя желанием узнать, что открывалось Блоку и Белому в их видениях, тускнеющих на бумаге, и даже ей, свидетельнице зарождения всего символизма, отказался поверить, что не было ничего, оставшись при своем мнении. Он был

¹ Ibid. P. 373.

² Ibid. P. 391–392.

³ Coll. Adamovich. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York.

убежден: «что-то действительно мелькнуло», какие-то «леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство, эфирные струйки <...> которыми никто прежде не дышал». Без этого «символизм <...> глуп и смешон»¹. Он был уверен, что нужно только дослушаться до этой музыки, и тогда появляется шанс сказать «самое главное». Условия, в которых оказалась эмигрантская поэзия, он считал наиболее подходящими для выполнения этой задачи: безвоздушное пространство чужой страны, одиночество, ощущение себя человеком, стоящим на берегу океана, в котором исчез материк.

Авторство термина «парижская нота» обычно приписывается Поплавскому. В статьях Адамовича это понятие впервые появляется в начале 1927 года². Что стояло за этими словами, было ли это литературной школой, направлением, кружком единомышленников, обо всем этом до сих пор нет единого понятия, тем более что вдохновитель «парижской ноты» высказывался о ней в разные годы по-разному. Может быть, наиболее точно определил ее Юрий Иваск, сказав, что это была «лирическая атмосфера», в которой писались стихи, а заслуга Адамовича в том, что «сумел создать литературную атмосферу для зарубежной поэзии»³.

Цель ставилась вполне определенная: «доделать то, что сделать не удалось, без отступничества и уж, конечно, без сладковатого хлороформа»⁴. Стихи должны были преобразить мир, на меньшее Адамович был не согласен. Идея преобразующего творчества — идея самая что ни на есть символистская, точнее, младосимволистская, владевшая Блоком, Белым, Вяч. Ивановым, которые рассматривали творчество как служение высшему, надмирному началу.

У Адамовича — с его скептицизмом — все несколько скромнее, уже нет убежденности, сомнение даже преобладает, но всегда брезжит робкий лучик надежды — «а вдруг?» В 1929 году Адамович писал о Блоке: «После попытки хотя бы заклинанием изменить все окружающее,

¹ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 74, 76, 169.

² Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 23 января. № 208. С. 1.

³ Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. 1950. № 23. С. 196.

⁴ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 174.

он признал свое поражение и сказал об этом честно, просто и смертельно грустно»¹. Адамович не оставлял подобных попыток, уже зная о поражении и заведомо обрекая себя на неудачу. Но без этих надежд творчество теряло свой смысл. Кроме же этого лучика надежды на чудо, рассчитывать больше было не на что. Творчество, по Адамовичу, преображает если не внешний мир, так по крайней мере душу творящего, пусть ненадолго, но дает ему заглянуть за пределы дольного мира или хотя бы напоминает о существовании миров иных. При этом, однако, необходима полная искренность, и в первую очередь с самим собой.

Адамович и раньше готов был повторить за своим учителем Анненским: «Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для *ощущений*, т.е. реального субстрата жизни, и для *настроений*, т.е. той формы жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, как в индивидуальную психологию <...> Мир, освященный нравственным и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, ибо он — я»².

Но теперь личностное начало выходит на первый план окончательно. Острая боязнь сфальшивить психологически, отдавшись напеву, написать не то, что есть, а то, что хотелось бы, запечатлеть не реальные переживания, не подлинные порывы человеческой души, а лишь вольные фантазии на эту тему или собственное умиление ими, нетерпение даже малейшей доли неоправданного прекраснотушия заставляли Адамовича тщательно взвешивать и выверять каждое слово. В канон «парижской ноты» это вошло первой заповедью. Адамович скорее готов был простить некоторую неуклюжесть стиха, в котором выражалась подлинное чувство, чем неискренность.

Две опасности он видел, уводящие с этого, по его мнению, единственно верного пути: желание отдаться на волю волн, пуститься во вдохновенный, но безответственный поток слов, в напевность и мечтательность, не поверяемую подлинным поэтическим видением и не сдерживаемую трезвым знанием о человеческой природе.

¹ Адамович Г. Восьмая годовщина // Последние новости. 1929. 15 августа. № 3067. С. 3.

² Анненский И. Ф. Книжки отражений. Л.: Наука, 1979. С. 206.

де. И другая опасность: старательное сочинение стихов, тщательная их отделка, внешнее совершенство, игра словами, за которой легко было спрятать отсутствие подлинных переживаний.

Подводя итоги, Адамович сказал, что «парижская нота» взялась за невыполнимые задачи, которые обязана была взять на себя эмигрантская литература, и добавил: «А отчасти это и наследие русского символизма, в том, что не было им досказано. Отцы может быть и отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают и в ней их не собьешь»¹.

«Одно, единое виденье...»

Основополагающий принцип стихов Адамовича — выразительный аскетизм. Аскетизм во всем — в выборе тем, размеров, в синтаксисе, словаре. Сознательный отказ от украшений, от полета, от диеза, вплоть до обеднения, до неуклюжести, до шепота. Все остальные возможности отклонялись, как слишком легкие, либо ненужные, во всяком случае, как неуместные в его личной поэтике: «Ощущаю как измену иных поэзий торжество»². Такая аскетическая сдержанность, очищенность, «апофатизм» приводили к стихам черно-белым, прозрачным, графическим.

В своем «апофатизме» Адамович был не одинок, отчасти это была общая для акмеистов черта, своеобразный протест против «инфляции священных слов»³ у символистов. Но Адамович пошел в этом направлении дальше всех, дальше Мандельштама, ставя своим идеалом стихи «без красок и почти без слов»⁴.

Размышляя над особенностями лирической поэзии, Ю.М. Лотман заметил, что любой «поэтический сюжет претендует быть не повествованием об одном каком-либо событии, рядовом в числе многих, а рассказом о Событии — главном и единственном, о сущности лирического мира»⁵.

¹ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 79.

² Адамович Г. Единство: Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967. С. 5.

³ Мандельштам О. Сочинения в двух томах. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 26.

⁴ Адамович Г. Единство: Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967. С. 5.

⁵ Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л.: Просвещение, 1972. С. 103–104.

Адамович стремился всю свою поэзию и каждое стихотворение в отдельности превратить именно в рассказ о «главном и единственном Событии», безжалостно отбрасывая все, что к этому Событию впрямую не относилось.

Такой подход не мог не отразиться на тематике его стихов. Собственно, основная тема была одна:

Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков.

Именно о нем и писал Адамович всю жизнь, его пытался воплотить в стихах. Отношения человека с этим виденьем и есть его тема. Редкие мгновения, когда брезжило что-то впереди, он и считал единственно достойными для запечатления в рифмованных строчках. Все остальное в жизни — лишь фон, скука, грусть, тоска по несбыточному.

Сиянье, свет появляются в стихах Адамовича как намек, как свидетельство о чем-то большем. Скука — ожидание иного, в то время как сияние — переход, а подчас и само обещание.

Благословенны будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит — «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

Никакой уверенности в исполнении этого обещания у Адамовича не было, более того, с годами надежда все слабела. И тогда вступал в силу комплекс, который Ю. Щеглов, говоря об Ахматовой, назвал «поэтикой обезболивания»¹. Адамович принимал судьбу и весь мир, как он есть, не делая ни малейших попыток изменить что-либо. По его мнению, обещанного нельзя приблизить никакими усилиями социального характера, да и не надо этого делать, искусственный рай его не привлекал. Обещанного можно было лишь дожидаться, надеясь на чудо преображения, и, разумеется, без всяких гарантий. Адамович был готов принять любой результат. Но надеяться не переставал и во всяком случае не изменил бы свое поведение. В этом была особая гор-

¹ Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Мир автора и структура текста: Статьи о русской литературе. Тераflu: Эрмитаж, 1986. С. 178–203.

дось: не определять поведение результатом, делать то, что следовало делать, не рассчитывая на непрременную выгоду; по сути дела, это было выполнением паскалевского пари, но с чуть иными психологическими мотивировками.

В статье «“Серебряный век” русской поэзии» Николай Оцуп, говоря об Адамовиче, сформулировал основное отличие искусства века серебряного и золотого. По его мнению, люди и в том, и в другом веке одинаковы. Последних «стихия делает великими... Художнику серебряного века не помогает стихия. Но организация человека все та же, и без союзника иррационального он все же делает свое дело. Героизм серебряного века в этом и состоит. И что-то в созданиях его художников, несмотря на неизбежную бледность, даже лучше искусства золотого. Там слишком уж все полногласно, слишком переливается через край. Здесь — мера человеческих сил. Все суше, беднее, чище, но и более дорогой ценой купленное, ближе к автору, более — в человеческий рост»¹.

А пока, в ожидании возможного чуда, оставалось лишь находить положительные стороны в нынешнем состоянии либо постараться заговорить себе зубы, отвлечься хотя бы чисто механическим, бессмысленным действием, наконец, ощутить блаженство в самой безнадежности. Еще один способ вынести земное существование — тот, о котором говорил П. Бицилли² — состоит в любви к миру и человеку, любви во что бы то ни стало. К убогому должному миру нужно относиться с нежностью и жалостью, ибо он очень хрупок и призрачен. Тут сама собой напрашивается параллель с Анненским, о котором Вяч. Иванов как-то заметил: «трогательное» ставил он в своей эстетике выше прекрасного³. Анненский и впрямь «всех пожалел», по выражению Ахматовой. Адамович верно рассмотрел «заполированными створками “Кипарисового ларца” <...> складки все той же шинели Акакия Акакиевича»⁴ и не захотел от них отказаться, несмотря на все свое эстетство. Его собственные «жалость» и «нежность» имеют тот же источник. Недаром Мандельштам предлагал Адамовичу

¹ Оцуп Н. Современники. Париж, 1961. С. 147.

² Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

³ Иванов Вяч. Борозды и межи. М.: Мусaget, 1916. С. 295.

⁴ Адамович Г.В. Памяти Анненского // Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 40.

поставить эпитафией ко всему творчеству строки: «Пускай скудеет в жилах кровь, / Но в сердце не скудеет нежность»¹.

«Начало и конец всякого мастерства»

Одним из канонов «парижской ноты» Адамович провозгласил «экономия средств», которую он называл «началом и концом всякого мастерства»². И здесь он был весьма безжалостен: «Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ по существу не окончателен, не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из “да” и “нет”, из “белого” и “черного”, из “стола” и “стула”, без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны!»³.

Жесткую экономию средств Адамович неуклонно поощрял у молодых парижских поэтов и сам стремился писать, «отказавшись от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, отдавая их серной кислотой»⁴. Прежде всего это был отказ от метафор, ярких образов, изощренной инструментовки, вообще от стихов, в которых «настойчивая выразительность заменяет истинную человечность»⁵.

Адамович разделял убеждение Потемби в том, что «умственное стремление человека удовлетворяется не образом самим по себе, а идеею, т.е. совокупностью мыслей, пробуждаемых образом и относимых к нему как к источнику»⁶. Он также суть стихотворения видел не в образах, а в том, что открывается за ними. Образы — лишь одно из средств для создания представления, цель же — добиться определенного настроения у человека, читающего

¹ *Иваск Ю.* Разговоры с Адамовичем (1958–1971) // Новый журнал. 1979. № 134. С. 98.

² *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 208.

³ Там же. С. 78.

⁴ Там же. С. 105.

⁵ *Адамович Г.В.* Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

⁶ *Потембия А.А.* Теоретическая поэтика. М.: Высшая школа, 1990. С. 154.

стихотворение. При этом образы могут иметь место или не иметь, это не существенно и ничего не прибавляет к ценности произведения, существенно лишь насколько точно передается настроение: «Если поэту “есть что сказать”, если ему доступно вдохновение, то он инстинктивно ищет слов, наименее способных отвлечь внимание от целого, от той “сущности”, которая разлита во всем стихотворении, а не цепляется за отдельные его части. Он не боится метафор и эффектов — они просто не нужны ему. С высот того, что виделось ему в минуты замысла, все это — мишура и ничтожество»¹.

Адамович полагал наиболее действенным образом не тот, который содержится в стихотворении, а тот, который создается в душе читающего это стихотворение. При этом яркие метафоры, красочные образы будут лишь отвлекать внимание, рассеивать его, заслонять то, ради чего стихотворение создается. С догадкой Анненского о том, что «самое страшное и властное слово, т.е. самое загадочное, — может быть именно слово *будничное*»², Адамович согласился бы полностью. Он считал, что «все большие, значительные поэты прошли одним и тем же стилистическим путем: от условно-поэтического словаря к полному прозаизму речи <...> к пренебрежению языковыми украшениями, в конце концов к суровой честности языка»³.

У Адамовича более высок удельный вес каждого слова, по сравнению со словом у символистов. Стихотворение символистов должно было «навеять» определенное настроение — мелодией стиха, его ритмом, звуковой инструментровкой (недаром символисты придавали такое значение скрытому смыслу, передаваемому звуками, — едва ли не большее, чем смыслу слов). На семантику слова внимания обращалось гораздо меньше, она была не столь уж существенна, — слово подбиралось как намек, не по основному значению, а по какому-либо одному из второстепенных, вызывающих боковые ассоциации, и легко могло быть заменено другим, столь же не обязательным, лишь бы оно вписывалось в общий эмоциональный фон стихотворения и удачно ложилось на ритмическую основу.

¹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 27 июля. № 130. С. 2.

² Анненский И. Книги отражений. Л.: Наука. 1979. С. 486.

³ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 9 ноября. № 145. С. 2.

Значение могло расплываться, частично распространяясь на другие слова и образуя единую ткань стихотворения с малосущественным общим значением, основная задача которого — указывать на первоисточник, на некий тайный смысл, создавать представление.

Адамович в зрелых стихах также стремился к тому, чтобы стихотворением переориентировать сознание читателя. Функция «навевания» сменилась у него функцией «пронзения», т.е. не околдовывания ритмом, но прояснения внутренней «музыки», настраивающей душу на должный лад. Обе функции, несмотря на все различия, выполняли транзитивную роль, т.е. текст стихотворения не был самоцелью, но должен был служить промежуточным звеном для передачи некоего высшего смысла, в самом стихотворении еще не заключающегося.

Задача усложнялась тем, что Адамович непременно хотел, чтобы стихотворение имело смысл и само по себе, как текст, причем смысл, приближенный к искомому, и только то, что невозможно передать значением слов, должно было выражаться самим строем стиха. Более того, каждое слово должно было быть семантически полноценным, со всеми оттенками его смысла, а не использоваться лишь как намек. Именно потому выбор его гораздо более труден, и заменить его другим нелегко. В идеале Адамович стремился к словам, которые заменить было бы вообще невозможно.

Требование семантически полноценного слова отчасти было реакцией на игру со словом и разрыв с логикой у европейских, прежде всего французских поэтов-авангардистов. По мнению Адамовича, поэзия в Европе, уже отказавшаяся к XX веку от надежд и веры, «вероятно именно поэтому легко отбросила логический ход речи <...> ей при этом не приходилось отбрасывать что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием»¹. У русской поэзии еще сохранялась по крайней мере надежда.

При всем том Адамович признавал, что в памяти от стихов «остается не смысл слов, а тембр голоса»². И здесь крылось одно из основных противоречий в его взглядах

¹ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 173–174.

² Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1939. 12 января. № 6499. С. 3.

на поэзию. Если остается не смысл, а тембр, то зачем столь старательно искать точные слова, не достаточно ли ограничиться точным тембром? Была ли это просто прихоть или невыветрившаяся причуда акмеизма? Или, как полагала З. Гиппиус, ответственность? Вероятно, присутствовали все эти моменты. Вряд ли Адамович пытался сам себе объяснить, зачем он этого требует, но упорно стоял на своем: «Поэтические образы подчиняются тем же законам, что и прозаическая речь. Они могут иметь какие угодно “вторые”, углубленные и неуловимые значения. Но прежде всего образ должен быть “забронирован” от обвинений в абсурдности. Слово прежде всего должно значить то, что оно действительно значит, а не то, чем поэту хочется его значение заменить. Торжество поэзии над “здравым смыслом” должно быть таинственно и от “непосвященных” скрыто. Иначе оно слишком дешево»¹.

Еще одна грань этого же противоречия — заведомая невозможность найти точные слова для «невыразимого». Здесь Адамович целиком разделял замечание Анненского о том, что «есть реальности, которые, по-видимому, лучше вовсе не определять»². Он и сам считал: «Ясности нашей есть предел. Но дойдя до этого предела, надо речь оборвать, надо иметь мужество умолкнуть. Сказав все, что было в его силах, поэт должен отказаться от соблазняющей его лжи, хотя бы вследствие этого отказа поэзия оказалась бы внешне обедненной»³.

Гораздо честнее Адамовичу казалось признаться прямо в стихах о невыразимости, чем давать точные дефиниции тому, что по природе своей не может быть определено и выражено в точном слове: «Лучше намек на истину, чем точность в заблуждении»⁴. Вполне допускались обороты вроде: «Какой-то божественный свет, / Какое-то легкое пламя, / Которому имени нет»⁵, в то время как «лучезарные осиянности» отвергались категорически. Это было, по мнению Адамовича, украшением, причем украшением

¹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

² Анненский И. Книги отражений. Л.: Наука, 1979. С. 201.

³ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 1.

⁴ Адамович Г. Об Алексее Толстом и его последних произведениях // Современные записки. 1927. № 33. С. 428.

⁵ Адамович Г. «Без отдыха дни и недели...» // Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2.

натужным и подлинной человеческой психологии несвойственным, так человек не мог бы сказать наедине с самим собой. А стихи Адамовича предназначались прежде всего для того, чтобы человек бормотал их самому себе.

То, что обращение к этим темам заведомо обрекает поэзию на неопределенность, Адамович прекрасно сознавал: «Лермонтову по природе совершенство недоступно. Какие слова нашел бы он для “звуков небес”? Нет этих слов на человеческом языке. “Где-то”, “что-то”, “когда-то”, “когда-нибудь”»¹.

Выходом из создавшегося противоречия стала особая форма выражения мысли, ярче проявившаяся в критических статьях, но и в стихах Адамовича дававшая о себе знать. Он не стал пытаться определять невыразимое, а нашел другой прием: говорить «вокруг» него, все время приближаясь к нему с разных сторон и умолкая в нужном месте, не переходя границы, наполняя смыслом пропуски каких-то звеньев логической цепи.

Адамович высоко ценил такое умение у других поэтов, в его собственной поэтической практике недоговоренности также играли большую роль, да и для всех поэтов «парижской ноты» стали одним из неписанных правил. Сам Адамович усматривал в этом не прием, а настоятельную необходимость: «Недоговоренность может быть искусственным приемом. Тогда ей невелика цена. Но она бывает неизбежной, потому что есть вещи, которые сложнее и тоньше человеческого языка. Не только внутреннее целомудрие, но и стилистическое чутье подсказывает необходимость некоторой сдержанности и даже условности на языке, ставит предел индивидуальной языковой разнузданности. О всех действительно «великих» книгах можно сказать, что в них есть подводное течение. Есть не только слова, но и молчание. В словах не все уместилось. Отблеск оставшегося “за словами” заливают всю книгу»².

В своем стремлении избавиться от метафор и прочих украшений Адамович подчас бывал даже излишне категоричен: «Что это за поэзия, которая опасается, как бы что-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть

¹ Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1927. 17 апреля. № 220. С. 2.

² Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 3 августа. № 131. С. 2.

уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет»¹. Так старательно «стирая случайные черты», немудрено было смахнуть ненароком и что-нибудь из неслучайного. Юрий Иваск справедливо полагал, что Адамович «сам себе мешал писать: не хотел быть одержимым стихией стиха, чтобы не солгать, чтобы не быть обманутыми какими-то бессмысленными мечтаниями»².

Опасность «чистого листа бумаги» Адамович отлично понимал и посвятил этой теме немало страниц своих «Комментариев», но причины видел несколько иные. Главной из них ему казалась не столько боязнь фальши, сколько стремление к «единственно нужному»: «Стоит только писателю возжаждать “вещей последних”, как литература <...> начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться и превратится в ничто <...> Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими отказами. И вот, наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть»³.

Понимая все это, он, тем не менее, твердо стоял на своем. Слишком высокие требования предъявлял он к поэзии, слишком много ждал от нее, чтобы допустить по отношению к ней любого рода легкомыслие. Он считал, что «поэзия не должна быть мечтой, капризом, сновидением, прихотью, экзотической фантазией, словесной игрой — иначе ей грош цена»⁴.

Воззрения Адамовича на сущность поэзии были весьма своеобразными и даже его соратниками нередко признавались странными⁵. Он считал, что поэзия существует, «чтобы служить великому человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое может быть и свершится в далеких грядущих веках»⁶. С крайним

¹ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 174–175.

² Иваск Ю. Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // Новый журнал. 1972. № 106. С. 286.

³ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 8–9.

⁴ Адамович Г. Мои встречи с Алдановым // Новый журнал. 1960. № 60. С. 100.

⁵ Чинтов И. Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 146.

⁶ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 104.

максимализмом Адамович утверждал, что стихи должны быть «ответом на все». От поэтов (и от себя в том числе) он требовал невозможного: «найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими»¹. По свидетельству Игоря Чиннова, «Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия — чтобы свершилось мировое чудо, а затем пусть, как молния, поэзия исчезнет <...> Стихов, в которых это стремление стать острием, вонзающимся в небо, ослаблено орнаментом, он не признавал: “лучше останемся без стихов”»². Ю. Иваск был прав, утверждая, что здесь «Адамович продолжает по-своему идеологию символистов (“все или ничего”, мессианизм, Достоевщина)»³.

Свою положительную поэтическую программу, свой идеал Адамович изложил в «Комментариях», в известном определении поэзии: «Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывается пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, “последний ключ”, от которого он уже не оторвется»⁴.

Почти полную невозможность достичь этого идеала Адамович хорошо понимал (потому, отчасти, количество написанных им стихов невелико), однако на меньшее был не согласен, по крайней мере, в теории. Обрекая себя на сокращение числа тем и сведение к минимуму средств выражения. Перефразируя изречение Манделъштама: «Дух отказа, проникающий поэзию Анненского, питается сознанием невозможности трагедии в современном русском

¹ Там же. С. 70.

² Чиннов И. Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 147.

³ Из письма Ю. Иваска В. Маркову от 29 января 1956 года // Собрание Жоржа Шерона. Лос-Анджелес.

⁴ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 6–7.

искусстве»¹, можно было бы сказать, что дух отказа, проникающий поэзию Адамовича, питался сознанием невозможности поэзии.

На практике Адамовичу не всегда удавалось буквально следовать всем своим заповедям, иногда «желание выйти за пределы аскетической поэзии перебарывало»². Но все его «лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего “неокончателного”, необязательного, декоративного»³.

То, что в лучших своих стихах Адамович цели достигал, отметили, не сговариваясь, многие из его современников. Стихи «пронзали». Игорь Чиннов, вряд ли зная о характеристике, данной стихам Адамовича Зинаидой Гиппиус в частном письме, использует, однако, те же эпитеты: «щемяще, пронзительно, незабываемо»⁴.

Рецензируя сборник стихов «На Западе», Гиппиус обратила особое внимание на то, как эти стихи воздействуют на читателя: «Что такое стихотворная магия? Откуда она берется? Ни музыкальность (ох, уж эта музыкальность!), ни одушевление, ни тонкая мысль — ее еще не создают. Она в неожиданном сочетании слов, когда сами слова, в отдельном значении гаснут, тают, отступают, обнажая то, что за ними. И это “за ними” дает читающему известный душевный толчок, т.е. действует как настоящее магическое заклинание»⁵.

Аналогичное ощущение, каждый по-своему, выразили и другие читатели: «некоторые стихотворения напоминают химические формулы — названы и дозированы элементы, реакция должна произойти уже в сознании читателя»⁶; «Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом “дне сознания”»⁷.

¹ *Мандельштам О.* Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 175.

² *Чиннов И.* Вспоминая Адамовича // Новый журнал. 1972. № 109. С. 139.

³ Там же. С. 140.

⁴ Там же. С. 140–141.

⁵ Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

⁶ *Вадвич Н.* Русские поэты // Русский временник. 1939. № 3. С. 126.

⁷ *Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама: Главы из задуманной книги // Мосты. 1968. № 13–14. С. 235.

«Корабль сколочен из чужих досок,
но у него своя статья»

В ранних юношеских стихах первого сборника многие приемы, мотивы и образы предшественников еще не совсем органично вошли в ткань стиха, и это бросается в глаза. Ахматовские интонации, отдельные мотивы и лексические обороты Анненского или Блока порой «торчат» из стиха, не впитанные им полностью. Но что это именно новая поэтика, у рецензентов сомнения не было. Впоследствии Гиппиус имела полное право заявить о его зрелых стихах: «Адамович абсолютно свободен от подражательности; но параллелям его поэзия не чужда»¹.

Параллелям поэзия Адамовича и впрямь не чужда. В стихах его нетрудно найти переклички, ассоциации, реминисценции со многими членами Цеха поэтов, и исследователи акмеистской поэзии (Н. Богомолов, В. Крейд) в своих работах приводили примеры то схожих интонаций, то совпадающего рисунка стиха, что вовсе не свидетельствует о каком-то неумении и тем более плагиате. Такие, выражаясь языком В. Жирмунского, «синтетические переработки»² в двадцатом веке были свойственны не одному Адамовичу. Цитатна была в изрядной мере поэзия многих акмеистов — Георгия Иванова³, Ахматовой⁴. О Мандельштаме же, воссоздающем «архитектонику культур»⁵, Б. Эйхенбаум верно сказал, что в его стихах даже «собственные слова звучат непривычно-торжественно — как цитаты»⁶. Цитатна, хотя и в меньшей степени, поэзия других членов Цеха. Мандельштам центонность считал даже чем-то обязательным для современного поэта: «Во время

¹ Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3. Подп.: Антон Крайний.

² Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 139.

³ Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Тенaflu: Эрмитаж, 1989. С. 41–42.

⁴ См., например, главу «Многообразие форм чужого слова у ранней Ахматовой» в диссертации Р.Д. Тименчика «Художественные принципы предреволюционной поэзии Анны Ахматовой» (Тарту, 1982. С. 111–146), а также: Тамура Мицумаса. О чужом голосе в ранних стихах Анны Ахматовой // Царственное слово: Ахматовские чтения. Выпуск I. М.: Наследие, 1992. С. 119–125.

⁵ Гинзбург Л. О лирике. Л.: Советский писатель, 1974. С. 267.

⁶ Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 447–448.

расцвета мишурного российского символизма и даже до его начала Иннокентий Анненский уже являл пример того, чем должен быть органически поэт: весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья»¹.

Анализируя стихи членов Цеха поэтов, даже не всегда можно установить с исчерпывающей точностью, кто именно когда у кого брал и кто на кого влиял. Дело, кажется, вообще не во влиянии. «Параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и явные цитаты, намеки на известное стихотворение, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом, — все эти приемы не так уж редки в творчестве членов Цеха поэтов», — пишет В. Крейд, объясняя это тем, что «акмеизм был поэтической школой в наиболее полном значении этого слова»². Думается, объяснение не только в поэтической школе. Если бы заимствования ограничивались только рамками Цеха, это было бы всего лишь игрой, характерной для литературного кружка. У акмеистов это было чем-то большим, нежели просто игра.

Об истоках акмеистской центонности можно строить разные предположения. Можно вспомнить, что центонна была поэзия Теофиля Готье, одного из четырех краеугольных камней, на которых Гумилев намеревался воздвигнуть здание акмеизма³. Вполне убедительно и объяснение Мандельштама, назвавшего акмеизм «тоской по мировой культуре». При стремлении вобрать в стих всю вселенную и создать завершенное произведение трудно пройти мимо уже созданного. Р. Тименчик считал, что «в конечном пределе поэзия акмеистов тяготеет к анонимной чужой речи. Это неоднократно декларировалось учителем акмеистов Анненским, видимо, не без влияния известных рассуждений Шопенгауэра о том, что истинный стих от века заключен в языке»⁴.

Адамович разделял мнение, что мир языка един, однажды найденные слова звучат вечно, и им уже не надо искать замену, достаточно произнести их, и вспышка в

¹ Мандельштам О. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 175.

² Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Терафлю: Эрмитаж, 1989. С. 41.

³ О цитатности у Готье см. предисловие Г. Косикова к книге: Готье Теофиль. Эмалы и камеи. М.: Радуга, 1989. С. 17–18.

⁴ Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Тарту, 1981. С. 187.

сознании произошла, гигантский ряд образов и смыслов пришел в движение, можно идти дальше, открывая и создавая новые смыслы.

Как большинство акмеистов, Адамович просто-напросто не считал удачно найденные слова чужими. Сказанное кем-то — сказано для всех, открыто для всех, и каждый может этим воспользоваться, а задача поэта — находить столь точные выражения, чтобы они казались единственно возможными, незаменимыми.

Мнение это восходило к ранним убеждениям акмеистов в том, что язык в общем адекватен не только внешнему миру, но и миру чувств, хотя гораздо скуднее, беднее в оттенках, не все сразу можно выразить в словах, но в общих чертах — принципиальное совпадение. (Сыграло свою роль и отталкивание от символистских претензий пользоваться только словами высокого стиля, а также противостояние футуристскому устремлению в заумь.) По мнению акмеистов, удачно найденная фраза заполняет пустоту и уменьшает разрыв между наличным миром и возможностями языка. Поэтому неудивительны в стихах Адамовича переключки не только с Георгием Ивановым или Ахматовой, но и авторами, ничего общего с Цехом не имеющими, например, с Буниным или З. Гиппиус.

В ранних стихах Адамовича ощутима некоторая неуклюжесть, литературность при использовании цитат. Прямые цитаты, используемые мотивы, целые темы слишком уж хрестоматийны, и обвинения рецензентов в книжности воспринимаются справедливыми. Позднее цитата войдет плоть стиха неназванной, без акцентирования внимания на ней. Да и сам характер цитирования изменится, прямые упоминания сменятся глубинными ассоциациями, вплавленными органично в ткань стиха, что позволит П. Бицилли утверждать в рецензии на книгу Адамовича «На Западе»: «Почти все стихотворения, вошедшие сюда, можно назвать вместе “философским диалогом”, в духе петрарковских: беседа души со сродными душами — невзирая на все различия индивидуальностей, моментов, стилей. Эта “диалогичность” стихов Г. Адамовича проявляется всегда в согласии с формой и замыслом, на самые разнообразные лады. То это прямые, хотя и отрывочные цитаты из Пушкина, Лермонтова, то использование чужих образов, звучаний, речевого строя, причем иногда так,

что в одном стихотворении осуществляется *со-гласие* двух или нескольких голосов»¹.

*«Кто поверит словам,
которым не совсем верю я сам?»*

Не темы объединяли поэтов, которых Адамович считал своими учителями. Скорее наоборот, тематически они стояли особняком в литературных течениях, к которым примыкали. По верному замечанию современного исследователя, «характерных для русского символизма тем у Анненского не было вообще — мистико-религиозной и космической»². То же самое Ю. Тынянов писал об Ахматовой: «Когда Ахматова начинала, она было нова и ценна не своими темами. Почти все ее темы были “запрещенными” у акмеистов»³. Зато все они близки между собой изощренным психологизмом лирики, стремлением передать в стихе тончайшие переживания, настроения, и, главное, предельной искренностью. Именно искренностью, правдивостью отличаются все кумиры Адамовича, как поэты, так и прозаики: Блок, Анненский, Ахматова, Л. Толстой. Едва ли не больше всего остального ценил Адамович нетерпение фальши, даже в минимальной дозе. Свою первую в жизни рецензию он начал словами: «Если наших поэтов еще не разлюбили, то им уже, конечно, перестали верить»⁴, и приводил Ахматову, как редкое исключение. Это неприятие фальши и стало одним из краеугольных камней «парижской ноты». Об искренности, как одной из главных составляющих лирики, Адамович не уставал напоминать всю жизнь. Одна из его последних статей, «Поэзия в эмиграции», завершалась тем же риторическим вопросом: «кто поверит словам, которым не совсем верю я сам?»⁵. И требование точных слов было у него в первую очередь требованием слов искренних. В этом не было ничего особенно нового, еще Буало считал, что «лирика сильна лишь чувством неподдельным». Но после

¹ Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

² Черный К.М. Поэзия Иннокентия Анненского. Диссертация... М., 1974. С. 112–114.

³ Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 174.

⁴ Адамович Г. «У самого моря» // Голос жизни. 1915. № 19. С. 6.

⁵ Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Victor Kamkin Inc., 1967. С. 185.

бури и натиска авангардной поэзии начала века, периода исканий, «бездарной погони за обновлением формы»¹, он считал необходимым напомнить о забытой истине.

По мнению Адамовича, «все можно выдумывать, но только не человеческую психологию». И Лев Толстой для него велик, кроме всего прочего, еще и тем, что он психологию «не выдумывает, а находит»².

Задача лирики — воссоздавать психологические состояния, напрямую, либо отталкиваясь от предметов внешнего мира, которые тогда служат лишь фоном и сами эмоционально окрашиваются, получая часть эмоционального заряда эпитета. Адамовича интересовала прежде всего «внутренняя речь», только еще зарождающаяся, почти не оформившаяся в слова, та «музыка», которую иногда улавливает душа поэта, поднимаясь над обыденным состоянием.

Стих Адамовича, лишенный напевности, с неброскими рифмами, позволял, тем не менее, передавать нюансы эмоциональных состояний интонацией. Если в лирике Бальмонта «интонация тесно связана с повторениями звуков и внутренними рифмами»³, то у Адамовича она гораздо меньше определялась фонетикой. Жирмунский считал, что подобная манера интонирования «зависит прежде всего от смысла слов, точнее — от общей смысловой окраски, а следовательно — от художественно-психологического задания»⁴. Адамович ставил себе задачей воплотить в слове в каждом конкретном случае ту единственную интонацию, которая отразит именно это движение души.

М. Волошин как-то раз дал характеристики поэтическим голосам своих современников. Так, он утверждал, что общая интонация И. Анненского — «академически торжественный, накрахмаленный баритон, который вдруг переходит в мастерское почти клоунское звукоподражание и кончает неожиданно простым жутким усталым “вполголоса”, захватывающим своей обнаженной человеческой искренностью»⁵. У Ахматовой Эйхенбаум

¹ Адамович Г. Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. № 2. С. 3.

² Адамович Г.В. Толстой: Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года. Париж, 1960. С. 9.

³ Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 64.

⁴ Там же. С. 90.

⁵ Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. С. 770.

выделял разговорную, повествовательную интонацию, сменяющуюся торжественной, витийственной. Голос Адамовича очень тих, это даже не «вполголоса», а просто шепот, пронзительный, обреченный, а общая интонация — сосредоточенно-ожидающая, медитативная. Гумилев в рецензии на первый сборник Адамовича заметил: «Звук дребезжащей струны — лучшее, что есть в поэзии Адамовича и самое самостоятельное»¹. Этот звук дребезжащей струны остался у него навсегда.

Гумилев говорил о «коротком дыхании» Ахматовой. У Адамовича оно еще короче. Его стихи буквально испещрены точками и многоточиями. Разрывы между опорными словами еще более увеличились, и эти пробелы, провалы в стихе ничем не заполняются, ибо предназначены для заполнения читательским сознанием. Плавность и напев ослаблены, дыхание словно затруднено. И дело здесь не в enjambements, у Ахматовой нередко присутствующих; переносить часть предложения в другую строку просто не требуется, настолько эти предложения коротки.

Скачки от одного к другому очень резки. Автор как будто спорит с самим собой, то и дело сам себя перебивая. Это уже даже не разговорный язык, а скорее обрывки мыслей, бормотанье себе под нос, полусшепот, неупорядоченный до конца поток сознания, только еще начинающий воплощаться в речь. Слово как будто всякий раз приходит в последний момент, после того, как были сказаны предыдущие. Стихотворение произносится каждый раз как будто заново рождается сейчас, здесь, в процессе бормотания. Только в этом смысле можно говорить о настоящем времени в стихах: оно настает всякий раз, когда читается стихотворение. Это не уловленный и затем описанный миг, это мгновенье именно воплощенное, точнее, воплощаемое, лирика в первоначальном смысле слова.

П. Бицилли в своей рецензии остроумно охарактеризовал этот тип поэзии как «придаточные предложения без главных»².

Лирическая тема решается в диалоге, столкновении двух точек зрения, в мучительных сомнениях. Это либо два спорящих голоса, либо возражения самому себе, но в

¹ Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 26.

² Современные записки. 1939. № 69. С. 383.

обоих случаях движение мысли рождается в этих сомнениях и колебаниях.

Если всмотреться пристальнее в этот второй голос, то обнаруживается, что источник его определить не так уж просто. Если у Ахматовой «постоянные обращения ко второму лицу делают присутствие рядом с героиней других лиц, связанных с нею теми или другими отношениями, очень ощутимым»¹, то у Адамовича такие стихи — скорее редкое исключение. Жирмунский считал даже, что у Ахматовой «мужской образ, впечатление мужской красоты изображены до полной зрительной ясности»². Во всяком случае, адресат стихов Ахматовой, «ты», к которому она обращается, вполне определен: это либо сам объект любви, либо посредник (часто читатель), которому повеяется история отношений. Адресат Адамовича далеко не так ясен: это обращение не то к собеседнику, о котором ничего не известно, не то к самому себе. Вполне определен и лирический герой Ахматовой — он приближен к автору настолько, что Эйхенбаум уверял, что из стихов Ахматовой: «мы знаем ее наружность, ее одежду, ее движения, жесты, походку. Мы постепенно узнаем ее прошлое <...> знаем места, где она жила и живет <...> знаем, наконец, ее дом, ее комнаты»³. Ничего подобного нельзя было бы вынести из стихов Адамовича. Никаких мелких деталей, особенностей частной жизни нет и в помине. Не всегда можно даже определить, откуда, из чьих уст исходит авторский голос. Образа автора, авторского «я» как определенного центра организации текста, зачастую нет. И это неслучайно.

Последовательно очищая стихи от всего, что можно было выбросить, Адамович исключил оттуда не только посторонние персонажи, но и тщательно избавился от авторских черт частного человека. Образ автора исчез из стихов почти полностью, слившись с лирическим героем и одновременно с читателем. Неважно, к читателю, к собеседнику или к самому себе обращается автор то в третьем, то во втором лице. Любое «я», равно как любое же «ты» и «он» обращены одинаково к себе самому, к себе-

¹ *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1986. С. 436.

² *Жирмунский В.М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977. С. 118.

³ *Эйхенбаум Б.М.* О прозе. О поэзии. Л.: Художественная литература, 1986. С. 436.

седнику, к любому человеку вообще, они равновелики и обозначают просто человека на том его уровне, когда безразлична любая разница в людях. Такое стихотворение, в сочетании с разговорной интонацией, начинает походить на медитативное упражнение и предназначается не кому-то конкретно, а всем, то есть любому, кто захочет и сумеет им воспользоваться. Читатель сам поневоле становится действующим лицом, лирическим героем и отчасти автором этих стихов, ибо их нельзя читать, не переживая одновременно их содержания.

* * *

В поэзии Адамовича шло дооформление процессов, общих для литературы рубежа веков: психологизация лирики, идущая вслед за достижениями психологической прозы XIX века, та «зависть к прозе, которая охватила поэтов»¹, дальнейшее трезвение слова (после символистской глоссолалии, упоения словом у Гумилева и Мандельштама). В эмиграции он попытался синтетически объединить в своем творчестве лучшие достижения двух ведущих поэтических систем начала века — акмеизма и символизма, что обусловило одновременно и достоинства его поэзии, и слабости ее.

В каком-то плане это было попыткой осмыслить пути и судьбы русской поэзии серебряного века, а также выводом из всех ее свершений, послесловием к ней.

¹ Эйхенбаум Б.М. О литературе. М.: Советский писатель, 1987. С. 446.

СТИХИ

«ЕДИНСТВО» (1967)

* * *

Стихам своим я знаю цену.
Мне жаль их, только и всего.
Но ощущаю как измену
Иных поэзий торжество.

Сквозь отступленья, повторенья
Без красок и почти без слов,
Одно, единое виденье,
Как месяц из-за облаков,

То промелькнет, то исчезает,
То затуманится слегка,
И тихим светом озаряет,
И непреложно примиряет
С беспомощностью языка.

* * *

Тихим, темным, бесконечно-звездным,
Нет ему ни имени, ни слов,
Голосом небесным и морозным
Из-за бесконечных облаков,
Из-за бесконечного эфира,
Из-за всех созвездий и орбит,
Легким голосом иного мира
Смерть со мной все время говорит.

Я живу, как все: пишу, читаю,
Соблюдаю суету сует...
Но, прислушиваясь, умираю
Голосу любимому в ответ.

* * *

Ни с кем не говори. Не пей вина.
Оставь свой дом. Оставь жену и брата.
Оставь людей. Твоя душа должна
Почувствовать – к былому нет возврата.

Былое надо разлюбить. Потом
Настанет время разлюбить природу,
И быть все безразличней, – день за днем,
Неделю за неделей, год от году.

И медленно умрут твои мечты.
И будет тьма кругом. И в жизни новой
Отчетливо тогда увидишь ты
Крест деревянный и венок терновый.

* * *

Ты здесь опять... Неверная, что надо
Тебе от человека в забытьи?
Скажи на милость, велика отрада –
Улыбки, взгляды, шалости твои!

О, как давно тебе я знаю цену,
Повадки знаю и притворный пыл.
Я не простил... скорей забыл измену,
Да и ночные рассказы забыл.

Что пять минут отравленного счастья?
Что сладости в лирическом чаду?
Иной, иной «с восторгом сладострастья»
Я тридцать лет тебя напрасно жду.

Пройдемся, что ж.. То плача, то играя,
То будто отрываясь от земли,
Чтоб с берегов искусственного рая
Вернуться нищими, как и пришли.

И мы выходим... Небо? Небо то же.
Снег, рестораны, фонари, дома.
Как холодно и тихо. Как похоже...
Нет, я не брежу, не схожу с ума,

Нет, я не обольщаюсь: нет измены.
Чуть кружится как прежде голова,
С каким-то невским ветерком от Сены
Летят как встарь послушные слова,

День настает почти нездешне яркий,
Расходится предутренняя мгла,
Взвивается над Елисейской аркой
Адмиралтейства вечная игла,

И в высоте невысказанно морозной,
В сияющей, слепящей вышине
Лик неизменный, милосердный, грозный,
В младенчестве склонявшийся ко мне!

Спасибо, друг. Не оставляй так скоро,
А малодушие ты мне прости.
Не мало человек болтает вздора,
Как говорят, «на жизненном пути».

Не забывай. Случайно, мимоходом,
На огонек, – скажи, придешь?

* * *

Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее небо глядели,
Влюблялись... И то не всегда.

И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.

* * *

По широким мостам... Но ведь мы все равно
не успеем,
Этот ветер мешает, ведь мы заблудились в пути,
По безлюдным мостам, по широким и черным аллеям
Добежать хоть к рассвету, и остановить, и спасти.

Просыпаясь дымит и вздыхает тревожно столица.
Окна призрачно светятся. Стынет дыханье в груди.
Отчего мне так страшно? Иль может быть все это
снится,
Ничего нет в прошедшем и нет ничего впереди?

Море близко. Светает. Шаги уже меряют где-то.
Будто скошены ноги, я больше бежать не могу.
О, еще б хоть минуту! Но щелкнул курок пистолета.
Не могу... все потеряно... Темная кровь на снегу.

Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова.
Тридцать градусов холода. Тускло сияет гранит.
И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.

<1921>

* * *

«...может быть залог».

Пушкин

«О, если правда, что в ночи...»
Не правда. Не читай, не надо.
Все лучше: жалобы твои,
Слез ежедневные ручьи,
Чем эта лживая услада.

Но если... о, тогда молчи!
Еще не время, рано, рано.
Как голос из-за океана,
Как зов, как молния в ночи,
Как в подземельи свет свечи,
Как избавление от бреда,
Как исцеленье... видит Бог,
Он сам всего сказать не мог,
Он сам в сомненьях изнемог...
Тогда бессмер... молчи!.. победа,
Ну, как там у него? «залог».

<1922>

* * *

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты, и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

* * *

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире,
В надзвездной вышине,
В непостижимой тьме, в невероятном мире
Ты все же внемлешь мне,

То хоть бы только раз...» Но длилось промедленье,
И все слабей дыша,
От одиночества и от недоуменья
Здесь умерла душа.

* * *

Слушай – и в смутных догадках не лги.
Ночь настанет, и какая: ни зги!

Надо безропотно встретить ее,
Как ни сжималось бы сердце твое.

Слушай себя, но не слушай людей.
Музыка мира все глуше, бедней.

Космос, полеты, восторги, война, –
Жизнь, говорят, измениться должна.

(Да, это так... Но не поняли вы:
«Тише воды, ниже травы»).

* * *

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!
Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели
И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью,
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность...
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой,
Конец, навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь, я прощаюсь с тобой!

<1931>

* * *

Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...
И оборвалась речь сама собою.
На камне женщина поет без слов,
Над нею небо льдисто – голубое.

О верности, терпении, любви,
О всех оставленных, о всех усталых...
(Я здесь, я близко, вспомни, назови!)
Сияет снег на озаренных скалах,

Сияют сосны красные в снегу.
Сон недоснившийся, неясный, о котором
Иначе рассказать я не могу...

Твоим лесам, Норвегия, твоим озерам.

<1924>

* * *

Светало. Сиделка вздохнула. Потом
Себя осенила небрежным крестом
И отложила ненужные спицы.
Прошел коридорный с дежурным врачом.
Покойника вынесли из больницы.

А я в это время в карты играл,
Какой-нибудь вздор по привычке читал,
И даже не встал. Ничего не расслышал,
На голос из-за моря звавший не вышел,
Не зная куда, без оглядки, навек...

А вот, еще говорят – «человек»!

* * *

Да, да... я презираю нервы,
Истерику, упреки, все.
Наш мир – широкий, щедрый, верный,
Как небеса, как бытие.

Я презираю слезы, – слышишь?
Бесчувственный я, так и знай!
Скажи, что хочешь... тише, тише...
Нет, имени не называй.

Не называй его... а впрочем
Все выдохлось за столько лет.
Вспоминанья? Ключья, ключья.
Надежды? Их и вовсе нет.

Не бойся, я сильнее другого,
Что хочешь говори... да, да!
Но только нет, не это слово
Немыслимое:
никогда.

* * *

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, немного было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому?
Как на большой дороге, под дождем,
Под ледящим ветром, к дому, к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Все ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

* * *

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнание.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».

Нет доли сладостей – все потерять.
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

* * *

Что там было? Ширь закатов блеклых,
Золоченных спицей легкий взлет,
Ледяные розаны на стеклах,
Лед на улицах и в душах лед.

Разговоры будто бы в могилах,
Тишина, которой не смутить...
Десять лет прошло, и мы не в силах
Этого ни вспомнить, ни забыть.

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое – просто города.

* * *

Всю ночь слова перебираю,
Найти ни слова не могу,
В изнеможеньи засыпаю
И вижу реку всю в снегу,
Весь город наш, навек единый,
Край неба бледно-райски-синий,
И на деревьях райский иней...

Друзья! Слабеет в сердце свет,
А к Петербургу рифмы нет.

* * *

Когда успокоится город
И смолкнет назойливый гам,
Один выхожу я из дому,
В двенадцать часов по ночам.

Под черным, невидимым небом,
По тонкому первому льду,
Не встретив нигде человека,
Не помня дороги, иду.

И вижу широкую реку,
И темную тень на коне,
И то, что забыла Россия,
Тогда вспоминается мне.

Но спит непробудно столица,
Не светит на небе луна.
Не бьют барабаны. Из гроба
Никто не встает. Тишина.

Лишь с воем летя от залива
И будто колебля гранит,
Сухой и порывистый ветер
Мне ноги снежком порошит.

<1922>

* * *

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе

Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям, кометам?

Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой... Ну да, слова.
Ну да, литература... Надо проще.

Был сад во тьме, был ветерок с высот,
Две-три звезды, – что ж не простого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет, только тот,
Кто знал...» – мне одному ответом.

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

«Нет, только тот...» Пойми, я не могу
Ясней сказать, последним снам не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.

Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно... нет, не бывает...

Но если все-таки... не будет, ложь...
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-нибудь пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,

Из глубины веков я вскрикну: да!
Чрез миллионы лет, но как сегодня,
Как солнце вечности, о, навсегда,
Всей жизнью и всей смертью – помню!

* * *

Наперекор бессмысленным законам,
Наперекор несправедной судьбе
Передаю навеки я всем влюбленным
Мое воспоминание о тебе.

Оно как ветер прошумит над ними,
Оно протянет между ними нить,
И никому неизвестное имя
Воскреснет в нем и будет вечно жить.

О, ангел мой, холодную заботу,
Сочувствие без страсти и огня
Как бы по ростовщическому счету
Бессмертием оплачиваю я.

* * *

Он милостыни просит у тебя.
Он – нищий, он протягивает руку.
Улыбкой, взглядом, молча, не любя
Ответь хоть чем-нибудь на эту муку.

А впрочем в муке и блаженство есть.
Ты не поймешь. Блаженство униженья,
Слов сгоряча, ночей без сна, Бог весть
Чего... Блаженство утра и прощенья.

* * *

Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды.
Не умирают люди от обиды
И не перестают любить.

В окне чуть брезжит день и надо снова жить.

Но если, о мой друг, одной прямой дороги
Весь мир пересекла бы нить,
И должен был бы я, стерев до крови ноги,
Брести века по ледяным камням,
И коченея, где-то там,
Коснуться рук твоих безмолвно и устало,
И все опять забыть, и путь начать сначала,
Ужель ты думаешь, любовь моя,
Что не пошел бы я?

<1922>

* * *

Ночь... и к чему говорить о любви?
Кончены розы и соловьи,

Звезды не светят, леса не шумят,
Непоправимое... пятьдесят.

С розами, значит, или без роз,
Ночь, – и «о жизни покончен вопрос».

...И оттого еще более ночь,
Друг не способный любить и помочь,

Друг моих снов, моего забытья,
Счастье мое, безнадежность моя,

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница...ну, что же, я пьян,

Друг мой, ну что же, так сходят с ума,
И оттого еще более тьма,

И оттого еще глуше в ночи,
Что от немеркнувшей, вечной свечи,

- Если сознание, то в глубине,
Если душа, то на самом дне, –

Луч беспощадный врезается в тьму:
Жить, умирать – все равно одному.

* * *

В последний раз... Не может быть сомненья,
Это случается в последний раз,
Это награда за долготерпенье,
Которым жизнь испытывала нас.

Запомни же, как над тобой в апреле
Небо светилось всею синевой,
Солнце сияло, как в ушах звенели
Арфы, сирены, соловьи, прибор.

Запомни же: обиды, безучастье,
Ночь напролет, – уйти, увидеть, ждать? –
Чтоб там, где спросят, что такое счастье,
Как в школе руку первому поднять.

* * *

Н. Р.

Ночью он плакал. О чем, все равно.
(Многое спутано, затаено).

Ночью он плакал, и тихо над ним
Жизни сгоревшей развеялся дым.

Утром другие приходят слова,
Перебираю, что помню едва.

Ночью он плакал... И брезжил в ответ
Слабый, далекий, а все-таки свет.

* * *

Один сказал: «Нам этой жизни мало».
Другой сказал: «Недостижима цель».
А женщина привычно и устало,
Не слушая, качала колыбель.

И стертые веревки так скрипели,
Так умолкали, – каждый раз нежней! –
Как будто ангелы ей с неба пели
И о любви беседовали с ней.

* * *

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски.

А после... Прозрачную тень увидал
Один. Будто имя свое услышал
Другой... И почти уж две тысячи лет
Стоит над землею немеркнувший свет.

* * *

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим – огонь и дым – борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела... и те, иные звуки...
Летел, полуночью... за небо, вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
– И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

* * *

Под ветками сирени сгнившей,
Не слыша лести и обид,
Всему далекий, все забывший
Он, наконец, спокойно спит.

Пустынно тихое кладбище,
Просторен тихий небосклон,
И воздух с каждым днем все чище,
И с каждым днем все глубже сон.

А ты, заботливой рукою
Сюда принесшая цветы,
Зачем кощунственной мечтою
Себя обманываешь ты?

* * *

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушьи духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

* * *

Тянет сыростью от островов,
Треплет ветер флаг на пароходе,
И глаза твои, как две лагуны,
Отражают розовое небо.

Мимолетный друг, ведь все обман,
Бога нет и в мире нет закона,
Если может быть, что навсегда
Ты меня оставишь. Не услышишь
Голоса зовущего. Не вспомнишь
Этот летний вечер...

* * *

Где ты теперь? За утесами плещет море,
По заливам льдины плывут,
И проходят суда с трехцветным широким флагом.
На шестом этаже, задыхаясь, у телефона
Человек говорит: «Мария, я вас любил».
Пролетают кареты. Автомобили
За ними гудят. Зажигаются фонари.
Продрогшая девочка бьется продать спички.

Где ты теперь? На стотысячезвездном небе
Миллионом лучей белеет Млечный путь,
И далеко, у глухо-гудящих сосен, луною
Озаряемая, века и века,
Угрюмо шумит Ниагара.

Где ты теперь? Иль мой голос уже, быть может,
Без надежд над землей и ответа лететь обречен,
И остались в мире лишь волны,
Дробь звонков, корабли, фонари, нищета, луна,
водопады?

<1920>

* * *

Пора печали, юность – вечный бред.

Лишь растеряв по свету всех друзей,
Едва дыша, без денег и любви,
И больше ни на что уж не надеясь,
Он понял, как прекрасна наша жизнь,
Какое торжество и счастье – жизнь,
За каждый час ее благодарит
И робко умоляет о прощеньи
За прежний ропот дерзкий...

<1924>

* * *

Нет, ты не говори: поэзия – мечта,
Где мысль ленивая игрой перевита,

И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.

Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь, и земную грусть, и отблески любви,

Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье –
Все в сердце береги, как медленное зелье,

И может к старости тебе настанет срок
Пять-шесть произнести как бы случайных строк,

Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,

И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

<1919>

* * *

Как холодно в поле, как голо,
И как безотрадны очам
Убогие русские села
(Особенно по вечерам).

Изба под березой. Болото.
По черным откосам ручьи.
Невесело жить здесь, но кто-то
Мне точно твердит – поживи!

Недели, и зимы, и годы,
Чтоб выплакать слезы тебе
И выучиться у природы
Ее безразличью к судьбе.

<1919>

* * *

З. Г.

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

* * *

Есть, несомненно, странные слова,
Не измышленья это и не бредни.
Мне делается холодно, едва
Услышу слово я «последний».

Последний час. Какой огромный сад!
Последний вечер. О, какое пламя!
Как тополя зловеще шелестят
Прозрачно-черными ветвями...

* * *

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещей услышать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, – сколько? – лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

* * *

Он говорил: «Я не люблю природы,
Я научу вас не любить ее.
И лес, и море, и отроги скал
Однообразны и унылы. Тот,
Кто в них однажды пристально взглянется,
От книги больше не поднимет глаз.

Один лишь раз, когда-то в сентябре,
Над темною, рябой и бедной речкой,
Над призрачными куполами Пскова,
Увидел мимоходом я закат,
Который мне напомнил отдаленно
Искусство человека...»

* * *

Sulmo mihi patria est...

Овидий.

Нам Tristia – давно родное слово.
Начну ж, как тот: я родился в Москве.
Чуть брезжил день последнего, Второго,
В апрельской предрассветной синеве.

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем, – как сегодня! –
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Куда, куда? – мы недоумеваем.
Какой-то звон, сиянье, пустота...
Есть меж младенчеством и раем
Почти неизгладимая черта.

Но не о том рассказ...

* * *

Из голубого океана,
Которого на свете нет,
Из-за глубокого тумана
Обманчиво-глубокий свет.

Из голубого океана,
Из голубого корабля,
Из голубого обещанья,
Из голубого...la-la-la...

Голубизна, исчезновенье,
И невозможный смысл вещей,
Которые приносят в пень
Всю глубь бессмыслицы своей.

* * *

Приглядываясь осторожно
К подробностям небытия,
Отстаивая сколько можно
Свое, как говорится, «я»,

Надеясь, недоумевая,
Отбрасывая на ходу
«Проблему зла», «проблему рая»,
Или другую ерунду,

Он верит, верит... Но не будем
Сбиваться, повышая тон.
Не объяснить словами людям,
В чем и без слов уверен он.

Над ним есть небо голубое,
Та бесконечность, вечность та,
Где с вялой дремой о покое
О жизни смешана мечта.

<1952>

* * *

Ни музыки, ни мысли... ничего.
Тебе давно чистописанья мало,
Тебе давно игрой унылой стало,
Что для других – и путь, и торжество.

Но навсегда вплеся в напев твой сонный, –
Ты знаешь сам, – вошел в слова твои,
Бог весть откуда, голос приглушенный
Быть может смерти, может быть любви.

ДОПОЛНЕНИЯ

«Облака» (1916)

* * *

Вот так всегда, – скучаю и смотрю
На золотую, бледную зарю.

Мне утешений нет. И я не болен, –
Я вижу облако и ветер в поле.

Но облако, что парус, уплывет
И ветер, улетая, позовет:

«Вон там Китай, пустыни и бананы,
Высоким солнцем выжженные страны».

И это жизнь! И эти кружева
Мне заменяют бледные слова,

Что слушал я когда-то, вечерами,
Там, над закатами, над облаками!

Но не могу я вспомнить тишины,
Той боли, и полета, и весны.

* * *

Скоро день. И как упрямо
Волны держат пароход.
Ветерок от Валаама
Звон малиновый несет.

Скоро в путь. А путь не страшен, –
Ведь по ладожским волнам
Мимо деревень и пашен
К синим, ясным куполам.

Тонкий звон, звени и падай,
Чтоб не потерять пути,
Помоги, Врагиня ада,
От лукавого уйти!

Сладок воздух, тесны кельи,
На траве медведь лежит!
Празднуй, празднуй новоселье
Убегающий во скит!

* * *

В зоологических садах орлы,
В тяжелых кольцах, сонные летают,
С прута на ветку – будто со скалы –
Перелетят и снова засыпают.

Как мне скучна их царская краса
И декорации глухой печали,
И пар над Альпами, и небеса,
Что раздираемых ягнят видали!

Я маленькую птицу, воробья,
Поймаю в клетку, напою водою.
Пусть он чирикает, поет. А я
Окошко разноцветное раскрою.

* * *

День был ранний и молочно-парный.

И. Анненский

Так тихо поезд подошел,
Пыхтя, к облезлому вокзалу,
Так грустно сердце вспоминало
Весь этот лес и частокол.

Все то же. Дождик поутру,
Поломанные георгины,
Лохмотья мокрой парусины
Все бьются, бьются на ветру,

А на цепи собака воеет,
И выбегает на шоссе...
Здесь, правда, позабыли все,
Что было небо голубое.

Лишь помнит разоренный дом,
Как смерть по комнатам ходила,
Как черный поп взмахнул кадиллом
Над полинявшим серебром.

И сосны помнят. И скрипят,
Совсем как и тогда скрипели, –
Ведь к ночи ранние метели
Уж снегом заметали сад.

* * *

Анне Ахматовой

Так беспощаден вечный договор!
И птицы, и леса остались дики,
И облака, – весь незапевший хор
О гибели, о славе Эвридики.

Так дни любви обещанной прошли!
Проходят дни и темного забвенья.
Уже вакханок слышится вдали
Тяжелое и радостное пенье.

И верности пред смертью не тая,
Покинутый, и раненый, и пленный,
Я вижу Елисейские поля,
Смущенные душою неблаженной.

Ночи

I

Как трудно вечером дышать
И думать! И ночами тоже,
Когда чугунная кровать
Совсем на катафалк похожа.

А в комнатах, во тьме ночной
Какая тишина! Ты слышишь, –
Лишь за шкафами, под стеной
Скребют отравленные мыши.

Слабея, с ядом на зубах,
Грызут зеленые обои...
Я только слушаю. Но страх
Мне тоже не дает покоя.

И так всегда. Встаю тайком,
Иду скрипучими шагами
К окну, – и вижу за стеклом
Простое розовое пламя.

И страшно грустно, близко, тут,
Под окнами проходит пенье, –
То братья бедные бредут
На Волково успокоенье.

II

Ведь только тюльпана упал цветок,
Лишь белой луной засветились плиты, –
– Быть может, сюда не входил никто,
Но завтра найдут человека убитым.

Что же, и это полночный бред,
И это мои полночные муки?
А там... у стены... леди Макбет
Зачем ломает красные руки?

Так страшно знать, что поток времен
Свой дикий гнев всегда возвращает,
И сорок веков погребенный стон
Ночью дрожит и нас оглушает.

* * *

Не знал и не верил в Бога.
Так, видно, мне суждено,
Но ветер принес тревогу
В высокое мое окно.

Я вижу: леса и воды
И неба мертвый покой,
Я помню: ранние годы,
Раннее слово «голубой»...

И вот, – ничего не надо.
Поет, поет тоска,
И дорога вьется из ада
Через пыльные облака.

А рекам уж нет истока
И воздух – тяжелый свинец.
Я стою у высоких окон
И знаю: это конец.

* * *

Под глухой, подавленный гул
Был сон покоен и долог.
Но кто-то лодку толкнул
И отдернул тяжелый полог.

И, удивленный, теперь я плыву,
В тишине по звездам гадаю,
И камни, и лес, и траву,
И небо, и снег вспоминаю.

Как знать? Печальный ли плен
Найду в грядущем тумане,
Или чудная лодка станет
У золотых Вавилонских стен?

Так, удивленный, плыву и гадаю,
И птичий слезу полет,
На звезды смотрю, – и не знаю,
Куда же лодка плывет?

* * *

Сухую позолоту клена
Октябрь по улицам несет,
Уж вечерами на балконах
Над картами не слышен счет,

Но граммофон поет! И трубы
Завинчены, и круг скрипит,
У попадьи ли ноют зубы
Иль околоточный грустит.

Вертись, вертись! Очарованьям
И призракам пощады нет.
И верен божеским сказаньям
Аяксов клоунский дуэт.

Но люди странны, – им не больно
Былые муки вспоминать
И хриплой музыки довольно,
Чтоб задыхаться и рыдать.

Был век... Иль, правда, вы забыли,
Как, услышав ночной гудок,
Троянские суда отплыли
С добычей дивной на восток,

Как, покидая дом и стены,
И голубой архипелаг,
На корабле кляла Елена
Тяжелой верности очаг.

* * *

Стоцветными крутыми кораблями
Уж не плывут по небу облака,
И берега занесены песками,
И высохла стеклянная река.

Но в тишине еще синеют звезды
И вянут затонувшие венки,
Да у шатра разрушенного мерзнут
Горбатые, седые старики.

И сиринам, уж безголосым, снится,
Что из шатра, в шелках и жемчугах,
С пленительной улыбкой на устах
Выходит Шемаханская царица.

Летом

Опять брожу. Поля и травы,
Пустой и обгорелый лес,
Потоки раскаленной лавы
Текут с чернеющих небес.

Я ненавижу тьму глухую
Томительных июльских дней,
О дальней родине своей,
Как пленник связанный, тоскуя.

Пусть камни старой мостовой
Занесены горячей пылью,
И солнце огненные крылья
Высоко держит над Невой,

Но северная ночь заплачет,
Весь город окружит кольцом,
И Всадник со скалы поскачет
За сумасшедшим беглецом...

Тогда на миг, у вечной цели,
Так близко зеленеет дно,
И песни сонные в окно
Несут ленивые свирели.

Зигфрид

Я не знаю, я все забыл.
Что тревожишь ты темным словом?
Я напиток душистый пил
На закате, в лесу сосновом.

Только видел – друга лицо
Искривилось радостью жгучей,
Да на сосны тяжелым кольцом,
Будто сонные, падали тучи...

Не зови, не смотри на меня!
Я тебя не люблю и не знаю, –
Только синее море огня
Как покинутый рай вспоминаю.

* * *

Выходи, царица, из шатра,
Вспомним молодые вечера.

Все здесь то же – ветер, города,
Да в реке глубокая вода.

То же небо на семи столбах,
Все в персидских, бархатных звездах.

И на дереве колдун сидит,
Крылья опустил и не кричит.

Скучно золотому петушку
В тишине качаться на суку,

Позднего прохожего поймать,
Хитрую загадку загадать

И ведь, знаешь, холодно ему
Колдовать в полуночную тьму!

Все равно, что черное лицо,
Что давно заржавело кольцо,

Что дрожит прекрасная рука,
А в руке не посох, а клюка.

Выходи, царица, из шатра,
Выходи, красавица, пора.

* * *

Опять, опять лишь реки дождевые
Польются по широкому стеклу,
Я под дождем бредущую Россию
Все тише и тревожнее люблю.

Как мало нас, что пятна эти знают
Чахоточные на твоей щеке,
Что гордым посохом не называют
Костыль в уже слабеющей руке.

Элегии

I

Бегут, как волны, быстрые года,
Несут, как волны, серебро и пену.
Но я Вам обещаю – никогда
Вы не увидите моей измены.

Ведь надо мною, проясняя муть,
Уже сияет западное пламя,
Ведь мой печальный и короткий путь
Цветет уже осенними цветами.

И я хочу до рокового дня
Забуть утехи юности мятежной,
Лишь Ваши ласки в памяти храня
И образ Ваш, торжественный и нежный.

II

Когда с улыбкой собеседник
Мне в кубок льет веселое вино, –
То кубок, может быть, последний,
И странный пир продлить не суждено.

Послушай, – радостное пенье
Уже глушат рыдания панихид,
И каждый день несет паденье,
И каждый миг нам гибелью грозит.

Так, на распутьи бедных дней,
Я забываю годы, годы скуки,
Все безнадежней и нежней
Целую холодеющие руки.

* * *

Вот все, что помню: мосты и камни,
Улыбка наглая у фонаря...
И здесь забытые кем-то ставни.
Дожди, безмолвие и заря.

Брожу... Что будет со мной, не знаю,
Но мысли, – но мысли только одни.
Кукушка, грустно на ветке качаясь,
Считает гостю редкому дни.

И дни бессчетны. Пятнадцать, сорок,
Иль бесконечность? Все равно.
Не птице серой понять, как скоро
Ветхий корабль идет на дно.

* * *

Вот жизнь, – пелена снеговая,
И ночи, и здесь тишина, –
Спустилась, лежит и не тает,
Меня сторожит у окна.

Вот, будто засыпано снегом,
Что кроет и кроет поля,
Рязанское белое небо
Висит над стенами кремля.

И томно поют колокольни,
И мерно читают псалмы,
О мире убогом и дольнем,
О князе печали и тьмы.

Ах, это ли жизнь молодая!
Скорей бы лошадку стегнуть,
Из тихого, снежного края
В далекий отправиться путь.

Стучат над мостами вагоны,
Стучит и поет паровоз...
Так больно и грустно влюбленных,
Тяжелый, ты часто ли вез?

Есть стрелы, которыми ранен
Смертельно и радостно я,
Есть город, уснувший в тумане,
Где жизнь оборвалась моя.

Над серой и шумной рекою
Мы встретимся, – я улыбнусь,
Вздохну, – и к снегам, и к покою
В пречистую пустынь вернусь.

* * *

И жизнь свою, и ветры рая,
И тонущий на взморье лед, –
Нет, ничего не вспоминаю,
Ничто к возврату не зовет.

Мне ль не понять и не поверить,
Что все изменит, – и тогда
Войдет в разломанные двери,
С бесстыдным хохотом, беда?

Бывает, в сумраке вечернем
Все тонет... Я лежу во сне.
Лишь стук шагов, далекий, верный
Слышнее в страшной тишине.

И сердце, не довольно ль боли,
О камни бьющейся любви?
Ты видишь, – небо, сабли, поле,
И губы тонкие в крови,

Ты видишь, – в путь собираясь длинный,
Туда, к равнинам из равнин,
Качается в дали пустынной
Алмазно-белый балдахин.

Последняя любовь

Вот, под окном идут солдаты
И глухо барабаны бьют.
Смотрю и слушаю... Когда-то
Мне утешенье принесут?

Окно раскрыто, полночь скоро,
А там – ни тьмы, ни ветерка,
Там – Новгород, престольный город,
И Волхов, синяя река.

Письма не будет... Знаю, знаю.
Писать ведь письма нелегко!
Зачем гармоника играет
Так поздно и недалеко?

Последний нынешний денечек,
Последние часы мои...
Все ближе смерть. И все короче
Томительные к ней пути.

* * *

Мы так устали от слов и дела,
И, правда, остался только страх...
Вспорхнула птица и улетела,
Что же, – лови ее в облаках!

Первые дни и первые встречи
Оставили только след золотой...
Я помню, был блаженный вечер,
Иду, – а домик давно пустой.

Лишь солнце плывет над грустным миром,
Где забыть, – забыть ничего нельзя,
Этих грязных ночей в хулиганских трактирах,
Где кто-нибудь вдруг среди песен и пира,
Встает: «Здравствуй, смерть моя!»

* * *

Летят и дни, и тревоги...
Все ниже головы склоненные.
Заносит ласковым снегом
Ветер улицы пустынные.

А кто придет, кто остановится,
Заглянет в окошко разрисованное,
Кто, к стеклу прильнув, подивится
На ясные складки савана?

* * *

Георгию Иванову

Но, правда, жить и помнить скучно!
И падающие года,
Как дождик, серый и беззвучный,
Не очаруют никогда.

Летит стрела... Огни, любви,
Глухие отплески весла,
Вот, – ручеек холодной крови,
И раненая умерла.

Так. Близок час, – и свет прощальный
Прольет вечерняя заря.
И к «берегам отчизны дальней»
Мой челн отпустят якоря.

* * *

Вышел я на гору высокую,
Вышел, – глянул в бездну глубокую
И гляжу.

Тишина, о ширь голубая,
Трудно я из дальнего края
К тебе прихожу.

Но любовь! Любовь обманула,
Это молния взвилась, блеснула, –
Где она?

Помню, люди – в норах, что мыши,
И над бедной железной крышей
Стоит луна.

Все прошло... И я теряю,
Все, что видел и все, что знаю,
Мать моя!

Мать моя, нежная пустыня,
Высоким своим покровом синим
Покрой меня!

Из сборника «Чистилище» (1922)

* * *

Звенели, пели. Грязное сукно,
И свечи тают. «Ваша тройка бита.
Позвольте красенькую. За напиток
Не беспокойтесь». И опять вино,

И снова звон. Ложится синий дым.
Все тонет – золото, окно и люди,
И белый снег. По улицам ночным
Пойдем, мой друг, и этот дом забудем.

И мы выходим. Только я один,
И ветер воет, пароходы вторят.
Нет, я не Байрон, и не арлекин,
Что делать мне с тобою, сердце-море?

Пойдем, пойдем... Ни денег, ни вина.
Ты видишь небо, и метель, и трубы?
Ты Музу видишь, и уже она
Оледневшие целует губы.

1916

Воробьевы горы

Звенит гармоника. Летят качели.
«Не шей мне, мать, красный сарафан».
Я не хочу вина. И так я пьян.
Я песню слушаю под тенью ели.

Я вижу город в голубой купели,
Там белый Кремль – замоскворецкий стан,
Дым, колокольни, стены, царь-Иван,
Да розы и чахотка на панели.

Мне грустно, друг. Поговори со мной.
В твоей России холодно весной,
Твоя лазурь стирается и вянет.

Лежит Москва. И смертная печаль
Здесь семечки лущит, да песню тянет,
И плечи кутает в цветную шаль.

1917

* * *

Тогда от Балтийского моря
Мы медленно отступали
По размытым полям... Звезды
Еще высоко горели,
Еще победы мы ждали
Над императором немецким,
И холодный сентябрьский ветер
Звенел в телеграфных нитях
И глухо под тополями
Еще шелестел листвою.
Ночь. Зеленые ракеты
То взлетали, то гасли в небе,
Лай надтреснутый доносился
Из-за лагеря, и под скатом
Робко вспыхивала спичка.
Тогда – еще и доньне
Мне виден луч синеватый, –
Из мглы, по рядам пробираясь,
Между смолкнувших пулеметов,
Меж еще веселых солдат,
Сытых, да вспоминающих
Петербургские кабаки,
Пришла, не знаю откуда,
Царица неба – Венера,
Не полярным снегом одета,
Не пеной Архипелага,
Пришла и прозрачную тенью
У белой березы стала.
Точно сон глубокий спустился
Покровом звездным. Полусловом

Речь оборвалась, тяжелея
Руки застыли... Лишь далекий
Звон долетел и замер. Тихо
Я спросил: «царица,
Ты зачем посетила лагерь?»
Но безмолвно она глядела
За холм, и мне показалось,
Что вестницы смерти смотрят
Так на воинов обреченных,
И что так же она смотрела
На южное, тесное поле,
Когда грудь земли пылала
Златокованными щитами,
Гул гортанного рева несся,
Паруса кораблей взлетали,
И вдали голубое море
У подножия Трои билось.

1919

* * *

О мертвом царевиче Дмитрие
И о матери его, о стрельцах
Зарезанных в Кремле, быть может,
О разбойнике, на большой дороге
Убитом в драке, о солдате,
Забытом в поле, и даже
О тех, кто ветренной ночью
Цеплялись за мерзлые канаты
Тонущей «Лузитании»
И, уже онемев, смотрели
На темное, жадное море,
Каждое утро и каждый вечер,
И ночью, привстав на кровати,
Кто-нибудь умоляет Бога
Прощение дать и блаженство.

Помяни же и человека,
Который в Угличе не был,
Убийц не просил о пощаде
И плеска Марны не слышал,
И льдистых громад не видел,
Но уже семнадцатой ночью,
Не дыша и не двигаясь, в доме,
Занесенном до крыши снегом,
Смотрит на тихий месяц
И пересохшими губами
Повторяет имя Александра.

1920

* * *

О, жизнь моя! Не надо суеты,
Не надо жалоб, – это все пустое.
Покой нисходит в мир, – ищи и ты покоя.

Мне хочется, чтоб снег тяжелый лег,
Тянулся небосвод прозрачно-синий,
И чтоб я жил, и чувствовать бы мог
На сердце лед и на деревьях иней.

1920

* * *

Когда, в предсмертной нежности слабея,
Как стон плывущей головы,
Умолкнет голос бедного Орфея
На голубых волнах Невы,

Когда, открывшись италийским далям,
Все небо станет голубеть,
И девять Муз под траурным вуалем
Придут на набережной петь,

Там, за рекой, пройдя свою дорогу
И робко стоя у ворот,
Там, на суде, – что я отвечу Богу,
Когда настанет мой черед?

1919

* * *

По темно-голубому небу мчались
Крутые облака. Дул ветер южный,
Клубя густую пыль. На тротуарах
Теснились люди. Темными рядами,
Сверкая сталью, конные войска
Тянулись неподвижно. Крик нестройный
Рожком летящего автомобиля
Прорезывался изредка. Разносчик
Толкался, предлагая апельсины
И грязные орехи. Вдруг пронесся
По улице широкой и пустой
Карьером офицер какой-то, шарфом
Как бы давая знак, и тишина
Сменила сразу гул и общий говор,
И долго слышался лишь стук короткий
Копыт о гладкие торцы. Потом
Опять все смолкло, даже облака
Как бы застыли в небе. Я спросил
У старика, который под стеною
Стоял не шевелясь, зачем собралось
Все это множество людей. С усилием
Остановил на мне он тусклый взгляд
И прошептал чуть слышно: «Император».
И стал я ждать. Часы тянулись, или
Минуты лишь, – не помню я... Никто
Тогда уж не был в силах помнить время.
И вдруг протяжно, будто бы на дне
Огромной пропасти, запели трубы,
И медь литавров дрогнула, и белый
Дымок взвился до неба, и знамена

Под звон победоносной Марсельезы
Поникли до земли, как золотые
Лохмотья славы... И невдалеке
Увидел человека я. Под ним
Ступал неторопливо белый конь,
И, отступя шагов на двадцать, шла
В тяжелых, кованных мундирах горсть
Каких-то пышных всадников. Но он
Был в сером сюртуке и треугольной
Потертой шляпе... О, и твердь, и воды,
И ротозеи, и солдаты, – все
Преобразились в миг, и миллионы
Расширенных, горящих, жадных глаз
Его черты ловили. Сжав поводья,
Он ехал, и, казалось, тяжесть сна
Еще не мог он сбросить, и не мог
Пошевелить рукой... Сто лет, сто дней
Как бы туман стояли. Перед ним
Арколь дымился где-то, иль Париж
Кровавый буйствовал, иль в нашем солнце
Узнать хотел он солнце Аустерлица,
Иль слышался ему унылый гул
И плеск ленивых волн у скал Елены,
Не знаю я, но безразличный взгляд
Не замечал, казалось мне, ни зданий,
Ни памятников, ни полков, ни даже
Трехцветных флагов... Ширясь и растя,
Как у архангелов, гремели трубы
О славе мира, лошадь тяжело
И медленно ступала, и не смел
Никто ни двинуться, ни молвить слова.
Когда ж за красной аркой Император
Скрываться стал, и, точно обезумев,
За ним толпою побежали люди,
Сбивая и давя друг друга, – я
За тенью исчезающей его
Лишь в силах был следить, и мне подобных
Немало было... Помню, вечерело,
И был неярко озарен весь город
Бледнозеленым заревом заката,
Сиявшим над Адмиралтейством.

1916

* * *

За миллионы долгих лет
Нам не утешиться... И наш корабль, быть может,
Плывя меж ледяных планет,
Причалит к берегу, где трудный век был прожит.

Нам зов послышится с кормы:
«Здесь ад был некогда, – он вам казался раем».
И сиясь улыбнуться, мы
Мечеть лазурную и Летний сад узнаем.

Помедли же! О, как дышать
Легко у взморья нам и у поникшей суши!
Но дрогнет парус, – и опять
Поднимутся хранить воспоминанья души.

1918

Вагнер

I

Падает снег, звенят телефоны,
Белое небо глядит в окно,
Небо, – совсем полотно
Над крышей, трубой, ржавой, зеленой.

Есть только смерть, – ни любви, ни веры.
Что мне с ними делать теперь?
Придет, постучится в дверь,
Тихо качнет муфтой серой.

Смотри – суббота. Конец в воскресенье.
Белое небо бьет в окно,
Ко мне прильнуло оно.
Надежда? Надежда? Покой? Спасенье?

Нет спасения, нет покоя,
Изольда, я тебя любил,
Изольда, я все забыл,
Останься, побудь со мною.

Останься, побудь! Дьячки, поклоны,
Не страшно, – розы к ногам,
А там, – дальше и там
Календарь, снег, телефоны.

1916

* * *

Опять гитара. Иль не суждено
Расстаться нам с унылою подругой?
Как белым полотенцем бьет в окно
Рассвет, – предутренней и сонной вьюгой.

Я слушаю... Бывает в мире боль,
Бывает утро, Петербург и пенье,
И все я слушаю... Не оттого ль
Еще бывает головокруженье?

О, лошадей ретивых не гони,
Ямщик! Мы здесь совсем одни.
По снегу белому куда ж спешить?
По свету белому кого любить?

1917

* * *

Еще и жаворонков хор
Не реял в воздухе, луга не зеленели,
Как поступь девяти сестер
Послышалась, нежней пастушеской свирели.

Но холодно у нас. И снег
Лежит. И корабли на реках стынут с грузом.
Под вербой талою ночлег
У бедного костра едва нашелся Музам.

И, переночевав, ушли
Они в прозрачные и нежные долины,
Туда, на синий край земли,
В свои «фиалками венчаные» Афины.

Быть может, это – бред... Но мне
Далекая весна мечтается порою,
И трижды видел я во сне
У северных берез задумчивую Хлою.

И, может быть, мой слабый стих
Лишь оттого всегда поет о славе мира,
Что дребезжит в руках моих
Хоть и с одной струной, но греческая лира.

1921

* * *

На окраине райской рощи
У зеленоструйной воды
Умоляет Ороль Беляра:
«О, любимый, не улетай!»

Отвечает Беляр Оролу:
«Жди меня у реки Тале.
У людей я три дня пробуду
И в четвертую ночь вернусь».

Безутешен Ороль. «Навеки
Я с тобою!» – сказал Беляр,
И пылающими губами
Он Ороря поцеловал.

Через синие океаны
Метеором летел Беляр
И на землю вышел в цилиндре,
В лакированных башмаках.

Был до вечера он в Париже,
И в огромном цирке ему
Улыбнулась из ложи дама
С черным страусовым пером.

Через час он теплые плечи
Медом пахнущие сжимал
И, задыхаясь от блаженства,
Еле слышно сказал : «Ороль!»

Ночь редела... Два дня до срока.
На рассвете летел Беляр
Через синие океаны
Метеором в далекий рай.

Тридцать ангелов в темных ризах
Над рекою Тале стоят.
«Где Ороль?» – их, изнемогая,
Тихо спрашивает Беляр.

Но окованы страхом хоры.
Лишь один архангел мечом
На полупрозрачное тело
Бездыханное указал.

«Небывалое совершилось.
Здесь Ороль», – отвечает он.
«Но душа его отлетела
Даже Бог не знает куда».

1921

* * *

Тридцатые годы, и тени в Версали,
И белая ночь, и Нева,
И слезы о непережитой печали,
И об утешеньи слова,

Ну, что ж, – сочинять человеку не трудно,
Искусство покорно ему,
Но как это жалко, и как это скудно,
И как не нужно никому!

И я говорю: – не довольно ль об этом?
Что дальше – закрыто от всех,
Но знаю одно, – притвориться поэтом
Есть смертью караемый грех.

Поэт – не мечтатель. И тем безнадежней,
И горестней слов ищет он,
Чтоб хоть исказить свой торжественно-нежный
И незабываемый сон.

1921

* * *

Печально-желтая луна. Рассвет
Чуть брезжит над дымящейся рекою,
И тело мертвое лежит... О, бред!
К чему так долго ты владеешь мною?

Туман. Дубы. Германские леса.
Печально-желтая луна над ними.
У женщины безмолвной волоса
Распущены... Но трудно вспомнить имя.

Гудруна, ты ли это?.. О, не плачь
Над трупом распростертого героя!
Он крепко спит... И лишь его палач
Нигде на свете не найдет покоя.

За доблесть поднялась его рука,
Но не боится доблести измена,
И вот лежит он... Эти облака
Летят и рвутся, как морская пена.

И лес, и море, и твоя любовь,
И Рейн дымящийся, – все умирает,
Но в памяти моей, Гудруна, вновь
Их для чего-то время воскрешает.

Как мглисто здесь, какая тишина,
И двое нас... Не надо утешенья!
Есть только ночь. Есть желтая луна,
И только Славы и Добра крушенья.

1921

* * *

Там вождь непобедимый и жестокий
Остановился огненной стеной...
Стоит туман. Стоит звезда на востоке.
О, Русь, Русь, – далеко она за горой.

Ты на землю лег, сказал: «Надо молиться!
Мой первый бой сегодня». И сквозь туман
Не поднялась над лесом черная птица,
Под облака метнулся аэроплан.

«Тише, тише! Вы видите, солнце село,
Теперь уж скоро нам придут помочь.
Милостив Бог!» И только река шумела,
Да пашню и лес душила темная ночь.

Когда ж стемнело совсем, совсем, и ангел,
И ангел – мы видели! – нас закрыл рукой,
Маккензен вдруг двинул с холма фаланги
Прямо на лагерь, заснувший над рекой.

Огонь, огонь! Я верно в сердце ранен,
А ты вскочил на белого коня
И вдруг качнулся тихо... Ваня, Ваня,
Ты видишь еще, ты слышишь еще меня?

Боже мой, Боже, за что ты нас оставил,
За что ты нас так страшно покарал?
Не видно труб и крестов пустой Варшавы,
Далеко до полуночи, далеко до утра,

И уж рушится все... Лишь вокруг, по склонам
и долам,
По траве, по реке, по зеленым речным берегам
Поднимаются к небу стоять перед райским
престолом
Тени людей, отстоявших земным царям.

1916

Росмерсгольм

Темнеют окна. Уголь почернел.
Не в страсти жизнь, а в истинной свободе.
По кабинету от стены к стене
Лунатики, ломая руки, бродят.

Кипит неутолимый водопад,
И мостик еле видный перекинут,
Чтоб те, кто в доме стонут и горят,
Упали в серебристую стремнину.

Любовь, любовь... Слабеет голова,
Все о политике бормочут люди,
Все повторяют грубые слова,
Что в этом доме радости не будет,

А в этом доме будет тишина,
Как над пустыми фьордами бывает,
Когда огромным фонарем луна
Полярных птиц и море озаряет.

1916

* * *

Холодно. Низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Тихо. Пустая телега
Изредка продребезжит.
Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая,
Через полвека, едва ль
Этого мертвого края
Я позабуду печаль.

1920

Вагнер

II

Туман, туман... Пастух поет устало
Исландский брег. И много лебедей.
«Где ты теперь? Белей, корабль, белей!
Придешь ли ты ко мне, как обещала?»

Так, медленно, Надежда умирала,
И тенью Верность реяла над ней,
Еще цепляясь за гряды камней,
И бархат горестный немого зала.

Так, в медной буре потрясенных труб
Еще о нежности звенели струны,
И бред летел с похолодевших губ,

И на скале, измученный и юный,
Изнемогая от любви и ран,
Невесту, как виденье, ждал Тристан.

1918

* * *

Я влюблен, я очарован.

Пушкин

Проходит жизнь. И тишина пройдет,
И грусть, и по ночам тревога,
Но, задыхаясь, нежность добредет,
Без сил до смертного порога...

Так он не вскрикнул и не поднял глаз,
Веселого не молвил слова,
Когда комета встала в первый раз
В шелку багровом – Гончарова.

Но рокот арф, ночь, и огни, и бал, –
Все говорило: нет спасенья.
И понял он, и мне он завещал
Тот блеск кровавый и мученье.

* * *

Гуляй по безбрежной пустыне
Под нежные трубы зари,
Пей воздух соленый и синий,
На синие волны смотри.

Пусть остров и радуга снится,
А если наскучили сны,
Не девушка, нет – Царь-девица
Придет из хрустальной страны.

Но это не жизнь. И когда же
Над бледно-неверной волной
Ты парус опустишь и скажешь
«Довольно. Пора и домой»?

1916

* * *

Качается фонарь. Белеет книга.
По вышитым подушкам бледный свет,
И томный вздох: «Ах, как люблю я Грига,
Ах, как приятен этот менуэт».

Но белым клавишам роняя думы,
Любовь свою и домыслы свои,
Ты слышишь ли, каким унылым шумом
Они, желанные, заглушены?

1918

По Марсову полю

Сияла ночь. Не будем вспоминать
Звезды, любви, – всего, что прежде было.
Пылали дымные костры, и гладь
Пустого поля искрилась и стыла.

Сияла ночь. Налево над рекой
Остановился мост ракетой белой.
О чем нам говорить? Пойдем со мной,
По рюмке коньяку, да и за дело.

Сияла ночь. А может быть и день,
И, может быть, февраль был лучше мая,
И заметенная, в снегу, сирень,
Быть может, шелестела, расцветая,

Но было холодно. И лик луны
Насмешливо смотрел и хмурил брови.
«Я вас любил... И как я ждал весны,
И роз, и утешений, и любви!»

Ночь холодней и тише при луне.
«Я вас любил. Любовь еще, быть может...»
- Несчастный друг! Поверьте мне,
Вам только пистолет поможет.

1918

В. Ф.

I

О, сердце, не бейся, не пой,
Опять эти ночи со мной,
И снова в пустое окно
Смотрю я, – и мне все равно.

Я помню: костры, облака,
И вдруг под мехами рука
Чуть тронула руку мою
(Как милостыню подают)

И только... И три долгих дня
В испуганной памяти я
Не счастье свое берегу,
А снег и костры на снегу.

II

Все понимаю, все – одно сиянье
Снег, облака, костров тяжелый свет,
И дым на улицах. Что состраданье!
Но и тебе, мой друг, прощенья нет.

За тихий смех «я завтра уезжаю»,
И уезжай! – дорога-то легка –
За утешения, за то, что знаю,
Как нищая душа твоя жалка.

III

Четвертый раз над этой жизнью
(Как солнце, утром в ноябре)
Сияет свет, и дни проходят
Чуть озаренные огнем.

Не страшно и совсем не больно
Смотреть в холодные глаза
И говорить: «люблю навеки»
И равнодушно забывать.

Но, правда, вечерами страшно,
Когда останешься один,
Считать года и сердце слушать,
Как тихо старится оно.

1917

* * *

За стенами летят, ревут моторы,
Ложится снег и фонари горят,
И хочется домой. Но, верно, скоро
Погаснет свет и люди замолчат.

В полупустом театре, чуть белея,
У дымно-белых, как луна, ворот
Стоит прозрачной тенью Саломея
И с отвращеньем голову берет.

И ей, в снегу холодном и в разлуке
С халдейским небом, с голубой звездой,
Что радости ей наши или муки,
Иль сноба лондонского сон тупой?

1918

* * *

Еще, еще немного краски синей
Над ветками, где стонет соловей
Фарфоровый, и в облаках пришей
Луну печальную на парусине.

Повеял ветер, и деревья гнутся,
И никнут лилии, снегов белей...
Ты кончил ли? Так позови людей,
Пусть очаруются, пусть улыбнутся!

1916

1801

– Вы знаете, – это измена!
Они обманули народ.
Сказал бы, да слушают стены,
Того и гляди донесет.

Ах, нет! Эти шумные флаги,
Вы слышите, этот набат
Широкий... Гвардейцев к присяге
Уже повели, говорят.

Ведь это не тучи, а клочья
Над освобожденной Невой...
Царь Павел преставился ночью,
Мне все рассказал часовой.

Был весел, изволил откусывать,
С царицей шутил, – через час
Его незлобивую душу
Архангелы взяли от нас.

Вы знаете, эти улики
Пугают, – до самого дня
Рыдания слышались, крики
В окне голоса, беготня...

Россия! Что будет с Россией!
Как страшно нам жить, как темно!
– Молчите. Мгновенья такие
И вспомнить другим не дано.

1916

* * *

Жизнь! Что мне надо от тебя, – не знаю.
Остыла грусть, младенчества удел.
Но так скучать, как я теперь скучаю,
Бог милосердный людям не велел.

И если где-нибудь живет и дышит,
Тот, кто навек назначен мне судьбой,
Что ж не приходит он ко мне, не слышит
Еще не ослабевший голос мой?

Лишь два огромных, черных, тусклых глаза
И два огромных, траурных крыла
Тень бросили от синих гор Кавказа
На жизнь мою и на мои дела.

1920

* * *

Едва расслышу я два-три последних слова,
Едва взгляну на бледный лоб,
И все, и навсегда, недвижно и сурово
Под пеленою скроет гроб.

И страшен оттого мне каждый час разлуки,
И грустно день за днем встречать,
И руки тянутся, беспомощные руки
Блаженство наше удержать.

1921

* * *

«Еще, еще минуточку,
Повремени, палач!»
Поймали в сети уточку,
Не вырвешься, – хоть плачь.

Шумит толпа веселая,
Сияют небеса.
Стальная и тяжелая
Над головой коса.

Три быстрых взмаха молота,
Минута... Отче наш!
Что счастье, слава! Золото, –
И купишь, и продашь.

Но за пустой околицей,
На чердаке, в глуши,
Чиновник пьяный молится
За упокой души,

Семи царей возлюбленной, –
Не помогли цари! –
Семью грехами сгубленной
Графини Дюбарри.

1918

Песня

Ах, весна, ах прекрасное лето,
Ах, сияние светлого дня!
Друга милого в городе нету,
Он надолго покинул меня.

Целовальник божится в трактире,
Что, кого не помиловал суд,
Поселяют в далекой Сибири
Или даже в Манчжурью везут.

Оттого-то я слышу ночами,
Льют железо, ломают гранит,
Вижу, друг мой с моими врагами
В арестантском халате стоит.

Постаревший в неволе и в муке,
Похудевший от дыма и мглы,
Поднимает он белые руки,
А на белых руках кандалы.

Ах, сестра, золотая гитара,
Что нам делать с тобой, – прозвени!
У окна, да над шумным бульваром,
Да в такие-то ясные дни?

1916

* * *

Им счастье даже не снится,
И их обмануло оно.
Есть в мире лишь скука. Глядится
Скучающий месяц в окно.

Пьют чай, разбирают газеты,
Под долгие жалобы вьюг,
И думают, думают: «Где ты,
Теперь, мой забывчивый друг?»

1919

Болезнь

В столовой бьют часы. И пахнет камфарой,
И к утру у висков еще яснее зелень.
Как странно вспоминать, что прошлою весной
Дымился свежий лес и вальдшнепы летели.

Как глухо бьют часы. Пора нагреть вино
И поднести к губам дрожащий край стакана.
А разлучиться всем на свете суждено,
И всем ведь кажется, что беспощадно рано.

Уже не плакала и не звала она,
И только в тишине задумчиво глядела
На утренний туман, и в кресле у окна
Такое серое и гибнущее тело.

1916

* * *

Как дымный парус, жизнь моя
Уходит, и туман редет.
Уже над морем вечерет,
А нет навстречу корабля.

Уже над морем тишина.
И солнце тихо потонуло.
Чернеют в сумраке акулы
Вокруг разбитого судна.

Что жадным ветер обещает?
Иль слушают теперь они,
Как синий берег и огни
Матрос в бреду припоминает?

1916

* * *

– Поскучай, дружок, поскучай, –
Где же вольные твои небеса?
Вот у нас сапфиры, парча,
Кинематограф и бега.

- Я давно ничего не ищу,
И давно ничего не люблю,
И зачем напомнил мне ты
Про былые мечты мои?

Не хочу любви и вина,
Незнакомок, чахлых озер,
Потому что все – суета,
Все будет один костер.

Ты останься со мною, грусть,
И белая Венера-звезда,
А людей не хочу... Пусть
И они забудут меня.

1916

* * *

Тихо, мирно, мы теперь живем
И не ссоримся. Сидим за чаем.
Утром соловей поет, потом
Граммфон. И все-таки скучаем.

- Это поле – помнишь? – Ватерло?
Эти крики – слышишь? – Брабансона...
Господи! как тихо, как тепло,
Как здесь душно, в этой клетке темной...

После ночь. И лучше помолчать,
Правда, лучше. И ведь надо силы,
Чтоб завтра новый день начать,
Утомительный такой и милый.

1918

* * *

Девятый век у северской земли
Стоит печаль о мире и свободе,
И лебеди не плещут. И вдали
Княгиня безутешная не бродит.

О Днепр, о солнце, кто вас позовет
По вечеру кукушкою печальной,
Теперь, когда голубоватый лед
Все затянул, и рог не слышен дальный,

И только ветер над зубцами стен
Взметает снег и стонет на просторе,
Как будто Игорь вспоминает плен
У синего, разбойничьего моря?

1916

* * *

Я думал: вся земля до края –
Цветы, моря, степная ширь.
Теперь я знаю: есть глухая
И тихая страна – Сибирь.

Я думал: жизнь – изнеможенье
Тревожно-радостных ночей,
Теперь я знаю: есть терпенье,
Есть окрик пьяных сторожей.

Над нами небо голубое,
Простые птицы, облака,
Так сердце учится покою
И учится труду рука.

Уже о прошлом не жалея,
Не помня, может, – я и ты
Глядим на пену Енисея
И сосен тонкие кресты.

1916

* * *

Проходил под лесами. Кирпич
Вдруг сорвался, будто играя...
Вот и кончено все... Спи!
Это лучшее, что бывает.

Каждый день проносят гроба, –
Что здесь было, что еще будет?
Точно ястреб степной судьба,
А добыча скудная – люди.

Но, забившись под крыши, вновь
И поют, и в шашки играют,
И зовут иногда, любовь,
Тебя. Потом умирают.

Спаси, Господи, люди твоя.
Царь наш милостивый и далекий
Покажи им Твои поля,
С тишиною и солнцем легким.

1916

* * *

Не в книге прочесть и не в песнях узнать
Об этом, – Бог с ними со всеми, –
Но смуглые руки поцеловать
Настанет мне все-таки время.

И будет минута, когда я пойму
Нестройных судеб совершенство,
И жизни «Помедли, – скажу, – потому
Что имя твое – блаженство».

1922

* * *

Нам в юности докучно постоянство,
И человек, не ведая забот,
За беглый взгляд и легкое убранство
Любовь свою со смехом отдает.

Так на заре веселой дружбы с Музой
Неверных рифм не избегает слух,
И безрассудно мы зовем обузой
Поэзии ее бессмертный дух.

Но сердцу зрелому родной и нежный
Опять сияет образ дней живых,
И точной рифмы отзвук неизбежный
Как бы навеки замыкает стих.

1921

* * *

Когда,
Забыв родной очаг и города,
Овеянные ветром южным,
Под покрывалом, ей уже не нужным,
Глядела на Приамовы стада
Рыжеволосая Елена,
И звонкоплещущая пена
Дробилась о смолистое весло,
И над волнами тяжело
Шел издалека гулкий рев: «измена».
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

Когда,
У берега Исландского вода
С угрюмым шумом билась,
И жалобная песня уносилась
От обнаженных скал туда,
Где медлила вечерняя звезда,
По глухоропщущим лесам и по льду,
Когда корабль на парусах белей,
Чем крылья корнуэльских лебедей,
Нес белокурую Изольду,
Где были мы тогда,
Где были
И я, и вы?
Увы.

1920

* * *

Устали мы. И я хочу покоя,
Как Лермонтов, – чтоб небо голубое

Тянулось надо мной, и дрозд бы пел,
Зеленый дуб склонялся и шумел.

Пустыня-жизнь. Живут и молят Бога,
И счастья ждут, – но есть еще дорога:

Ничто, мой друг, ничто вас не спасет
От темных и тяжелых невыхских вод.

Уж пролетает ветер под мостами
И жадно плещет гладкими волнами,

А вам-то, друг мой, вам не все ль равно,
Зеленый дуб или речное дно?

1917

* * *

Заходит наше солнце... Где века
Летящие, где голоса и дали?
Где декорации? Уж полиняли
Земные пастбища и облака.

И я меняюсь. Падает рука
Беспомощно, спокойны мысли стали,
Гляжу на эту жизнь, – и нет печали,
И чужд мне даже этот звук: тоска.

Но все ж я не подвластен разрушенью.
Порою мир одет прозрачной тенью,
И по ночам мне страшно иногда,

И иногда мне снится голубое
И плещущее море, и стада
У берега моей родимой Трои.

1919

Вологодский ангел

I

Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос, ты нам
помоги,
Не прожить нам в этом мире, одолели нас враги.
Солнце, солнце в вольном небе, как фонарь, гори и пылай,
Озари по грехам и горю путь далекий в небесный рай!
Что, Алеша, о чем ты просишь? Лучше б в городе погулял.
Пелагея Львовна сына от уныния берегла.
Тихо рос он, один, играя с собачонкою у пруда,
Или серый замок из глины с трехоконной башней лепил.
А теперь, не ребенок боле, – восемнадцатый год пошел –
Как береза у опушки, все тянулся и молчал.
Иногда за огороды уходил и там, у реки,
На широком и теплом камне, будто мертвый, в небо
глядел.
Тихо стелются Божьи реки, воздух северный чист и свеж,
Тихо облако в небе тает, точно ангельская душа.
Возвращался. Пылили овцы. Уж над лесом стоит звезда.
«Что ты, рыбу ловил, что ли?» У подгнившего плетня
Пелагея Львовна сидела и, скучая, сына ждала.
«Нет, я в поле был, мама», – отвечал он и шел к себе.
И потом, сквозь щелку двери, до полуночи иногда
Было видимо мерцанье восковой дрожащей свечи.
«Что ж, молитва угодна Богу, только странно это мне,
В эти годы!» А Алеша, улыбаясь, слушал мать.
Ой, весна, ой, люди-братья, в небе серые облака,
Ой, заря над лесом, ветер – все в темнице Господней мы!
Белый город Вологда наша, на окраине тишина,

Только стройный звон колокольный, да чирикают
воробы.

Вьется речка, блестит на солнце, а за речкой лес, холмы.
За холмами мир вольный, – но Алеша не знал о нем.
Знал пустое, – что соседка продала на базаре кур,
А уряднику на почте заказное письмо лежит.
Да и Пелагея Львовна не умнее сына была,
Не в гимназии училась – у Воздвиженской попадьи.
Всякий люд идет дорогой, – проезжают в тройках купцы,
И с котомками богомольцы, и солдаты на войну.
Из обители далекой к Троице-Сергию инок шел,
Попросил приюта в доме, отдохнуть и хлеба кусок.
В мае ночи коротки, белы, стихнет ветер, небо горит
И плывет звезда-Венера по сиящим морям.
Все о доле монастырской, о труде монах говорил,
А Алеша о мире лумал и заснуть потом не мог.
Что за жизнь! Заря, сосны, золотые колокола.
Уходя, утешил инок Пелагею Львовну, сказал:
«Сын ваш чист и душой, и телом... Тщитесь, мать, его
сберечь».

А она лишь улыбнулась – «Знаю, славный мальчик он,
Неиспорченный он и скромный, – только ведь не
помощник мне!»

И не знала, не угадала в материнском сердце своем,
Что врата грядущей печали ей захожий монах открыл.

II

Был напротив через канаву с голубыми ставнями дом,
Пустовал пять лет, а ныне и ему нашелся жилец.
Из Москвы Ильина – купчиха наняла за пятьсот
рублей,

И малиновый сад при доме, доходивший до реки.
Не понравилась купчиха в околотке никому,
Было гордости в ней много, не ответит и на поклон,
Говорят, из Москвы бежала от суда и славы плохой,
Мужа там зарезала, что ли, и любовников завела.
Непонятны дела на свете, начала теперь замечать
Пелагея Львовна, будто веселее Алеша стал.
Подойдет вдруг, поцелует, говорит, что жить хорошо,
А однажды – и вспомнить дивно! – «Очи черные» он
запел,

И все чаще, и все дольше пропадал, гуляя в полях.
Раз обмолвилась о купчихе, а Алеша и покраснел,
И сказал: «Не надо, мама, осуждать». И смутясь ушел.
С той поры Пелагея Львовна стала спрашивать и следить,
Не беседует ли мальчик с Ильиной – храни Господь! –
И куда он исчезает, где скитается по часам.
Вечер теплый был, ясный, пели жаворонки в полях,
Розовело над лесом небо, будто рая горнего брег.
Под забором, таясь в бурьяне и в сиреневых кустах,
Пелагея Львовна тихо подглядеть за сыном шла.
И увидела: Алеша у широких белых берез
Под холмом остановился, озираясь по сторонам.
Из глухого переулка, не скрываясь и не спеша,
Вышла женщина, – Алеша ей навстречу побежал,
А она его лениво потрепала по плечу,
За собою в лес темный по тропинке увела
Шалью черною покрыта и далеко, не разглядеть,
Но хмельную шалую поступь и движения белых рук
Пелагея Львовна знала. И с тревогой в сердце она
На закат и лес глядела, будто райский огненный брег.
Уж во тьме пришел Алеша, через кухню к себе прошел.
Даже матери доброй ночи перед сном не пожелал,
А она, сама не зная, как ей к делу приступить,
Фитилек вошла поправить у «Спасителя на водах»,
«Поздно, мама, ты легла бы!» Покачала головой
И на сына она взглянула – «Ах, Алеша, не хороши
От родимой матери тайны. Ты, Алеша, это брось».
Рассердилась потом и долго – уж совсем начало светать –
Слезы горькие утирала о сиротской доле своей,
А Алеша лежал. И молча он укоры слушал ее,
Только раз вздохнул: «Мама! Ты ее не осуждай».
Но когда, устав от жалоб, Пелагея Львовна ушла,
На крючок закрыл он двери в свою комнату, и там
Было слышно – помощи молит – «Царь Христос, прости
меня!

Царь Христос, меня помилуй и что делать мне, научи».
И, подслушав слова такие, Пелагея Львовна совсем
Успокоенная заснула, – нет, Алеша добрый сын,
И ей снилось, что Алеша уже вырос, богатым стал
И на площади у собора зеленую лавку открыл.

III

Снова к вечеру посвежело, снова мальчик гулять пошел
В поле. Может быть, и в рощу, – только видела, что один.
Что же – лето на исходе, отчего не погулять,
Может также и знакомство благородное свести.
Очень поздно. Нет Алеши. Уж десятый час пробил.
И совсем стемнело. Странно, – где теперь ему
пропадать.

А у Ильиной напротив ставни сторож давно закрыл,
Значит, дома озорница, верно, картами занята,
Подглядеть в окошко можно. Пелагея Львовна пошла
Через дорогу, озираясь, чтоб никто не видел ее.
Залилась дворняжка, звякнул под ногой осколок стекла,
Три окна широких были в сад малиновый отперты.
Под стеной, на красном диване, низко голову опустив,
И лишь руки перебирая, не дыша Алеша сидел,
А по комнате, как тигрица, в черном платье и кружевах,
Ильина ходила, будто и не глядя на него.
Сбились косы, на лоб нависли, и румянец – майский
цвет –

Разлился – наверно, красок привезла она из Москвы.
«Право, вы совсем не мужчина.» Напевая, подошла
И к Алеше села, руку на плечо положила ему,
А рука бела, и кольца переливчатые горят.
«Завтра утром я уеду, – как хотите, или здесь
Оставайтесь до снега, или...» И склонилась вдруг к нему:
«Что же, любишь, любишь?» Алеша – будто это
и колдовство –

Улыбнулся, голову поднял и ответил тихо: «Люблю».
«Ну, так завтра, на рассвете...» Но не стала таких речей
Пелагея Львовна слушать, убежала к себе домой,
И со злобой ждала Алешу, и заснула, не дождалась,
И сквозь дрему только помнит, сын к ней в спальню
ночью вошел,

Еле двигаясь, и руками, как юродивый, разводя.
«Что, Алеша?» А он не скоро, будто и совсем в забытии,
Подошел: «Но как же, мама, обещание мне забыть?»
Пелагея Львовна даже и ответить не собралась,
Лишь подумала: «надо будет завтра батюшку позвать»,
А потом опять заснула беспокойным сном она
И под утро слышала, будто кто-то бродит и поет

Песнопения, как бывает, пред отходом души поют,
И калитка скрипит, а, может, это только снится ей,
Иль к соседу больную внучку из Архангельска привезли.
Встала утром. Нет Алеши. Дверь на улицу отперта.
Рассердилась и с обедом не хотела подождать,
Но Алеша не вернулся, да и к ужину не пришел.
Лишь когда совсем стемнело, Пелагея Львовна вдруг
Поняла, что Ильиною оболещен был мальчик вчера
И с любовницей своею на машину убежал.
Сразу бросилась к купчихе, чуть звонок не оторвала,
И на заспанную девку накричала. – И в ответ
Усдыхала, что нет хозяйки, неизвестно ни где она,
Ни когда вернется, – верно, не вернется она совсем.
Тут и стало матери ясно, что Алеша ее обманул,
И на старости одинокой на весь город осрамил.
Дом со свечкою осмотрела, искала и в саду
Пелагея Львовна, после и к друзьям она пошла.
«Нет, подумайте, родные, не ждала я такой беды».
Кто смеялся, а кто и плакал, но никто не мог сказать,
Убежала куда купчиха, – надо думать, что в Москву,
А в Москве дьячков племянник частным писарем состоит,
Может он найти Алешу, только город ведь большой,
И почтарь, а он ученый, рассудительный человек,
Говорит, американский пароход Алешу увез.
Хлопотала и сердилась Пелагея Львовна, но все
Время долгое умиряет, проскучала четыре дня,
А потом и догадалась, что Господь ее наказал
За грехи и за ропот, а Алеша вернется к ней,
И знакомые навещали, убеждали слез не лить,
А, постившись до Успенья, губернатору написать,
Утешенье – врач искусный, – Пелагея Львовна опять
Прогуляться вышла в рощу за морошкою и в грибы.

IV

Вянет поле, трава желтеет, солнце падает в облаках,
И на ветках у опушки переругиваются грачи.
Но в лесу темно, глухо, – только сучья захрустят
Под ногами, да лист мертвый, точно золото, упадет.
Еще слышен звон протяжный, долетают и голоса.
А за вытоптаным оврагом только сумрак и тишина.
Но грибов совсем немного, лишь опенки да грузди,

Что в них толку? Есть поляна, за Кирилловским
родником,
Там, куда ни оглянешься, все белеют боровики.
Путь далекий, но решила одинокая пойти.
Что сидеть в пустом доме, только грех один, тоска.
Ночь уж близится, над лесом разлилась, как море, заря,
Но в лесу зари не видно, ветви черные переплелись.
Источает дух прохладный, под листвою преет земля,
И покой нисходит на душу, и врачует ее... И вдруг
Там, за пнями, за белой березой, или, может быть,
в облаках,
Голос легкий вскрикнул – Мама! – и далекий оборвался.
И такая над темным лесом стала дивная тишина,
Что, казалось, земля томится перед скорой смертью своей,
И ступить по листьям страшно, страшно двинуться или
вздохнуть.
Удивленно в даль глядела за пригнувшиеся кусты
Пелагея Львовна, будто сон внезапный ее сковал.
Но опять, опять и ближе, и знакомее, и родней
Голос тонкий вскрикнул – Мама! – прозвенел, как
бубенец.
Обмануться не может сердце, не узнать, чей голос звенит.
«Травы, травы, птицы, деревья, где же мой возлюбленный
сын,
Вы зачем его таите и зачем он меня зовет?»
Свежий шелест прошел по лесу, принагнулись цветы
к земле.
«Подожди, – отвечают травы, – скоро сына увидишь ты!»
Ночь спустилась, по лощинам зажурчали ночные ключи,
Под ногами мох тонет, глухари на деревьях спят,
И качаются мерно, тихо, словно снится им ветерок.
Уж и голоса не слышно, не звенит он в тишине,
Только свет далекий мреет, как от белого фонаря.
«Травы, травы, земля, деревья, где же мой единственный
сын,
Вы зачем его схоронили, от меня увели зачем?»
Точно буря ветви рванула, быстро выпрямились стебли.
«Радуйся, – отвечают травы, – разве сына не видишь ты?»
За кустами, в облаке снега, как в сияющей пелене,
На груди скрестив руки, улыбаясь, Алеша стоял.
Поглядел на мать, после низко голову наклонил
И пошел вглубь леса над валежником и землей,

И она не удивилась, – это райский снится сон,
Не окликнула, не спросила, за сиянием побрела.
Только все догнать не может, «подожди, сынок, меня»,
А он тихо, не отвечая, над зеленой мокрой землей,
Будто по морю на веслах, между никлых трав плывет.
«Ты куда же, сын Алеша, ты зачем от меня идешь?»
Но уже не слышит Алеша, за деревья уходит он,
За деревья, на поляну, за студеные родники.
Посреди широкой поляны, хмелем зреющим обвита,
Деревянная часовня у сквозной ограды стоит,
И перед ликами святыми пятьдесят лампад зажжено.
За ограду прошел Алеша, на дощатых ступеньках стал,
Обернулся, поклонился до сырой, зеленой земли,
Поклонился, руки поднял, к небу поднял глаза свои,
И на низкой колокольне зазвенели колокола.
Закачались дубы и сосны, тонкий по лесу льется звон,
На цветы, на густые травы пала свежая роса,
И звенят, зеленые клонят пред Угодником стебельки,
А заслышав звон далекий, на осыпанный снегом свет
Из дремучей чащи звери подошли, лисица, волк,
И медведь косматый, ветви раздвигая, захрапел.

V

Мох набухший гниет и вянет, рассветает в темном лесу,
На высоких дубах белки перескакивают по ветвям
Да проносятся шальные, дождевые облака.
Поднялась и не может вспомнить, где же голос легкий,
звон,
И сияющая часовня? Только лес вокруг и туман,
Но за муравьиными пнями, под березой, на мягком мху,
В лужу голову запрокинув, не дыша Алеша лежит
И в прозрачных цепких пальцах деревянный держит
крест.

Подбежала, наклонилась к сыну милому, а он,
Он и зубы уже оскалил, уж совсем окоченел.
Только под вечер вернулась по размытым полям домой
Пелагея Львовна, долго не могла дороги найти.
Все соседям рассказала, и к протоиерею пошла,
Чтобы завтра у обедни он Алешу бы помянул.
Люди, слушая, сомневались и качали головой,
Нет в лесу ее Алексея, он разгуливает в Москве.

Но когда в горячий полдень на телеге, на двух конях
Привезли худое тело к покривившемуся плетню,
Умилились сердца людские, слезы частые потекли,
Об Алеше, о мире бедном, утопающем во зле.
Лишь почтарь про свет и звоны даже слушать, хитрый,
не стал,
Все смеялся он – дудки! – а поверить не хотел.

1916

Из сборника «На Западе» (1939)

* * *

(У дремлющей парки в руках,
Где пряжи осталось так мало...)
Нет, разум еще на зачах,
Но сердце... но сердце устало.

Беспомощно хочет любить,
Бессмысленно хочет забыться...
(И длится тончайшая нить,
Которой не надо бы длиться).

* * *

Навеки блаженство нам Бог обещает!
Навек, я с тобою! – несется в ответ.
Но гибнет надежда. И страсть умирает.
Ни Бога, ни счастья, ни вечности нет.

А есть облака на высоком просторе,
Пустынные скалы, сияющий лед,
И то без названья... ни скука, ни горе...
Что с нами до самого гроба дойдет.

<1921>

* * *

Рассвет и дождь. В саду густой туман,
Ненужные на окнах свечи,
Раскрытый и забытый чемодан.
Чуть вздрагивающие плечи.

Ни слова о себе, ни слова о былом.
Какие мелочи – все то, что с нами было!
Как грустно одиночество вдвоем...
– И солнце, наконец, косым лучом
Прядь серебристую позолотило.

* * *

Летит паровоз, клубится дым.
Под ним снег, небо над ним.

По сторонам – лишь сосны в ряд,
Одна за другой в снегу стоят.

В вагоне полутемно и тепло.
Запах эфира донесло.

Два слабых голоса, два лица.
Воспоминаньям нет конца!

«Милый, куда ты, в такую рань?»
Поезд останавливается. Любань.

«Ты ждал три года, остался час,
Она на вокзале и встретит нас».

Два слабых голоса, два лица.
Нет на свете надеждам конца...

Но вдруг на вздрагивающее полотно
Настежь дверь и настежь окно.

«Нет, не доеду я никуда,
Нет, я не увижу ее никогда!

О, как мне холодно! Прощай, прощай!
Надо мной вечный свет, надо мной вечный рай».

* * *

За все, что в нашем горестном быту,
То плача, то смеясь, мы пережили,
За все, что мы, как слабую мечту,
Не ожидая ничего, хранили,

Настанет искупление... И там,
Где будет кончен счет земным потерям –
Поймешь ли ты? – все объяснится нам,
Все, что мы любим и чему не верим.

<1922>

* * *

Ложится на рассвете легкий снег.
И медленно редуют острова,
И холодеет небо... Но хочу
Теперь я говорить слова такие,
Чтоб нежностью наполнился весь мир,
И долго, долго эхом безутешным
Мои стихи носились бы... Хочу,
Чтоб через тысячи глухих веков,
Когда под крепким льдом уснет, быть может,
Наш опустелый край, в иной стране,
Иной влюбленный, тихо проходя,
Над розовым, огромным, теплым морем
И глядя на закат, вдруг повторил
Твое двусложное, простое имя,
Произнося его с трудом...
И сразу,
Бледнее неба, был бы он охвачен
Мучительным и непонятым счастьем,
И полной безнадежностью, и чувством
Бессмертия земной любви.

* * *

Чрез миллионы лет – о, хоть в эфирных волнах! –
Хоть раз – о, это все равно! –
Померкшие черты среди теней безмолвных
Узнать мне будет суждено.

И как мне хочется – о, хоть бессильной тенью! –
Без упоения и мук
Хоть только бы прильнуть – о, только к отраженью! –
Твоих давно истлевших рук.

И чтоб над всем, что здесь не понял ум беспечный,
Там разгорелся наконец
Огромный и простой, торжественный и вечный
Свет от слиянья двух сердец.

* * *

Куртку потертую с беличьим мехом
Как мне забыть?
Голос ленивый небесным ли эхом
Мне заглушить?

Ночью настойчиво бьется ненастье
В шаткую дверь,
Гасит свечу... Мое бедное счастье,
Где ты теперь?

Имя тебе непонятное дали.
Ты – забыть.
Или, точнее, цианистый калий –
Имя твое.

* * *

Еще переменится все в этой жизни, – о, да!
Еще успокоимся мы, о былом забывая.
Бывают минуты предчувствий. Не знаешь, когда.
На улице, дома, в гостях, на площадке трамвая.

Как будто какое-то солнце над нами встает,
Как будто над нами последнее облако тает,
И где-то за далью почти уж раскрытых ворот
Один только свет бесконечный и белый сияет.

* * *

Если дни мои милостью Бога
На земле могут быть продлены,
Мне прожить бы хотелось немного,
Хоть бы только до этой весны.

Я хочу написать завещанье.
Срок исполнился. Все свершено.
Прах – искусство. Есть только страданье,
И дается в награду оно.

От всего отрекаюсь. Ни звука
О другом не скажу я вовек.
Все постыло. Все мерзость и скука.
Нищ и темен душой человек.

И когда бы не это сиянье,
Как могли б не сойти мы с ума?
Брат мой, друг мой, не бойся страданья,
Как боялся всю жизнь его я...

* * *

На Монмартре, в сумерки, в отеле,
С первой встречною наедине,
Наспех, торопливо, – неужели
Знал ты все, что так знакомо мне?

Так же ль умирала, воскресала,
Улетала вдаль душа твоя?
Так же ль ей казалось мало
Бесконечности и бытия?

А потом, почти в изнеможеньи,
С отвращеньем глядя на кровать,
Так же ль ты хотел просить прощенья,
Говорить, смеяться, плакать, спать?

* * *

Он еле слышно пальцем постучал
По дымчатой эмали портсигара,
И, далеко перед собою глядя,
Проговорил задумчиво: «Акрополь,
Афины серебристые... О, бред!

Пора понять, что это был унылый,
Разбросанный, кривой и пыльный город,
Построенный на раскаленных скалах,
Заваленный мешками с плоской рыбой,
И что по этим тесным площадям,
Толпе зевак и болтунов чужие,
Мы так же бы насмешливо бродили,
Глядели бы на все с недоумением
И морщились от скуки...».

* * *

Граф фон-дер Пален! – Руки на плечах.
Глаза в глаза. Рот иссиня-бескровный.
Как самому себе! Да сгинет страх!
Граф фон-дер Пален! Верю безусловно.

Все можно искупить: ложь, воровство,
Детоубийство и кровосмешенье,
Но ничего не свете, ничего
На свете нет для искупленья

Измены.

* * *

Невыносимы становятся сумерки,
Невыносимее вечера...
Где вы, мои опоздавшие спутники?
Где вы, друзья? Отзовитесь. Пора.

Без колебаний, навстречу опасности,
Без колебаний и забытья
Под угасающим «факелом ясности»,
Будто на праздник пойдем, друзья!

Под угасающим «факелом нежности»,
Только бы раньше не онеметь! –
С полным сознанием безнадежности,
С полной готовностью умереть.

Стихотворения, не включавшиеся в сборники

Анне Ахматовой

По утрам свободный и верный
Колдовства ненавижу твои,
Голубую от дыма таверну
И томительные стихи.
Вот пришла, вошла на эстраду,
Незнакомые пела слова,
И у всех от мутного яда
Отуманилась голова.
Будто мы, изнуренные скукой,
Задохнувшись в дымной пыли,
На тупую и стыдную муку
Богородицу привели.

1914

Балтийский ветер

I

Был светлый и холодный день,
И солнце беспокойно билось,
Над нашим городом носилась
Печалью раненая тень.
Нет, солнца не было. Дрожа
Под лужами, тускнели плиты,
Металась дикая Нева
В тисках тяжелого гранита;
Как странно падали слова:
«Я видела его убитым».
И черный вуаль открыл глаза,
Не искаженные слезами,
На миг над невскими волнами
Вам смерть казалась так легка.
И лишь в лохмотьях облака
Растерянно неслись над нами.

II

Тяжкий гул принесли издалека
Осветившие землю огни,
Молчаливым и нежным упреком
Ты следишь мои сонные дни.
Где-то там и ликуют, и плачут,
Славословят смертельный бой,
Задыхаясь валькирии скачут
В облаках веселой толпой.
И поет о томлении плена

Тихоструйного Рейна волна,
И опять на покинутых стенах
Ярославна тоскует одна.
Знаю все. Но молчи и не требуй
Ни тревоги, ни веры своей,
Я живу... Вот река и небо,
И дыхание белых полей.

Оставленная

Мы все томимся и скучаем,
Мы равнодушно повторяем,
Что есть иной и лучший край.
Но если здесь такие встречи,
Если не сон вчерашний вечер,
Зачем нам недоступный рай?

И все равно, что счастье мчится,
Как обезумевшая птица,
Что я уже теряю вас,
Что близких дней я знаю горе,
Целуя голубое море
У дерзких и веселых глаз.

Лишь хочется летать за вами
Над закарпатскими полями,
Пролить отравленную кровь
И строгим ангелам на небе
Сказать, что горек был мой жребий
И неувенчана любовь.

* * *

Когда Россия, улыбаясь,
Безумный вызов приняла,
И победить мольба глухая
Как буйный ураган прошла,

Когда цветут огнем и кровью
Поля измученной страны,
И жалобы на долю вдовью
Подавленные, не слышны –

Я говорю: мы все больны
Блаженно и неизлечимо,
И ныне, блудные сыны,
В изменах каемся любимой...

И можно жить, и можно петь,
И Бога тщетно звать в пустыне,
Но дивно, дивно умереть
Под небом радостным и синим.

<1915?>

* * *

Железный мост откинут
И в крепость не пройти.
Свернуть бы на равнину
С опасного пути?

Но белый флаг на башне.
Но узкое окно!
О, скучен мир домашний,
И карты, и вино!

Я знаю, – есть Распятья
И латы на стенах,
В турецкой темной рати
Непобедимый страх.

Пустыни, минареты,
И дым, и облака,
И имя Баязета,
Пронзившее века.

Белеют бастионы
За мутною рекой,
Знамена и короны
Озарены луной.

И на воротах слово,
– Старинно и темно, –
Что на пути Христовом
Блаженство суждено.

Белые ночи

Проспектов озаренных фонари
Погасли на пустынном небосклоне,
И небо бледное само горит,
И легкий звон ленивый ветер гонит.

Что это? Плески отдаленных вод,
Иль райских птиц полуночное пенье,
Или покинутый, блаженный грот
Тангейзер вспоминает, как виденье?

* * *

Сердце мое пополам разрывается.
Стынет кровь.
Что за болезнь? Как она называется?
Смерть? Любовь?

О, разве смерть наша так удивительно –
Хороша?
Разве любовь для тебя так мучительна,
О, душа?

* * *

О том, что смерти нет, и что разлуки нет,
И нет земной любви предела,
Не будем говорить, Но так устроен свет,
Где нам дышать судьба велела.

И грустен мне, мой друг, твой образ, несмотря
На то, что ты и бодр, и молод,
Как грустно путнику в начале сентября
Вдруг ощутить чуть слышный холод.

* * *

Жил когда-то в Петербурге
Человек – он верил в Бога,
Пил вино, глядел на небо,
И без памяти влюбился.

И ему сказала дама,
Кутаясь пушистым мехом:
«Если так меня ты любишь,
Сделай все, что ни скажу я».

Чай дымился в тонких чашках,
Пахло горькими духами...
Он ответил: «Что ты хочешь?
Говори – я все исполню».

И подумал: «Буду с нею
Навсегда, живым иль мертвым.
Легкой птицей, ветром с моря,
Пароходною сиреной».

Равнодушно и спокойно
Дама на него взглянула:
«Уходи, раздай все деньги,
Отрекись навек от Бога,

И вернись с одной мыслью
Обо мне. Я все сказала».
Он ушел и, обернувшись,
Улыбнулся ей: «И только?»

На другой же день он входит,
Бледный, без креста на шее,
В порыжелой гимнастерке,
Но веселый и счастливый.

Тихо в небе догорали
Желтые лучи заката,
И задумавшись как будто
Дама вновь проговорила:

«Уходи, и если можешь,
Обо мне забудь!». Не сразу
Встал он, не сказал ни слова,
И ушел не попрощавшись.

Мир широкий. Все найдешь в нем,
Но не все ль и потеряешь?
Только шесть недель промчалось,
Ночью кто-то в дверь стучится.

«Отвори!» И тихо входит
Тот же человек. Но страшно
Изменился он. Морщины
Черный лоб избородили.

Шепчет дама: «Неужели
Ты забыл? Ты изменил мне?»
Но он ей не отвечает,
Глаз не поднимает темных.

Утро брезжит... В пышной спальне
Женщина ломает руки.
«Денег мне не надо. В Бога
Верь или не верь – пустое!

Но люби меня!». Коснулся
Он холодными губами
Губ ее, и вновь покорно
Темный, спящий дом оставил.

Год прошел, второй проходит,
Никого она не видит,
Никогда не спит... Ни слухов,
Ни звонка, ни телеграммы.

Только ветер бьется в окна,
Только птицы пролетают,
Только долгая сирена
Завывает в ночь сырую.

Лубок

Есть на свете тяжелые грешники,
Но не все они будут в аду.
Это было в московской губернии,
В девятьсот двадцать первом году.

Комиссаром был Павел Синельников,
Из рабочих или моряков.
К стенке сотнями ставил. С крестьянами
Был, как зверь, молчалив и суров.

Раз пришла в канцелярию женщина
С изможденным, восточным лицом
И с глазами огромными, темными.
Был давно уже кончен прием.

Комиссар был склонен над бумагами.
«Что вам надо, гражданка?» Но вдруг
Замолчал. И лицо его бледное
Отразило восторг и испуг.

Здесь рассказу конец. Но на севере
Павла видели с месяц назад.
Монастырь там стоит среди озера,
Волны ходят и сосны шумят.

Там, навеки в монашеском звании,
Чуть живой от вериг и поста,
О себе, о России, о Ленине
Он без отдыха молит Христа.

* * *

О чем жалеть душе моей? Она
Обветрилась, обсохла, посветлела.
Ей видятся другие времена,
Ей до прошедшего – какое дело!

Пойдем со мной в далекий путь, мой друг,
По городам, пустыням, пепелищам.
Мне стало незнакомо все вокруг.
Мне очень холодно. Тепла поищем.

* * *

Единственное, что люблю я – сон.
Какая сладость, тишина какая!
Колоколов чуть слышный перезвон,
Мгла неподвижная, вся голубая...

О, если б можно было твердо знать,
Что жизнь – одна и что второй не будет,
Что в вечности мы будем вечно спать,
Что никогда никто нас не разбудит.

* * *

Рассвет. Еще глоток вина,
Последний, – чтобы захлебнуться...
Пустая улица, весна.
Не знаю, как домой вернуться.

О чем со мной ты говоришь?
Мой милый друг, я засыпаю.
Сиянье звезд. Лесная тишь.
Мой лучший друг, я умираю.

Пойдем со мной, пойдем ко мне,
Печально, хмуро, одиноко
«Топить отчаянье в вине»,
Как где-то сказано у Блока.

* * *

«О, сердце разрывается на части
От нежности... О да, я жизнь любил,
Не меряя, не утоляя страсти
– Но к тридцати годам нет больше сил.»

И наклонясь с усмешкой над поэтом,
Ему хирург неведомый тогда
Разрежет грудь усталую ланцетом
И вместо сердца даст осколок льда.

* * *

Со всею искренностью говорю,
С печалью, заменяющей мне веру...
За призраки я отдал жизнь свою,
Не следуя моему примеру.

Настанет день... Устало взглянешь ты
На небо, в чудотворный час заката.
Исчезнут обманувшие мечты,
Настанет долгая за них расплата.

Не думай противостоять судьбе,
Негодовать, упорствовать, томиться...
Нет выбора – исход один тебе,
Один, единственный: перекреститься.

* * *

Нам суждено бездомничать и лгать,
Искать дурных знакомств, играть нечисто,
Нам слаще райской музыки внимать –
Два пальца в рот! – разбойничьему свисту.

Да, мы бродяги или шулера,
Враги законам, принципам, основам.
Так жили мы и так умрем. Пора!
Никто ведь и не вспомнит добрым словом.

И все-таки, не знаю почему,
Но твердо верю, – о, не сомневаюсь! –
Что вечное блаженство я приму
И ни в каких ошибках не раскаюсь.

* * *

«Кутырина просит...» – «Послать ее к черту».
(Здесь черт для приличья: известно, куда).
Хватается в страхе Седых за аорту,
Трясется и Ляля, бледна и худа.

Один Калишевич спокоен и ясен
(На Ратнера, впрочем, взирая, как тигр).
Подвал продиктован, обед был прекрасен.
Каких вам еще наслаждений и игр?

Неслышно является Игорь Демидов,
Ласкателен, вкрадчив, как весь на шелку
(В сей комнате много он видывал видов).
«Абрамыч, отец... я спущусь... кофейку».

Отец что-то буркнул в ответ, и Демидов
К Дюпону идет, чтоб решать мо-круазе.
Кто был предпоследним в роду Хасанидов,
Как звали своячениц Жоржа Бизе?

Августа Филипповна входит в экстазе.
«Газеты достать абсолютно нельзя,
Весь город кричит о каком-то рассказе...
Кто автор? – Звоню. Разумеется – я».

Влетает, как ветер, как свет, как свобода,
Порывист, заносчив, рассеян, речист,
Ну, тот... с фельетонами в честь огорода...
Не то огородник, не то анархист.

Преемник Кропоткина, только пожиже,
Зовущий бороться, как звал в старину.
(А в сущности, что ему делать в Париже,
Студенту российскому Осоргину?)

За ним, прикрывая застенчиво шею,
Имея для каждого свой комплимент,
Знакомый Парижу, известный Бродвею,
К тому же и нобелевский конкурент,

Вы поняли – Марк Александрыч Алданов,
Читательской массы последний кумир
(здесь две глупые строчки, которые пропускаю)

Владимир Андреич, уходите? Снова?
(Тот в банк, в типографию – тысяча дел.)
«Сто франков до Пятницы... честное слово!..
Не слушает... не дал... исчез... улетел.

Ступницкий не в духе, дерзить начал Колька.
Единственный выход – пойти к Сарачу.
Сарач только спросит: «прикажете сколько?»,
И в книжку запишет, придвинув свечу.

Чуть Вера Васильевна выпорхнет в двери,
Сейчас же и Шальнев в ту самую дверь.
Была Клеопатра. Была Кавальери.
По Шальневу Верино царство теперь.

Судьбой к телефону приставлен Ладинский,
Всему человечеству видно назло:
Он – гений, он – Пушкин, он – бард исполинский,
А тут не угодно ль – алло да алло!

На свежий товар негодует Эразмус.
С «коровой», с капустой лежат пирожки.
«А были б микробы-с, а были б миазмы-с,
Так все расхватили бы вмиг дурачки!»

К уныню клиентов из пишущей братии
Блуждает Кобецкий, повесивши нос.
«Формация кризиса... при супрематии
Америки... труден научный прогноз».

Прогнозы для Волкова менее трудны:
Два франка внести в прошлогодний баланс,
Подклеить в уборной подгнившее судно,
Трясти бородою при слове «аванс».

Пора наконец перейти к Кулишери,
Но тут я сдаюсь и бросаю перо.
Тут Гоголю место, Шекспиру, Гомеру,
Тут нужен бы гений – c'est un numero!

<1930?>

Стихи в альбом

Я верности тебе не обещаю.
Что значит верность? – Звук пустой.
Изменит ум, изменит сердце, – знаю.
На том и помирись со мной.

Но все-таки я обещаю вечно
Беречь те робкие мечты
И нежность ту, которую, конечно,
Не сбережешь и часу ты.

* * *

Как ни скрывай, как ни обманывай,
Вне конкурса – стихи Присмановой,
А Гингер – лучший наш стилист,
Хотя и худший покерист.

31 марта 48

* * *

Сегодня был обед у Бахраха.
Роскошный стол. Чудесная квартира.
Здесь собраны на удивленье мира
Ковры, фарфор, брильянты и меха.

Но где ж котлеты, пирожки, уха?
Нет, нет, молчу... Средь мюнхенского пира
Забыть должна о грубой кухне лира,
Остаться к эмигрантщине глуха.

Изящный смех, живые разговоры,
О станции и о знакомых споры,
Червинских шуток изощренный яд,

Хозяйки чистый и лучистый взгляд...
Kufsteiner Platz – «нет в мире лучше края»,
Скажу я с Грибоедовым, кончая.

* * *

Остров был дальше, чем нам показалось.
Зеркало озера, призрачный снег,
С неба снежинки... ну самая малость...
Лишь обещаьем заоблачных нег.

С неба снежинки... а впрочем, какому
Летом и снегу небесному быть?
В памяти только... сквозь сонную дрему...
Воображение... к ниточке нить.

Остров и снег. Не в России, а где-то,
Близко глядеть, а грести – далеко.
Было слепое и белое лето,
Небо, как выцветшее молоко.

Что ж, вспоминай, это все, что осталось,
И утешения лучшего нет.
С неба снежинки, сомнения, жалость,
За морем где-то, за тысячи лет.

* * *

Был вечер на пятой неделе
Поста. Было больно в груди.
Все жилы тянулись, болели,
Предчувствуя жизнь впереди.

Был зов золотых колоколен,
Был в воздухе звон, а с Невы
Был ветер весенен и волен,
И шляпу срывал с головы.

И вот, на глухом перекрестке
Был незабываемый взгляд,
Короткий, как молния, жесткий,
Сухой, будто кольта разряд,

Огромный, как небо, и синий,
Как небо... Вот, кажется, все.
Ни красок, ни зданий, ни линий,
Но мертвое сердце мое.

Мне было шестнадцать, едва ли
Семнадцать... Вот, кажется, все.
Ни оторопи, ни печали,
Но мертвое сердце мое.

Есть память, есть доля скитальцев,
Есть книги, стихи, суета,
А жизнь... жизнь прошла между пальцев
На пятой неделе поста.

* * *

Как легкие барашки-облака
Дни проплывают в голубом покое;
Вдаль уплывает счастье голубое
Под теплой лаской ветерка.

Наш ветер – северный. Он гнул дубы и ели,
Он воем отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

Из забытой тетради

I

Социализм – последняя мечта
Оставленного Богом человека.
Все разделить. Окончить все счета.
Всех примирить, отныне и до века.

Да будет так. Спокойно дышит грудь,
Однообразно все и однозвучно.
Никто не весел, никому не скучно
Работать в жизни, в смерти отдохнуть.

Померкло небо, прежде золотое,
Насторожась, поникли тополя.
Ложится первый снег. Пусты поля...
Пора и нам подумать о покое.

II

Крушение русской державы,
И смерть Государя, и Брест
Наследникам гибнущей славы
Нести тяжелее, чем крест.

Им все навсегда непонятно,
Их мучит таинственный страх,
Им чудятся красные пятна
На чистых, как небо, руках.

Но нечего делать... И сосны –
Ты слышишь – все так же шумят,
И так же за веснами весны
По талым полянам летят.

1920

Вспоминая акмеизм

После того, как были ясными
И обманулись... дрожь и тьма.
Пора проститься с днями красными,
Друзья расчета и ума.

Прядь вьется тускло-серебристая.
(Как детям в школе: жить-бороться)
Прохладный вечер, небо чистое,
В прозрачном небе птица вьется.

Да, оправдались все сомнения.
Мир непонятен, пуст, убог.
Есть опьяняющее пение,
Но петь и верить я не мог...

В старинный альбом

Милый, дальний друг, простите,
Если я вам изменил.
Что мне вам сказать? Поймите,
Я вас искренне любил.

Но года идут неровно,
И уносятся года,
Словно ветер в поле, словно
В поле вешняя вода.

Милый, дальний друг, ну что же,
Ветер стих, сухи поля,
А за весь мой век дороже
Никого не помню я.

Пять восьмистиший

1

Ночь... в первый раз сказал же кто-то – ночь!
Ночь, камень, снег... как первобытный гений.
Тебе, последыш, это уж невмочь.
Ты раб картинности и украшений.

Найти слова, которых в мире нет,
Быть безразличным к образу и краске,
Чтоб вспыхнул белый, безначальный свет,
А не фонарик на грошовом масле.

2

Нет, в юности не все ты разгадал.
Шла за главой глава, за фразой фраза,
И книгу жизни ты перелистал,
Чуть-чуть дивясь бессмыслице рассказа.

Благословенны ж будьте вечера,
Когда с последними строками чтенья
Все, все твердит – «пора, мой друг, пора»,
Но втайне обещает продолженье.

3

Окно, рассвет...Едва видны, как тени,
Два стула, книги, полка на стене.
Проснулся ль я? Иль неземной сирени
Мне свежесть чудится еще во сне?

Иль это сквозь могильную разлуку,
Сквозь тускло-дымчатые облака,
Мне тень твоя протягивает руку
И улыбается издалека?

4

Что за жизнь! Никчемные затеи,
Скука споров, скука вечеров.
Только по ночам, и все яснее,
Тихий, вкрадчивый, блаженный зов.

Не ищи другого новоселья.
Там найдешь ты истину и дом,
Где пустоует, где тоскует келья
О забывчивом жильце своем.

5

«Понять-простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй... Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.

Но, может быть, в тоске о человеке,
В смятеньи, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять-простить».

* * *

Там солнца не будет... Мерцанье
Каких-то лучей во мгле,
Последнее напоминанье
О жизни и о земле.

Там солнца не будет... Но что-то
Заставит забыть о нем,
Сначала полудремота,
Полупробужденье потом.

Там ждет нас в дали туманной
Покой, мир, торжество,
Там Вронский встретится с Анной,
И Анна простит его.

Последние примиренья,
Последние разъясненья
Судеб неведомых нам.

Не знаю... как будто храм
Немыслимо-совершенный,
Где век начнется нетленный,
Как знать? быть может, блаженный...

Но солнца не будет там.

* * *

Пора смириться, сэр

А. Блок

«Пора смириться, сэр». Чем дольше мы живем,
Тем и дружить с поэзией труднее,
Тем кажутся цветы ее беднее
Под голубым беспечным ветерком.

Наш ветер – северный. Он гнул дубы и ели,
Он гулом отзывался вдалеке,
Он замораживал на языке
Слова, которые слететь хотели.

На чужую тему

Так бывает: ни сна, ни забвения,
Тени близкие бродят во мгле,
Спорь, не спорь, никакого сомнения,
«Смерть и время царят на земле».

Смерть и время. Добавим: страдание,
...Ну, а к утру, без повода, вдруг,
Счастьем горестным существования
Тихо светится что-то вокруг.

Памяти М. Ц.

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература – приглашенье в ад,
Куда я радостно ходил, не скрою,
Откуда никому – путей назад.

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все – по случайности, все – по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

Мадригал Ирине Одоевцевой

Ночами молодость мне помнится,
Не спится... Третий час.
И странно, в горестной бессоннице
Я думаю о Вас.

Хочу послать я розы Вам,
Все – радость. Горя нет.
Живете же в тумане розовом,
Как в 18 лет.

1971

ПРОЗА

Веселые кони

1.

Война мало изменила жизнь Стебницких. Только Анна Николаевна стала еще больше и еще восторженнее говорить, появились в ее доме шарфы и кисеты, и иногда бывали собрания благотворительного кружка.

Но так же, как и прежде, по субботам покупались у Балле пти-фуры, в приятном беспорядке расставлялась мебель и зажигалась низкая, тяжелая лампа, горничная в белой наколке разносила в маленьких чашках чай.

Анна Николаевна давно мечтала устроить у себя салон, но удавалось это плохо. То ее гости садились за карты, – бридж или, что было уже совсем скверно, винт, – то разговор велся неподходящий, сбиваясь с высоких, волнующих тем на мелкие сплетни.

Теперь помогла война. Карты были изгнаны решительно под тем предлогом, что грех теперь проигрывать деньги, которые можно отдать на раненых, и кроме того для салонных бесед нашлась великолепная и незаменимая тема.

Анна Николаевна была удовлетворена. Она вела для потомства лирический дневник, под названием «Моя душа в кровавые дни», и иногда прочитывала своим гостям страницу-две из него. Гости одобряли, вздыхали, а Анна Николаевна, смотря в одну точку перед собой, тихо говорила:

– Да, мы все, все теперь должны так думать...

Все шло хорошо. Дела, приятного и благородного, было много, и в глубине души мечтательная и пылкая дама даже радовалась, что настало «такое время». Дочь

ее, все так же веселая и красивая, ходила на курсы сестер милосердия и уже собиралась сдавать экзамен. Только сын огорчал Анну Николаевну. Несмотря ни на какие увещания и ссоры, он жил своей прежней жизнью и не хотел изменять ее. Разговоры о том, как может Сережа ничего не делать, велись в доме Стебницких постоянно. Анна Николаевна делилась своим возмущением с друзьями, посвящала ему огненные страницы в своем дневнике, ссорилась с сыном и все более отдалялась от него.

– Ведь все, все работают... в комитетах, в Красном Кресте... А он шляется по улицам или сидит у себя за пертьей... Только бы его не трогали. Ты ответь мне все-таки... отчего ты ничего не делаешь?

Была блестящая и людная «суббота».

Сережа улыбнулся и ответил:

– Мне не хочется.

– Нет, лентяга Сергей, – дружелюбно вставил Лодыгин, веселый и бодрый студент, казавшийся теперь Анне Николаевне «очень стильным», – не хочет, уж я его пилит, пилит... ну, ничего, пусть погуляет.

– Да, сами-то ведь вы работаете. Я ведь не говорю – на войне... зачем? но, право, мне стыдно за Сережу. Теперь, теперь такое равнодушие.

Сережа взглянул на мать, возбужденную и покрасневшую, и подумал:

«Совсем прачка»...

Он опять улыбнулся.

– Видите, я думаю, что идут на войну... не для России, а для себя... видеть, взволноваться... это – эгоизм... с неожиданным и случайным вкладом куда-то... на пользу.

Он говорил ни на кого не глядя, но будто мягко возражая кому-то, споря или соглашаясь.

– Да, ну так что же?

– Да, – Сережа вдруг покраснел и потерял нить мысли, – тогда я свободен... мне не хочется, понимаете... я вижу и здесь, а все эти катастрофы – смены эпох, – он брезгливо поморщился, – все, что пишут теперь в газетах... мне это неинтересно...

– Нет, я не могу... я не хочу это слушать, – нервно вскрикнула Анна Николаевна.

Обыкновенно после этих ссор и сцен Сережа делался еще невозмутимее и с еще большим упорством говорил

о своей правоте. Но сам себе он искренно никогда не мог ответить, почему он прав, и ничего не знал. Он понимал, что ему идти на войну не хочется, вообще ничего ломать не хочется, а работать здесь просто скучно и времени жаль. И в то же время он видел, что вокруг все ломается и неудержимо несется вперед, а он остается на месте. Он удивлялся, печалился своей сонной жизнью со стихами, музыкой и поздними беседами и сам любовался своей печалью. Иногда он думал: «Конечно это – лень». Иногда же казалось: «Нет, так надо. Я не могу иначе. Ничего, ничего, только не надо об этом думать». И так успокаивался.

Недоумение Анны Николаевны усилилось, когда Сережа совсем перестал читать газеты.

– Нет, я этого не понимаю... отказываюсь решительно...

Иногда забываясь она передавала ему «Новое время» с какой-нибудь отмеченной синим карандашом статьей, где рассказывалось о необыкновенном подъеме духа в населении или о подвиге юного добровольца.

– Правда, как это прекрасно.

– Да, конечно...

И он, пробежав статью, оставлял газету.

– Сережа, покажи мне пожалуйста, где Рава.

Ему становилось стыдно, что он не знает, где Рава, и не хватало мужества признаться в этом. Он не читал газет из-за всяких комментариев, но ведь здесь факты, как же можно не следить за ходом войны; конечно это – лень...

– Рава... здесь... вот.

– Где? я не вижу.

– Здесь... не знаю... у нас такая карта, что ничего не разберешь...

Сережа ходил в университет, но занимался немного. Дома, с матерью и сестрой, он быть не любил. Они были очень оживлены, очень заняты и всегда говорили о раненых или теплых вещах. Его тяготило постоянное и нескрываемое пренебрежение в их отношении к нему и то, что они будто нарочно говорили при нем об общей бодрости и радостной вере. Иногда он старался быть с ними резким или вежливо-холодным, но это удавалось плохо. Только с каждым днем все более чужими становились Сереже и мать, и сестра. Все по-прежнему

спокойный, не взволнованный своей ленью, он мало-помалу, также лениво и вяло, начинал уступать и думал: «Я могу... но мне жаль, мне очень жаль всего... Все-таки здесь я работать не стану».

Ходили слухи о том, что все студенты будут призваны к службе.

Сереза вдруг обрадовался.

«Самому решиться трудно, но, если будут, это хорошо».

И ему виделся уже военный лагерь ранней весной, земля в черных проталинах и следах рыхлого снега и синее, холодное небо.

Он шел по набережной. Низко нависли тяжелые облака и ветер со взморья резал ему глаза.

«Вот теперь все изменится. Свои ты вернешься совсем другим... Иначе быть не может. Странно... Петроград... Петербург... это все одно. Просто это кончился девятнадцатый век... и вот все мы уже не нужны».

Издали он узнал быстро шедшего ему навстречу Лодыгина. За несколько шагов тот, веселый и красный, замахал ему руками.

– Прощай, прощай, Сергей...

– Отчего?

– Еду послезавтра на войну с нашим отрядом. Ты не веришь, как я рад... Не могу больше здесь сидеть.

Сереза пожал ему руку.

– Ну, поезжай... Я, может быть, тоже скоро там буду... возьмут.

– Что ты? Ты ведь не на первом курсе? Тебя не возьмут... не знаешь, что ли?

– А, так. Наверно?

– Да, уж поверь мне. Не хочешь, брат? Пороха не нюхал? Эх, махнул бы со мной, вот это – дело. Что здесь киснуть!

– А разве мне можно?

– Отчего же нельзя... поезжай в Варшаву, там я тебя устрою. Ты ведь был год в медицине?

– Да. Послушай, я поеду.

Лодыгин широко улыбнулся.

– Правда? Что это с тобой?

Сереза снял фуражку, провел рукой по волосам и сел на гранит над Невой.

– Так. Все равно я поеду, мне надо, только с тобой вместе.

– Ну, разумеется, со мной... Да ты серьезно или моччишь только.

– Нет, видишь, я очень хочу... очень хочу. Все-таки ведь это – раз в жизни.

– Да уж, для тебя второй такой войны не устроят.

– Ну, да, – ласково улыбнулся Сережа, – я поеду. Я позвоню тебе завтра.

Вернувшись домой, Сережа зашел в комнату матери и, насколько мог, просто и весело сообщил матери о своем решении. Анна Николаевна сначала не поверила, а потом принялась браниться и плакать о том, что вот все, все у Сережи так, что он конечно – помешанный и никогда ее не слушает и не советуется с ней. Маруся тоже негодовала и настаивала, что ехать на войну бессмысленно, а России можно служить и здесь.

– Ах, оставьте меня ради Бога! – вдруг закричал Сережа, – я поеду не для России совсем, не для вас, ни для кого... поеду потому, что хочу...

Он убежал к себе и хлопнул дверью.

В его комнате все было убрано. По стенам висели лубки и Врубели, слегка пахло табачным дымом. На столе лежало письмо. Он прочел адрес. Узнав почерк, отложил его и сел в кресло, и долго сидел, ничего не думая и сложив руки на коленях. Потом встал, подошел к зеркалу, зажег электрический рожок и стал смотреть на себя.

«Вот, хотел иначе причесываться... волосы больше на лоб – теперь не надо, все равно. – Он видел свое бледное и худое лицо с мягкими волосами, и ему было жаль себя. – Убьют... и вот никогда здесь больше стоять не буду... Нет, не убьют»...

Сережа взял письмо и вскрыл его.

«Милый, приходите завтра на выставку. Будет очень...»

Он улыбнулся и громко сказал:

– Вот и не пойду, вот и не пойду...

И сейчас же подумал:

«Как приятно и как странно говорить одному громко. Все-таки это очень хорошо – то, что со мной случилось»...

Лодыгин ехал в санитарном поезде и оказалось, что Сереже сопровождать его нельзя. Они условились встретиться в Варшаве. Дорога была долгой, но не скучной, – уже на вокзале повеяло войной. В обмерзших, набитых вагонах говорили только о ней, читали последние телеграммы, ловили слухи. Ехало много офицеров, возвращавшихся из госпиталей в полки, ехали добровольцы, врачи, сестры, матери, искавшие своих близких, и деловые люди, как всегда снующие между Петроградом и Варшавой.

На станциях встречались войска и артиллерия, поезд шел тихо-тихо, пыхтел и поминутно останавливался. Говорили о том, что немцы идут на Варшаву и теперь стоят недалеко от города. Сережа равнодушно слушал все эти толки, а сам говорил мало. Он не знал, что ждет его, и не думал об этом, но смущенно и растерянно вспоминал оставленный город и свою городскую, ленивую жизнь. Ему казалось, что он вдруг легко вырвался из вязкого и теплого болота, но это свое болото он любил и совсем бросать его не хотел. Тяжелым и трудным было прощание с матерью. Оно совсем «не вышло»... и слова не те говорили, и плакали не так. Все не то. В глубине души он сильно и спокойно любил мать, и ему было грустно думать, что она этого не знает.

«Да ведь это я для нее поехал, она меня послала... Я сам не догадался бы никогда, что надо».

Наконец в мокрое, серое утро поезд пришел в Варшаву.

Сережа отыскал Лодыгина и решил, что останется у него ночевать. Ехать им надо было на следующий день.

Вечером бродили по светлому и веселому городу. В кафе звенела музыка, гуляли нарядные дамы, и Сережа не верил, что это – Варшава, что он едет на войну и вот не может прийти домой, зажечь лампочку у кресла и сесть читать стихи, а завтра встать, когда хочется.

Вернулись поздно. Ночью Сереже снились поле и трубы, небо все красное, в крови или, может быть, в огне заката. Белые кони носились по полю, и вдруг он очутился на спине одного из них, под легкой развивающейся гривой, и конь помчал его, бешено топя и

взвиваясь, прямо в красное небо. Проснулся усталый и грустный и, сидя на кровати, бессвязно стал рассказывать, что видел.

– Понимаешь, это небо... наверху желтое, как прованское масло, а снизу красное, красное... и я туда лечу... Это нехорошо... предзнаменование.

Он улыбнулся.

– Фу, баба, вот весь ты тут, – сердито сказал Лодыгин, – еще на войну. Тоже!.. Тебе на печке сидеть, да с няньками сны гадать.

Поехали очень просто, не так, как ожидал Сережа, без всяких приготовлений, на перевязочный пункт. В мотор сели доктор, две сестры из Петрограда, Лодыгин и Сережа. Шоссе было изрыто и попорчено, но автомобиль летел, как стрела.

Ехали долго и все молчали.

– Ага, жарят, – вдруг желчно сказал доктор.

– Что это?

– Бой... слышите грохочут. Уже несколько суток, – не унимаются, черти.

– Да, я давно слышу, – проговорил Сережа.

Ему казалось, что грохот этот, сначала слабый, как далекий гул, растет с неодолимой силой и быстротой.

Опять все замолчали.

Наконец Сережа спросил:

– Где же это... близко?

– Да, сейчас приедем. Однако же вы – неженка, – и доктор с усмешкой взглянул на его бледное лицо, – вам самому надо валерьянки прописать.

Сережа отвернулся и сухо сказал:

– Нет, у меня только сердце скверное.

Временным перевязочным пунктом служила большая и светлая изба.

Отряд встретила сестра милосердия, растрепанная, без платка на голове, вся обрызганная кровью.

– Ради Бога, а же не могу, я сама здесь с ума сойду, ведь никого нет, доктора нет, раненые стонут... надо скорее перевести пункт, здесь опасно...

Доктор дал ей все сказать и потом холодно проговорил:

– Успокойся, сестра... Пункт в безопасности. Врачебный персонал налицо. И нельзя же так теряться.

У сестры выступили на глазах слезы.

– Да, попробовали бы вы здесь... с раннего утра... сестра Перфилова ушла... Стеблова больна... я больше не могу, я не могу.

– Успокойтесь, сестра, – уже строго повторил доктор и прошел вперед.

Раненые лежали на шинелях, на полу, стонали и всхлипывали.

Доктор спокойно и привычным взглядом оглядел избу.

– Ну, тут со многими не долго возиться... не надо нервничать, сестра...

Он повернулся к шедшему за ним Сереже:

– Стебницкий, этому ногу... надо перевязать немедленно.

И он указал на лежавшего без памяти солдата, с окровавленными бесформенными ногами.

– Да... хорошо, – торопливо ответил Сережа.

Он стал на колена, достал бинт и хотел начать перевязку.

«Как же, промыть ведь надо... или так».

Он заглянул солдату в глаза. Глаза были закрыты и лицо совсем белое. Один тонкий и длинный ус был прикушен в тесно сжатых зубах.

«Нет, надо бинт перекрутить»...

Доктор, горячо упрекая в чем-то сестру, вместе с ней подошел к Сереже.

– Ну что, готово?

– Нет... он кричит и пить просит.

Доктор резко остановился и побагровел.

– Да что вы здесь, нежность разводить приехали? Ведь он умрет из-за вас! Что вы все с ума свести меня хотите! Вы – олух, понимаете? Убирайтесь сейчас же вон отсюда... идите таскать раненых... это – для вас занятие... Убирайтесь!

Он резко схватил Сережу за рукав и толкнул к двери.

Сережа ничего не ответил и вышел. Где-то, казалось – совсем близко, тяжело грохотали орудия, и иногда в промежутках было слышно, как им отвечает другой, более слабый гул.

«Что это, эхо или немцы, – подумал Сережа, – верно немцы. Нет, это – не то... совсем не то, что я думал.

Странно же, что вот война, а я иду один по полю... и никто не знает, кто я и куда я иду... Только где же мне найти раненых? Это дальше наверно... Надо идти к выстрелам».

Он пошел по будто выжженной, черной и сухой земле. В ямах и канавах лежал крепкий снег. Резкий, неровный ветер поднимал холодную пыль и рвал с него фуражку. Сережа хотел держать ее, но руки зябли, и он поочередно прятал их в карманы.

В стороне он заметил следы какой-то дороги, спускавшейся под полуразрушенный мост.

«Надо здесь идти по дороге. Здесь наверно приду, куда надо».

Он спустился, прошел под мостом и вышел на широкую, открытую поляну.

«Может быть, там, у леса, наши, – подумал он и пошел по краю поля к синевшему лесу. – Ну, да, конечно и там люди... Надо туда идти... Вот и направо тоже... Что это!.. Что?»

Сережа вдруг увидел, что совсем рядом с ним с глухим свистом упало что-то и будто завертелось.

«Да, вот... сейчас», – подумал он, и в это мгновение почувствовал тяжелый и горячий удар в живот и ноги.

Он упал.

Сережа очнулся от дикого визга и рева над собой. Он увидел, что шагах в двадцати от него бегут какие-то серые люди, с ружьями наперевес и светлыми, перекошенными лицами.

– Это – наши... верно победа...

Ему было легко и не больно. Он хотел подняться, но ни голова, ни руки не слушали его и будто свинцовые лежали на земле. Все тело ныло и слабело.

По небу летели быстрые, беглые облака, разрывались, и тогда был виден голубой легкий воздух.

Сережа казалось, что эти облака – все жестяные и бегут вдогонку одно за другим, сталкиваются, звенят и ломаются.

«Зачем они так летят. Как бы хорошо так лежать... а вот эти жестянки... Я ранен... но легко... это – пустяки. Снесут на пункт... вылечат... А вдруг не найдут.. Нет, найдут. Как не найти. Вот бегут уже»...

Мимо пробежал человек с повязкой на руке. Сережа хотел позвать, но голоса не хватило. Он толь-

ко со страшным усилием приподнялся и опять упал на землю.

«Ну, ничего... найдут после... все равно... найдут».

Голова его слабела.

Он лежал в темной луже крови, ничего не думал и умер, смотря мутными большими глазами в небо.

Свет на лестнице

Рассказ

Ксения Петровна волновалась. Ей и хотелось испытать то, о чем раньше она только слышала и читала, и немного страшно было. Сегодня вечером она должна пойти к Высоцкому одна на его холостую квартиру. Они познакомились совсем недавно, и Высоцкий сразу влюбился. Присылает цветы, пишет. Ксения Петровна сначала не обращала внимания и даже пробовала сердиться: как же, Володя, муж ее – на войне, родину защищает, а она тут изменять ему будет?

Володя – милый, нежный. Как он, прощаясь с нею, все руки ее целовал, в глаза смотрел, ласковый, грустный, и спрашивал: – Не забудешь? Не разлюбишь?

И вот, случайно у Зины Кон, своей подруги по институту, Ксения Петровна встретила Высоцкого. Он ей не понравился, показалась неприятной и его манера говорить, медленно и с какой-то аффектацией и этот еле уловимый польский акцент, и взгляд, томный и упорный.

За чаем он сидел с ней рядом, не сводя с нее глаз, все говорил, говорил, не умолкая, несколько вычурно и театрально. И когда Ксения Петровна встала, он просил проводить ее домой.

Зина Кон в передней отвела свою подругу в сторону и шутливо сказала:

– Поздравляю... Победа... Только *gardez-vous, madame*... Про него такое говорят. Дон-Жуан!

Ксения Петровна покраснела.

– Глупости!

По дороге Высоцкий стал говорить о своей любви, об этом странном, налетевшем откуда-то чувстве.

– Я не знаю, что со мной. Этого никогда не было... Как только вы вошли, я понял, что вас люблю.

Ксения Петровна пожала плечами.

– Право, это странно даже... Я, право, не привыкла.

Они простились сухо. Высоцкий даже не поцеловал руки.

Но на следующий день он прислал большую корзину ландышей. Ксения Петровна очень любила ландыши и невольно обрадовалась подарку. Потом пошли записки, письма, еще цветы. Он попросил разрешения быть у нее, – она позвала его днем пить чай. Все, кажется, было очень хорошо.

Ксения Петровна напудрилась и прихорошилась и накрыла стол белой, твердой, как дерево, скатертью, купила французского печенья, – но Высоцкий чем-то остался не доволен.

– Ах, это не то, не то. Здесь у вас эта горничная, ваш сын... Это не то. Я не могу, я ведь люблю вас.

Ксения Петровна улыбнулась.

– Так что же я могу сделать?

– Придите ко мне. Я вас так прошу. Никто не увидит, никто не узнает.

– Нет, право, это неудобно.

Высоцкий встал, бледнея.

– Бог с вами. Я больше ничего не скажу. Я вас всю вижу... насквозь... вы – ломака, вы злая и бессердечная.

Ксении Петровне стало обидно.

– Нет, я не ломака и не злая... Вы странный, право...

– Дорогая, милая, простите. Я виноват, я знаю, но придите ко мне... Я вас так прошу. Для меня было бы таким счастьем видеть вас у себя.

«В сущности, что же тут плохого. Отчего бы и не пойти. Так все ведь делают... А Володя не узнает. И я ему не изменю, я его люблю», – подумала, колеблясь, Ксения Петровна и, наконец, проговорила:

– Хорошо. Если вы так этого хотите... Мне ведь не трудно...

Высоцкий поцеловал ее руки, посидел еще несколько минут и уехал, счастливый и нежный.

Это было вчера, а сегодня в 10 часов вечера она должна быть у него.

Ксения Петровна долго причесывалась, не зная, лучше ли закрыть волосами уши, или поднять волосы, как всегда делала, надела любимое свое зеленое платье, сши-

тое еще для послесвадебных визитов и недавно заново переделанное, и, взглянув в зеркала, довольная, улыбнулась самой себе.

Не любя Высоцкого, Ксения Петровна хотела ему нравиться. Ей было приятно это поклонение человека немолодого, богатого и свободного – ей, робкой и неопытной. Что она видела в жизни? После института несколько лет в глуши, у матери, потом эта встреча с Володей и недолгое, тихое и спокойное счастье... Высоцкий открывал ей новый и заманчивый мир, и, слушая его рассказы и признания, Ксения Петровна иногда ловила себя на каких-то нехороших мыслях...

Она вышла и позвала извозчика.

– Лучше, чем в трамвае, а то он встретит, может быть. Увидит еще, что я пешком... И зачем все-таки я ему обещаю?..

Извозчик ехал тихо, по-дешевому. Пахло весной и близким морем. Ветер дул мягкий и нежный, и гнал с запада огненные, широкие облака.

– Не поеду больше... Еще Володя как-нибудь узнает... Но он милый, этот Высоцкий... И, кажется, он меня, правда любит...

– Извозчик, к 16-му номеру, у подъезда...

Ксения Петровна вошла и небрежно спросила:

– Здесь живет г. Высоцкий?

– Да, пожалуйста, – швейцар в галунах отворил дверцу лифта.

«Вот, вся пудра с носа сошла, и глаза красные какие-то», – успела разглядеть себя в зеркальной клетке Ксения Петровна.

На площадке третьего этажа ее уже ждал Высоцкий.

– Дорогая моя, как я счастлив... И как я вам благодарен.

Ксения Петровна была слегка смущена. Эта роскошь входа, ковры, цветы, эта блестящая передняя, без шкафов с пыльными картонками над ними, – все ей было непривычно.

– Да? Вы меня ждали? Чудесная погода, я с наслаждением проехала.

Высоцкий помог ей снять легкое пальто, нежно, как драгоценность, взял ее ридикюль.

– Пройдем в кабинет...

В кабинете было полутемно. В углу в камине по углям ползали синие огни.

Были видны мягкие, глубокие кресла, шкуры, оружие по стенам. Пахло горьким сигарным дымом и цветами.

– Вот здесь я живу, здесь я скучаю, – слегка нараспев сказал Высоцкий и закрыл руками глаза, будто задумавшись или плача.

– У вас хорошо...

– Теперь – да. Когда вы здесь.

– Ну, что вы...

Она села.

Высоцкий изредка, будто сам с собой говоря, ронял короткие, обрывистые фразы, слегка печальные, слегка восторженные, и опять умолк.

– Пойдем закусить. А потом... вы у меня еще посидите... долго, долго...

И взяв ее слабую руку, он медленно поднес ее к своим губам и заглянул в глаза просительно и томно...

В столовой, на сияющей скатерти были расставлены изысканные угощения.

Ксения Петровна быстрым взглядом все осмотрела и оценила.

– Хотите икры. Вот вино, – теперь это редкость. У меня его еще много...

Она чувствовала себя неловко, – одна у этого чужого ей, недавно встреченного человека.

Все стесняло ее. И говорить нечего. Он изливается о своей любви и своей грусти, а она – о чем она будет говорить? Вот, с Володей она никогда не молчала, все рассказывала что-то, вспоминала... Милый Володя, дорогой, никого кроме него она не любит!..

– А знаете... у меня от мужа уже три недели вестей нет.

Высоцкий участливо спросил:

– Да? А Владимир Константинович на каком фронте?

– Не знаю... Был где-то за Варшавой... Теперь не знаю.

– Ну даст Бог, все будет благополучно...

Он помолчал и вздохнул.

– Как пустынна была бы жизнь без любви... без таких встреч.

Ксения Петровна ела виноград.

– Разве?

– И знаете, – не отвечая ей, продолжал Высоцкий, – я предчувствовал вас... встречу с вами... давно, давно. Это не случайно, это – счастье.

– Для кого?

– Для нас.

Ксения Петровна подняла глаза и слегка испугалась. Высоцкий смотрел на нее остановившимся томным взглядом.

Она попробовала улыбнуться.

– О, почему это вы так уверены?

– Потому, что я этого хочу.

Он встал и подошел близко, близко к ее стулу. Ксения Петровна тоже встала.

– Что с вами?

– Ничего, ничего, я вас люблю, я только вас люблю.

– Сергей Викентьевич!

– Да, да, я так хочу...

Он взял ее за плечи и, наклонившись, поцеловал медленным поцелуем.

Высоцкий почувствовал, что Ксения Петровна слабеет и дрожит в его руках, но не отбивается, не отталкивает его. Значит, все будет хорошо. Значит, она покорная и нежная.

Он хотел поцеловать ее – как всегда делал – в глаза и вдруг заметил, что она плачет.

– Ксения Петровна, что с вами?

Она, дрожа и всхлипывая, упала в кресло.

– Ничего, это пройдет... это сейчас пройдет.

– Может быть, вы хотите воды?

Ксения Петровна покачала головой.

– Нет, не надо... Знаете, я такая нервная теперь... Я вспомнила Володю... Вы меня поцеловали...

Высоцкий чуть заметно поморщился и сказал шутливо:

– Это первый поцелуй после отъезда вашего супруга? Вы невинны, как херувим...

Ксения Петровна хотела перестать плакать – стыдно ведь! – но не могла. Мысли печальные и страшные волновали и томили ее.

– Знаете, я так боюсь за мужа... за Володю... Где он?.. Ведь почти месяц ни слова.

Высоцкий со скукой протянул:

– Да-а?

«Ничего он не понимает», – подумала Ксения Петровна и замолчала.

Огни в камине погасли. Только угли тлели еще, разваливаясь и темнея.

Высоцкий опять сел к ногам Ксении Петровны.

– Ну, милая, дорогая, не надо плакать, не надо так нервничать.

Он взял ее руки и ласково, как ребенку, стал гладить их и целовать.

Ксения Петровна сидела неподвижно, опустив голову, и смотрела влажными глазами в одну точку.

Вдруг она встала.

– Нет, я не могу... Я не знаю, что со мной... Мне так страшно...

И опять стала плакать.

Высоцкий неторопливо поднялся, принес стакан воды и сказал чуть-чуть холодно:

– Дорогая, вы больны, вероятно... Мне очень грустно, но... я думаю, вам бы следовало поехать домой и отдохнуть...

Ксения Петровна заговорила быстро-быстро, глотая слезы и бегая по комнате:

– Да, да... я поеду. Простите, я не знаю, я больна, конечно... Мне не надо было приезжать к вам... Конечно, конечно, нельзя было.

Она побежала в переднюю и стала одеваться.

– Я никогда не приеду к вам... никогда... Я не могу.

Высоцкий вежливо и спокойно улыбнулся.

– Я виноват, если оскорбил вас как-нибудь. Надеюсь, вы разрешите мне, по крайней мере, проводить вас?

Ксения Петровна, прислонившись к стене, обессиленная и бледная, сказала тихо:

– Пожалуйста... Вы не сердитесь на меня?

– Нет, что вы... Нервы, я понимаю...

Ночь была теплая и светлая. Высоко в голубоватом, молочном тумане тонули редкие, маленькие звезды.

На Неве были разведены мосты, и большие корабли проходили важно и медленно, как тени, теряясь в ночной мгле.

Ксения Петровна мало-помалу успокоилась.

Взглянув на Высоцкого, она сказала мечтательно и слегка иронично, будто подражая ему.

– Как хорошо плыть на таком корабле.

– Куда?

– Все равно. Все дальше, дальше. Что это куранты бьют? Двенадцать?

– Нет, сейчас позже, наверное.

Они замолчали.

– Вы не сердитесь?

– За что?

– Да вот за эти слезы, за истерику?

– Нет. Но этого больше быть не должно.

Высоцкий взглянул на Ксению Петровну повелительно и строго. Она вся съежилась и отсела на край коляски.

– Оставьте меня. Я сказала вам, что больше к вам не приеду.

– Но отчего?

– Я не хочу... Я обещала Володе...

– Но ведь он не узнает. Вы – смешная...

– Все равно... Не стоит...

– Как хотите! Я вам надоедать не буду...

Когда извозчик стал у ворот дома, где жила Ксения Петровна, он сошел первым, позвонил дворнику, подождал, пока тот отворил калитку, и снял шляпу.

– Прощайте, Ксения Петровна.

Ей опять стало жаль его и она сказала, как могла, просто и дружелюбно:

– До свидания... Не забывайте.

И, улыбнувшись, кивнула ему и пошла через двор.

Белыми ночами лестница, хоть и совсем темная, не освещалась. Ксения Петровна, хорошо зная каждую ступеньку, каждый поворот, пошла быстро и уверенно. Поднявшись во второй этаж – ее квартира была на пятом – она заметила, что сквозь пролет падает электрический свет. Она остановилась и посмотрела наверх. Было ясно, что на самом верху, на площадке ее квартиры горит рожок. «Что это, забыли погасить, что ли?» – подумала Ксения Петровна и стала подниматься выше.

Но она не могла идти так быстро, как привыкла ходить, – и дыхания не было, и ноги слабели и подкашива-

лись. Так бывает во сне – хочешь бежать от разбойника какого-нибудь или привидения и не можешь, будто прикованный к земле.

– Устала я отчего-то, – шепотом проговорила Ксения Петровна и пошла тихо, тихо, опустив голову и тяжело дыша. На площадке четвертого этажа постояла у стены, отдохнула и стала подниматься выше, еле волоча совсем слабеющие ноги.

– Кто же это рожок забыл? – опять подумала она, взглянула на лампу, на площадке у своей двери и вдруг остановилась.

Двери в квартиру были широко раскрыты, была видна сияющая светом передняя и за ней гостиная. В дверях на площадке стоял Володя, муж Ксении Петровны, в парадной форме, в орденах, бледный, спокойный и грустный, и молча смотрел на жену.

Ксения Петровна сначала не могла сказать ни слова. Потом, задыхаясь, вскрикнула:

– Володя!.. – и хотела броситься вверх.

Но бежать она не могла. Ноги были будто стопудовые и поднимались тяжело и медленно.

Владимир Константинович стоял неподвижно и все смотрел, молча и пристально.

– Володя! Володя... что же ты не идешь ко мне... откуда ты!

В ее душе была и острая радость встречи, и странная какая-то тревога, и все растущее удивление – что с ним, с ее милым, милым Володей.

Ноги все не слушались, тяжелые и холодные.

Когда она, наконец, поднялась, Владимир Константинович тихо подошел к ней и с бесконечной нежностью и будто печально, но слабо поцеловал в губы. Потом низко склонился и поцеловал обе руки.

– Здравствуй, милая. Вот я и приехал.

Голос бы глухой и спокойный. Ксения Петровна не могла еще прийти в себя.

– Володя, когда же ты? Надолго?

Он не отпускал ее рук.

– Я туда не вернусь больше.

– Совсем?

– Совсем. Меня царь к себе вызвал.

Ксения Петровна задыхалась.

– Милый, милый, как я счастлива, я так тосковала...
– Ты не тоскуй, – тихо покачал головой Володя.
– И знаешь, – она испугалась, что муж знает, где она была, – знаешь, это странно, я первый раз ушла из дому... у меня дело было к Марье Николаевне... и вот ты приехал...

Она умолкла, взглянув на мужа.

– Володя, отчего такой бледный?.. Ты голоден, верно, или тебе отдохнуть надо... Я сейчас... подожди...

Ей вдруг стало невыносимо тяжело и она убежала, чтобы не вскрикнуть или не заплакать.

Владимир Константинович молчал.

В спальне Ксения Петровна торопливо открыла электричество, сняла шляпу и подбежала к столу за ключами.

На столе лежала нераспечатанная телеграмма.

– Володя, это твоя депеша? Нет?

Не получив ответа, Ксения Петровна как во сне, вскрыла телеграмму и прочла:

«По поручению командира полка, сообщаю вам, что супруг ваш поручик Иваненко убит сегодня в стычке с неприятелем».

Она уронила бумагу и, еле произнося слова, сказала:

– Во...лодя... что это? Ты видел. Это... ошибка.

– Володя!

Ответа не было. Ксения Петровна вышла в переднюю, – никого. Дверь на лестницу закрыта. Везде темно.

– Володя!

Она медленно, еле ступая, обошла всю квартиру. Нигде никого не было.

Тишина, – только слышно дыхание спящего ребенка.

Ксения Петровна остановилась и закрыла лицо руками. Потом, все поняв, но не плача и не крича, пошла в спальню, перекрестилась и стала на колени перед темневшей в углу иконой Всех Скорбящих Радости.

11 марта
Петроградский рассказ

— Это очень страшно... Я теперь всю ночь не засну. Людмила Петровна потеряла озябшие руки и взглянула на часы.

— Как поздно! Надо мне собираться.

В столовой пили чай. Низкая лампа ярко освещала печенье и чашки и темной зеленью заливала лица и стены.

Ольшевский улыбнулся.

— Посидите еще... А разве... вы не учили этого?

— Нет, у нас в учебнике, кажется, было сказано. Павел скончался 11-го марта. И больше ничего. В восьмом классе говорили, я помню. И потом я читала у Мережковского. А сегодня разве 11-е? Сегодня 10-е.

— Нет, 11-е.

— Ах, да, правда. Завтра тетя Вера приедет, 12-го. Ну, мне пора идти уже.

— Да, милая, — Ольшевский понизил голос, — мне очень стыдно, что я не могу проводить вас, но вы знаете.

Дремавшая за самоваром старушка вдруг встрепенулась.

— Ну, Людочка тебя извинит. Как можно в такую погоду выйти. Так ведь и воспаление можно получить, спаси Бог.

— Нет, конечно, — Людмила Петровна встала, — оставайтесь вы дома. А то будете еще два месяца кашлять. Очень красиво! Вот помогите мне одеться лучше. До свидания, Ольга Сергеевна.

В передней от белых блестящих стен казалось очень светло. Ольшевский подошел к зеркалу и, сняв очки, озабоченно взглянул на свои сбившиеся волосы и узкую бородку.

— Хороши, хороши! — Людмила Петровна коротко засмеялась и вдруг села на стул. — Господи, как вы все-таки напугали меня вашим рассказом.

— Конечно, безобразие на ночь всякие страсти рассказывать. — Вы не слушайте его, Людочка.

Ольшевский с таинственным видом наклонился.

— А вы как раз... мимо поедете.

— Ну, пустяки какие, — Людмила Петровна надела перчатки и встала, — в трамвае быстро пролечу, в пятнадцатом мне лучше, да.

— Да... только вы не дождетесь его, садитесь в третий.

— Да, конечно. Это скорее.

— Я буду беспокоиться, как вы доедете, милая. Вы нам позвоните, как дома будете.

— Хорошо, если не поздно. Ну, до свидания. Так мы вас ждем в воскресенье.

Ольшевский вышел на площадку лестницы.

— Вы такая не добрая сегодня... Отчего?

— Нет, я всегда такая. Вам это показалось.

Уже сбегая по широким ступенькам, Людмила Петровна помахала в воздухе муфтой и улыбнулась.

Снег падал, будто тяжелые, мокрые тряпки. Еще черные утром улицы опять заметало; опять забелели деревья и памятники. Со взморья летел шумный ветер и тербил на заборах афиши патриотических концертов.

Людмила Петровна подошла к тускневшему за снегом фонарю у трамвайной остановки. Но вдали ничего не было видно, ни двух синих огней, ни белого с красным, — ничего. Простояла, продрогла и решила взять извозчика, — трамваи, очевидно, задержались. Или поздно уже? Только в обратную сторону, к Островам, неслись будто наперегонки веселые и пустые вагоны.

До Троицкого моста недалеко, — там всегда есть извозчики.

Она пошла к Неве, с грустью поглядывая на свои новые лакированные ботинки, уже потускневшие под мокрым снегом. Ужасный это город — Петроград, всегда надо носить галоши. У моста извозчиков не было и, вероятно, не было их и поблизости, потому что уже несколько минут слышала Людмила Петровна, как надрылся какой-то швейцар, налево, за площадью:

— Изво-о-ощик.

Идти через мост и дальше до Садовой немного страшно, да и холодно, — но что же делать. Людмила Петровна подняла воротник и побрела, полузакрыв глаза, чтобы не попало в них снега. Перешла мост, — даже руки заковчели шляпу держать. А такой ветер ведь может и с булавками, и с гребешками ее унести.

Впереди все было пусто. Марсово поле белело и клубилось. В слепом свете фонарей металась белая хлопья, поднимались и стремительно падали, будто испуганные. И если взглянуть на небо, то можно было понять, что там, за снегом, плывет луна, и оттого небо такое зеленое и мутное.

Неужели и на Инженерной нет извозчика, – думала Людмила Петровна, – вот ведь наказание Божеское. Она так устала, что ей казалось ужасно трудным перейти это поле, да и страшно ведь. Снег так и взметает, ветер свистит. Людмила Петровна боязливо поглядывала по сторонам, прижимая к груди сумку с деньгами. Долго ли вырвать? Но поле было совсем пустое. Только налево Летний сад глухо гудел голыми и твердыми еще ветвями, и казался таким дремучим лесом, где спят медведи и бродяга за кустом поджидает, не проедет ли какая барышня в дальний монастырь.

– Что?

Людмила Петровна испуганно обернулась.

– А что, барышня, скажи, как мне к Фонтанке выйти?

Шамкал древний, маленький старичок в странной какой-то форме, с галунами и позументами. Из-под шапки торчали редкие волосы, будто клочки ваты.

– Ах, как вы меня испугали. К Фонтанке. Да вот прямо... так и выйдете.

Людмила Петровна пошла уже поскорей. Старик, ковыляя, поспешил за ней.

– Прямо, говоришь?

– Да, да... и налево потом.

– Смотри ты, темень какая. Даже в окнах-то загасили все... А это, барышня, какая же улица будет?

– Улица?! Это ведь площадь... Марсово поле.

– А!.. вот ведь что. При покойной матушке... царствие небесное... везде тебе улицы были, порядок.

Людмила Петровна засмеялась.

– Ну что вы, дедушка... Когда это? Здесь всегда была площадь.

– И... и... нет. Мне как Екатерина Алексеевна вот в Петергофе... у генерального флигеля я стоял... подошла и говорит: «Ты, – говорит, – всегда, Савельев, мне так служи. Молодец, Савельев» – и рубль из ручки дала...

Это вот... после как война кончилась... изволите помнить...

Людмила Петровна за ветром плохо слышала, что говорил старик. Да и бормотал он себе в воротник, – ничего не разобрать. Они уже прошли почти всю площадь, и она хотела показать своему неожиданному спутнику дорогу. Но, оглядываясь по сторонам, она не узнавала таких знакомых ей мест. Где эти дома и легкая церковь направо, где мост с фонарями? Хоть и темно, а разобрать бы можно все-таки.

– Я не понимаю... здесь ведь должен быть переход и фонарь, где трамвай.

– Ась? А вишь, там в окошке светло, это мы к дворцу новому вышли. Сам-то сидит там, у-у.

– Нет, это ведь не дворец. Это – Инженерный замок. Только я не понимаю чего-то. Вы не знаете, где? Что это? А?

Людмила Петровна остановилась и вскрикнула. Будто из-под земли выросло перед ней несколько человек в блестящих киверах и с ружьями. Это, верно, были солдаты, но Людмила Петровна никогда прежде не видела такой темной и пышной формы и таких ружей.

Впереди белела сторожка, в нескольких шагах, и вдруг вспыхнула спичка.

Старик всплеснул руками и бросился бежать.

– Стой... куда... стой, – один из солдат с криком бросился за ним.

Другой, высокий, седой, грубо схватил Людмилу Петровну за плечи.

– Сюда нельзя ходить... нельзя. Не знаете приказа. Михайлов, немедленно на Мещанскую... выяснить, кто такая.

Людмила Петровна задрожала от испуга и негодования.

– Да как вы смеете. Вы с ума сошли. Я шла к трамваю... Вы знаете, кто я. Я – дочь статского советника. Я сейчас... я карточку достану.

Выбиваясь из державших ее железных рук, она хотела вынуть из кармана конверт с визитной карточкой, всегда там лежавший на случай обморока, или трамвайного приключения. Но руки дрожали и не могли найти ни кармана, ни даже пуговиц на шубе. Людмила

Петровна с недоумением путалась в каких-то оборках, – оборках, которых она никогда не носила, – кружевах и тяжелом холодном шелке. Боже мой, ведь был же вот здесь портмоне и платок носовой, – не сумасшедшая же она.

– Подождите... куда вы меня тащите... я завтра жаловаться поеду... я...

Но солдат ее не слушал. Стало вдруг очень шумно. Где-то совсем близко, в уже мутнеющей мгле спорили и кричали, звенели о камни сабли и даже в замке внезапно распахнулось окно и какая-то женщина в белом платке на плечах высунулась, махая руками и показывая что-то в саду. Мимо пробежал офицер.

– Это неправда!.. Вы лжете!

– Что? Что?

Людмилу Петровну уже волочил кто-то мимо светлых окон, мимо шатающихся гудящих деревьев, – она упиралась и всхлипывала.

– Помо-ги-те, помо-ги-те.

И вдруг рядом, в саду, за решеткой она услышала голос, тревожный и задыхающийся:

– Да... да... это вы? Полина... Где вы? Я не вижу.

Людмила Петровна слабо застонала и упала на рыхлый снег.

– Полина, где вы?

– Помогите, – уже еле слышно протянула она. Но сейчас же ее подняли чьи-то сильные и нежные руки, – о, уже не те, которые только что держали ее. С прерывистым шепотом, как провинциальная героиня, Людмила Петровна вскочила.

– Ну, кто? Кто? Кто?

И увидела над собой молодые блестящие глаза и будто от боли перекошенный рот. Ветер трепал седые букли на висках и косичку.

– Освободите! Это не ваша обязанность!.. Полина... я здесь... я с вами... Вы меня узнаете... я будто знал, что вы здесь... Ах пойдем, пойдем... только скорей.

Говоривший обнял ее за талию и побегал.

Людмила Петровна еще не понимала, что с ней и где она, но бежала вместе со своим избавителем, так легко, будто по воздуху. В полосах света из окон она видела темный мундир с галунами и белым продолговатым кре-

стиком. Офицер держался рукой за лоб и губы его судорожно шевелились.

— Полина... вы знаете... это так ужасно!.. так ужасно!.. Ах, скорей, ради Бога... я не знаю, что с нами будет... я ведь не виноват... император Павел скончался... я не знал... я ведь ничего не знал... Полина... вы меня любите... вы со мной... не смотрите в окно... не смотрите в окно...

Людмила Петровна со сладким страхом прижалась к своему спутнику.

— Отчего? Я ничего не знаю... Что это?

Она смотрела на свое широкое платье, на гвардейские погоны рядом и это тонкое белое лицо, и, ничему не удивляясь, как не удивляются во сне, увидав звезды на стенах и море.

— Милая, я ведь знал, что вы здесь. И я никогда этого не забуду... этот Зубов... он пьяный совсем... они там все пьяные... Это так ужасно... ради Бога, скорей... мне все равно... ведь я вас люблю, Полина... Вы знаете, он там кричал... я не могу... я ведь не виноват... Ах, Полина... Ах, Полина...

Невский! Да, это Невский. Стало чуть светлее, и снег уже не падал. По серому небу быстро и низко летели огромные облака. В тумане стояли приземистые домики и сады за палисадниками. Пахло водой и над крышами пел ветер.

— Куда?

— Куда? Все равно. Куда хотите, Полина... Вот уже светлеет...

Людмила Петровна вдруг улыбнулась.

— А вы ведь без шляпы, друг мой.

— Да... я не успел... я так был во дворце... это ничего... Вот только эти люди... почему они на меня смотрят... Полина, мы завтра увидимся... Вы меня любите. Что они хотят?

Было еще очень раннее утро, но на улицах начиналось шумное и беспокойное движение. Хлопали ставни и калитки. Выбегали полуодетые люди. На углах собирались группы, спорили, смеялись и кричали. Два человека бежали посреди улицы, размахивая шляпами. Проскакал куда-то всадник. Прохожие останавливали друг друга, разговаривали, а какой-то молодой чело-

век в длинном сюртуке и плаще подскочил к Людмиле Петровне, но, взглянув на испуганное лицо ее спутника и гвардейские погоны, посторонился и потом побежал за веселой гудящей толпой.

— Друг мой, — сказала Людмила Петровна, — мне кажется вас беспокоит это многолюдие... свернем в другую улицу.

— Как хотите...

Да, там, конечно, была золотая игла над сквером и над Невою и, правда, дома были выше, но вот нет ни иглы, ни домов, ни выгнутых белых фонарей и, правда, это все равно. Ветер тот же и вода та же, и небо, серое и мокрое. А он какой милый, какое милое у него лицо и ласковые глубокие глаза. Он больной, верно, такой бледный. Надо будет весной уехать в деревню, гулять, пить молоко и по вечерам слушать соловьев, — в темном парке, за беседкой.

— Полина, отчего вы не были у Апраксиных?

— Я не могла... Матан не хотела.

— А...

— Здесь вот никого нет... Как хорошо!

Они остановились у чугунной решетки над речкой. Людмила Петровна задыхаясь, прислонилась к ней.

— Я так устала.

Офицер положил ей на плечи свои легкие руки. Зеленые глаза были так близко и такие были прозрачные, что казалось, что кусочки неба светятся.

— Вы любите меня?

— Да.

— Вы не забудете меня, Полина?

— Ах, нет...

— Можно вас поцеловать?

— Ах, друг мой...

Он чуть вскрикнул и прижал свои холодные губы к ее губам. Дрожащие руки быстро и судорожно гладили ее волосы, даже не гладили, а рвали будто.

— Вот, вот... вы забудете меня... я знаю.

— Нет, милый, ведь вы же не покинете меня.

— Да, конечно, да... Но знаете, Полина... эта ночь сегодня... Что с нами будет... Вы понимаете?... Может быть, мы расстанемся...

Людмила Петровна вздохнула и опустила глаза.

— Полина... вот... я носил всегда это кольцо... возьмите его.

Он снял с правой руки черное узкое кольцо с бриллиантом.

— Благодарю вас... Оно очень красиво.

— Вы носите его на память об этой встрече... Только надо будет уменьшить его, да...

Людмила Петровна привстала с набережной решетки.

— Как светло уже!

— Да...

— А где мы... это Мойка... ах, да. Мойка...

Людмила Петровна оглядывалась по сторонам и вдруг увидела такие знакомые ей серые высокие дома, сонных дворников и туман. А вот этот дом, широкий в четыре этажа, ведь ее же этот дом, а в окне маленький седой человек беспокойно озирается, — что же это такое...

— Папа! Папа!

Она побежала и, сделав несколько шагов, заметила у моста даму, которая говорила с городовым и что-то показывала ему. Очень похожа на Зину. Да, и серое меховое пальто, и волосы такие, выбились из-под шапки, но дама вдруг всплеснула руками и бросилась к ней.

— Людочка! Ах, Боже мой!.. Где ты была... Ведь мы чуть с ума не сошли. Звонили к Ольшевским. Говорят, ушла давно... дома нет... мы так измучились...

— Зина... Ах, да... это ты... что такое...

— Да как что! Михаил Константинович ищет... ему запрещено выходить... такое мучение... Папа плачет... Михаил Константинович, идите сюда... Видишь, он там, на углу... Идите, она здесь...

Людмила Петровна с грустной улыбкой обернулась...

— Видите, милый... я ведь забыла, кажется... Ах!..

За ней был пустой тротуар, запорошенный легким, свежим снегом, и дальше вся улица пустая, — только далеко у моста плелся сонный извозчик.

— Ах, Зина!..

— Нучтостобой? Божемой, Михаил Константинович, да идите же вы скорей!.. Я не знаю, что с ней.

Зинаида Петровна была нервная дама и очень боялась всяких сцен и трогательных происшествий.

— Зина... ведь это ужасно странно...

— Что? Ну вот она, ваше золото... успокойтесь.

Подбежал Ольшевский, красный, запыхавшийся, с разбитым стеклом в очках.

— Дорогая моя, дорогая... я так счастлив... Боже, такая пытка, эта ночь...

Он взял ее руки и покрывал их частыми, мелкими поцелуями.

Людмила Петровна улыбнулась.

— Да, вы любите меня... Нет, я вас не забуду... Ах нет... нет... Зина, какая я, правда, несчастная.

Ольшевский еще сильнее засуетился.

— Вам надо успокоиться... лечь... Вы, верно, больны... Вы заблудились, да?.. Ведь такая погода...

Людмила Петровна устало подняла руку и провела по лбу...

— Да, конечно... Ну ничего... Пойдем домой, Зина... Пойдем... Только... Ах... вот...

Она задрожала и упала на руки своего жениха. С пальца скатилось черное узкое кольцо и мягко упало в снег.

— Люда!.. Людочка!..

— Что с вами? Ради Бога!

— Нет... это пройдет... я так устала... Зина, скажи, я разве одна была... когда... мы встретились...

Зинаида Петровна пожала плечами...

— Ты? А кто же еще... Одна... никого не было...

Ольшевский наклонился.

— Отчего вы так... испугались... Вот колечко... не потеряется же оно.

Он вынул носовой платок и принялся вытирать мокрое лицо.

Людмила Петровна вскрикнула.

— Отдайте! Как вы смеете! Это мое кольцо!.. Мое!..

Она вырвала кольцо и прижала его к груди.

— Оставьте меня... Оставьте меня в покое... Ну хоть раз в жизни... оставьте...

Зина вспыхнула.

— Знаешь, это бесовственно. Мы так измучились... Михаил Константинович был в таком отчаянии... Ты сердисься... Это бесовственно!.. Хоть бы рассказала, где была. И откуда это кольцо?

— Ах, Зина, — Людмила Петровна заплакала, — Зина... я так устала... я тебе все расскажу... не теперь... когда-нибудь... только, пожалуйста... и вы, Михаил Константинович, пожалуйста... не волнуйтесь... когда меня долго нет дома...

Вологодский ангел

Тихий город Вологда. Только звон колокольный несутся по широким улицам да птицы чирикают. Может быть, там, на соборной площади и ходят люди, извозчики кричат, торговки бранятся, но у палисадника Анны Тимофеевны не слышно — далеко. Палисадник чистенький, зеленый и на самом краю города. Выйдешь за калитку, — тут же и поле в зеленых холмах и дальше темный лес, от которого далеко веет свежестью. В поле и лес все больше и ходила гулять Анна Тимофеевна еще при покойном муже, когда была молода, да и теперь с соседкой Марьей Корниловной Синицыной. Не любили они города. В лесу лучше — птички поют, трава пахнет. И ветерок лесной приятный, пыли не несет.

Соседи вокруг были все старожилы, все друзья, — есть и поговорить о чем, и что вспомнить. Вот только этой весной желтый домик за канавой купила купчиха из Москвы, по фамилии Королькова. Не понравилась она никому в околотке — гордая какая-то и насмешливая, и о прежней жизни ее ходили темные слухи. А Анна Тимофеевна, хоть и не была знакома с Корольковой, имела особые причины быть ею недовольной. Что же, правда, разве можно не очень уже молодой женщине, вдове, юношу неопытного соблазнять?

Алеше было восемнадцать лет. Он никогда еще не покидал родного города и ему и не представлялось, что где-то, за этими синеглавыми соборами, за серебряной узкой речкой есть еще мир широкий и шумный.

Рос он один, без игр, без друзей и, правда, мать его и не думала, что придут дни и будет он, как и все другие, вздыхать и томиться по какой-нибудь курносой девице. Да и сам Алеша боялся этих предчувствий. Даже в городе бывал он редко. Только каждую субботу как запоют колокола, уходил к всенощной и стоял всю службу, не

двигаясь, не мигая, перед золотым высоким иконостасом. И, утром, когда Анна Тимофеевна еще спала, встал он к ранней обедне, – только удивлялась его мать, откуда в мальчике этот страх Божий.

Говорила Анна Тимофеевна с сыном мало, – не о чем. Алеша часто уходил с утра за город. Был такой камень в поле, выдолбленный и тяжелый, будто кресло. Тихо стелилась река, тихо плыли облака, – Алеша сидел молча, пока не тускнел над лесом узкий розовый закат.

– Что, Алеша, гулял где?

– Нет, я у речки был.

– Рыбу, что ли, ловил?

– Нет, так.

Иногда ночью слышала Анна Тимофеевна его шепот в соседней комнате. И в шелку она видела, что Алеша стоит на коленях перед иконами и крестится. Растроганная и смущенная, ложилась она опять, – молитва – дело Божье, но всему, ведь, свое время.

Воспитал Алеша в сердце своем на долгих вечерних стояниях, на этих уединенных мечтаниях печаль и отвлечение к нашему бедному миру.

Весной был в Вологде захожий инок из дальней обители. Анна Тимофеевна, как женщина благочестивая, предложила ему кров и пищу, и светлыми северными ночами сидел с ним вдвоем Алеша на крыльце у домика. Инок рассказывал о трудной монастырской жизни. Алеша слушал, вздыхая.

– А купола-то у вас золотые?

– Какие золотые! Так, синенькие.

– А золотые лучше...

Так шли дни. Только в самое последнее время стала Анна Тимофеевна замечать, что Алеша грустит и тревожится. И пропадает целыми часами где-то, и дома ходит, молча, из угла в угол. Что с ним – понять трудно. Пробовала Анна Тимофеевна поговорить с сыном, но ничего не вышло. Он смутился и сказал:

– Нет, мама, это тебе кажется...

Но было ясно, что Алеша томится.

И вот, все открылось.

Раз как-то, когда к вечеру Алеша вышел гулять, Анну Тимофеевну будто толкнул кто пойти за ним. Она побрела под забором в кустах.

Был ясный и нежный вечер.

Алеша дошел до пригорка и остановился, оглядываясь. Через несколько времени показалась женщина в черном платке и густой черной шали на голове, подошла к Алеше и увела за собой. Лицо женщины было закрыто, но по этому черному платью, по медленной, будто разваливающейся походке Анна Тимофеевна узнала Королькову и долго смотрела на удалявшиеся две тени и лес, темневший под ясным и холодным закатом.

Алеша вернулся домой поздно. Анна Тимофеевна все слушала его шаги по скрипучему полу и, наконец, решила зайти к нему.

– Где ты был, Алеша, – у речки?

– Да.

– Пыли-то набралось сколько, что это Дуня смотрит.

И лампадки все мигают.

Алеша сидел на кровати в темном углу.

– Алеша, что же ты мне не сказал?

– Что?

– Да вот... Вместе гуляете, встречаетесь, ведь так и рассказывать начнут.

– Ах, это...

– Да... Уж, пожалуйста, ты брось это знакомство.

– Отчего?

– Как отчего? Долго ли до греха... Хорошего мало.

Алеша встал и закрыл лицо руками.

– Я, мама, совсем не знаю, что мне делать.

Ночью Анна Тимофеевна видела, что в комнате сына светло и слышала слова «Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня», все одно и то же, глухо и беззвучно. На этом она и заснула.

На следующий день вечером Алеша опять ушел, – Анна Тимофеевна и не видела, когда. Уже перед чаем вышла она подышать и, проходя мимо дома Корольковой, заметила, что в щели ставень пробивается свет. Ее и потянуло подсмотреть, дома ли купчиха и что она делает. У ворот залаяла собачонка, но, узнав Анну Тимофеевну, смолкла и завилыла хвостиком. Окна за ставнями были раскрыты.

Королькова, в черном атласном платье, ходила по комнате. Анна Тимофеевна в первый раз и разглядела ее хорошенько. Может быть, она была нарумянена, – слыш-

ком уж ярко горели щеки на белом полном лице. Волосы ее сбились, и она, ходя, то и дело поправляла прическу.

Под стеной сидел Алеша и блестящими глазами смотрел на Королькову.

– Что же я, право, вас не понимаю. Вы ведь уже не мальчик, а сами собой не владеете.

– Вы не сердитесь только...

Королькова усмехнулась.

– Мне зачем сердиться? Делайте, что знаете.

Она села с ним рядом, дыша в лицо, и взяла обе руки.

– Ну вот, завтра я уеду, больше вам ничего не скажу, как хотите... У-у, неженка... А любишь?

Алеша поднял глаза.

– Люблю.

– А я не верю... Вот и не верю! Если любишь, поцелуешь...

Вдруг ставня скрипнула и Королькова, подозрительно прищурившись, умолкла.

Анна Тимофеевна испугалась, что ее увидят, и убежала.

Алеша возвратился только к полуночи, хотя свет у Корольковой погас уже давно. Анна Тимофеевна сидела в спальне и вязала.

– Ты уже спать?

– Да, мама.

– Ну, Господь с тобой.

Перекрестив его, она опять села у лампы работать, но мысли тревожные и растерянные так и неслись в ее голове. Что-то будет еще с Алешей.

Уже глубокой ночью, – а она думала, он спит уже, – Алеша опять вошел к ней, очень тихо, будто в забытии.

Анна Тимофеевна уронила работу.

– Мама, а можно обещание нарушить?..

– Что такое?

– Обещание... Вообще, если дал кому.

– Да если потаскухе какой, так и Бог велит... Уж и не глядела бы я лучше.

Алеша улыбнулся.

– Ну, спасибо, милая.

Опять до света не спала Анна Тимофеевна, слышала, ходит кто-то по комнатам и тихо, тихо поет духовное.

Потом будто и двери открылись, или это к чиновнице Синицыной племянник с архангельского поезда приехал.

Утром Алеши не было дома. Не пришел и к обеду. Уже вечереет, дождь моросит, а Алеши нет, Вдруг догадалась Анна Тимофеевна. Как была, побежала она по грязи через улицу к Корольковой. Ей отворила босая девка и сказала, что госпожа уехала в Москву и когда вернется, неизвестно.

Анна Тимофеевна была в ярости, – ей все стало ясно. Так обмануть ее. Убежать в Москву с этой тварью. Посидела она у себя, прождала еще немного и побежала по соседям рассказывать о своем несчастье.

– Нет, вы подумайте, Мария Корниловна, каково мне. Ведь на первую бабу променял...

Отца Георгия она застала уже отходящим ко сну. Решили ждать возвращения Корольковой, а если ее не будет очень долго, попросить племянника попадьи, служившего в Москве, поискать влюбленных беглецов.

– Хорошо, если в Москве? А они, может, и в Америку заехали.

– Ну зачем же, голубушка, в Америку.

Со днями Анна Тимофеевна успокоилась и свыклась с мыслью об отлучке сына и его любви к развратной бабе. Только ночевать все больше ходила к Синицыной, – одной в пустом доме страшно.

Однажды Синицына прождала до полуночи, выпила уже чай и, решив, что Анна Тимофеевна не придет, закрыла дом и легла, немного обиженная ее невежливостью.

На рассвете ее разбудил стук в ставни. Сначала ленилась встать, но ей послышался голос Анны Тимофеевны. Тогда она поднялась и, вздыхая, раскрыла ставни.

– Матушка моя! Да что с вами?

Анна Тимофеевна, бледная, с будто выкатившимися глазами, стояла перед окном, в грязном и мокром платье, с листьями в волосах.

Синицына, правда, испугалась.

– А...леша.

– Что такое?

Анна Тимофеевна вдруг молча села на землю.

Синицына разбудила девку, побежала к фельдшеру, – Анну Тимофеевну внесли в дом и уложили в постель. Она все молчала.

– Ах, какой ужас... Ах, чаю горячего скорей.

Синицына разнервничалась и решила, что Анна Тимофеевна умирает...

Но Анна Тимофеевна чаю пить не стала, но вдруг поднялась на кровати и сказала:

– Пожалуйста, позовите отца Георгия.

– Вот, вот... я и сама думала... Сейчас пошлю.

Пришел священник, взволнованный, со Святыми Дарами.

– Что с вами, Анна Тимофеевна?..

Анна Тимофеевна опять бессильно упала на подушки.

– Ах, нет, батюшка... Я вам должна рассказать... Вот, я говорила вам, что Алеша... сынок мой... пропал... с барыней этой уехал. А нет... Алеша не уехал с ней... Нет.

Она замолчала.

– А что, весточку получили?

– Нет, батюшка... Какая весточка! Вот... Пошла я вчера в лес... за поляну, думала грибов набрать... для сушки, самое время теперь, грибов много. Пошла... Погода тихая, ветерок дует... Перешла поле, да в лес пошла... Все не вижу грибов... Так попадались, конечно, только больше грузди или опенки... Я и иду все глубже да глубже... там, знаете, батюшка, у Кириллова родника грибы всегда... Уже и темнеть стало... Может, и заблудилась я, не знаю. Иду тропинкой, тихо, только сучья да листья хрустят под ногами. И вдруг слышу голос, да ясно так и близко:

– Мама...

Я и остановилась... Что такое? Вокруг никого... И такая тишина, батюшка, сделалась, даже птицы умолкли. Ну, думаю, показалось... Иду дальше. Прошла несколько шагов и опять слышу... уже как будто дальше немного, впереди:

– Мама...

Так ясно и голос такой звонкий, – как же обмануться? Я испугалась-то и не знаю, что мне: назад бежать или спрятаться... Стою да крестное знамение и сотворила... Уже и темно совсем, деревья густые. И вдруг вижу, в чаще меж кустов светлеет будто, а голос и был оттуда.

Свет белый такой, как снегом засыпанный. Сделала я шаг или два... и вижу... стоит на мху мой Алеша, руки на груди сложил и мне улыбается. Светло так вокруг него. А я и не знаю, как, и не удивилась совсем, смотрю на него и говорю:

– Алеша, а ты что здесь?

Вот как во сне. Он ничего не ответил, только пошел от меня, да будто и не по траве, а по воздуху, тихо, даже ногами не ступает совсем. И я тоже пошла за ним.

– Подожди, – говорю, – Алеша, пойдем вместе.

А он будто и не слышит, все дальше идет. Я хочу догнать его и никак не могу.

– Куда же, Алеша, – говорю, – ты ведешь меня?

А он молчит. Так шли мы, шли, я и не знаю сколько, и все светлей и светлей становится. Наконец, вижу я – полянка, маленькая такая, травкой покрыта, а посередине часовня деревянная. Алеша прямо и прошел туда, а меня словно кто держит, не могу. Сел Алеша на ступеньке, взглянул на меня и поклонился. А я тоже вдруг стала на колени и кланяюсь и все не понимаю, батюшка, где я. Алеша тут ручки поднял, да в колокол на часовенке и ударил. Динь-бом, динь-бом. Колокол тонкий такой, а на весь лес будто слышно. И вот, батюшка, вдруг все сосны да дубы закачались так тихо и мерно, динь-бом, динь-бом звенит все, и лес весь светится. Даже в траве будто звон идет. Трава ведь в лесу нашем глубокая. И смотрю я, бегут из лесу звери разные, пушистые, темные, я таких и не видывала и все к часовне, да медведь вдруг совсем около меня вышел, я вскрикнула со страху, вот, больше ничего и не помню. Будто потонуло все.

Ничего и не знаю, что со мной было. А только вот утром проснулась я и вижу, что лежу в лесу, на траве. Все березы вокруг. Светло так, тихо, а на душе у меня грустно и сладко. Встала я, оглянулась и вижу, батюшка, вижу, сидит под березкой мой Алеша в белой рубашечке чистой, перед Пасхой только сшила ему. Сухой такой, бледный, как воск, и ручками на груди крестик резной сжимает, Я к нему кинулась и гляжу, батюшка, он уже окоченел, высох весь, будто руки, – так одни косточки. А глаза открыты и смотрят на меня. Я крикнула:

– Алеша. Алеша!

А он молчит. И вдруг такой на меня страх напал, бросилась я бежать, на знаю, как и добежала. Вот, батюшка...

Отец Георгий покачал головой.

– Странно что-то, голубушка...

– Вы поезжайте туда, батюшка, у Кириллина колодца, взгляните.

– Да я поеду.

Под вечер к домику Анны Тимофеевны привезли на телеге холодное и сухое, слегка позеленевшее тело Алеши.

Мария-Антуанетта Петроградский рассказ

1.

Дом Воробьевы купили небольшой, но теплый и приветливый. Он только прошлым летом был выстроен на новом участке и еще весело желтел палисадник, еще не окружили его со всех сторон соседские сараи и кухни. И с городом сообщение было удобное – на трамвае полчаса езды, не более. В городе жить хуже, да и квартиры не найти, а в Сосновке тишина и воздух будто деревенский. Приятно чувство, что все свое: этот балкон с широкой парусиной и круглые клумбы. Пахнет сыростью земля и деревья, еще золотые и живые, качаются на ветерке. За садом переулочек и поле, кочковатое и пустое. Когда все заметет снегом, будет еще лучше и тише.

По вечерам спускали на окнах только что повешенные портьеры и зажигали камин.

Трещали доски от ящиков, кольцами свертывались стружки, и все были довольны, что всю зиму проведут «на даче». Мария Константиновна даже решила журналы выписать. Она и теперь уже внимательно, как никогда, прочитывала всю газету – и хронику, и о причинах падения рубля, а потом ведь, в декабре, вечера все длиннее будут. И никуда не поедешь из такой дали, ни в гости, ни в театр.

Только Лена грустила, что жениху ее надо будет вечерами рано уезжать, иначе на трамвай опоздает. Но зато

она ходила его встречать в половине восьмого к остановке, на площадь, и затем они в темноте, по тонким тропинкам, шли домой и из шалости стучали иногда зонтиком в чужие окна.

Леонид Николаевич прижимал ее к себе.

– Милая, вы не простудитесь? Как у вас хорошо здесь... Мы тоже так будем жить, да?

– Да... Хорошо, только страшно немного.

Он смеялся и, сняв пенсне, слепыми глазами смотрел на нее. Лена знала, что он любит, чтобы она была беспомощная и пугливая, как ребенок.

Но по ночам, когда в саду скрипели на ветру ворота или слышался глухой чей-нибудь голос, Лена, правда, боялась. Каждый день случаются грабежи и убийства, могут и к ним забраться. Здесь такая глушь, даже городского нет.

Только старый Воробьев сердился, когда говорили о ворах. В глубине души, он считал даже неуважением к чину статского советника мысль о возможности грабежа у него. Это было бы слишком дерзко, и на такое дело не всякий решится. Он лениво зевал и говорил:

– Глупости! Эти господа знают, где деньгами пахнет... К нам не пойдут, незачем.

Незачем, конечно, а все-таки страшно. Лена с матерью вечером тайком осматривали сад и крепко, на два замка, затворяли двери и ворота. И когда, за низкими ставнями, вдруг тревожно и хрипло лаяла собака, Лена с тоской вспоминала о пятом этаже на Можайской. Туда уж, если следить за дверьми, никто не заберется, и живешь, как в крепости. А здесь, эти деревья и пустое поле тревожат и пугают. Теперь так рано темнеет, и, кажется, за каждым кустом спрятался разбойник.

Конечно, страхи были легкие и шуточные. Но вскоре стали замечать, что, действительно, вокруг дома происходит что-то странное.

Первой оказалась кухарка. Она уверяла, что ясно видела, как под забором пробежал какой-то человек, и когда она окликнула его, он исчез. Мария Константиновна не обратила даже внимания на ее рассказ, – мало ли людей бегают под заборами? Но как-то к вечеру, возвращаясь домой, она ошиблась тропинкой и, проходя мимо чахлой роши, вдруг где-то совсем близко услышала то-ропливый шепот.

– Ты здесь? Ты?..

Потом вспыхнул бледный огонь, и все смолкло.

Мария Константиновна вернулась встревоженная и рассказала мужу, что она видела. Решили известить околоточного, пусть он выяснит, что это за люди и огонь. Может быть, шпионы?

Воробьев не верил и пожимал плечами.

– Пустяки. Вы обе всего боитесь.

На ночь особенно старательно обошли сад. Леонид Николаевич, уезжая, решил пошутить и сказал:

– Тут вчера... дачу обокрали. Хозяина убили, кажется.

Лена чуть побледнела и коротко засмеялась.

Но на следующий день жених приехал раньше, чем всегда, и, будто за сигарой, пошел в кабинет к Воробьеву.

– Знаете, я, правда, удивляюсь... Это странно. Я вчера нарочно пошел той дорогой, что говорила Мария Константиновна. И под деревом, у ручейка... знаете?.. я увидел две тени. Теперь ведь лунные ночи, ясно видно... Женщина какая-то была... Они меня заметили и отошли... Это, конечно, не страшно, но все-таки... я думаю, тут притон какой-нибудь... Вы обратите внимание!..

Нодни проходили, и никто не приходил грабить зеленый домик, никто не забирался в сад. Даже забытое как-то на балконе осеннее пальто Марии Константиновны пролежало всю ночь, и никто его не утащил.

Лена привыкла к пустым и грязным улицам и пустому полю. Возвращаясь из города, она надевала крепкие старые сапоги и шла гулять. Совсем выцвело небо, с высокими сонными облаками. Дальние трубы и лес терялись в голубом тумане. Уже по утрам лежал на домах и на мятой траве снег, и потом капало с крыш, – будто и весна. Только воздух был острый и жесткий, – уже не весенний.

2.

Лена шла и думала, – сама не знала о чем. Ей было хорошо и весело. К Новому году будет свадьба, в спальню надо будет обои, белые, с веночками наверху. Мама даст зеленую мебель. Леонид сказал вчера: «я знаю, что это навсегда»... Что? Любовь? Странно, это – только боль

какая-то и тревога. Ни минуты спокойной. Этот лесок и дом совсем, как в Парголове, только там колокольня налево и вокзал.

За низкими кустами лежало упавшее дерево. Маленькая серая птица прыгала по стволу и весело чиркала. Лена села на дерево и смотрела, как поднимается, тихо и прямо, дым из труб.

Сзади хрустнули сучья. Она обернулась.

Высокий господин в пальто с поднятым воротником и мягкой шляпе, стоял и пристально смотрел на нее. Лена встала и, слегка испугавшись, хотела идти к дому.

Господин приподнял шляпу.

– Вы гуляете... здесь?

– Да...

Она покраснела и не хотела выдать испуга. Только с тоской оглянулась, – никого вокруг, лес и поле.

– А вы живете здесь? Простите... я вас испугал, кажется?

– Нет, отчего же...

Она взглянула на господина и вдруг рассмеялась. Как глупо, чего бояться, – он тоже гуляет. И такой вежливый.

– Знаете, здесь вообще страшно... не сейчас, конечно... Но вообще, говорят, какие-то люди бродят по ночам.

Господин слабо усмехнулся.

– Где? Я не знаю?

– Здесь, как раз... и дальше, в поле.

Лена подняла голову и концом зонтика сбивала редкие желтые листья.

– Подождите... вы не видите?.. сейчас... за вами... вы видите?

Она смотрела на кусты и слегка попятилась.

Там, в ветвях, в уже сгущающихся сумерках, вдруг вспыхнул мутный зеленоватый огонек.

Господин обернулся и покачал головой.

– Нет, вам показалось.

– Может быть... Я пойду домой. Как холодно сегодня.

Она сделала несколько шагов и опять остановилась.

– Смотрите, что это? Что?

Из-за кустов, будто из-под земли, показался человек, закутанный в плащ, и увидев говоривших, исчез.

Господин постоял минуту, будто в недоумении, и потом пошел к Лене.

– Я.. ничего не видел.

Он тихо взял ее за руку.

– Я не знаю... человек какой-то... Я видела.

Она вздрогнула и хотела идти, но почувствовала, что незнакомец твердо держит ее руку в своих холодных пальцах.

– Что вы? Оставьте... Я пойду домой.

Он улыбнулся.

– Да? Подождите. Какой сегодня ясный и прозрачный день. Вы видите звезду над лесом? Скоро будет темно.

– Я не понимаю... Вы с ума сошли... оставьте мою руку.

Он вдруг бережно обнял Лену за плечи и наклонился к ней.

– Не надо... Я не сделаю вам зла... А вас здесь все равно никто не услышит... Вы не бойтесь, я не разбойник.

Лена тихо заплакала.

3.

Незнакомец медленно и твердо вел ее к кустам. У Лены не было силы сопротивляться и она шла, покорно и растерянно догадываясь, что сейчас, наверно, ее убьют. Как все странно, – все прошлое пролетает, – Москва, детство, золотое пенсне у Леонида Николаевича.

Под горами веток и щебня было в земле широкое отверстие, будто вход в погреб или большую нору. Незнакомец взглянул на Лену и улыбнулся.

– Войдите... Это не страшно, правда.

И все не выпуская ее вздрагивающей руки, он потащил ее за собой. Она пронзительно закричала, но никто не ответил.

Сразу стало совсем темно. Лена поняла, что это она умерла уже, или все только снится ей. И по старой еще, институтской привычке, она ущипнула себя, чтобы проснуться. Но ничего не изменилось. Она чувствовала под ногами твердую и гладкую почву, будто каменный пол.

Пахло сыростью и гнилью. Она протянула свободную руку и поняла, что идет по узкому коридору, и стены, кажется, выложены кирпичом.

– Где мы?

– Ничего... Не бойтесь.

И голос был уже не такой, как прежде, а ласковый и мягкий. Ей все стало все равно. Только бы скорей, скорей.

Коридор все спускался, и, наконец, Лена и ее спутник остановились перед какой-то стеной.

Лена услышала несколько сложных ударов по деревянной двери, это – ее похититель подал какой-то знак. Дверь открылась, стало светло.

Низкий сводчатый зал был весь затянут зеленым сукном. По стенам горели восковые свечи и в тишине пламя их стояло, как застывшее.

Узкие пустые диваны под стенами казались покрытыми старой и въевшейся пылью. У дверей сидел старик в черном глухом сюртуке и шарфе вокруг шеи.

Господин, приведший Лену, тихо сказал ему несколько слов и ушел обратно. Сторож добродушно и просто посмотрел на Лену.

– Пожалуйте, сударыня...

Лена стояла, прислонясь к стене, и хотела еще спросить старика, где она, но тяжелый и густой воздух подземелья, запах цветов и дыма одурманили ее. Она с тихим вздохом упала на диван, и только успела сказать.

– Спасите меня... я умираю.

4.

Комната была маленькая и душная. У покрытого ковром низкого дивана стоял бронзовый кувшин с водой. В углу горела свеча.

Лена лежала несколько секунд без движения.

Потом она испуганно вскочила.

– Что вы? Вы должны быть спокойной.

Она обернулась. В полутемном углу сидел человек странно и причудливо одетый, с золотом на груди и на руках. Он тихо покачал головой и опять сказал:

– Вы должны быть спокойной. Здесь есть вода. Может быть вы голодны?

Лена все молчала. Она узнала в покрытом золотом человеке того господина, которого встретила там, в роще, у гнилого пня, и который привел ее сюда.

– Вам никто не сделает зла. Я уйду теперь и оставлю вас. Позовите меня, если вам это будет надо. Меня зовут Альберт.

Он вышел и закрыл дверь.

Тогда началась для Лены томительная и грустная жизнь. Она лежала на ковре часами, днями, и не знала, утро теперь или вечер. Она вспоминала, что ее, наверно, ищут по городу, Леонид Николаевич волнуется и недоумевает.

И, повернувшись к стене, она плакала от бессилия и отчаяния. Лена ничего не понимала, что с ней случилось. К ней входили люди, приносили пищу, странные кушанья на бронзовых блюдах – приносили воду, меняли свечи. Она их спрашивала кто они и откуда, и ей отвечали короткими и простыми словами. Но Лена их не понимала. Иногда она слышала за стеной голоса веселые и возбужденные, иногда долетал смех и вскрики. Где-то очень далеко и глухо пели, и звенела легкая, нежная музыка. Лена засыпала и ей снилось, что она дома и это у них танцуют. И какой смешной Леонид Николаевич, все не то делает, и руки у него висят беспомощно. Что? Нет, я не могу. Что?

– Вы не должны бояться.

Она открывала глаза. На темном диване сидел Альберт. Он редко приходил к ней, иногда в те часы, которые она считала ночью или еще глубоким утром. Его посещения были единственной отрадой для Лены и, когда он входил в низкую комнатку, Лене казалось, что сейчас он спасет ее, и уведет опять в зеленую рощу, где чирикают воробьи и белеют далекие городские трубы.

Но Альберт только пристально и грустно смотрел на нее и говорил мало. Лишь один раз он пришел оживленный и будто усталый.

– Какая вы молодая... Вы были счастливы?

– Я не понимаю... Зачем вы меня держите?

Он сел и взял ее руку.

– Скоро все кончится. Скоро! У нас такие законы. Вы не понимаете, где вы? Все просто, совсем просто... Мы живем здесь всегда.

– Но... это подземелье какое-то?

– Под Петербургом люди живут очень давно. Это началось еще при Павле.

Альберт замолчал и скоро ушел. Через несколько часов он вернулся.

– Вам скучно? Вы ведь только четыре дня у нас.

Она робко спросила:

– А что будет... после?

Альберт будто не слышал ее.

– Никто не знает, что мы живем здесь... А этот дворец так давно устроен. Здесь так спокойно и так хорошо. Знаете, мы бываем... там, в городе, но живем здесь. Только раньше мы были вдалеке. Теперь город растет, все ближе. Это очень плохо.

Он помолчал. И вдруг встал.

– Как вы могли жить там? Этот шум... телефоны, извозчики... эта ваша грязь, и кривые вывески!.. Вам нравится, да? А я смеюсь... и я презираю. Здесь столько золота, что мы могли бы залить им весь мир... Золото! Оно нам не нужно, но оно останется у нас. Лучше все разрушить... уничтожить, чем отдать.

Сто лет мы строили этот дворец, но разве теперь есть где-нибудь такая красота? О, они скажут – свобода и равенство – и братство, кажется? Знаете... с дней этого безумия в Париже... с дней Бастилии только мы помним, как надо жить.... А другие? Что на вас надето, посмотрите, посмотрите, – он все еще зло и сухо смеялся и тянул Лену за рукав, – тряпки какие-то, вороньи перья? Бедная, какая вы бедная были... Вы думаете, это была жизнь? Вы, верно, стучали на машинке, или были классной дамой, да, да? И ходили обедать в кухмистерскую за полтинник, с чаем?

Лена покраснела.

– Я хотела поступить в кредитное общество.

– Да, – Альберт закрыл лицо руками, – этого ничем не удержать. Идите, идите в кредитное общество. Какая вы молодая. Вы очень красивая... Вы останетесь у нас, правда? Отсюда не возвращаются. У нас хорошо... Мне вас жаль... Я не имею права освободить вас, но мы пойдем... на прием к королеве. Хотите?

– К королеве?

– К Марии-Антуанетте... Да, вы думали, она умерла? Да... тогда в Париже? *Encore un moment monsieur le bourgeois.* Ха-ха... королева здесь... она всегда с нами.

Лена растерянно смотрела на говорившего. У него горели глаза и худые руки судорожно мjali бархатные портьеры.

5.

Лена одевалась при тусклом свете свечи и в зеркало смотрела на бледные свои плечи, так страшно выступившие из серебряных кружев и парчи. Ей только что принесли эти платья. Лена не знала, зачем ей камни и серебро, но ей нравился наряд, и она с тревогой и радостной дрожью оглядывала себя.

За стеной постучали.

– Вы готовы?

– Да.

В дверях стоял Альберт, в черном глухом плаще. Он молча смотрел на Лену.

– Вы любите розы? Я принес вам цветы. Возьмите их.

Он подал ей два длинных стебля и легкий черный плащ.

– Пойдем. Не бойтесь и верьте мне.

Лена закрылась плащом и вышла из комнаты. Ее охватил сырой и пронизывающий холод. Она была совсем слабая от тревоги и долгого заключения и, шатаясь, нашла руку Альберта.

Они пошли сначала узким коридором, где далеко одна от другой горели свечи, и в промежутках было совсем темно. Иногда они встречали людей, которые молча кланялись им. Потом поднялись по лестнице и снова спустились. За лестницей чернело пустое пространство, как пещера, и оттуда веяло холодом и журчал ручеек. Далеко во тьме горел, как звезда, высокий зеленый огонь, и отражался в быстрой воде. Лена вспомнила, что в «Луна-парке» она видела такой грот и каталась по узким каналам с Леонидом Николаевичем. Но ее уже не тронуло и не взволновало воспоминание.

Узкий мост вел через ущелье во вторую часть подземелья. Он будто висел в воздухе, легкий и весь белый. Высоко на плоских бронзовых кругах горели свечи.

В тишине, над свечами и темными потолками вдруг глухо что-то зазвенело. Лена вздрогнула.

– Это... трамвай?.. Да?

– Я не знаю... Не вспоминайте, не думайте... Вы слышите музыку?

– Да. Как здесь тихо и страшно...

Альберт слегка сжал ее руку. Она улыбнулась.

– Вас найдут здесь... когда-нибудь.

– Может быть... Я думаю, это последние годы. Но мы готовы всегда... и все.

– Как?

Альберт закрыл глаза и ничего не ответил. Они вошли в сводчатый зал, такой же, как первый, который видела Лена, и здесь оставили плащи. Потом перед ними раздвинули высокий зеленый занавес.

Лена и Альберт проходили по странным и сияющим залам, где на диванах сидели, и лежали на полу люди, в тяжелой парче и в шелку. С потолков спускались золотые, как кружево, люстры с тихими желтыми свечами. Иногда скрывались, будто за упавшими стенами, пустые дали и там снова лестницы, огни и люди. Где-то пели и иногда слабо вскрикивали.

В розовом, с прозрачными и светлыми стенами, зале лежали глубокие ковры и стояло несколько столов, покрытых золотом и розами. За столами были мужчины и дамы, веселые, в падающих с плеч и груди одеждах и сияющих камнях. У огня кружились, тихо и нежно танцующая, совсем голые люди.

Лена видела стол, и золото на нем, и розы и не помнила, как она очутилась среди гостей, и рядом кто-то наклонился к ней, лил ей в стакан холодное, горькое вино. Она слышала смех вокруг и пение, и совсем близко ласковый и задышающийся шепот.

– Вы рады? Вы останетесь?

Альберт держал ее слабые руки и целовал медленно и тяжело. Воздух был дымный и жаркий, далекие стены и люди казались совсем туманными. На диване, за гобеленом тонкий юноша целовал даму, ее голые плечи и грудь. Танцующие, тихо кружась, приближались к столу.

Из широкой двери вошла в зал женщина. Она не казалась очень молодой, но ее чуть увядающая красота

была пленительна до крайности. Она вся была завернута в серебро и на лбу горел большой зеленый камень.

Женщина улыбалась, говорила что-то и высоко держала руки, которые целовали обступавшие ее кавалеры. Потом она подошла к столу и, будто изнемогая от смеха, упала на широкую спинку кресла.

Альберт встал.

– Королева...

– Что?

– Королева Мария-Антуанетта. Она прекрасна, правда? Вы счастливы, Елена?.. Вы рады?

Лена уже ничего не понимала. Ее отуманили этот блеск и веселье, ей было сладко и хорошо.

Кто-то целует ее плечи, дышит тяжело и жарко. И слова – разве раньше с ней говорили так? Какая счастливая королева, какая она красивая. Это принц, верно, бледный и влюбленный, – он лег у ее ног и целует их. У королевы зубы блестят, как алмазы.

– Вы любите меня, Елена?

– Мне хорошо... да...

– Пейте вино... Это последние годы... последние дни...

Мы будем счастливы, да?

Он низко наклонился к ней и смотрел в ее закрытые помутневшие глаза.

Вдалеке все расступились. Поднялся занавес. Потом зажегся беловатый огонь. Кто-то сказал:

– Рождение Венеры из пены!

И вдруг, среди этих вскриков и смеха, заглушая музыку, голоса, и стоны, раздался длинный, тревожный и пронзительный свист оттуда, из-за моста, с другой стороны подземелья. Поднялся короткий, судорожный крик, и потом все смолкло. Только свист еще летел по тихим залам, трепеща и падая.

Тогда произошло что-то жалкое и страшное: люди метались и падали, некоторые бились на полу, крича и плача, другие стояли безмолвно, с потухшими, остановившимися глазами. Бегали из одного зала в другой и гасили свечи. Кто-то кричал, повелительно и гневно:

– Своды, своды!..

Но голос терялся в рыданиях и столах.

– Спасите королеву!

Лена все лежала на низком своем кресле и не понимала, что произошло. Она чувствовала только, что все гибнет и что кто-то целует ее, держит и обнимает.

– Ты любишь меня... да?

Она прошептала:

– Спасите меня... Альберт, спасите меня.

И тогда сильные руки подхватили ее и понесли через толпу и валявшиеся на полу тела. Последнее, что видела Лена, – это была королева Мария-Антуанетта. Она стояла высоко, вскинув тонкие руки, посреди лежащих у ее ног, стонущих и молящих людей. Лене показалось, что вокруг шеи королевы обвилась тонкая кровавая полоса. Может быть это рубиновое ожерелье сияло еще при оставшихся трех свечах. Потом все погасло, и раздался оглушительный и страшный грохот.

6.

По городу ходили странные и смутные слухи о подземелье, найденном в Лесном. Предполагали, что там укрывался какой-нибудь тайный союз, революционный или немецкий. Наверно, его целью было взорвать Петроград. Другие уверяли, что, когда полиция вошла в первый коридор, то еще ясно слышалось пение и звон колоколов. И только потом все было залито спущенной откуда-то водой и погребено под упавшими сводами.

Мечтатели и восторженные вспоминали римские катакомбы, думая, что и в Лесном подземелье обитали святые отшельники. Но определенного ничего не знали. Уже начали производить раскопки и в грудах земли и камня находили – то золотой подсвечник, то кусок золота. Находили трупы и почерневшие тяжелые ткани. Но только в передних частях подземелья можно было рыть и искать. Далее, оно уходило под город, под дома и улицы, где раскопки были немыслимы.

У Воробьевых после нескольких дней тревог и отчаяния была радость. Ранним утром дворник с какой-то отдаленной улицы привез на извозчике Лену. Она была в крови, в каком-то грязном и оборванном платье, с камнями и ржавым золотом. Лена молчала и вздрагивала. Но она была жива и, кажется, даже здорова. Мария Константиновна, еще ничего не спрашивая и не узнавая,

рыдая, обнимала ее. Дворник, привезший Лену, сказал, что ее нашли на окраине, у старого забора, лежавшей без памяти. Через несколько часов только она с трудом могла назвать улицу и дом, куда отвезли ее.

Лену вымыли и переодели. Кровь на лице оказалась легкой царапиной. Воробьевы бессвязно, радостно и растерянно расспрашивали, где она пропадала и что с ней было. Вызвали по телефону Леонида Николаевича.

Но Лена будто окаменела. Она молчала и смотрела тупыми глазами за окружающими. Она будто не слышала вопросов и слез и изредка только вздыхала и бормотала что-то. Мария Константиновна решила, что это – нервное потрясение. Иначе и быть не могло, – Бог знает ведь где она пропадала. Лену уложили в постель и позвали доктора. Но доктор сказал, что болезни нет никакой, есть, впрочем, глухие хрипы в правом легком, но это – остаток прошлогодней инфлуэнцы, и не связан, вероятно, с общим состоянием барышни.

Леонид Николаевич волновался больше всех. Он не отходил от постели Лены, просил всех уйти из комнаты, пробовал говорить с ней то нежно и тихо, то сердито. Но ничего не помогало. Лена лежала, повернувшись к стене. Раз только она приподнялась и сухо проговорила:

– Оставьте! Не все ли вам равно?!

Наконец, Леониду Николаевичу пришла в голову мысль. Он смотрел на странное платье, в котором привезли Лену, грязное и порванное, но со следами роскоши, на Лену, вспомнил о подземелье, о глухих слухах, что все более и более волновали и захватывали город. Тогда он отозвал в самую отдаленную комнату обоих Воробьевых и закрыл двери.

– Я понял... все. Странно, мы не знали, что она принадлежала... к этой организации. Другого ничего быть не может. Но надо молчать... теперь надо молчать. Иначе мы ее погубим. Ведь мы знаете, там нашли... порох... и бумаги какие-то.

Мария Константиновна побледнела и без сил упала в кресло. Догадка Леонида Николаевича показалась ей так беспощадно ясной. Ведь Лена всегда была скрытной и увлекающейся.

Лену, наконец, оставили в покое. К вечеру она встала и пила чай со всеми, за круглым столом. Мария

Константиновна смотрела на нее боязливо и вопросительно, старый Воробьев сердито пожимал плечами и ворчал. Лена слабо улыбалась, слушая рассказы и новости Леонида Николаевича. Он нарочно шумел, чтобы все было, как всегда.

Совсем рано, не допив чаю, Лена простилась и ушла к себе.

– Я так устала.

На следующий день было то же самое. Лена говорила только необходимое, здоровалась, отвечала, но было ясно, что мысли ее и воспоминания далеки. После обеда она ушла и вернулась к вечеру. Мария Константиновна робко спросила, где она была.

– Там. Мне надо было...

Так тянулись дни. Лена уходила из дому и бродила по городу. Она жадно ловила все, что слышала о подземелье, читала короткие и неясные заметки в газетах, подслушивала в трамваях. Она ходила к той роще, где встретила когда-то Альберта, но стражники остановили ее и не пустили ко входу в пещеру.

То, что так недавно еще казалось Лене милым и родным – грязь, вывески, шум, кривые шляпы и каблучки, – все теперь возмущало и томило ее. Она вспоминала Альберта, его слова и гнев, и думала его мыслями. Она закрывала глаза и видела розовые светлые стены, цветы, огни, и будто опять пила горькое вино, и опять кто-то целовал ее.

7.

Из окна трамвая Лена узнала вдруг эту наклоненную, седеющую голову и поднятый воротник. Она заметалась и выбежала на площадку. Но трамвай летел и спрыгнуть было нельзя. Лена видела, как седой господин вошел в подъезд невысокого красного дома.

Она бежала по улице, толкая прохожих, и останавливалась, задыхаясь. В подъезде уже никого не было. Лена крикнула швейцара, но не дозвалась его. Может быть, и не было в доме швейцара. Стояли чахлые пыльные растения. Первая дверь – акционерное общество Варт. Нет, надо подняться выше. Лестница была старая, с высокими и тяжелыми ступенями. На порыжелой клеенке

висела, приколотая кнопкой визитная карточка: «Анна Степановна Пирожкова».

Лена постояла несколько мгновений в раздумьи, потом позвонила. Дверь сейчас же открылась. В маленькой передней, со шкафами и ситцевой занавеской, стоял еще в пальто Альберт.

Лена вскрикнула. Он будто совсем не удивился и наклонился к ней.

– Тише, тише!..

– Вы живы? Боже. Я ведь не знала... ничего.

Альберт опять, как тогда в роще, взял ее за руку. Они вошли в комнату с кривыми и плоскими тюлевыми гардинами.

– Зачем вы пришли сюда? Вы виноваты... Вы напрасно искали меня.

– Как?

Он не оборачиваясь подошел к окну.

– Я вас унес... тогда, помните?.. но я не мог вернуться. Все было кончено. И королева... ее тоже спасли. Это принц Луи. Зачем?.. Я не понимаю.

– А там... все погибло?

Альберт не отвечая покачал головой. Из-за стены слышался тонкий и капризный голос.

– Зачем вы ушли? Где вы?

Альберт растерянно поднял руки и исчез за дверьми. Лена слышала его ласковый и уговаривающий голос, и чьи-то слезы и вздохи. Она тихо подкралась к двери и заглянула в соседнюю комнату.

На шаткой железной кровати сидела в теплом платке женщина. Прекрасное и бледное лицо ее было заплакано и чуть вспухло. Белокурые волосы сбились и висели на лбу.

Она заметила Лену и порывисто встала.

– Вы ко мне? Вы меня знаете?

Это была бледная королева Мария-Антуанетта.

Альберт бросился к Лене.

– Уйдите! Мари, успокойтесь... Вы мне верите? Мари...

Он почти со злобой толкнул Лену и через несколько секунд вышел к ней.

– Она больна... Она все ждет и плачет. Зачем ее спасли? Только скоро все кончится.

Лена торопливо простилась. Он чуть задержался в дверях.

– Простите. Мне теперь уж все, все равно. Но я должен жить, пока живет... она.

Лена вдруг заметила, что он совсем старый.

Она вернулась домой возбужденная и как-то неестественно веселая. Теперь Лена уже не молчала, но вдруг беспричинно и судорожно смеялась, рассказывала что-то и сердилась. Лишь по ночам иногда, во сне, она плакала и звала. Прибегала Мария Константиновна, будила ее. Лена вскакивала и испуганно оглядывалась.

– Нет, ничего, ничего... Какой шум, какой шум!

Леонид Николаевич решил, что ее надо развлечь. Надо уехать куда-нибудь, надо ходить в театр. Раньше ведь Лена хоть в городе бывала, а теперь она даже и в окно не смотрит, и все худеет и чахнет.

В один из вечеров он приехал и весело вошел к ней.

– Ну, что... милая... вы все скучаете? Не надо... Теперь такие дни... тепло и ясно!

Лена улыбнулась. Он продолжал.

– А знаете, у этого Васи... или Пети, что в бумажных цветах ходит и танцует на улице... помните, вы говорили про него?.. так у него конкурентка завелась.

Я не видел... мне Паша рассказал... сегодня на Посадской, видит, идет женщина какая-то... в проволочной короне, кричит... а за ней мальчишки. Потом толпа собралась. А она смеется, говорит, что она королева. Потом запела что-то. Больная, верно... К ней какой-то господин подбежал, хотел увести ее. Она отбивается, кричит, что это тюрьма, что ей голову отрубят... Их в участок забрали, а потом... Лена. Лена... что с вами... что?

Леонид Николаевич вскочил.

– Лена, что вы?.. Мария Константиновна!

Лена, совсем белая и дрожащая, смотрела на жениха. Вдруг она вскрикнула и стремительно, без пальто, без шляпы, бросилась в сад, открыла калитку и побежала к городу.

Равнодушная дама

Повесть

1.

– Вы меня очень обидели.

Это сказал Андрей Викторович. Потом долетел шопот, глухой и чуть хриплый:

– Но вы забываете. Я – невеста.

Молчание.

София Павловна стояла под дверью кабинета и подслушивала. Вздрагивал тройной подбородок и полные руки теребили зеленые плюшевые портьеры. О да, да, она не ошиблась, она не даром пошла послушать этот подозрительный разговор.

В передней хлопнула дверь и было слышно, как Андрей Викторович торопливо вернулся к себе. Софья Павловна, чуть ступая и вытянув трубочкой губы, прокралась вдоль стены в столовую и села за кофе.

Обыкновенно супруги Барг пили утренний кофе вместе и, если сказать правду, это нередко были единственные полчаса, которые они уделяли друг другу. Потому что, если бы вы когда-нибудь спросили Софью Павловну: «А не знаете ли вы, графиня, где Андрей Викторович, мне необходимо было бы его видеть?» – то, спросив, увидели бы, как удивленно и презрительно пышная голова Софьи Павловны ушла бы в роскошные ее плечи.

– А я почему знаю? Разве он мне говорит?

Она сама тоже выезжала днем, но ведь на час, на два, после завтрака. И разве к ней звонили по телефону какие-то Петьковичи или Тютюковичи, – Бог их разберет. Впрочем, и Андрей Викторович иногда сидел целыми днями дома, но тогда не выходил из кабинета. А что он там делал, – сказать затруднительно. Никаких дел у графа Барга не было.

Лист «Нового Времени» лежал сырой и нетронутый. «С душевным прискорбием извещают родных и знакомых о последовавшей после...» Нет, «Наука о дыхании (учение Рамакришны)...»

Глаза Софьи Павловны, слегка заплывшие, но еще задорные и с эдаким огоньком, бесцельно скользили по

строчкам, как и рука ее, вооруженная серебряной ложечкой, тщетно искала в чашке давно уже растаявший сахар.

Софья Павловна думала.

О, она все подозревала. Совсем непохожим на себя стал в последнее время граф.

То он будто и ласковее делается и добрее (вот на прошлой неделе вдруг горжетку привез и на прибор утром положил. А горжетка дорогая, соболья), то еще рассеянное и еще дальше.

– Я вот тебе хотела сказать...

– А?

– Знаешь, кашель у Шуры...

– А?

Софья Павловна сердито махала рукой и уходила.

Но теперь уже нельзя больше терпеть. В ее доме принимает каких-то швеек, да еще унижается перед ними, ласковые слова говорит. Это надо прекратить. Впрочем, Софью Павловну предупреждали, когда она выходила замуж, что граф, как еще совсем молодой человек, окажется ветреным супругом. Да, ветренный он и есть, конечно. Разве можно ничего целыми днями не делать, не служить? Все читают и все гуляют, но так ведь, в праздники, между делом. Софья Павловна давно лелеяла и теперь почти совсем уже осуществила план – склонить графа проводить несколько месяцев в году в его родном городе Симбирске. Можно там квартиру небольшую нанять, принимать. Софья Павловна была уверена, что граф увлечется земством, ну, или больницами городскими, и наверно его выберут в предводители дворянства. В Симбирске и жизнь дешевле, да и жалование ведь будут они получать. Андрей Викторович, кажется, и сам обрадовался таким перспективам. Но это политика, это – дела, а теперь есть что-то и поважнее. Оказывается, завелись и романы.

Свет, скупой и желтый, падал через легкий тюль. Над домами и низкой церковью висели клочки грязных и мокрых тучек.

Зажигать электричество графиня не хотела, – так все-таки день, и веселее. По коврам зашуршали шаги Андрея Викторовича. Софья Павловна завертела ложкой в полупустой чашке и лениво оставилась на газету.

– Передай мне сливки, пожалуйста.

Она, не поднимая глаз, взяла сливочник.

Мерно и важно тикали часы, хрустели сухари на зубах Андрея Викторовича, упала даже оброненная им ложка, – но Софья Павловна все читала газету. Наконец, тяжелой белой рукой медленно потянулась к звонку.

– Клара, вы возьмите сегодня мою шляпу... в Пассаже.

И откинулась на кожаную спинку стула. Андрей Викторович спросил:

– Ты выйдешь сегодня?

– А что?

– Ничего. Погода скверная.

Графиня нервно постучала пальцами по подносу.

– Ты же не будешь сидеть дома? Что же, я пешком пойду?

– Пешком?

– Что с тобой?

– Что?

Нет, это невыносимо. Это или пренебрежение, или просто глупость какая-то.

– Вот, твоя посетительница... не побоялась видно... ножки простудить.

Андрей Викторович поднял голову и снял пенснэ.

Графиня плаксиво и вызывающе встретила его будто удивленный взгляд.

– Что такое?

– Да я говорю... особа эта. Знаешь, я удивляюсь... ведь даже на кухне... говорить будут.

Софья Павловна весь день потом думала об этом разговоре и пришла к самым печальным выводам. Господи, не первое же это ее объяснение с мужем, не первая же сцена. Как она все это знала! Андрей Викторович сбибался и уступал, и она же еще подставляла ему в знак примирения свою пухлую руку.

– Ты обещаешь?

– Ах, Соня, это все твои нервы.

А тут? Андрей Викторович все побледнел как-то и, пожав плечами, принялся ломать сухари.

– Есть вещи, о которых я не хочу, прежде всего, чтобы ты говорила.

Софья Павловна хотела остаться спокойной.

– Так я позаботиться об этом, не води к себе... девиц. Я, кажется, тебя не стесняю.

И вдруг Андрей Викторович встал и подошел к окну (а за окном мелко-мелко – все видела Софья Павловна – падал грязненький, легкий дождичек и извощик шлепал по лужам). – Знаешь, Соня, я хочу тебе сказать... знаешь, я думаю... нам надо развестись.

Одиннадцать лет! Одиннадцать лет любви (любви, кажется, и меньше) ну, дружбы, бесед, прогулок... ссор, молчания, – и вот все так легко у него и просто.

– Знаешь, Соня...

И голос не дрожит (о, как далек был тогда Андрей Викторович! чего бы голосу его дрожать?), и рукой водит по стеклу.

– Пожалуйста.

– Нет, ты не сердись. Я тебя хотел просить...

– А я всегда готова дать тебе развод. Пожалуйста.

Андрей Викторович сел на подоконник.

– Видишь, я скажу правду... я встретил одну девушку...

Как ракета вспыхнула графиня.

– Да? Я так и думала, что этим кончится.

– Что?

– Да вот, все эти... амурные вздохи.

Андрей Викторович поморщился.

– Какие? Как с тобой трудно говорить!

– Конечно, где же мне... Вот какая-нибудь швейка, или кассирша...

– Отчего... кассирша?

Андрей Викторович обернулся удивленно и растерянно.

– Я не знаю. Но для этого надо быть... подлецом.

Графиня уже не могла сдерживать себя. И выговорив слово «подлецом», она будто услышала сигнал к бешеной атаке. Напрасно пытался Андрей Викторович вставить слово и даже напрасно пытался сердиться на те эпитеты, которые находила графиня для его особы. Он конечно нарочно привел эту портнишонку к себе, чтобы подготовить Софью Павловну. Это забота об ее нервах. Но граф может не бояться, это не такой удар. Напротив, она сама давно думала о разводе. Ведь стыдно даже иметь такого мужа, бездельника и гуляку. Андрей Викторович,

разводя руками, бегал по комнате. Ужас! И какие люди все горячие!

Наконец Софья Павловна после минутного затишья с покорным вздохом спросила:

– Кто она?

– Ты не знаешь... Марья Федоровна Драницына.

– Что же это? Пламенная страсть, конечно?

– Да, я ее люблю очень. Кажется, никогда еще...

Это и бестактно и невежливо, может быть. Обидна поздняя измена, но еще обиднее этот мелкий упрек на прошлое. Софья Павловна сжала губы и протянула:

– Я очень рада. Удивительно вы любвеобильные.

– Если это тебе тяжело...

Но графиня вскочила.

– Нет, нет, нет! Ты сказал, так пусть так и будет. –

И потом вдруг взвизгнула и с плачем упала на низкое кресло. Она беспомощно махала перед собой руками, будто отбиваясь, и трясла головой. Даже папильотки (каждый вечер думала Софья Павловна: – «брошу папильотки, щипцами лучше») раскрутились, посыпались с головы и стыдливо скрылись под столом.

Андрей Викторович, взглянув на графиню и сообразив, что все равно ни до чего теперь не договоришься, бросил недопитый кофе и бормоча что-то – уж не проклятья ли? – выбежал в переднюю.

Быстро одевшись, он так хлопнул дверью, что весь дом затрясся. Затрясся и белоснежный подбородок Софьи Павловны.

Куда он пошел? Да, конечно, к ней. Теперь все ясно. Эти телефоны, письма, – все, все.

Софья Павловна лежала в кресле. Мысли, оборванные и горькие, проносились и возвращались, сбиваясь, кружась и теряясь. Что же? Развод? Нет, графиня знала, что разводу не быть, – слишком странно, слишком внезапно. Так, слезы, измены, потом молчание, объяснение, опять сцены – ну да, конечно. Так и будет. Так и будет. Но скучно все-таки, и обидно.

Так все в нашей жизни: человек идет по улице, а из-за угла – красный трамвай. Кончено. А чаще: пьет он чай и вдруг роняет стакан. А ведь мог же не разбить стакана, вот если бы придержал левой рукой, если бы не вскрикнула Марья Ивановна:

– Ах, как мне жарко!

А ведь могла бы Софья Павловна сегодня встать как всегда, поглядеть в окно, подставить свежую руку графу, и потом сесть читать Меншикова (замечательно интересно пишет). И дождь бы шел грязненький. А Клара чистила бы бриз-бизы. А тут вот вошел мальчик, легкий и бледный – поздно родился, долго, долго ждала его Софья Павловна.

– Шурик, ты папу видел сегодня?

Мальчик потянулся за бисквитом.

– Видел.

– А папа веселый?

– Веселый, веселый.

Софья Павловна попробовала улыбнуться.

– А мама?

– Веселая, веселая, веселая...

Софья Павловна встала и, подойдя к зеркалу, принялась разглядывать себя.

– Нет, мама не веселая.

Конечно, у глаз гусиные лапки, но глаза-то сами по себе еще прекрасные, и темные, и глубокие. Губы свежие, а нос – о, нос, это гордость Софьи Павловны, – крепкий и чуть вздернутый, очаровательный. Когда-то по утрам прихорашивалась графиня для мужа, выходила пышная и соблазнительная. А теперь не стоит.

Слегка согнувшись, вяло и тихо поплелась Софья Павловна в гостиную и облокотилась на рояль. Потом вдруг вскочила, будто вспомнив что-то, и побежала в кабинет графа.

Ключ налево, в коробочке для марок.

Вот, он не взял его, выбежал, забыл.

Софья Павловна рванула ящик и слегка вскрикнула.

Над бумагами, письмами, коробками какими-то, прямо и просто лежал женский портрет в чуть потертой бархатной лиловой рамке. За стеклом на портрете засохла веточка мелких лиловых цветов. Софья Павловна взяла рамку и, будто испытывая себя, опустила ее и медленно пошла к окну (светлее). Это она, конечно. Графиня смотрела на женщину худую и не очень красивую, с маленьким, почти безгубым, ртом и узким носом. Глаза обыкновенные, – глаза, как глаза. Ничего ни глубокого,

ни рокового. Только у переносицы, на лбу две тонкие складки давали этому лицу странное выражение боли и недоумения. А прическа? Совсем *femme de chambre*. Мелкие, мелкие завитки покрыли почти весь лоб, и без того, наверно, узкий и покатый.

2.

А дождь все не унимался, к вечеру еще хуже стал. И противный такой, будто порошок, липкий и холодный. Уже густой желтой пеленой покрылись тротуары и торцы, и во все стороны и направления отпечатались столичные резиновые галоши. Небо, – и не понять, где оно. Висит слякоть какая-то и плюется.

В серебряном поясе лихач уже заморил своего тяжело дышащего рысака, но господа попались настоящие, – валяй, не останавливайся.

– Слушай, Димка, довольно...

– Все равно... Вот по Набережной катнем, да к ней.

Димка Катенев достал розовыми пальцами сигаретку.

– Откуда?

– Позен дал. Чорт, ломаная... Влетит за это! Ты был у Кости вчера? Дулись?

– Да, – Клейн зевнул и поднял воротник, – понимаешь... этот рыжий пристаёт, отдай деньги, говорит.

– Ну?

– Ну, в морду. А Верка даже серьги проиграла, плакала потом. Поедем, хочешь? Деньги есть?

– Деньги? Я Позена прижал... пятьдесят, – Димка торжествующе поднял два пальца. – Нет, ведь мы к Маше.

– Как хочешь. Ты, серьезно, женишься?

Димка, не отвечая, засвистел.

– У меня, понимаешь, голова болит. Сегодня не спал, вчера не спал.

– Ничего.

– Тебе ничего, а мне чего.

Толстый Клейн высунулся из-под крыши пролетки.

– Ну что ж, на Спасскую?

– Все равно.

– Затем только мне туда-то тащиться?

Димка улыбнулся и щелкнул.

– Надо. Ты ведь мой друг? Надо показать... Только ты смотри...

– Что?

– Так, держи фасон.

Лихач будто понял, что катанию конец, и еще надавал коню. Рысак хрипел и пугал возвращавшихся от все-нощной старушек.

Катенев и Клейн молчали.

– Налево, у фонаря.

Димка вынул из черной кожаной куртки деньги и улыбаясь протянул кучеру.

– Будьте добры принять.

Лестница была тусклая и сырая. За клеенчатой дверью звякнул колокольчик.

Марья Федоровна сидела у окна в своей комнате и смотрела на желтые огоньки во дворе и в окнах. Шесть этажей, – одни над другими живут люди, смотрят на желтый огонь, скучают, любят. Внизу спустили портьеры. А под крышей и так хорошо, – пусть блестят на темном холодном стекле капельки.

– Дима, ты?

За стеной звонко ударились шпоры.

– Я, и Клейн со мной.

– А...

Она вышла в шелковом платке на плечах и протянула Клейну руку.

– Очень рада. Дима... Дмитрий Сергеевич говорил мне о вас.

Димка весело и по-детски приложил руку к фуражке и потом взял свою невесту за локти.

– Что, кукла, ждала?

Она нахмурилась (и губы сжала тонкие).

– Отстань. Пожалуйста... в гостиную. Сегодня холодно?

Клейн поправил галстук и, косясь на Димку, пошел.

Марья Федоровна села на диван и легким движением указала на кресло рядом.

– Вы знаете, у нас теперь такая неудобная квартира, мы переехали с мамашей осенью только, и так неудобно... из окон дует, и печи...

У плоской тюлевой занавески висела птица в клетке. Под ней чахли пыльные растения. Птица чирикнула по воробьиному, встревоженная светом и голосом.

Клейн сидел молча, расставив ноги и согнувшись.

– Я была третьего дня в театре, в драматическом, на Фонтанке. Вы не видели – «Анна Ланская» пьеса называется. Страшно так... я во сне видела даже. Знаете, она его в ресторан приводит... будто для объяснения... а когда он спрашивает, как насчет векселей... и другое, она вдруг револьвер. И так все убрано, ковры... зеркала.

Марья Федоровна, бедная, видимо очень старалась завести с товарищем жениха приличный и светский разговор, как говорят в благопристойных домах. Она давно уже сердилась на Димку. Все хорошо в свое время, он сорванец и буян – но надо и теперь уже думать, как все будет. Может быть, у них и приемные дни будут назначены в воскресенье, или еще лучше в будний день.

Но напрасно кивала Марья Федоровна головой, вспоминала, в каких она бывала кинематографах, и как тепло было прошлой весной.

Клювин сидел и глядел на красный протертый коврик, только сочувственно наклонял жирный пробор. Только при упоминании о Териоках он оживился и туманно стал объяснять, как надо отдавать теннисные мячи.

Но разве так беседуют в настоящих домах, где живут благородные люди? Разговор должен литься и пениться, чтобы и весело было в меру, и не очень тяжело. Хорошо бы чай выкатывать на колесах, и чашки надо будет купить – маленькие, с медальонами. У этого Димкиного товарища грязные руки, – это, правда, нехорошо.

Димка сидел в стороне, верхом на стуле. Ему вдруг стало обидно.

– Чего ты разошлась?

– Что?

– Для кого это ты изображаешь? Перед Володькой, да?

Марья Федоровна чуть побледнела.

– Вот, – она коротко засмеялась, – вы знаете, Дима всегда такой. Совсем дитя природы, как говорят, непосредственный... И вы знаете, я тогда два месяца жила в Финляндии...

Димка зевнул.

– Ты в Финля-а-а-ндии, а я в Лапландии.

– Дима!

– Ну что? Что, Володька не видит, что ты ломаешься?

– Я не ломаюсь, а разговариваю. Это ты, напротив, ведешь себя неделикатно.

Димка отвернулся и лениво сложил тонкие свои, розовые пальцы в неприличнейшую фигуру.

Марья Федоровна вскочила.

– Дрянь, дрянь! Подожди еще... ты думаешь, я постесняюсь...

Димка спокойно вынул портсигар.

– Испугала! Володька, хочешь? Ты не смотри на нее, она у меня бодливая.

– Нет... – Марья Федоровна подошла к Клейну. – Вы видите? Вот он всегда такой. Ведь, правда же, это невозможно. Разве так можно?

Она села и опустила голову на руки.

– Кукла!

Молчание.

– Кукла!

– Ну?

– А я с Позеном помирился.

– Свинья! Еще рассказываешь.

Димка шелкнул.

– Сама свинья. Из-за тебя и ссорился.

Скрипнула дверь и, покачиваясь, выплыла острая желтая старушка. То есть старушкой Вера Филипповна казалась лишь с первого взгляда, – у нее и румянец еще играл на щеках. Только как на пружинах отскакивала и наклонялась маленькая головка с кусочками кружева (а под кружевом смешные прядки, редкие, и цыплячья кожа).

– Мари, как я этого не люблю... бранишься, будто прачка какая... И вы тоже, молодой человек, – она обернулась к Димке.

Димка неторопливо встал.

– Здравствуйте! Мой товарищ... Клейн.

Старуха покосилась неприветливо.

Вера Филипповна была дочь статского советника. Несчастные обстоятельства, страсть – что вспоми-

нать? – давно уже побудили ее променять благоустроенный и теплый родительский кров на жалование армейского штабс-капитана. Полк стоял в Казани. Было хорошо и любовно. Потом стало скучно. А как умер штабс-капитан Драницын, она перебралась с дочерью в столицу, где протекла юность и, казалось, жить легче и спокойнее. Но давно умер уже и родитель Веры Филипповны и помощи было ждать неоткуда. Сначала перебивались кое-как. Потом Марья Федоровна нашла по газетам место кассирши, в перчаточном магазине, на Литейном. Не любила госпожа Драницына вспоминать об этом – стыдно все-таки. Надо было дочь в гимназию отдать, она, может быть, и хорошей службой занялась бы. Теперь, конечно, поздно. Лучше замуж выйти. Но Вера Филипповна с негодованием думала о Димке Катеневе. Что это, правда, Мари собирается за него? Такой скверный мальчишка, грубиян, и за душой ни копейки наверно. Стоило растить ее, заботиться (были заботы все-таки, были).

– Я вот заснуть хотела, да звонок услышала.

– Да!

Хорошо, пусть влюбилась в слюнявого мальчишку. Но отчего они сидят надутые? Господи, молодые ведь люди, – смейтесь, играйте, пойте! Нет, все скрывают что-то, устраивают, шепчутся.

Вера Филипповна удивлялась угрюмости молодежи, – ах, молодежь! – но сама была настроена ворчливо. И этот толстый еще, товарищ, – он зачем притаскался?

– Мари, ты бы разобрала ноты когда-нибудь... А что граф нас совсем забыл?

Марья Федоровна не двигалась.

– Он сегодня хотел зайти. Книгу обещал мне интересную.

– Вот. Ты мне и не скажешь никогда.

Димка ходил по комнате.

– Я ведь и не видел еще этого господина.

– Полюбуйешься.

Вера Филипповна очень мечтала видеть свою дочь графиней. Станный «он», конечно, придурковатый будто, но граф настоящий и со средствами все-таки. Вечерами Вера Филипповна долго и тщетно описывала дочери, как хорошо быть аристократической да-

мой и приобрести в свете то положение, которым они теперь, по несчастному стечению обстоятельств, не пользуются.

– Граф чрезвычайно любезный человек... внимательный такой.

Димка шутливо погрозил невесте.

– Что вы, молодой человек, улыбаетесь, кажется?

(Димка все грозился, что за «молодого человека» назовет когда-нибудь госпожу Драницыну «старой жабой»).

– Ничего. Смеяться разрешается.

Тихая краска залила лицо, до самых седых височков.

– Если уж так смешно у нас, то... я удивляюсь.

– Мамаша...

– Оставь, Мари. Я давно замечаю... Это невежливо, наконец.

Димка подошел к Клейну, будто и не замечая обиженной мамаша.

– Поедем?

Клейн встал.

– Мама, вот ты всегда так, вы мне нарочно это!..

– Ах, Мари, как ты не понимаешь, что это неприлично? Ты совсем изменилась.

Марья Федоровна закрыла лицо платком.

– Не буду я графиней, не буду, не хочу. Оставьте меня.

– Попробуй, попробуй, Володька, едем?

– Что? – старуха растерялась, – чего ты плачешь?

Опять я виновата, конечно. И не выходи, сиди, пожалуйста. Подумайте, нежность какая, – не тронь! А граф любезный человек, я все-таки скажу...

– А он богатый, его сиятельство?

Димка, остановился и весело повернулся на каблуках.

– Ну, конечно... А впрочем, я ведь не знаю. Делайте, что хотите.

Димка подошел к пианино и рассеянно стал перебирать ноты. Худые плечи вздрагивали под лиловым платком.

Ямщик, не гони лошадей.

Мне некуда больше спешить...

Есть люди, которые очень любят ссориться и поскандалить, но сейчас же отступают перед чужой обидой. Это милые люди, их не надо бояться.

Вера Филипповна вернулась в гостиную, уже ласково и привычно улыбаясь.

– Пожалуйста, господа, к чаю.

Димка подошел к невесте и взял ее руки. Она еще сердилась.

– Что?

– Смотри у меня.

– Милый!

Димкин широкий рот блаженно открылся.

– Кукла!

Сели пить чай. Вера Филипповна рассказывала о своей молодости. Под зеленым стеклянным абажуром блестели тарелки, и только что успел Димка намазать кусочек хлеба, как в передней позвонили.

Это был граф Барг.

Он вошел торопливо и неловко, и поцеловал руку Вере Филипповне. (Что же, – и Димка тоже целовал желтые морщинки, и Клейн поцеловал).

– Простите, я вам помешал кажется... Такая погода, очень холодно... Я ехал с Васильевского острова... Вы хотели эту книгу, Марья Федоровна.

– Позвольте вас познакомить... Граф Барг, Дмитрий Сергеевич Катенев.

Андрей Викторович встретил светлый и наглый взгляд.

– А! Я... о вас слышал.

Димка молча улыбнулся.

– Мари, какая это книга?

– Лермонтова стихотворения.

– Неужели ты не читала? Я, бывало, так любила...

Андрей Викторович взял стакан чаю.

– Благодарю вас... я уже пил. Только так холодно... И извошники теперь совсем невозможные. Марья Федоровна, вы выходили сегодня?

Но она сидела, опустив голову, и перелистывала маленький, золотом обрезанный, томик.

Андрей Викторович смотрел на Димку.

– Скажите, Дмитрий... Сергеевич, кажется? да?.. ваш отец... редактирует «Русское небо»?

Димка чуть покраснел.

– Да-а.

– Вот, я хочу вас просить... мне надо было бы статью достать... Леговского, но это так трудно, я не помню года...

Он говорил и пристально смотрел на тонкого и спокойного мальчика. Неужели он? Почему он? Глаза кошачьи, хитрые. В Сибири, на рудниках такие глаза встречаются. Туда, в Сибирь, в рудники и смотрят они уже.

Марья Федоровна перелистывала на коленях золотую книжечку, слушая графа и редкие ответы Димки.

Через час Андрей Викторович шел уже по вечерним, затихающим улицам. Дождь перестал, рвались серые тучки. Между ними стыдливо и тихо плыл вспухший белый месяц.

В душе графа Андрея Викторовича все спуталось и сам он не понимал, что ему надо делать. Была любовь, и такая над всем сладость, и боль, над всем смятением, скукой и тревогой. Читатель, милый читатель, прилежный, хороший, умный. Были ведь и вы влюблены? Знаете ведь вы все, что о любви говорят, – поединок роковой и мост, весь в цветах и крови?

Знал все такие слова, и как умел разбираться во всех хитросплетениях Андрей Викторович.

– Да, любовь... есть жажда бессмертия!..

А теперь? О небо, небо, о трамвай, и звонки, и мальчишка с кульком, на подножке. Так тревожно и мучительно на сердце, сладко и тягостно... Вот идут люди по улице, – все несчастные. Идут они, и не знают, что на Литейном есть магазин, с фиалочками и кружевами в витрине. А на Спасской Димка сейчас пьет чай, вкусный, с медом. Или знают они? Да, война, война, обилье снарядов – залог победы. Но это потом, потом. Господа, не все ли равно, поединок роковой или цветущий мост?

– Граф...

Андрей Викторович слегка вскрикнул и оглянулся.

У белого высокого фонаря стоял Димка.

– А!..

– Да... я вышел тоже... Мне пора уже. Я хотел вам сказать, что «Русское небо»...

Они пошли вместе.

Это было через несколько дней. Андрей Викторович сидел за широким столом в кабинете и разбирал бумаги. У него все было разложено по цветным кожаным бумажникам, и они так и лежали один над другим, потертыми рядами. Письма старые, дневники, заметки, – начнешь перебирать и не кончишь. За каждой строчкой, за линялой сложенной бумажкой тянутся прошлые дни, а всегда жаль прошлых дней, какие бы они ни были. Любят люди умиляться над своей грустной жизнью.

– Здравствуйте, граф.

Димка весело стаскивал мягкую рыжую перчатку. С холода лицо его казалось еще нежнее и моложе.

Андрей Викторович медленно встал.

– Я получил ваше письмо.

– Да? Вы мне ведь звонили?

– Звонил, – граф задернул портьеры, – видите, это все так странно. Я удивляюсь вашей... решимости.

– Что?

– Может быть, так и надо... Я не знаю. Но ведь дело о любви и о счастье... о жизни.

Димка улыбнулся.

– А знаете, – Андрей Викторович взял его за руку, – я когда вас увидел, так будто и понял сразу, что так будет. Вы легкий человек... Вам наверно очень легко жить?

Димка мягко отнял руку.

– Граф, так вы принимаете мое предложение? Я для вас... Я вам искренно желаю удачи.

– Да я лично... Я вам страшно благодарен. Но мне... не совсем ясно... Марья Федоровна...

– Все будет так, как вы хотите.

– Я, кажется делаю что-то... очень плохо?

– Но это между нами, граф?

.....
– О чем вы говорите?

– И еще, – Димка слабо усмехнулся – вы мне простите мое любопытство. Ведь вы, кажется, женаты?

– Да, конечно.

– Но... как же?

Андрей Викторович быстро заходил по комнате, скидывая руки.

– Нет, это очень просто... Развод... Я развожусь... я уже обратился к поверенному (а в гостиной скрипнул вдруг стул и зашуршали два тяжелых шага. Потом опять все смолкло).

Но ведь... Марья Федоровна не знает, кажется?

– Я не говорил, нет. Это усложняет будто. Я не знаю, я по глупости, просто не сказал. Беспричинно. Но ведь это все равно. Мы кончим очень быстро. (Тронулась зеленая портьера и даже приоткрылась будто).

Димка сел на кожаный глубокий диван.

– Так.

Он ясно и спокойно смотрел на растерянного Андрея Викторовича.

– Ах, да... вы ждете. Я был бы рад конечно. Только как же нам это сделать?

– У меня все готово. Вы подпишите. Вам не будет никаких хлопот.

Граф остановился, тихо покачал головой.

– Послушайте... сколько вам лет... Дима?

Димка улыбнулся.

– Девятнадцать.

– Но ведь это ужасно, на что вы решаетесь. Я тоже хорош... конечно.

Димка взял из бронзового бокала папироску и постучал по столу.

– Граф, я ничего не делаю плохого. Я деловой человек,

– Но ведь это касается... Марьи Федоровны.

– Да... Но я ведь еще не состою в обществе поощрения нравственности. И даже записываться в члены не собираюсь.

Андрей Викторович подошел к письменному столу.

– Но что же я подпишу, – он развел руки, – заранее?

– Вот, прочтите. Один экземпляр останется у вас.

Димка протянул маленький, вдвое сложенный, листок.

– Нет, я не могу этого подписать... Не могу.

Димка встал.

– Мне очень жаль, граф, что я беспокоил вас. До свидания.

– Подождите... Разве вы уже уходите?

Димка молчал и холодно глядел в глаза Андрею Викторовичу.

– Вы думаете... я все-таки соглашусь?

– Я знаю...

Андрей Викторович опять прочел записку, подошел к окну, постоял и затем медленно подписал.

– Вот! Мне все равно.

Димка посмотрел подпись и спрятал листок в бумажник, а другой положил на стол.

– Но, я надеюсь вы подождете... Я могу часть дать вам немедленно... то есть, после... ну, вы понимаете?.. А остальное в феврале.

– Пожалуйста... В феврале, вы говорите?

– Да. Это странный у нас контракт.

Димка ласково улыбнулся и мотнул головой.

– Учитесь, граф. Так надо жить.

И сейчас же заторопился.

– Так до свидания. Я вам на этой неделе еще позволю. Надо же будет условиться.

Андрей Викторович проводил его и в дверях слегка придержал за рукав.

– А вы... любите Марию Федоровну?

– Это граф дело постороннее. До свидания, благодарю вас.

4.

Софья Павловна уже несколько дней не выходила. Еще лежа в постели, распухшая и в «грустях», услышала она нетерпеливый звонок.

– Клара, кто это?

– Это к графу.

Всегда хочется покоя утром. Думаешь: ничего, – все устроится, конечно, все обойдется.

Но графиня встала все-таки и, надев широкие бархатные туфли, подошла к зеркалу.

Софья Павловна хранила самую печальную свою тайну, – она была ужасно некрасива, сама по себе, без кремов и пудры, без пышно взбитых локонов. Серая кожа над слоем мутного, вероятно, жира висела дрябло и вяло. Удивительные случаются метаморфозы. А вечером, в ложе, в огне люстр и камней, – сколько еще чар!

– Какая она еще интересная, графиня Барг.

Графиня подставила легкое полотенце под флакон с одеколоном, который привычно и безмолвно наклонила Клара. И лицо сразу посвежело и ожило.

– Пожалуйста, волосы, Клэр, поскорей, как-нибудь.

Софья Павловна накинула пеньюар и пошла в гостиную. За портьерой она услышала молодой и веселый голос. Это что-то новое. Еще вчера она нашла в корзине под столом мужа разорванное письмо. (Графиня в последнее время все обыскивала, осматривала, все слушала, – так хотелось ей узнать правду о любовных предприяттях мужа). Письмо было писано самим Андреем Викторовичем, и, очевидно, не послано. Или возвращено ему? Графиня сложила некоторые лоскутки и прочла. Не все сходилось, не все можно было понять (почерк, почерк!) но главное: дорогая... и милая... все для вас... я для вас живу... И все такое дальше... А затем фраза: «многое мешает... но все можно устранить». Устранить? Но кого же? Кто мешает счастью Андрея Викторовича? Графиня прослезилась от жалости к себе и пришла к страшной мысли, что самая жизнь ее в опасности и что она окружена злодеями.

А теперь, эти слова графа о разводе – такие уверенные и спокойные. С кем он говорил? Софья Павловна знала же, что ни к какому поверенному граф не обращался. И откуда он найдет поверенного, Андрей Викторович? Он извощика найти не умеет. Да и согласия графини никто не спрашивал.

Софья Павловна плохо слышала, что происходило в кабинете. Но через полчаса Андрей Викторович ушел и она нашла на его столе, между двумя чернильницами, записку. Незнакомой твердой рукой было написано, что граф Барг обязуется уплатить после своего бракосочетания с Марьей Федоровной Драницыной пять (5) тысяч рублей какому-то Катеневу.

Софья Павловна вскрикнула и побежала за разорванным мужниным письмом. Вот... «вы не понимаете... сердце моем... ах, – убить»... Это все теперь ясно. Он нанял «человека».

Губы затряслись и уже дрожащие полные руки не могли больше сложить ни одной фразы.

Графиня закрыла глаза. Да, да... так к ней войдут... Андрей Викторович? Нет, не он, а... «сегодняшний». И с ним, может быть, эта баба? Задушат, наверно, задушат.

А что, если?..

Софья Павловна, как пантера, заметалась по комнате.

Что, если?.. Ведь все равно, – все потеряно... Какая же теперь жизнь, – страх только и скука. А ведь она достойна этого, подлая. (Графиня не видела никогда Марью Федоровну и не слыхала о ней ничего, но в низких свойствах ее души была совершенно убеждена). Может быть, Андрея Викторовича?.. Нет, его жалко. Кричать будет, как заяц...

Она пошла к себе и вынула из комода маленький черный револьвер. (Очень боялась грабителей и воров графиня, с детства еще. Когда в деревне жила, колокол большой завела, чтобы в набат бить по мере надобности). Вот так, – дым, и все кончено.

– Oui, je l'ai tuée.

Софья Павловна видела уже темную залу суда, жадную нарядную публику, и там, направо, судей – много, в золотых тяжелых цепях. И себя, всю в черном, спокойную и печальную.

– Я убила ее тело, она убила во мне душу.

Это все ужасно, конечно... Боже, кровь и все такое, скандал, история! В газетах напечатают. Ну, что же, – и пусть печатают. Перед Софьей Павловной соблазнительно замелькали уже тени славы и шума. М-ме Кайо! Пошла и убила. И она была права, потому что убила негодяя. Жаль, войну объявили, – ее сразу и забыли как-то. А все-таки Андрей Викторович не будет лизать ноги своей подруге.

Графиня пошла в гостиную и, став перед зеркалом, в халате и со спутавшимися волосами, подняла револьвер и тихо сказала:

– Я вас ненавижу.

Белый дым, – и вот...

Она боялась только, что никогда не решится сделать то, что задумала. Как же вдруг все разбить, – эту спокойную, все-таки, и такую ровную, милую жизнь. О, не верила, если правду сказать, не верила Софья Павловна, что ее задушат и что злоумышляют на нее

супруг ее, тихий Андрей Викторович, Андрюша с колючей бородкой.

Она не знала, как, но смутно чувствовала, что все «образуется», и зачем ей вдруг стать убийцей! Глупо. Но хотелось переспорить себя. Иначе нельзя. Это решено. Убила же m-me Кайо.

Андрей Викторович вернулся домой к вечеру. Он вошел в будуар графини, мягкий, разнеженный, и сразу, очень спокойно, заговорил о разводе. Он объяснил, что хотел бы сделать все скорее и легче, и согласен на все, что пожелает Софья Павловна.

– Ты возьмешь Шурика?

Софья Павловна была озадачена. Но очень показала подозрительной любезность мужа, и эти руки, почему-то еще в одной перчатке.

– Отчего ты так спешишь?

– Все равно. Скорей лучше...

– Да, но ведь можно... и иначе... устранить...

Андрей Викторович помолчал и рассеянно переспросил:

– Что?

– Я говорю, можно иначе... легче.

– Что? Я не понимаю.

– У... стра... нить.

Андрей Викторович обернулся и подумал, что графиня нездорова, – бледная, взволнованная такая. Он тихо подошел к ней и хотел взять за руку.

– Соня...

Но Софья Павловна, широко раскрыв глаза, пятилась к стене. И когда Андрей Викторович сделал еще шаг, она, взвизгнув, бросилась из комнаты. Андрей Викторович вышел за ней, недоумевая, что случилось. Графиня заперлась в своей спальне и судорожно повернула тройной замок.

5.

Граф сам боялся своей затеи. Только поддаваясь холодной уверенности Катенева и решился он. Андрей Викторович старался себя утешить, что он даже спасает Марию Федоровну от жалкой судьбы, что так и долг велит поступить.

Но утешения злей еще разжигали тревогу.

Димка два раза после встречи с графом был у Драницыных. Он казался печальным и озабоченным, отрывисто говорил о своих делах и вечером долго сидел в комнате невесты. Вера Филипповна уже собиралась спать и была очень недовольна, что ее задерживают. А оставить дочь совсем одну с Димкой она не хотела. И того довольно, что сидят запертые.

Вдруг дверь тихо застонала на петлях.

На пороге стояла бледная Марья Федоровна.

– Мне этого не надо... Слышишь, не надо.

Она шептала, будто задыхаясь. Димка поспешно простился.

Он зашел на телеграф и отправил себе на свой адрес телеграмму: «Приезжай. Дело проиграно. Надо видеть. Отец».

На следующий день Димка опять был у невесты. Он принес телеграмму – и был еще тише и нежнее.

К чаю Марья Федоровна вышла уже одна.

Она протянула руку за чаем и сказала:

– Мама, все равно... Я выйду замуж за графа.

6.

У Драницыных были гости. Вера Филипповна была чрезвычайно рада предстоящей свадьбе. Она давно уже опасалась, что дочь сделает неподходящую партию, приказчика найдет какого-нибудь, или околodочного. Благородного происхождения людей ведь она так мало встречала.

Но лучше всего, конечно, то, что отстал Димка. Помолвку Вера Филипповна решила обставить торжественно, чтобы и графу не было совестно. Оказалось только, что знакомых порядочных у них уже нет. Те, что бывали в доме отца, у статского советника, давно уже умерли, или разучились ходить в гости. А новые, – какие же это новые? Люди без настоящего воспитания и светскости. Вера Филипповна очень огорчалась.

Уже на лестнице пахло керосином и салом. Чадила распахнутая кухонная дверь.

Андрей Викторович поднимался и сердце его неспокойно билось и нерадостно.

В передней мелькнула голубая пышная барышня и, не обратив никакого внимания на графа, исчезла.

Он постоял у покрывившегося под шапками и муфтами зеркала, прислушиваясь к шуму и голосам, и вошел.

Горели, как и всегда, две большие белые круглые лампы на стене, но казалось светлой от блестящих лиц и оживления. Зеленый в цветах ковер был скомкан в углу.

Граф заметил, что барышень больше, чем мужчин, и все они разноцветные. У одной на плече была приколата малиновая бархатная роза.

Играли, вероятно, в фанты.

– Жил-был у бабушки серенький козлик...

Девица в голубом платье, пробежавшая в передней, уже стояла посреди комнаты и пела.

– Нет, это скучно.

– Ты Китайнку спой.

Барышни смеялись.

– Душно... Прохладиться бы.

Торжественно как-то и лениво сидела под стеной в полосатой шали Марья Федоровна, следя за игрой. Она увидела графа и встала ему навстречу.

– Здравствуйте, милая.

Марья Федоровна благосклонно улыбнулась.

– Сколько у вас народу... я не знал. Какая вы красивая сегодня. А где ваша матушка?

Столовая для вечера была перемещена в спальню Веры Филипповны. В углу еще жался жестяной, помятый умывальник. И над ним большая белая птица с письмом в ключе сообщала любопытным, что лучший шоколад у Жоржа Бормана. На столе, завернутые в бумагу и ленты, стояли белые цветы, и уже расставлялись тарелки.

Вера Филипповна буйно обвила шею графа, целуя его.

– Вы знаете, как я рада.

Он улыбнулся и еще раз наклонился к ее легкой руке.

Фанты продолжались. В столовую влетели две барышни, распространяя весенний запах ландыша.

– Маруся, у тебя нет звоночка?

– Стулья, господа, стулья!

Толкаясь и повизгивая, в гостиной собрали стулья в круг. Тоненький с бугреватым лицом чиновник в желтой почтовой тужурке очутился в середине. Он застенчиво оглянулся.

– У вас раут настоящий.

– Что? Господи, что это вы все удивляетесь.

Барышни в кругу, как стадо крикливых овец, жались одна к другой, меняя места и оставляя один стул пустым. Желтый чиновник, улыбаясь, вертелся, – он должен был изловчиться сесть.

– Ах, противный, руку раздавил.

– Чрезвычайно извиняюсь.

Андрей Викторович подошел посмотреть на веселую игру.

– Граф!

Марья Федоровна слегка подняла руку.

– Вы должны быть около меня.

Все стулья опять разлетелись и зазвенело старенькое пианино с отставшей бронзой.

– Отчего вы не играете?

– Что вы! Разве мне можно?

Он улыбнулся.

– Какая вы милая... и смешная.

– Вот, вы все одно и то же говорите.

Он все улыбался.

– А что же мне говорить?

– Не знаю. Вам лучше знать.

Андрей Викторович тихо покраснел. Она была совсем права. Что говорить ей, и как? Один у себя, на улице, ночью, утром, днем – он говорил с ней вслух, долго и так ласково. А теперь, – все то же. Вы милая, – я знаю. Я люблю вас, – я знаю. Это мучение, а вспомнить погоду или платья какие-нибудь еще хуже. Никого погодой не обманешь.

Андрей Викторович вдруг заволновался.

– Вы правду сказали. Это очень странно, что я не нахожу о чем говорить с вами. Я всегда со всеми умею, и интересно. А ведь только вас я люблю.

– Это потому, что вы киснете.

– Ха-ха... киснете. Придумали. Только иначе я не могу.

– Что?

– Вы понимаете... Как бы это сказать... понимаете, любовь меня расслабляет. Мне хочется только гладить ваши руки и молчать.

– Оставьте.

– Вы меня, вероятно, никогда не будете любить.

Она встала и, уходя, обернулась.

– Только не я в этом виновата.

Андрей Викторович остался один. Ему не было грустно, но хотелось выйти на улицу и посмотреть на зеленые ясные звезды. Любовь все-таки большое счастье, даже безнадежная.

Гости, кажется, чувствовали уже близость ужина и не устраивали игр, будто боясь пропустить угощения. У пианино кто-то пробовал напевать. Раскрытый лежал на кресле тяжелый семейный альбом.

Все барышни очень похожи, если сразу взглянуть. Не сейчас заметишь, – вот морщины на лбу, или рот, уже опускающийся тонкими уголками. И в сущности совсем здесь не все такие веселые, особенно мужчины, даже желтый чиновник. Будто будут рады опять вернуться к себе и сесть на небранной с утра постели.

– Она гордая стала теперь.

Кто? Андрей Викторович задумался. Неужели это про нее. Но в дверях уже качнулась наколка на седеньких редких волосах.

– Милости прошу, господа, чем Бог послал.

Что же, – пойдем ужинать. Андрей Викторович знал, что его посадят рядом с невестой, что будет торжество, слезы и все такое.

Стол был накрыт длинный и белый. Цветы, граненые графинчики под цветами и копченый сиг, еще томившийся на своей палке, всем должны были объяснить, что вечер это необыкновенный.

Шумно усаживались на концах стола, куда слабо падал свет низкой лампы, посмеивались и пищали.

– Граф, сардинку, пожалуйста... Очень свежие.

Угощала и радостно суетилась мамаша. Марья Федоровна сидела молча, кутаясь в полосатой шали и зевая, и только иногда улыбаясь толстой и жизнерадостной девице напротив. Девице было, кажется, очень жарко. Она все пила миндальную мутную водицу и обмахивалась веером.

– Ах, не могу больше... Этот Костя!

– Умора.

– Господа, передавайте, будьте добры... Здесь и не достать ничего. Пожалуйста...

Когда унесли сосиски в томате, Вера Филипповна, дрожа и покачиваясь, привстала. Вынула платочек и стерла две ровные слезинки. (И как это умеют старушки всегда вовремя заплакать).

Барышни притихли. Только на конце стола шептались.

– Видите, я говорила... я говорила.

– Милые мои гости, я хочу поделиться (всхлип) с вами... моей... радостью.

Андрей Викторович обвел улыбающимся взглядом всех гостей. Удивлением и любопытством ответили. Он не слушал, как плакалась и говорила мамаша, но когда внезапно она кончила и, вытирая глаза, наклонилась обнять свою дочь, поднялся крик и загремели стулья.

– Графинюшка, поздравляю.

– Вот не ждала, такая партия.

И его поздравляли тоже.

– Позвольте пожелать вам, ваше сиятельство...

Зачем же сиятельство? Какие они смешные.

Андрей Викторович взглянул на свою невесту. Она оживилась и стояла будто и счастливая. Мамаша была совсем растрогана.

– Поцелуйтесь же, дети...

Граф наклонился и тронул губами холодную руку Марьи Федоровны.

Еще не смолкли поздравления, еще стучали и стлкнувались стулья, а в передней коротко и тихо звякнул колокольчик. Пробежала, пробираясь между стеной и столом, растрепанная девка из кухни. Открылась входная дверь, выпуская на лестницу теплые пахучие пары.

Сколько раз потом вспоминал Андрей Викторович этот ужасный вечер, – никогда он не мог понять, как решилась графиня придти к Драницыной одна, и уж если решилась (а ведь можно было проще «устранить»), зачем так медлила? – Софья Павловна потом молчала и не объяснила ничего. Откуда она узнала, что у невесты вечер и «объявление»? Но, в сущности, это все равно.

Графиня решила с преступной и ужасной целью придти к Драницыным, и именно в самый торжественный вечер. Если быть m-me Кайо, так чтобы живописнее все прошло, не как-нибудь. И время графиня выбрала к полуночи.

– Мари, кто это? Верно, Лизочка Шмидт?

Но уже в дверях стояла Софья Павловна.

Как во сне видишь вещи дивные и несбыточные, и не удивляешься, так и не удивился Андрей Викторович. Он медленно поднялся.

– Зачем вы здесь?

Графиня, покрытая неровными багровыми пятнами, сделала два шага, и остановилась.

Кто-то налево, за голубой барышней, сказал:

– Это сестра их, кажется... графиня.

Вера Филипповна покатила навстречу.

– Сударыня, простите... не имея удовольствия... но если вы сестрица...

Графиня гневно сжала брови и протянула:

– Простите, я вас не знаю... Вас уже поздравили, Андрей Викторович!

Андрей Викторович качнулся вперед. Но бывает спокойствие, когда все безнадежно. Спокойно он ответил:

– Зачем вы здесь? Вы не должны мне мешать.

Неожиданная и пикантная сценка между сиятельным женихом и его гневной сестрицей возбудили в гостях самое явное и слегка злорадное любопытство. Вот и граф, – со скандальчиками.

Марья Федоровна молча и равнодушно смотрела на посетительницу.

Услышав слова Андрея Викторовича и его будто сломавшийся голос, она встала и пошла к графине.

– Вы сестра его? Я прошу вас...

Но Софья Павловна выпрямилась, как трагическая актриса перед монологом.

– Я с вами говорить не желаю.

Марья Федоровна улыбнулась.

– Отчего?

– Господа, кушайте... кушайте, пожалуйста. Это, я знаю... графиня, она пришла. Она должна была... хотите ветчины, Нина Валентиновна?

Но происшествие было любопытное. И мамашины старания плохо удавались. Все ждали, что будет.

– Отчего?

– Оттого, что вы... скверная женщина. Я не сестра Андрея Викторовича... я его жена.

Даже мамаша остолбенела с вилкой в воздухе.

– Что же это, батюшки?

И веселое смущение разлилось по всем лицам.

Против самого жениха молчаливый господин в красном галстуке, придавив указательными пальцами надутые щеки, испустил громкий и невежливый звук – что, вероятно, должно было наглядно изобразить историю бракосочетания Марьи Федоровны.

А она улыбнулась и слегка оперлась на стул.

– Ах, да?

И замолчала.

Софья Павловна, все больше багровея, вынула из гладкого ридикюля записку. (Граф узнал ее, – Димкина аккуратная записка) и бросила на стол.

– Вот, прочтите... Мне все равно... моя жизнь... по-кой...

Руки графини сильно вздрагивали. И не успела она закрыть мешочка, как оттуда скользнуло что-то серое и блестящее и тяжело ударилось об пол. Это был револьвер.

Графиня взглянула на него, вскрикнула, и, зашатавшись, упала. Произошло смятение. Гости теснились взглянуть на заболевшую. С опаской подняли револьвер и положили на окно. Мамаша беспомощно бегала от одной двери к другой и звала запропадившуюся кухарку. Наконец, восемь рук обняли пышный и неподвижный стан Софьи Павловны и бережно понесли.

– В спальню, Николай Антонович, в спальню.

Оставшиеся тихо и насмешливо переговаривались, закусывая и стараясь скрыть свою веселость и несвоевременный аппетит.

– Полная какая!

– А что же она хотела?

– Револьвер...

– Господа, тишина, тишина... Медицина требует тишины.

Андрей Викторович видел, как невеста его еще стояла несколько времени, не двигаясь, и потом взяла записку, и тихо ушла в дверь, куда пронесли графиню.

Он сел на стул и блаженно улыбнулся.

Андрей Викторович не был нервнобольным человеком, но очень сильно любил он ушедшую девушку.

Графиня уже стонала за тонкой перегородкой.

– Что это? Где я? Тюрьма?

Запахло валерьяном. Девка прибежала за лампой и оставила гостей в полутьме. Когда в столовую опять вошла совсем спокойная Марья Федоровна, некоторые из приглашенных на помолвку уже прощались.

– С пожеланием счастливого исхода.

Она удивилась.

– Что?

– Так, обстоятельства неприятные...

– Очень странное ваше замечание.

Андрей Викторович остановил ее в узком коридоре.

– Милая, милая!..

Он схватил ее руки.

– А? Что?

– Я сейчас не могу... объяснить. Ничего... после, после. Это все равно... Но вы должны мне верить, я вас так люблю... я вас так люблю... сейчас.

Она прислонилась к стене. Желтый свет кривой лампы осветил лицо под густыми, нависшими волосами.

– Правда?

– Милая, я уеду сейчас, я вас прошу... только сделайте это... если можно. Я вас так люблю. Мне надо вас видеть... Приезжайте ко мне.

Она достала из-под пояса черные часики и стала медленно их заводить.

– Не знаю... Трудно это.

– Через час, через два... когда хотите... Да? Не надо домой, на Кабинетскую... да? Вы скажете вашей матушке, милая...

И вот, – забудет ли он когда-нибудь?

(Как все страшно и удивительно в жизни. Будто идешь по дощечке над рекой, а дощечка-то узкая и подгибается. Это, конечно, не относится к рассказу, да и выражено плохо – но слова не мои, а Андрея Викторовича, впоследствии. Впрочем не совсем то сказал Андрей Викторович).

Марья Федоровна улыбнулась и положила ему на плечо худые руки.

– Я очень несчастная, Андрей Викторович.

Граф вышел на темную лестницу. В углах фыркали кошки. Еще из окна увидел, что в огромной шубе дворник раскрыл железную калитку. Он спустился и стал в тени.

По двору, весело звеня шпорами, в белом башлыке шел Димка Катенев.

7.

У частых, гаснувших фонарей крутилась снежная пыль. Ветер обнажал запыленные тротуары, и их вновь заметало.

Город еще тревожился под темным, невидным небом. На Невском много народу, и голоса крикливые и веселые. Трепетала длинная цепь фонарей, белела и тонула там, у Адмиралтейства.

Андрей Викторович вошел в квартиру (для литературного общества «Пегас» устроил он помещение). Ровные металлические лампы холодно осветили комнату. Заблестели стекла и черные ряды книг за ними. Тишина была такая, как только в долго пустующих квартирах.

Андрей Викторович открыл буфетную и достал вино и сухие бисквиты. Больше ничего не было. Но ведь у Драницыных ужинали уже, – это так только, «нежность».

Половина второго. Через полчаса она должна приехать. Конечно, а может быть, и раньше.

Андрей Викторович лег на диван и стал ждать. Внизу, за окном, нередко звенели подковы и опять все стихало. Марья Федоровна возьмет извозчика, конечно, и будет слышно, как она подъедет.

Читатель, вы, может быть, еще не знаете моего героя и недовольны, может быть? Вы, пожалуй, правы. Но что же делать? Если вы любили когда-нибудь, – но правда, но мучительно, – вспомните, читатель, как все было вам безразлично и смешно – то, что беспокоило раньше. (Ах, томление весны, ах, колокол тонкий и там, над крышами, розовые закатные корабли).

Андрей Викторович лежал, не думал ничего и не понимал. Но странно, – сколько пролетает человек, не думая ничего, не помня.

Хлопнула дверь на лестнице, тяжело и гулко. Потом закрипели усталые шаги, еще внизу, на первых ступенях. Андрей Викторович приподнялся. Грязные шаги, – это не она. Вот уже близко совсем здесь, потом опять глуше. Нет, это дальше, в третий этаж.

Милая, придите ко мне. Я так вас жду. Что у вас там, – гости, мамаша, фанты? Это не весело ведь. И со мной тоже скучно, но ведь я вас так люблю. Это не «все равно» вам, – не может быть. Да, у вас Димка теперь. Милая, что вы говорили о несчастье? Какое несчастье, где оно? Все будет счастье, только придите ко мне. Отчего вы на Димку там смотрите? Ах, милая, милая!

Едет извозчик по улице, везет вас ко мне. Правда? Ничего, что Софья Павловна раскричалась и что она жена моя. Ведь вас я люблю, а остальное – пусть будет так, как было. Знаете, я раньше был очень глупый человек и о многом думал, о таком, что, правда, только скучно и грубо. Если и теперь вспомню и умилюсь, – то жалость во мне только, но не восторг.

Вот, уже два часа.

Андрей Викторович встал. Она должна сейчас приехать. Можно бы позвонить, где-то рядом есть у них телефон. Только поздно, неудобно вызывать. Конечно, поздно. Надо ждать терпеливо.

Раз, два, три, четыре... сосчитаю до пятисот и обратно. Наверно, придет, пока кончится. Пять, шесть... Вот вы теперь у Владимирской церкви, правда? Вот Московская... триста семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь... дальше, дальше. Пятьсот и обратно, пожалуйста, без задержки. Пятьсот и обратно. Еще успеет доехать. Десять, девять, восемь... кончено. Четверть третьего. Нет, конечно, нельзя так скоро уехать. Там еще гости и мамаша бегают в кружевной наколке.

Надо ждать, только спокойно.

Опять лестница гулко распахнулась. Андрей Викторович побежал к входной двери и приотворил ее. Внизу кто-то ворчал на швейцара. Зазвенел упавший ключ.

– Восемь гривен отдайте... Целый час жди вас.

Голос был низкий и злой. Нет. Это не она. Что же, – еще не поздно. Она сейчас придет. Андрей Викторович повесил цепочку на двери и опять пошел к дивану.

Половина третьего. Еще пять минут только, – больше быть не может. Не может быть. Как радуешься всякому звуку в этой тишине. Слышно даже, как пыль садится на ковер и на стены. И часы в кармане тикают. А электричество то вспыхнет будто, то опять темнеет, – как страшно!

Ангел мой, друг мой, неужели вы не придете?

Он встал, и закрыл руками лицо.

Но, правда же, вы обещали? Нехорошо меня обманывать, не надо. Только вы, верно, не знаете, как я вас жду. Иначе вы были бы здесь, у меня, милая. О каком несчастье вы говорили? Это, может быть, что Софья Павловна сердится? Ничего, пусть сердится. Как тихо на лестнице. Будто пронесли покойника. Вы замечали это, – когда все уйдут, и уже качается балдахин, и фонари. Милая, так мало дней у нас, и все мы теряем. Неужели вы не придете? Я так боюсь. Дима, Дима, злой он у вас, хитрый. Что же, он бы к нам в гости ходил. Чай бы пили вместе. Вы, может быть, с ним придете? Часики у вас черные, маленькие, – вы, верно, пружину им сломали. Так долго крутили. Совсем тихо, совсем.

Три часа.

Слава долготерпению Твоему, Господи!

Три часа. Ее нет и не будет. О, теперь это верно. Она не придет. Там Софья Павловна, там мамаша и фанты, Димка. Я могу кричать от любви и от боли, – а вы, милая, ангел мой, вы не услышите. Мне так страшно, – не знаю чего.

(Андрей Викторович прочтя мои записки, сказал мне:

– Кажется, я вам этого никогда не рассказывал. Но я то помню.

Бледнея, он плакал и вскрикивал).

8.

Кондуктор прошел по вагону и зажег в фонарях толстые свечи. За окном уже темнело, и снег глубокой пеленой лежал на полях и мелькавших изредка крышах.

На полосатом розовом диване были разложены свертки с пирожками и ветчиной. Толстый голубоглазый мальчик пил из чашки холодный чай, расплескивая его на пол и к себе на колени.

Дама в фланелевом сером капоте, поправляя падавшие из жирных волос гребенки, копошилась в корзине с торчавшими пробками и цыплячьими жареными ножками. Изредка она взглядывала на противоположный диван.

Там лежала в черном теплом платке женщина и в тусклом свете свечи видны были ее горячие, чуть впалые щеки. У ног ее офицер рассеянно смотрел «Сатирикон».

Дама в капоте закрыла корзину.

– Вы далеко едете, спрошу?

– В Москву.

– А... А мне далеко, за Челябинск. С ребенком-то...

Опять тишина. Только глухо стучали колеса, отбивая короткие и быстрые удары. Поезд вошел в густой лес, и в вагоне стало еще темнее.

– Дима...

Дрожало желтое пламя свечи.

– Дима...

– А?

Димка положил журнал и обернулся.

– Сядь ко мне... ближе. Тебя встретят завтра?

– Не знаю.

Димка стал тихо напевать что-то.

– А мы в Москве ведь недолго будем? Я бы хотела еще поехать куда-нибудь... Или тебе нельзя?

– Нет, все равно.

– А знаешь... – Марья Федоровна поглядела на даму и шептала, держа Диму за плечо, – знаешь, эта графиня вчера тебя видела... Я ей рассказала про тебя... Мне бы в Казань хотелось, я уже давно собиралась.

Димка промолчал.

(Он не знал, зачем и в Москву-то путешествует. Первый раз в жизни попался в такое глупое дело. Как же было вчера ночью сказать, что и про отъезд он сочинил? Нет, и деньги нужны были, чтобы отцу помочь. Только для этого. Надо ехать. Впрочем, это даже и приятно – проехаться).

– А я в Казани только весной была, – дама в сером капоте улыбнулась. – Хороший город. У меня там племянница замужем... мы из духовенства все...

– Да?

Марья Федоровна опять потянула Димку за плечо.

– Дима, я не понимаю все-таки... Зачем ты так сделал? Ведь я бы могла, может быть, достать тебе денег, если надо было... Ну, меньше немного, Дима...

– Оставь!

Он нахмурился.

В соседнем отделении шелестели газеты.

– Нет, видите ли, от сохи мужика брать не годится. Я сам помещиком был. При нашей промышленности...

– А как же на западе? Статистика доказывает обратное. Согласитесь, что даже умеренная работа...

– Дима, ты бы задернул фонарь. Прямо в глаза свет.

– А я читать хочу.

– Ну, все равно.

Димка сердился. Ему было стыдно все-таки своей обманутой невесты и скучна ее печаль. Было бы все, как по маслу, а тут нет, – графиня явилась, взревновала. Золото какое, подумаешь. И что сказать в Москве завтра?

– Вот видишь, я ведь знала, что ты меня не любишь...

– Что?

– Я не думала, Дима...

– Ах, ты все свое... Брось... Надоело.

Он ясными глазами смотрел в окно и насвистывал.

– Я Андрею Викторовичу не сказала про... ребенка. Ну, теперь... и лучше.

Димка подошел к стеклу.

– Отчего?

– Теперь и не надо. А он хороший, все-таки, граф, правда? Только хандрит что-то.

– С тобой пара. Как раз.

Марья Федоровна приподнялась и взглянула на Димку. Он хмуро притаптывал ногой.

– Дрянь!

(Попадья в капоте слегка вздрогнула. Хоть и шопотом, а слышно ведь).

– Начни, начни только.

– А что ты думаешь?

– Ты, кукла, лежи да помалкивай.

Она улыбнулась и опять легла на мягкую подушку, кутаясь в платок. Поезд шел через мост, и тихая стынущая река чернела и уходила по снегам к узкой заре.

– Знаешь, Дима, если мы в Казань поедем, я там, кажется, все узнаю. А ведь вот сколько... пятнадцать лет не была. Мы совсем на краю города жили. Вот так казармы налево, а тут сад был у моста, и наш дом. Голубой забор, еще пачкался всегда.

Пришел кондуктор поднимать диваны.

– Этот не надо пока... после...

Попадья развернула конверт с подушками и одну, в красных прошивках, положила наверх. Потом помогла взобраться туда своему молчаливому мальчику.

– И знаешь, ты там хорошо жили. Офицеры все бывали у нас, я то маленькая была, играла больше. Очень я зиму любила и снег. Снега у нас много насыпало и рано. Казань ведь на севере, правда? Нам гору делали, высокую такую и крутую. Я с утра каталась, или снегом кидалась. Весело. У меня мальчик был знакомый, Володя, фельдфебеля сын. Он меньше меня был, так я его в снеге зарюю, совсем, пищит только. В лес зимой раз пошли. Страшно так было, может быть там и волки ходят. Снег скрипит под ногами, чистый, как сахар. Я очень все грустила, как мы в Петербург переехали... Плохой это город, Дима, правда? Так, не замечаешь только.

– Вот уже красивый город... чистый.

– Да, чистый, правда... У нас все грязь стояла по улицам.

Она подняла подушку и села.

– А мы где будем жить, Дима?

– На Цейлоне!.. Где же нам еще жить?

– Вот, с тобой и не поговоришь никогда. Нельзя же все паясничать.

– А тебе что надо? – Димка спустил окно и высунулся, – сейчас станция будет большая. Живи, где хочешь.

– Надо было бы графу написать все-таки... Ты мне правду сказал?

– Еще что?

Она помолчала.

– Видишь, я хотела бы хорошо устроить все. Ужасно мы плохо жили, Дима. Надо спокойно жить, тихо... Если мальчик будет, я хочу Романом назвать... Хорошее имя.

– Ты Иваном лучше. Замеча-а-тельное имя, редкое... Чорт, забыл Володьке сказать про портупею.

– Портупею? А граф смешной, вчера растрогался. Только он ждал меня, верно, ночью, вчера... знаешь, я обещала приехать...

– Это зачем?

– Так, обещала. Его надо будет позвать к нам...

Марья Федоровна облокотилась на шаткий столик.

– Хорошо, хорошо, Дима... я все понимаю, милый, я понимаю. Только отчего же ты мне не сказал? У тебя все пустяки всегда... И ведь сейчас, – ты думаешь... я тебе верю? Дима, милый, ты не бросай меня, милый, не бросай.

Она тихо гладила его тонкие пальцы.

Поезд свистел и гремел, переходя на другие рельсы. В окна глядели и убегали большие изогнутые фонари.

Димка взял со стены фуражку и вышел.

– Любань, 10 минут.

В вагон вскочили носильщики, ища выходящих пассажиров. Пронесли коричневый чемодан в последнее купэ.

Марья Федоровна смотрела в окно. Потом она встала и, не одеваясь, пошла к дверям.

Попадья приподняла голову.

– Вы выйдете, барышня?.. Тут молоко есть, вероятно. Купите, будьте добры, бутылочку... для ребенка-то. Я сейчас деньги...

У вагона стоял с сигареткой Димка. Бегали лакеи с подносами, и газетчик крикливо предлагал пестрые пыльные свои книги.

– Пойдем походить.

Вышли из-под навеса на открытые узкие мостки.

Здесь было тише. Тяжело пыхтел паровоз и сыпал искры.

За темным садом стелились низкие поля и кое-где желтели огоньки. Далеко, над тихим лесом, багровой узкой полосой стояла заря.

– Тут на тройке хорошо бы... с бубенцами.

Глухо донесся второй звонок.

– Пойдем... дай мне руку, Дима.

Димка катал комок чистого снега.

– Брось, надоел уже.

Она засмеялась.

– Знаешь, если мы женимся... надо будет лошадей завести.

Димка свистнул.

– Сейчас третий... иди. Еще лошадей...

– А что?

– И пешком хороша... Вот у Одуванчика лошади!

Ураган!

Димка размахнулся и бросил в сад снежный комок.

Потом они нашли свое, полузавешенное уже, окно.

Димка взялся за железные ручки и, не оборачиваясь, вспрыгнул в вагон. Поезд качнулся и застонал. Мария Федоровна не двигаясь, стояла на платформе. Вдруг она быстро вскинула руки и, шатаясь, сошла с мостков.

На платформе закричали. Пронзительно и тревожно засвистел кондукторов. Уже сквозь толпу пробивался в красной фуражке начальник станции.

– Упала, где? Бросилась?

– Перерезало, должно...

– Жизнь наша-то!

Поезд тяжело стал. Димка соскочил с площадки и наклонился над черными, блестящими под фонарем, рельсами.

9.

Софья Павловна после своего неудачного ночного визита к Драницыным, стала совсем робкой. Она испугалась своей решимости, скандала происшедшего и возможности суда.

Ведь улика была, – револьвер, ее могли бы и засудить. Только когда прошло несколько дней и ничего не менялось, не явился околоточный за ней, не рассказали ничего в газетах, в отделе происшествий, – графиня Барг слегка успокоилась. А в эти «несколько дней» случилось то, что сделало ненужным уже ее попытки и гнев. Умерла Марья Федоровна.

Теперь графиня не знала только, как ей возобновить отношения с мужем. Он все время молчал и почти не выходил из своего кабинета.

Софья Павловна чувствовала, все-таки, себя виноватой перед ним, – теперь, когда граф уже ничего у нее не просил.

Сегодня Андрей Викторович с утра ушел куда-то и вернулся только после завтрака. Он затворился в кабинете.

Графиня решила, что надо, наконец, выяснить положение. Она посмотрела в зеркало и, придав лицу своему грустное, однако и не слишком озабоченное, выражение, тихо тронула медную ручку двери.

– Можно?

В кабинете было полутемно. Спущенные легкие занавеси в лиловых складках задержали свет. Андрей Викторович курил у письменного стола, слегка отодвинув кресло.

– Я хочу сказать тебе... у тебя тут офицер какой-то был.

Андрей Викторович казался спокойным.

– Кто?

Он сильно изменился в эти дни. Графиня почти с нежностью смотрела на слепые глаза и узкую, чуть серебриющуюся бородку. Неужели и виски уже седеют, – или это свет так ложится?

– Ты бы проветрил комнату. Здесь так жарко...

– Какой офицер?

– Я не знаю. Я вышла к нему... он сказал, что хотел тебя видеть... молодой совсем. Это может быть от дяди Миши?

Андрей Викторович встал.

– Оставьте меня. Оставьте меня все в покое.

– Господи, я же ничего... Даже войти нельзя.

Она подошла к окну и поправила стул. Потом подняла занавес. Андрей Викторович скучая, следил за ее топорливими и неровными движениями. Прыгают руки, будто подушки, – даже кольца врезались.

– Знаешь, нам трудно будет все-таки... жить вместе.

– Как хочешь... Конечно...

Тихо опять всплывала обида, – не прежняя, с револьвером, но тревожная и жалостливая.

– Я, может быть, виновата перед тобой, Андрюша, но ведь... и ты. Впрочем, теперь я понимаю. Но согласишься...

Андрей Викторович развел руками.

– Я соглашаюсь.

Графиня с недоумением посмотрела на него.

– Знаешь, Соня... я все-таки хочу жить. Ты понимаешь, сначала я думал, что не надо. Нет, надо. Так как же нам?

Он помолчал.

– Впрочем, мне все равно. И мне тоже «как хочешь». Но, понимаешь, мне... очень жаль, что это так.

Софья Павловна не любила томно-печальных разговоров. Конечно, в первые года супружества приходилось их поддерживать, для мужа, но и тогда кончалось головной болью и укусами полотенцами.

– Увидим, со временем. Только я тебе советую, ты не оставайся один... Ты ведь не привык. Это всегда плохо отражается.

Граф ходил от окна к стене.

– Нет, я сейчас не могу. Ты бы лучше тоже оставила меня... «Увидим, со временем». И вот, я тебя попрошу... скажи, чтобы прапорщика этого, что сегодня был... молодого... его зовут Катенев, чтобы его не принимали.

Он подошел к жене и улыбнулся.

– Ты, понимаешь, Соня, что нам нужны мосты... только, когда есть... берега.

Софья Павловна вышла из кабинета довольная.

Граф почти такой, как был раньше, – рассеянный и даже нежный. Все наладится. Самое лучшее, это последние слова его, берега какие-то.

Если уже заговорил он, затуманил, путаясь и улыбаясь, значит, все не так еще страшно.

Андрей Викторович опять сел к столу. Он открыл ящик. Женский портрет в лиловой бархатной раме еще лежал над бумагами. Граф взял его и поставил перед собой. Потом он достал кожаную тонкую тетрадь и задумался.

«Вот и сегодня пишу. Милая, знаете ли вы, что все время я жду этих бесед с вами. А где вы? Услышите ли? Вы должны знать, как я вас люблю. Ужасно то, что мы ко всему привыкаем, и теперь мне не странна уже и не поразительна ваша смерть. Даже не возможна мысль о времени, когда я видел вас. Милая, как мне больно. Но, значит, на «другое» меня не хватает. Даже и на такой «подвиг».

Будет жизнь, – дождь, встречи, газеты, вечера, но в глубине всего я вас не забуду.

Если бы я думал еще о себе, мне тоже плакать бы надо, – опять домой, в болотце, поплавал и довольно. *Assez!* Нет, это все равно. Знаете, смерть страшна только в обстановке. Эти веночки и дьячок гнусавый. А внутренне она умилительна или скучна. А о любви и думать грустно. Не выйти ей никогда живой из лапок смерти. Это – только надежды, пасхальные «белые платица, из которых скоро вырастают», в заутреню.

Только кажется, я уже «живу». Простите меня, милая. Неужели вы ни разу не вспомнили обо мне, уходя от меня? А Димку, – Димку ведь помнили».

Жизель Рассказ

Еще тусклее казалась позолота, еще бледнее был бархат лож от дымно-синего света за рампой. В зале было полутемно. Пахло пылью и духами. Изредка со сцены тянуло сыростью и холодом.

Измествьев пристально, не мигая, смотрел на полинялые декорации и на танцовщицу, которая как белое видение, с усталой, застывшей на лице улыбкой летала по сцене. Ее подхватывал и высоко поднимал на руках юноша, одетый средневековым принцем. На сцене было изображено кладбище. Танцовщица была тенью, вышедшей из могилы на свидание к жениху.

Тень исчезла. Над безутешным принцем опустился занавес и зрители стали по тесным рядам пробираться к выходу, переговариваясь, отыскивая знакомых, на ходу аплодируя. Измествьева кто-то тронул веером.

Он обернулся. Это была Елена Дмитриевна Ольшевская, его невеста. Она сказала ему, улыбаясь и кутаясь в пушистый белый мех.

– Вы ведь к нам чай пить?

– Очень благодарен! С удовольствием.

Она ласково кивнула ему головой и, слегка подняв озябшие плечи, пошла к брату, ожидавшему ее у дверей с шубой.

Измествьев постоял еще несколько секунд, глядя на смуглую танцовщицу, низко приседавшую и все так же устало улыбающуюся. Потом он оделся и вышел на пло-

щадь. Ольшевские жили на Офицерской, в двух шагах от театра, и надо было только перейти покрытую шумной, расходящейся толпой и зазывающими извозчиками площадь.

За чаем говорили о балете. Елена Дмитриевна раскраснелась и была оживлена.

– Очень хорошо! Только больше я на «Жизель» не пойду. В театре все должно кончаться благополучно. И без того в жизни довольно грусти...

Она умолкла и отвернулась.

Ее брат звякнул под столом шпорами и, ломая кусочек сыра, рассеянно ответил:

– Да... и эта Урванцова всегда бледна, как смерть. Будто в муке ее вываляли.

– Что ты, она такая прелесть!

– Ну уж и прелесть... Одни кости да кожа! Вот Пальчинская – прелесть...

У стариков Ольшевских были гости. В соседней комнате звенели стаканами и громко смеялись. Шурша шелковым платьем и внося с собой запах сигаретного дыма, вошла Раиса Павловна.

– Володя, там не хватает четвертого, Проскурнин уезжает. Ты ведь в бридж играешь?

Офицер шутливо поморщился.

– Играю, но всегда проигрываю.

– Ничего, на папин счет... А, Юрий Николаевич! Простите, я с вами не поздоровалась. Как живете? Вы так молчаливы, что вас и не заметишь.

Когда она ушла, Елена Дмитриевна с чуть заметным раздражением сказала:

– Вы действительно сегодня все время молчите... Что с вами?

Измесьев слегка побледнел и улыбнулся.

– Нет, я думаю о том, отчего этого не бывает в жизни... и никогда не будет.

– Что?

– Вот, как в этом балете... как в «Жизели». Если бы знать, что после смерти можно будет явиться на землю и увидеть тех, кого любишь!

– А кто знает, может быть и можно... Ничего нельзя знать.

– Нет, это все выдумки... К сожалению, Жизель ко мне никогда не придет.

Елена Дмитриевна подавила зевок.

– Говорят, что если кому явится тень, тот сам скоро умрет... И еще дядя Леонид говорит, что все зависит от силы желания.

– Я очень сильно хочу этого.

Она покосилась на него.

– Что с вами сегодня?

– Нет, вы меня не поняли. Я не умереть хочу, а увидеть кого-нибудь... оттуда. Если кого-нибудь любишь...

Елена Дмитриевна перебила его.

– Знаете, бросим эти разговоры. Во-первых, вы мне всегда говорили, что никого не любили. А во-вторых... во-вторых, я как-нибудь надену маску, обернусь простыней и приду вас в полночь пугать. Пойдем к «большим», хотите?

– Нет, мне пора.

Елена Дмитриевна не стала его удерживать. Ей с каждым днем делалось все скучней бывать наедине с Измествьевым. Она не любила его и не знала о чем с ним говорить. Поэтому, она была довольна, что осталась одна и что можно будет рано лечь спать. Ей хотелось завтра утром пойти на каток и она знала, как приятно ощущать свежесть в теле после долгого и крепкого сна.

Измествьев жил на Петербургской стороне, недалеко от мечети. Была тихая темная ночь. С моря дул мягкий ветер, крутя около фонарей легкий, еще не улегшийся снег. Снегом слепило глаза. Измествьев вышел на набережную и решил дойти до дому пешком. Он был встревожен и грустен. Он видел, что не ладятся его дела с невестой и не знал, как быть. Предчувствие каких-то бед владело им.

Набережная была пуста. На той стороне Невы светились окна и вдалеке видны были очертания крепости. Небо казалось совершенно черным. Слышались далекие голоса и где-то, будто придушенная коврами и портъерами звенела страстная, томящая и нежная музыка, то умолкая, то вновь доносясь с удвоенной силой. Изредка какой-нибудь швейцар безнадежно кричал:

– Изво-о-о-щик!

Измествьев шел, задумавшись и слегка опустив голову. Дойдя до Зимнего Дворца, он поднял воротник и спрятал озябшие руки в карманы. Становилось холодно.

С крыш сметало мелкий и колкий снег. Измestьев пошел быстрее.

Вдруг кто-то коснулся его плеч. Он дрогнул и полукрыл глаза. Ему казалось, что около него клубится легкое снежное облачко и обдает его холодом. Ему было страшно и хотелось громко вскрикнуть. Но в глубокой тишине он услышал слабый и вкрадчивый голос:

– Остановитесь, друг мой!..

Измestьев резко обернулся. В первое мгновение он подумал, что перед ним стоит решившая напугать его Елена Дмитриевна. Но в дрожащем свете фонаря он разглядел незнакомую, худую и очень бледную женщину. Она была одета в белое балетное платье и ее открытые плечи и руки были запорошены снегом. Большие глаза смотрели ласково и испуганно.

Измestьев молчал. Изумление пересилило в нем страх. Женщина улыбнулась и сказала:

– Вы не узнаете меня?

– Нет...

– Ах, как я здесь давно не была, – она огляделась вокруг и помолчала, – лет двенадцать, как умерла... Помните Дашу... ягоды продавала вам, в Петергофе?.. Помните, барин, Нижний сад, музыку по воскресениям, оранжевые закаты над морем... скамейку у бокового фонтана, вечером, в среду, 16-го июля?

Измestьев уронил перчатку в снег и беспомощно провел рукой по холодному лбу.

– Да... что-то помню... кажется, помню... Это вы?

– Я, я... Какая у вас память плохая. Мне даже обидно. Я ведь вас любила. А теперь меня зовут... Жизель, это для вас. Вам ведь это имя очень нравится.

Измestьев молчал.

– Я ведь и в эти юбочки, как в театре, оделась, чтобы лучше понравиться вам... Я ведь знаю, что вы сегодня барышне вашей говорили.

Она вдруг тихо засмеялась и еле касаясь земли, побежала вперед по снегу.

– Барин, догоните меня!..

Пробежала несколько шагов и прислонившись к фонарю, ждала Измestьева.

– Устала... А вам ведь бедному домой-то далеко?..

Измestьев взял ее за руку. Рука была легкая и прозрачная.

– Жизель... я все-таки не понимаю, я, верно, сплю...

Она усмехнулась и порывисто вырвала руку.

– Ничуть не спите, все в действительности. Что вы такой задумчивый? Не рады видеть меня разве? А ведь сами хотели. Давайте еще побегаем, холодно что-то...

Она перебежала на другую сторону набережной и вдруг легко вскочив на гранит, спрыгнула в снег, на реку.

Измestьев побежал за ней и перегнулся через гранит.

– Идите сюда, – звонко крикнула Жизель.

Измestьев, как в забытьи, стал на гранит и хотел спрыгнуть, но в то же мгновение почувствовал, что кто-то держит его в воздухе и тихо, то падая, то взлетая, несет через реку. Жизель прильнула к нему и близко заглянула в глаза:

– Хорошо вам, дружок?

– Да.

– Хотите домой?

Измestьев с недоумением услышал слово «домой». Он хотел сказать что-то необычное и восторженное. Страх прошел. Ему казался ни с чем не сравнимым наслаждением этот полет над застывшей белой рекой. Ему казалась обаятельной красавицей легкая, почти бесплотная Жизель и он с удивлением смотрел на ее худые руки и слегка развевающиеся по ветру черные волосы. Но коротко и рассеянно он ответил:

– Нет, зачем домой? Еще не поздно.

Жизель усмехнулась и по лицу ее пробежала дрожь удовольствия.

– Тогда полетим далеко, хотите?

Она обвила руками его шею и тесно прижалась к нему.

– Хотите?

Они вдруг высоко взвились над городом. Было совсем темно. Огни Петербурга исчезли. Пахло водой и туманом. Иногда встречались облака. Иногда вспыхивали бесчисленные белые и синие звезды.

Измestьева охватило чувство безразличия, дремоты и блаженства. Ему хотелось целую вечность так лететь,

все быстрее, быстрее и все дальше. Жизель судорожно прижималась к нему и гладила его волосы.

Она шептала:

– Милый, милый... Все будет хорошо. Мы будем счастливы, мы никогда не расстанемся... Только не покидай меня. Обещай мне не покидать меня... Я унесу тебя из этого холода, из тьмы... Милый, милый!..

Они неслись на огромной высоте, с головокружительной быстротой. Внизу мелькали освещенные города, темнели хребты гор. Иногда доносилось гудение ветра в лесах. Потом снова мелькали города. Вдруг вдалеке что-то забелело, широкой ослепительной полосой. Жизель, как птица, скользнула вниз и медленно понесла Измествьева над незнакомыми шумными широкими и сияющими улицам. Они летели так низко, что слышали гудки автомобилей и голоса.

– Ты знаешь, где мы?

– Нет.

– Это Париж!.. хочешь туда?

Она еще теснее сжала его и с тревогой смотрела в его глаза. Измествьеву все было безразлично. Ему хотелось только лететь и слушать Жизель. Он тихо, еле шевеля губами, проговорил:

– Нет, не хочу. Мимо. Все равно.

Жизель спокойно и с глубокой нежностью ответила:

– Милый, – и медленно поцеловала его.

Они опять взвились вверх и опять неслись в бесконечном и пустом небе. Вокруг их была полная тишина. Воздух становился все легче и разреженней. Но дышать им казалось сладко. Даже резкий холод был незаметен. Измествьев ни о чем не думал и смотрел на звезды, к которым неся.

Так прошло несколько часов. Жизель молчала. Наконец она еле слышно проговорила:

– Нет, не хочу. Мимо. Все равно.

– Оглянись!

Высоко в небе, как большая луна, висел плоский, широкий, светящийся желтоватым светом круг. Измествьев с усилием стал вглядываться и узнал в туманных пятнах его извилистые очертанья Европы и подверженную к ней грузную, тяжелую Африку. Он слабо беззвучно вскрикнул:

– А!

– Это земля... далеко... на-всег-гда...

Измесьев еще раз вскрикнул. Он видел, что лицо его спутницы становилось все бледнее, светлей и прозрачнее. Впереди была пустота. Ему смутно, как сквозь сон, вспомнилось: когда-то весной, в сырую пронзительно-холодную ночь, он стоял на берегу Атлантического океана, пахло дождем и жасмином и перед ним тянулось серо-черное ровное, беспредельное, грозное пространство, такое же, как теперь, и так же вдалеке вспыхивали и гасли какие-то огни.

Это была его последняя мысль. Потом все померкло.

Окоченевший мальчик

Был ясный морозный вечер. Звезды сияли. Голубоватый снег хрустел под ногами редких запоздавших прохожих. Улица уже опустела. Закрывались роскошные магазины, складывались скромные ларьки, каждый спешил к себе, чтобы дома в семье, у горячей теплыми желтыми огоньками елки встретить праздник.

У бедного мальчика не было дома. У него не было елки. Ему было холодно. С утра он бродил по чужому, шумному городу, заглядываясь на игрушки и сладости. Изнемогая от усталости, он остановился теперь у какого-то богатого особняка. В окнах был яркий свет. Нарядные, веселые дети крутились вокруг огромной елки. Доносились звуки музыки...

Бедный мальчик вздохнул и опустил на снег. Он не мог больше стоять. Мама, мама, где ты теперь? Вернись! У нас тоже будет елка, у нас тоже будет музыка! Ты видишь своего бедного, маленького Ваню? Мама!

Мальчику стало тепло. Он улыбнулся.

.....
Ну, конечно – читатель морщится, он ничего не понимает. Что за чепуха: Париж, тысяча девятьсот тридцатый год, и вот снова все тот же замерзающий мальчик! Теперь люди перелетают океаны и собираются лететь на луну, теперь пьют коктейли и слушают песенки Мориса Шевалье, теперь каждые полчаса рождается что-нибудь новое и в следующие полчаса выходит из моды, послу-

шайте, теперь – невозможен больше замерзающий мальчик. Редактор тоже говорит: «Напишите что-нибудь свежее, новое, что-нибудь такое острое, знаете...»

Я сел писать. Но от аэропланов и коктейлей, от Линдберга и Шевалье, от ритмов современности и темпов будущего, я невольно вернулся в старую русскую глушь, к мальчику, окоченевшему на снегу. Читатель! Зачем себя обманывать? Не хочется ли и вам к нему вернуться? Если бы с годами и веками изменялось человеческое сердце, я бы не возражал: со всеми старыми сказками окончено. Но ничего внутри человека не изменилось. В новых словах все тот же смысл. Круг замыкается и конец незаметно переходит в начало. Сейчас мы дожили до того, что слово «грезы», – которое ни один поэт не решился бы произнести еще лет десять тому назад, – стало самым свежим словом, самым «острым» даже. Может быть еще не настала пора воскрешать замерзшего мальчика... Но если к Рождеству вам по-прежнему хочется прочесть что-нибудь грустное и наивное, светлое и жалобное, тревожное и успокаивающее, то зачем же все это перелицовывать и пытаться на какой-то новый лад рассказывать в сущности то же самое? Новое? Оставьте. Во-первых, никакой новизны не будет, если вместо польки и кадрили дети за окном примутся плясать фокстрот, и негр с саксофоном заменит тетушку Маню за пианино. Никакой! Во-вторых, никто новизны не хочет...

Это странное, упорное заблуждение – будто люди стремятся к новизне. Наоборот, люди любят повторения. Они любят узнавать то, что уже знают, их мозг любит дремоту и не хочет, чтобы ее нарушали. Им иногда бывает неловко в этом признаться. Они для виду ищут каких-нибудь «ритмов современности», чтобы не ударить лицом в грязь перед Петром Ивановичем или Анной Петровной, и с умилением слушают, смотрят и читают то, чего ни слушать, ни смотреть, ни читать не хотят, – а в душе у них тоска о привычном, о знакомом, о старом... Новое не лучше старого, не хуже его. Но оно требует усилия. А усилия человек боится. Что скрывать, ему нужен «сон золотой». Его душа устала, она хочет спать. Я не говорю, что это хорошо, я говорю только, что это так.

Раз в год, под Рождество, в вечер «святых грез», – как написано где-то у Короленко, – будем же откровенны. Скажем душе своей:

– Dors, dors, mon enfant!

Все проходит. Все возвращается. Все изменчиво. Все неизменно. Dors, mon enfant! Ни войны, ни аэропланов, ни Мориса Шевалье, ни негров, ни революций, ни саксофона, ни коктейлей, ни звуковых волн, ни биржевых крахов. Вспомним старый сон, печальный и очаровательный.

Был поздний вечер. Мороз становился все крепче. В темном небе сверкали миллионы звезд. Бедному мальчику было холодно.

Вечер у Анненского Отрывок

В Царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал и таинственнее, чем днем, была близость дворца: недоброе, неблагополучное что-то происходило в нем – или еще только готовилось – и город не обманывался, оберегая, пока было можно, свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, по-видимому еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной, механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, – или понимая, что именно этим он сразу выдаст им «диплом равенства», – Анненский протянул нам руку.

Он уже не был молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза или голос. Мне запомнилось гладкие, тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи.

«День был ранний и молочно-парный. Скоро в путь...»

Гости считали, что надо что-то сказать, и не находили нужных слов. Кроме того, каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно шурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, – как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

– Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи?

Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся.

– Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

– Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письма.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он уже был с нами.

– Я никогда об этом не думал.

– Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

– А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

– К людям, конечно, – быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

– Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна? – вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывавшей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

– Не знаю.

Анненский покачал головой.

– Да, да... «есть мудрость в молчании», как говорят. Но лучше ей быть в слове. И она будет.

Разговор оборвался.

– Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, – с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт.

Литературная мастерская

Два молодых беллетриста, один юный поэт и один начинающий критик задумали совместно написать роман... Это не подражание крыловскому квартету и не фантазия: это действительно происходило на днях в Париже. Существуют же «литературные мастерские» в советской России, – что мешает им возникнуть и здесь? Итак, несколько молодых людей решили совместно написать роман. Цель у них была двойная: с одной стороны, им очень хотелось обогатиться, с другой – страстно хотелось прославиться.

– Сейчас публика жаждет хорошего романа, – сказал один из беллетристов, – издатели мечтают о хорошем романе. Но, понимаете ли, хорошем, увлекательном по содержанию, блестящем по форме.

– Я бы выразился... ударном романе, – задумчиво заметил критик.

– Ну, дорогой, вы видно начитались советских журналов! Наша публика прежде всего требует, чтобы никаких таких словечек и в помине не было, и чтобы ять с твердым знаком стояли на своих местах. Это программа минимум. Еще – чтобы роман был без комсомольцев и колхозов. Надо что-нибудь нежное, романтическое... лунный вечер, она, невинная девушка, он, влюбленный юноша. Надо что-нибудь оригинальное. Начать лучше всего с лунного вечера.

Поспорили, потолковали, согласились, что необходимо весенний лунный вечер. К следующему собранию было подготовлено несколько вариантов:

«В этот вечер я долго сидел у раскрытого окна, и вместе с опьяняющим ароматом расцветающих роз неслись ко мне из притихшего, будто обвороженого сада, трели и цоканье соловья, певшего как тысячу лет тому назад все ту же вечную песнь любви. Боже, как трепетало мое сердце, преисполненное тем же невыразимым, беспричинным и благодарным блаженством, которым объят был и этот сад...»

– Довольно, довольно, – остановили чтеца. – Это ведь Бунин.

– И притом это плохой Бунин. Бунин пишет несравненно лучше.

– Да, конечно, Бунин пишет лучше. Это, собственно говоря, не Бунин, а... ну, все равно, кто это. Но дело в том, что все решат, что мы подражаем Бунину. У Бунина на соловья монополия есть.

Дальше, другой вариант!

«Если иногда, в те отдаленные, далеко отодвинутые года, когда я еще был ребенком, весна и луна производили на меня всегда впечатление, которое я тогда, будучи еще лишен изошрившейся впоследствии восприимчивости, не способен был отчетливо понять, то теперь, когда я узнал и понял то, что она иногда, как кажется мне, в себе заключает то, что именно в такой лунный вечер представляется мне как-то волшебным, двойственным и в то же самое время сравнительно отчетливо отраженным, и даже может быть запечатленным с той силой, которую я только впоследствии действительно в состоянии буду (или был) уловить, причем вид этих залитых каким-то молочным светом невысоких клумб, все же слабо волно-

вал меня, но я все же и тогда замечал, что это не природа, которую я с детства...»

– Отлично, – зажмурившись, сказал критик. – Отлично! Это как раз то, что нужно. Это продолжает линию Пруста.

Но последователь Бунина запротестовал.

– Линия Пруста? Да ведь вашего Пруста и в подлиннике почти никто не осилил, а эта смесь французского с нижегородским, – да кому она нужна? Хвалить в газетах нас, быть может, будут. Но читать – не станет никто.

– Господа, сейчас говорят о возрождении символизма. У нас есть еще такой вариант.

«И был вечер. Кто-то зажал в небе плоский, белый круг. И тоска, охватившая землю, всходила к нему. Был человек и была луна. Ничего больше в мире не было, кроме человека и луны.

Кто-то сидел у окна и думал: я владею землей, ибо я человек. И молочно-хрустально-звонкие лучи скользили по лицу сидевшего...»

– Что вы об этом думаете?

– Я думаю, что есть вещи, которые никак не возродишь.

Все варианты были отвергнуты. Тогда автор будущего романа решил спросить одного умного человека, рядового читателя, который сам никогда не написал ни строчки, – какое описание лунного весеннего вечера больше всего пришлось бы ему по сердцу? Тот помолчал и ответил:

– «Был лунный весенний вечер». Больше ничего не надо.

– Вы шутите.

– Нет, я говорю совершенно серьезно.

Рамон Ортис

Ему было двадцать девять лет. Его звали Рамон Ортис Менендес. Он был аргентинец.

Если бы существовали какие-нибудь лучи, которые позволяли бы узнать состав воздуха, не кислород и водород, а исходящие от человеческих страстей и бездомно носящиеся, бесплотные, тоскующие частицы,

вдруг меняющие наше настроение, вдруг заставляющие нас решаться на то, что еще полминуты назад казалось безумием, вызывающие вообще всякие «вдруг», если бы существовали такие лучи, интересно было бы разложить воздух игорного дома. Не нового, конечно, где еще ничего не успело задержаться. А такого, как был этот, с тяжелым и роскошным, пыльным желто-розовым штофом на окнах, с лоснящимся бархатом и дубовой резьбой кресел, которые сорок уже лет отодвигает и придвигает к столу, к людям, к катастрофам, к неожиданным удачам и прочему, прочему, аккуратно выбритый старичок, ни за чем уже не следящий, кроме часовой стрелки, избавительницы от трудов. Чем насыщен здесь воздух? За полвека что вообще впитал в себя этот розово-желтый шелк, и что окутывает здесь человека?

Рамон Ортис вошел в зал бодро, даже весело. Он уже три недели жил на юге Франции и бодрость не оставляла его здесь. После унижительных и трудных расчетов там, дома, и после сомнений о будущем, которое он плохо представлял себе, Рамон Ортис здесь мало-помалу оправился, принимая окружающую его профессионально-льстивую механическую угодливость за уважение, чувствуя, что ошибается, и все-таки наслаждаясь. Он купил себе как-то два галстука, и на вопрос приказчика, возьмет ли он их с собой или прикажет прислать, ответил сам не зная почему:

– Да, пришлите.

– И давая адрес, назвал себя бароном. Отель такой-то, барону такому-то. Потому сообразил, что может прозойти недоразумение, пробормотал что-то и положил покупку в кармане. Но то, как пожилой, полный приказчик, глядя ему в глаза, подал пакет со словами: «пожалуйста, господин барон», и затем бесшумно – торопливыми шажками побежал к двери, чтобы успеть ее открыть, и поклон в дверях – все это его восхитило. Он решил, что и впредь можно будет иногда называть себя бароном. Рамон Ортис был пустой молодой человек. Но хуже всего было то, что у него было мало денег. Оставалось еще тысяч двадцать, но надолго ли могло их хватить? И не его это были деньги. Домой вернуться нельзя, да и не к чему, надо устраиваться здесь.

Еще накануне утром Рамон Ортис решил, что это был последний день праздности. Не решил, – пожалуй, иначе. Он ходил по сияющей набережной, посвистывал, посматривал на прохожих, и думал, что надо будет сегодня же, после завтрака, сесть за стол, взять карандаш и составить план, как и к кому обратиться. Главное – не спеша обсудить все, как следует. Отцу писать не стоит, он не ответит, но дядя может все-таки дать рекомендацию в Париж, если хорошо его попросить. Рамон Ортис уже видел себя в дорожном сером пальто, с легким чемоданчиком в руке. Он выходит из автомобиля, любезно улыбается и предлагает новую, особенную мазь для чистки ремней, или другое что-нибудь. Сколько? На пробу дайте сто банок. Сто банок, ему остается по франку с банки, сто франков. Если несколько клиентов в день, все и устроено. Скучно – женщины – если бы приехала Анна в белом своем платье... Все устроится. Но надо начать сегодня же, дальше так продолжать нельзя.

Рамон Ортис бывал в казино почти каждый вечер. Он не играл, а только смотрел на игру – мысленно ставя на карты, мысленно теряя и обогащаясь. Играть ему очень хотелось, но страшновато было начать, и казалось, все на него обратят внимание, если он спросит карту. Однажды на столе недоставало пятидесяти франков. Крупье вопросительно взглянул на него: «пятьдесят франков?» Рамон Ортис схватился за бумажник, но увидев тут же, что чья то пятидесятифранковая бумажка уже легла на стол, смутился и продолжал держать руку под пиджаком на левом боку, притворяясь, что у него колет в сердце, и морщась. Сегодня Рамон Ортис решил играть – и выиграть. Немного, пятьсот франков самое большее, и затем ходить сюда каждый вечер, как на службу. Он знал в лицо нескольких игроков, которые выигрывали ежедневно, – именно так, понемногу, но постоянно и безошибочно. Это совсем не трудно, нужна только выдержка. Вчерашние расчеты не удались, хотелось после завтрака спать, писем Рамон Ортис не написал, и в сущности не имело смысла приступать к такому важному делу как раз в тот день, когда болит голова и хочется спать, лучше отложить на завтра. Утром рано встать, с ясной головой, и за дело, все окончательно обдумать и решить. Но опять минул день. Вечером Рамон Ортис во-

шел в казино, слегка дрожа, с какой-то леденящей легкостью внутри, будто потерявший вес. Отдавая пальто, он подумал, что нечетный номер на вешалке был бы хорошим знаком. Барышня улыбнулась, протягивая ему номерок, и сказала – «девятнадцать». Никогда она этого не делала прежде. Рамон Ортис не в силах был промолчать: «Ваш возраст, вероятно?» Барышня как будто не поняла его слов. Ему хотелось прыгать и петь от волнения. Он пригладил волосы и побежал наверх.

Игроков еще было немного, за главным столом оказалось свободное место. Это случилось не часто и Рамон Ортис тоже с радостью отметил это, как признак благоволения судьбы. Он тотчас же сел, зевнув, поглядел вокруг с деланно-скучающим видом и, подождав несколько секунд, дрожащей, слабой рукой достал бумажник. Крупье пристально и коротко посмотрел на него, оценивая нового игрока. Рамон Ортис забарабанил пальцами по столу и отвернулся. Его соседом был толстый, красный человек, грязновато одетый, с толстыми руками, «лавочник какой-нибудь», подумал Рамон. Он почти непрерывно что-то говорил и приговаривал, обращался к большинству игроков на ты, вскрикивал, если кто-нибудь открывал девятку, брал карты с таинственно-заговорщическим видом и не сразу смотрел на них, а медленно приподнимая от сукна, будто с трудом отклеивая их, шурился, наклонял голову, и когда видел, что ему досталось, опять прижимал карты к столу, – или быстро переворачивал, если это были восьмерка или девятка, и стучал по ней грязным ногтем, будто приглашая противника к сдаче. Ему не очень везло. Но играл он осторожно, и время от времени прятал в карман тысячный билет, аккуратно его расправив и сложив. Рамон Ортис сразу почувствовал к нему доверие и обменялся с ним двумя-тремя замечаниями.

Крупье вялым голосом объявил: «тридцать луи, шестьсот франков», – и в ответ на общее молчание пожал плечами. Лавочник протянул руку к картам и вдруг, как бы осененный счастливой мыслью, обернулся к Рамону: «половину?» Рамон Ортис кивнул головой, замирая. Лавочник открыл девятку, тотчас же отсчитал триста франков и, дружелюбно подмигнув, сунул деньги Рамону в боковой карман. Начало было удачно. Рамон

Ортис подумал: «не уйти ли?» – но остался, потому что встать было неудобно, только что сел, выиграл и встал, неудобно, – мысленно обманул он себя во второй раз и сделал рукой знак крупье, снова предлагавшему карты. Он тут же испугался этого своего движения, он успел обрадоваться, когда ему показалось, что чернобородый господин в смокинге, сидевший влево от него, достает деньги и собирается его перебить. Но господин вынул папиросу. Крупье положил карты перед Рамоном. Он схватил их, одну за другой, стараясь скрыть, что у него дрожит рука – и увидел девятку. Лавочник одобрительно замычал, Рамон Ортис, небрежно улыбаясь, наклонился к нему и сказал: «это уж всегда так, две девятки подряд.. всегда!» В полчаса он выиграл несколько тысяч. Игра велась не особенно крупная, было еще рано. Рамон Ортис радовался тому, что он за этим столом был главный игрок. Крупье обращался к нему прежде, чем к другим, выбритый старичок спросил его, не дует ли ему из открытого окна, мальчик в золотых пуговицах два раза уже проводил щеткой по сукну около его места, хотя ни пыли, ни пепла на сукне не было. Рамон Ортис дал мальчику пять франков, подозвал другого, стоявшего у дверей, дал и тому пять франков. Рамону Ортису было весело, игра занимала его, кресло было удобное, свет был приятный, люди были добрые и милые. Он дружески улыбнулся молодому англичанину, которого обыграл, и когда тот встал, растерянно шаря по карманам и ничего уже в них не находя, он едва заметно развел руками, как будто говоря: «я право не виноват; сегодня ты, а завтра я». Англичанин смотрел на Рамона холодно, не видя его.

В узком полированном ящике оставалось всего несколько карт. Рамон Ортис дал себе слово уйти, после того как эта колода кончится, – на сегодня было достаточно, более чем достаточно. Сдавать была его очередь. Не зная сколько поставить, твердо веря, что проиграть уже невозможно, он в ответ на привычно-выжидательное молчание крупье сухо сказал, – окинув взглядом стол: «сколько кто хочет, все идет». Его голос, его глаза, и то, как он вразвалку сидел, и папироска в откинутой руке – весь облик его выражал безразличие.

– Все идет, господа, – оживившись, повторил крупье.

В дверях появился худой, длинный, холеный старик с моноклем в глазу и рядом старуха, похожая на классную даму. У старика в руке была рюмка ликера, он только что пообедал. Мальчик в золотых пуговицах подбежал к нему и спросил, освободить ли ему место тотчас же, или попозже. Старик неопределенно помотал головой, и когда крупье, как будто приглашая его, опять сказал «все идет», он вытащил из кармана вместе с носовым платком и ключами несколько скомканных бумажек, отобрал три больших бледно-фиолетовых билета и бросил их на стол. Поздно было изменять решение. Если бы даже Рамон Ортис заранее знал, что проиграет, он все равно сдал бы карты. Все смотрели на него. Невозможно было отказаться от своего слова, лучше проиграть. Старик медленно взял карты, усмехнулся, показал их жене и проговорил: «еще одну». У Рамона было шесть очков. Он вытянул туза, отбросил его к противнику и, не сдержавшись, громко крикнул «шесть!» – и даже постучал пальцем по столу, «как лавочник», подумав тут же. Старик опять усмехнулся, опять показал карты жене – и открыл семь. Он прикупил к шестерке, он побаловался и выиграл. За столом раздались подобострастные восклицания, Рамон Ортис вскочил, будто собираясь убежать. Крупье поднял лопатку и вежливо напомнил ему, что он должен три тысячи, – и еще несколько сот франков за мелкие ставки. Рамон Ортис покраснел, извинился и, уже не пытаясь совладать с руками, принялся отсчитывать деньги.

Три тысячи, чуть ли не весь выигрыш. Но конечно, если бы не этот дикий случай, все было бы иначе. А разве не могла у него быть восьмерка или девятка? Могла. И могло оказаться, что следующая карта не туз, а четверка, был бы этому старому олуху отличный урок. И теперь бы он шел по улице довольный и спокойный. Надо отработать, постепенно, медленно, не увлекаясь, в особенности – не увлекаясь. Выигрыш еще остается, надо пересчитать деньги. Крупье тасовал карты, Рамон Ортис вынул бумажник и стал перебирать пачку тысячных билетов. Крупье быстро взглянул на него, опустил глаза к картам, и снова взглянул. Не было жалости в его глазах, было только какое-то усталое, чуть-чуть насмешливое, сухое, равнодушное высокомерие – «считай, считай!» –

которое вдалеке, иссякая и теряясь, могло бы соприкоснуться с жалостью... Мимо.

Рамон Ортис проиграл, конечно. Проиграл все, что у него было. Не стоит об этом подробно и картинно рассказывать, тем более, что всякий уже догадывается, чем этот вечер кончился: история банальная. Он сначала хотел выиграть, и это ему не удалось, потом он думал только о том, чтобы уйти со своими деньгами, и несколько раз был у самой цели, – но опять в последнюю минуту начинал проигрывать, и уже без толку ставя деньги, путаясь в ставках, не следя за игрой, он чувствовал, что летит в пропасть. Страшно лететь в пропасть, лгуны говорят, что это сладко. Он потерял волю. Кто-то принимал за него решение, – за него отказывался от ставки, или соглашался на нее. Он был втянут в чужую, жестокую, непонятную борьбу, где только чудом мог уцелеть, – и он знал уже, что не уцелеет, но не в силах был освободиться. Один раз мелькнуло спасение, и Рамон Ортис пренебрег им. Он пересчитывал оставшиеся деньги, и разноцветные бумажки вместе с белыми и красными, круглыми и квадратными жетонами грудой лежали перед ним. Сбившись в счете, он раздраженно и беспомощно откинул голову. Прямо перед ним, держась за пустое кресло, стояла женщина в голубом открытом платье, рыжеватая, едва заметно увядающая, еще прелестная. Она внимательно смотрела на него и будто вдыхая какой-то слабый, исчезающий аромат, раздувала ноздри. Рамон Ортис встретился с ней глазами и секунд пять-шесть, болезненно сдвинув брови, не мог от этого голубого призрака оторваться, – плохо понимая ослабевшим рассудком, кто это, всем существом своим уже привычно волнуясь, и смутно сожалея, что волнение напрасно, что все ускользает из рук, а можно было бы сейчас быть не здесь, а войти в комнату с красными обоями в широкую ярко-оранжевую полосу и с огромной кроватью, оглядеться, обернуться к гарсону, торопливо и деловито спросить «сколько?»... Женщина сдержанно улыбнулась и перевела глаза на выходную дверь. Послышался скрипучий голос крупье: «двадцать пять луи». Рамон Ортис жадно схватил карты с протянутой лопатки. Комната, тепло, счастье, нежность, жизнь исчезли, будто он повернул выключатель. Его рассеянность выразилась только в том,

что он вдруг опять обернулся к соседу и предложил разделить пополам ставку. Лавочник давно уже наблюдал за ним с испугом и любопытством. Он отшатнулся, молча отказываясь от предложения. Рамон Ортис открыл двух королей, прикупил валета, и со злобой отшвырнул карты через весь стол – на пол. Крупье в первый раз изменил себе: он осуждающе, с выражением обиженного и недоумевающего превосходства, покачал головой.

После не было даже и остановок. Под гору, под гору, только со случайными задержками, без остановок... Двадцать три тысячи, ведь это большие деньги – все, что было. Откуда их взять, кто даст? Но еще ведь не все проиграно, нет, еще не все проиграно, и хоть будет, будет проиграно, а все-таки сейчас еще ничего наверно сказать нельзя. И может еще положение измениться: взять карту, открыть девятку, получить двадцать три новеньких шелестящих бумажки и уехать отсюда, навсегда. Одним ударом невозможно. Надо взять карту, поставить все, сколько остается, а потом удвоить. По мелочам безнадёжно, надо сразу, расчет совершенно правильный. Отчего они пересмеиваются? Завтра обо всем подумаем, не все ли равно, – что-нибудь придумаем. Главное – расчет совершенно правильный. По мелочам это мелкий извод, надо взять карты, выиграть, дать вторую.

Рамон Ортис был бледен, подбородок его посерел, прядь волос сбилась на лоб. Судорожным решительным движением он остановил ящичек с картами, проходивший по столу. Продавался банк. Крупье с удивлением посмотрел на игрока, препятствующего исполнить этот обязательный обряд, прежде чем банк предложен будет за любую цену. Он внушительно провозгласил: «пять тысяч двести франков», – и хотел двинуть ящичек дальше. Но Рамон Ортис уже держал первую карту и другой рукой отстранил от себя к середине стола все лежащие перед ним деньги, как будто они ему уже не принадлежали. Лавочник схватил его за плечо и прошептал: «не делайте этого, вам не везет». Рамон Ортис ничего не слышал. Лавочник торопливо поставил пятьсот франков, на секунду задумался, потом прибавил еще триста. За соседним столом был перерыв, игроки были свободны, деньги посыпались со всех сторон. «Сделано!» повелительно воскликнул крупье, – прищурился, перевер-

нул лопаткой несколько билетов, и повторил: «сделано». Рамон Ортис вынул папиросу, постучал ею о крышку портсигара, повертел головой, будто ему тесен был воротник, твердой рукой зажег спичку. Его глаза блестели, воля вернулась к нему. «Сделано?» переспросил он в тишине, затянулся еще раз, – и наконец, быстро сдал карты: две в пространство, далеко, неизвестно кому, две себе... Пауза. Еще одну туда, еще одну себе. Вечность, вечность – все остановилось.

Семь и пять. Там, на конце стола, неизвестно у кого – семь. У Рамона Ортиса – пять. Конец. Расчет, деньги, скорей... Не хватает шестидесяти пяти франков. Крупье холодно ждет. Рамон Ортис выворачивает бумажник, ищет в жилетном кармане. И вот, любезный, приятной внешности господин, державший в руках карты, участливо уверяет, что это не имеет никакого значения, что он Рамона Ортиса хорошо знает, что он с большим удовольствием подождет до завтра.

Рамон Ортис встал, опрокинув кресло. Мальчик в золотых пуговицах, не обращая на него внимания, предложил его место другому игроку. Женщина в голубом платье стояла в стороне и пристально смотрела на красивого господина, не настаивавшего на уплате шестидесяти пяти франков. На часах было двадцать минут четвертого.

Он поспешно спустился, бросил номерок на прилавок, схватил пальто, будто боясь опоздать куда-то. Однако спешить ему было некуда, оставалась одна только потребность – идти, идти, идти, и хорошо бы, если бы дул в лицо ветер, резкий, с дождем. Но дождя не было. Темны уже были почти все окна, оставались только редкие высокие лунно-матовые фонари, вдалеке слышалась слабая музыка. Налево было море. О, море! Больше ничего не могу сказать. О, горе! будто в гимне каком-то, – и молчание. Как могло это случиться? Все в конце концов ясно станет, если идти, идти, быстро и далеко, сердца нет, ног нет, не идти, лететь. Но ведь ему должны помочь, его должны спасти. Рамон Ортис остановился. Он подумал: ему должны помочь. Иначе быть не может. Если бы сейчас войти в какой-нибудь темный подъезд, позвонить в чужую квартиру, разбудить первого попавшегося человека, взяв его за плечи, растряссти, чтобы он очнулся,

как следует, и все рассказать, все, чтобы он все понял, – человек в халате и в ночном колпаке, как на гравюрах, присядет к столу и выпишет чек на двадцать три тысячи. И потом еще благодарить будет, что его разбудили. Не может быть иначе, Бога нет, если иначе, – все равно, что из-за карт. И если пойти к какому-нибудь префекту или губернатору, он ночью велит открыть двери банка, и все сделает, нарушит закон, украдет, если объяснить ему. Надо только растолковать, что случилось, не может быть человек так груб и зол, чтобы не понять. Не может. Идут два подвыпивших матроса, и они поймут... только долго объяснять. И Рамон Ортис ужасно устал. Но его еще спасут. Все еще будет хорошо, и море шумит ласково, обещающая. О, жизнь! Если бы встретить женщину, это лучше всего, и потом заснуть, и подумать обо всем завтра, со свежей головой. Нельзя же идти без конца. Та, в голубом платье? Но туда вернуться нельзя, это ад, там не люди, и они-то уж не поймут ничего, ничего. Нельзя же идти без конца, Рамон Ортис. Город уже кончается, поля, огороды, низкие, белые домики. Он опять остановился. Боже мой, Боже мой, жизнь! Что завтра? Не о чем думать завтра, и нечего делать. Все ясно: не о чем думать.

Из-за кустов вышла женщина в черном платье на плечах. Она несла на голове корзину с овощами – в город, на рынок, продавать. Рамону Ортису было не под силу одиночество. Он к ней приблизился и сказал на своем языке: «что же мне делать?» Крестьянка боязливо посторонилась и ускорила шаг. Рамон Ортис взглянул на море. Куда же дальше идти? Назад, вперед. И эта не поняла, и другие не поймут. И ты можешь пойти сейчас куда хочешь, и позвонить, и рассказать, и растолковать, и объяснить, и тебя все-таки вытолкают из чужой спальни, и никому нет до всего этого никакого дела, каждому свое, а завтра будет новый день, и главное, будет светло, сейчас будет светло, уже розовеет небо, и все совершенно ясно, надежды нет, и это нельзя больше выдержать, к чорту, больше не могу, пальмы под нависшими тропическими грозными тучами, Анна, ангел, прощай, о, не все ли равно, теперь или потом, только поскорей, и никто уже не узнает, когда, где, никто не вспомнит: о, не все ли равно, только бы до рассвета.

Рамон Ортис вынул револьвер и застрелился.

Это все было не так, вероятно. Не знаю. Это я выдумал. Я читал сейчас французскую газету, из тех которые и любят трагические происшествия, и опасаются, как бы не испортить ими нервы читателям. В газете написано:

«Вчера утром, около моста св. Женевьевы обнаружен с огнестрельной раной в виске труп Рамона Ортиса Менендеса, аргентинского гражданина двадцати девяти лет. Причины самоубийства неизвестны. Денег на трупе не найдено. Следствие выяснило, что покойный провел последний свой вечер в игорных залах муниципального казино. Госпожа М., проживающая в деревне Ф., опознала в трупе неизвестного молодого человека, встреченного ею на рассвете в вышеуказанном месте. Аргентинец находился в состоянии сильного возбуждения и пытался с нею заговорить. Городской врач выдал разрешение на предание тела земле».

И фотография. На досках лежит человек, прямой и спокойный. Видна только откинута голова. Тяжелые веки опущены, все кончено.

Этот мертвый человек мне незнаком. Имени его я никогда прежде не слышал. Все было совсем не так, вероятно. Но мне хочется с вами поговорить, Рамон Ортис. Не знаю, отчего я подумал о вас, именно о вас, тысячу раз такое читаешь... Но мне хочется с вами поговорить. Я старый человек, мне шестьдесят восемь лет, за окном ночь и зима, в комнате моей пахнет эфиром, ноги мои покрыты каким-то одеялом, впрочем мягким и теплым, я не жалуюсь. Я вообще ни на что не жалуюсь, и знаете, я даже еще на что-то надеюсь. «И может быть, на мой закат печальный». Я шучу, вы видите, но это ничего не значит. Это оттого, что мне страшно приступить, и я не знаю, с чего начать. Идет снег за окном, почернел уголь в камине.

Ну, довольно. Пора, пора. Бьет двенадцатый час, падает голова на плаху. Пора! Я хочу поговорить с вами, Рамон Ортис. И я хочу вам сказать: вы хорошо сделали. Мне шестьдесят восемь лет, за мной след долгой жизни, и даже успехи. Как бы это сказать! Я знаю, что такое жизнь. Видите ли, если даже человек и не был счастлив, он чувствует все-таки, как другой человек может быть счастлив, – в любви, конечно. Остальное чепуха, остальное все равно, но о любви сомнений нет, и еще теперь

перед воспоминанием ее я хочу поставить свечку, и биться головой о каменный пол, вспоминая. Но это прошло, «бессмертная», а где она? Грусть, восторг, руки на плечах, где, где? Знаете, даже и воспоминание исчезает, физика торжествует. Поэтому, я не слеп теперь.

И я хочу вам сказать: вы хорошо сделали. Bravo! За мучение, за измены, за обиды, за горечь, – я говорю спокойно, все взвесив, – и не потому, что вам жизнь не удалась, кто знает, как бы вы жили, не потому, а вообще, дорогой мой. Я решаюсь сказать это, вместо того, что побаловался, мол, картишки, шалопай, пошел бы работать, пена, подонки общества. О, лицемеры! Не карты, конечно, я имею в виду, а то, что вы поняли, что никому нет дела... Это знаю и я: нет дела. И самое страшное, слушайте, что там, наверху, кажется, там с ними, а не с нами, там за них, – или безразличье, но это то же самое. Bravo! За обиды, за мучение, за трещину в жизни, за измены, всего и всех, и главное, еще раз – за горечь. Сердце мое переполнено ею и я больше не могу ее выдержать. Bravo, дон Рамон, пионер мировой справедливости!.. Я плохо рассказал о вас, я говорю не то, но вы меня теперь понимаете. Наконец, – мне вас жаль: море не вышло из берегов, никто не остановил вас, когда вынули вы револьвер, вы, человек, дитя, создание. Нечего больше возражать: я прав. Где вы теперь? Слышите ли вы меня? Где вы? Рамон Ортис, я закрываю глаза, я протягиваю вам руку, туда, в зелено-серое, в дымное, в ледяное ваше пристанище, в теневое, и исчезающее, и тающее, в жемчужно-пепельную непостижимую, в ужасную вашу обитель, куда я еще не хочу, я братски и дружески протягиваю вам руку. Слышите вы меня? Если есть свет, и если где-нибудь есть жизнь, ответьте мне, дайте мне знак. Я во имя братства, и за искупление измен, и за молнию, которая блеснула когда-то над миром, и исчезла. За вечное наше согласие, – дайте мне знак.

Ну, вот. Благодарю вас. Иначе быть не могло, не напрасно я с вами говорил. И если даже... это был только мрамор на моем ночном столике, я знаю все-таки, что коснулся холодной вашей, протянутой мне руки. Благодарю вас.

Начало повести Из забытой тетради

«Над городом стоял холодный, вялый, лимонно-желтый осенний закат, когда Мария Леопольдовна вышла из дому. До отхода поезда оставалось сорок пять минут. Она решила еще раз взглянуть...»

Впрочем, Бог с ней, с Марией Леопольдовной. Обойдемся без нее. Правду говоря, я хотел рассказать о том, что со мной в последнее время происходит, а заодно и присочинить что-нибудь, так, для поэтического украшения и действия на сердца. Но сочинять, выдумывать стыдно, да и скучно. Не я первый, не я последний внезапно это почувствовал. Рассказать я хотел о любви, ни к чему не приведшей, по моей вине оборвавшейся. Думал соединить с мыслями о своих писаниях, или, как теперь многие сами о себе выражаются, о своем «творчестве», – очевидно не улавливая в этом выражении никакого комизма. «Мое творчество»! Впрочем, теперь постоянно говорят и «создать» вместо «написать»: стихотворение создано Иваном Ивановичем тогда-то. Господь Бог создал вселенную, Иван Иванович тоже что-то создал. Ничего с этим не поделаешь: создал! Мир, может быть, и спасет красота (едва ли, едва ли), но погибнуть-то мир может от вкрадчивого, неуклонно-усиливающегося торжества... не нахожу нужного слова: торжества чего? Пошлость не совсем то. От постепенного исчезновения чувства, мешающего «созданию» стихотворений, мешающего «моему» творчеству. Как исчезло оно теперь в России, в нестерпимой тамошней печати... Писать мне все труднее и труднее. Сомнения, какие-то посторонние раздумья, перебои, остановки, особенно учащающиеся ко времени соскальзывания жизни в неизвестность, когда «скудеет в жилах кровь». Кто же этого не знал из тех, кто вообще что-нибудь знает?

А все-таки рассказать кое-что надо бы. Но прямо, по прямому проводу и в самом что ни на есть телеграфном стиле. Если бы все согласилось писать без глупой дикарской «образности», ничего не затушевывая, не гальванизируя мертвечины, не обольщаясь постылыми беллетристическими воплощениями, литературы бы не было. Но это именно то, чего я хочу. Прямой, короткий

удар, и больше не о чем говорить. Короткое объяснение, и разрешите, господа или товарищи-граждане, откланяться и пожелать всего лучшего. К чорту прежде всего две вещи, давно уже меня измучившие: лирику с приглушенными, кокетливо-завуалированными жалобами и иронию с многозначительными намеками, и да здравствует, по Стендалю, наполеоновский кодекс, – друг мой, понимаете ли вы меня? Кодекс не подведет, а «по небу полуночи» рано или поздно долетит до стены или потолка, о который и разобьет себе голову. Где вы? Где вы теперь? Помните Любань, кажется это было перед смертью вашей дочери, дождь за окном, и в суете мы даже не успели проститься. Утро как будто еще зевало, не совсем проснувшись. Где вы теперь? В сущности, вас нет, и это главное мое открытие, отчасти и побудившее меня взяться за повесть с соответствующим сюжетом: открытие, что я один. Иллюзии пора оставить.

* * *

Да, я один, и сейчас я это докажу вам. Вам, не существующей, призрачной. Всем призрачным.

Существенно для меня то, что со мной навсегда, до конца. «Аз с вами...» – помните слова эти, без которых нельзя жить? По крайней мере я не могу жить. Стол не существенен, газета с блестяще-язвительной передовой статьей не существенна, даже музыка, чудная наша музыка, общечеловеческий «патент на благородство», даже она не существенна. Долго я думал, что кто-нибудь или что-нибудь останется со мной навсегда, рука в руке, думал с лениво-успокоительным утешением, не вглядываясь, уклоняясь от внутренней проверки, радуясь обманчивой очевидности предпосылок: все потому, что вдвоем не может нигде быть страшно. Открытие же мое в том, что и одному не страшно: только к мысли этой надо привыкнуть и с ней сжиться. Я вас очень люблю, скорей дружески, чем страстно, значит по-моему самой высшей формой любви, говорю это с твердым убеждением, во всех Тристанах и Вертерах улавливая отклик. «Чиста и сильна, как смерть», писала жениху о своей любви к нему последняя, несчастная русская императрица, одной этой безбрежно-мечтательной, протестантской фразой как бы отменяя будущие сплетни. «Чиста и сильна, как смерть».

Я вас очень люблю, до сих пор, и даже иногда удивляюсь сохранению способности любить. Но мысленно представляя себе наши совместные странствования, здесь, здесь, и дальше там, если есть какое-нибудь «там», – но если нет, это ничего не меняет, ибо для реализации моего одиночества достаточно сознания, что это произошло бы, в сослагательном наклонении, если бы «там» существовала для этого возможность, – да, мысленно представляя себе наши странствования, здесь и там, я вдруг опускаю руку за ненадобностью держать ее пустой на весу, и с недоумением убеждаюсь, что рядом нет никого, и уже никого быть рядом не может. Дальше, милостивый государь, благоволите идти solo! Даже хуже... однако я, кажется, продолжаю сочинять, сам не отдавая себе в этом отчета. Что же, по-видимому, я не Тристан и не Вертер. То, как я представляю себе «там», не леденит мне душу и не охватывает ее бесплотным восторгом, нет, нисколько, но опутывает скукой. Не баня с пауками, но что-то в этом роде, безысходное и серое. Выпускаю руку, и мысленно едва-едва «туда» шагнув, никого уже не зову и ни к чему не прислушиваюсь. Точка, и всяким клейким листочкам окончательный конец, даже в метафизическом их преломлении. Там не будет солнца. Это мне хочется повторить: там не будет солнца, не будет солнца, – друг мой, понимаете ли вы меня? Если понимаете, будьте другом настоящим, не пытайтесь возражать, ободрять и лгать.

* * *

Сегодня утром я сидел на скамейке с газетой в руках, на еще тихой в этот час улице. Небо бледноватое, северно-щемящее и вопреки предшествующим размышлениям, как будто даже с надеждой. О чем, на что? Баланс мой был бы безупречно точен, если бы не небо. Небо портит незадачливому бухгалтеру кровь.

Почему-то я вспомнил Рим. Было это довольно давно, но до сих пор я не могу забыть того, что видел. Римский форум, летом, весь в пыли, с жалкой травкой и щепнем под ногами, с редкими туристами, по обязанности забредшими осматривать кладбище, где осматривать уже нечего. По обязанности я бродил тоже, и усталый, даже чуть-чуть раздосадованный, под вечер остано-

вился в правом углу, далеко от входа, у самого подножия Капитолия. Остановился и поднял глаза. На фоне темно-синего неба, – мне почудилось, что в безмолвный укор мне и моей рассеянности, – высился обломок какого-то храма, кажется, в честь Кастора и Поллукса, не знаю точно, всегда был в этих областях невеждой. Эти три или четыре колонны, соединенные наверху полубрушившейся перекладиной, эта классически-синяя даль, сквозившая за ними... нет, я не забуду этого никогда. Полчаса стоял я молча, не в силах двинуться. Кто-то первый нашел же эти несравненные формы, пусть не в Риме, а в Греции, но здесь кто-то повторил, восстановил их еще, как что-то свое? В согласии с нетленным небом, с землей, с солнцем, без бегства от них «туда»? Обломок, сиротливо возвышавшийся среди окружавшего его разорения, под наглый гул голосов и моторов с соседней улицы, казался еще красноречивее, еще прекраснее, чем был, вероятно, самый храм.

А потом, много позже, я так же стоял перед собором в Шартре, с его «непогрешимыми» – по слову Пеги – стрелами. Но в Шартре все было совсем по-другому.

Блажен, кто верует: блажен, кто выбрал (блажен, кто понял, что выбор сделать надо, а не прикрывает свое безразличие утверждением, что мне, видите ли, «одинаково дорого и то, и другое»).

Тут надо бы в будущей повести добавить несколько страниц. Чтобы объяснить, связать начало с отступлением, которое для меня скорей представляет собой продолжение. Но боюсь писать, потому что боюсь дописаться.

* * *

«Мария Леопольдовна вышла из дому...»

Нет ничего парадоксального в предположении, что литература придумана для того, чтобы развлечь и отвлечь. Отвлечь. Причем придумал ее, вероятно, заведомый плут, впрочем лично невинного, наивно-педагогического, горьковского типа, с чистосердечным усердием нашептывающий «горячо, горячо!» как раз тогда, когда ни до чего доискаться уже невозможно. И потом, по исполнению общественного долга, благоухающий сединой и передающий младшим современникам свой идеологический факел.

Читатель, ты мне говоришь,
Что в день моего юбилея
Ты с чашей заздравной стоишь,
Гражданским огнем пламенея.

Испей же, читатель, испей
Из этой страдальческой чаши,
Свидетельствуй, шествуй и сей
По ниве словесности нашей!

Только по этому странному благоуханию и приходится кое о чем догадываться. «Простите, не Убиган-с», как говорит где-то Фердыщенко, Лядащенко, или другой такой же персонаж. Однако Мария Леопольдовна, несколько рано вышедшая из дому, оказывается под привычным беллетристическим пером тут как тут и улыбается настолько предупредительной улыбкой, что догадку и забудешь. Пожалуй, даже отправишься на юбилей засвидетельствовать почтение и пройтись раза два-три перед газетным репортером, чтобы не забыл он о тебе упомянуть в завтрашнем отчете. «Среди присутствующих мы заметили...»

Так и тянется жизнь, тише воды.

* * *

Конечно, все это может показаться просто глупым. Какие-то открытия, гамлетизм, «рефлексия», глухая боль в левом боку, пятьдесят семь лет с хвостиком, самолюбование, излишек доверия к мимолетным своим впечатлениям и все прочее. Я, беллетрист и поэт, Николай Никифорович Лариков, выпустивший в эмиграции несколько книг, о которых, – позволю себе напомнить, – наш известный критик А. и другой, не менее известный, и при том враг и присяжный оппонент первого, критик Б., оба высказались в самом благожелательном духе, отметив и смелую, яркую образность, и новизну повествовательных приемов, и прекрасный русский язык (Б. кроме того дважды отметил «отличную, плотную бумагу и четкий шрифт») – я, Лариков, собрался писать повесть о Марии Леопольдовне, вышедшей из дому к пятичасовому пригородному поезду, сел за стол, написал три строки и остановился. Глупо делать выводы и придавать какое-то значение моему замешательству, несомненно слу-

чайному, преходящему. Надо раньше ложиться, крепче спать, без предрассветных томлений, когда вертишься с боку на бок и чорт знает что лезет в голову. Врачи недаром утверждают, что хотя снотворные и вредны, однако бессонница еще вреднее. Во всех смыслах вреднее.

Но еще несколько слов: об одиночестве в странствованиях.

Перед тем, как сказать что-нибудь, кажущееся тебе важным, уместно бывает кашлянуть или, будто внезапно задумавшись, усмехнуться: «да, вот, кстати...» Кстати: я не боюсь смерти. Много раз мысленно проверял себя и должен признать, что это так. Не боюсь и удивляюсь тем, кто боится. В Толстом это то, чего я не понимаю и даже не принимаю. «*Qui craint la mort?*» – и за яснополянским семейным столом он и Тургенев подняли руки. Никто другой не поднял.

Что же, у меня, как у них, не достаёт воображения? Или недостаточно я привязан ко всякого рода земным, здешним удовольствиям и прелестям? По совести, очень привязан, и на исходе шестого десятка привязан мучительнее, чем когда бы то ни было прежде. Однако очевидно одарен и способностью отвязаться. Не понимаю протеста и воплей, и даже решаюсь думать, что это наследственный самогипноз, а не естественное, неискоренимое чувство. Во всяком случае – не проблема. «Проблема смерти»: с какой силой, будто внезапно вскипев, отскакивают эти два слова одно от другого, как нестерпимо стилистическое их сочетание! Проблема, пожалуй, только в том, как смерть могла стать проблемой.

Не к чему говорить о природе, о подчинении ее «ритму» или о растворении в стихиях. При общем городском нашем складе ссылки на лес и море могут оказаться как раз самыми книжными, надуманными. Для меня дело проще. Страшно может быть только то, что похоже на азартную игру, с удачами и катастрофами. Или то, что исключительно. Не может быть страшно то, что суждено всем. А в особенности не может быть для меня страшно то, что случилось с теми, кого я любил или еще люблю больше себя. Скорей было бы для меня страшно уклониться от одинаковой с ними участи.

Поняли ли вы, дорогой друг мой, что Мария Леопольдовна – это вы? Не в том двоящемся, литера-

торском смысле, как «мадам Бовари это я», а совсем точно, дословно. Это ведь о вас я собрался писать, и с вами я говорю, когда отступаю в сторону. О Любани рано утром, когда вы вдруг по-детски сказали, что вам страшно, – да, помню точно, вы сказали именно «страшно», – хочется горячего кофе. А я смотрел на вашу старомодно-смешную, скомканную вуалетку над заплаканными глазами и про себя повторил строчки, будто о нас с вами и написанные: «Господи, я и не знал до чего она...» Но вы эти строчки едва ли знаете и мысленно их не докончите. Пожалуй, это и лучше. Впрочем, не имеет большого значения, прочтете ли вы когда-нибудь то, что я пишу.

Отчего все это так нелепо оборвалось? Отчего за тридцать лет вы мне ни разу не написали? Отчего только теперь я понял, что никого кроме вас в жизни и не любил? Где вы теперь? В Москве? Или...

* * *

Пройдут миллионы лет. Все здешнее, наше оледенеет и потухнет, и нигде, ни в каких планах, нигде не останется ни пылинки, ни луча, которые могли бы мы узнать, как свои. Да и узнавать было бы нечем: ни памяти, ни жалости, ни следа, ничего. И вот над какой-нибудь голубой, остывающей, еще влажной планетой пройдет первое облако, и в каких-нибудь темных пучинах потянутся одна к другой две клеточки, и откуда-то подует ветерок, и снова, как было у нас, да, да, так же, на невероятном языке, или без всякого языка, Бог весть, не знаю, как, впервые кто-нибудь произнесет первое слово, со свежестью и волнением, которые и нам до сих пор еще смутно доступны каждый день, утром, если на рассвете распахнуть окно.

Какое мне дело? Не знаю, как вам, а мне есть дело. У меня кружится голова не от моего личного бессмертия, а от мысли, что жизнь не может кончиться. Это буду не я, но это буду и я. Для моего удовлетворения, для моего неудержимого счастья на земле гораздо нужнее верить, что когда-нибудь на теплом Юпитере проквакает лягушка, чем надеяться, что я, именно я где-нибудь погляжусь в воображаемое потустороннее зеркало.

Ну, от повести моей мало что осталось. Болтовня, и при том довольно «нервическая», как сказал бы Тургенев, даже не без сходства с новейшим дневником лишнего человека. Но если бы между отрывками провели соединительные линии, должно бы получиться как в известной, когда-то распространенной игре: вдруг обрисовывается профиль маркизы в седых буклях или карта Европы.

Надо занять позицию, а с остальным можно и повременить. Боюсь только, что случайное, проталкиваясь вперед, отвлекает внимание, и у маркизы может не оказаться носа или Италия, скажем, исчезнет в море. Повесть написать необходимо, однако предварительно следовало бы растолковать, что и другое, – например этот эпизодик на римском форуме, – тоже по-своему оправдано. По широкой дороге проехать нельзя, попробуем значит пробраться по окольной, на крайность даже по соседним тропинкам.

«Мария Леопольдовна вышла из дому...» Нет, я не оставлю ее, вздор. Надо написать именно о ней, о вас. Отделю то, что набросано второпях, чертой и помечу: глава вторая. Будет во второй главе и последовательное развитие фабулы, будут и яркие метафоры, обещаю. Помилуйте, как же в наше время без метафор! Но голова изнемогает от стихов, которые тоже надо бы написать и которых не напишу я уже никогда. Да и никто не напишет. Стихи, те, что мне мерещатся, тоже вроде бы ошибки в бухгалтерском счету: откуда лишняя копейка, куда прикажете ее отнести? Пишу и почему-то повторяю: «Пошли, Господь, свою отраду тому, кто жизненной тропой, как бедный нищий мимо саду бредет по знойной мостовой». Bravo, bravo, да здравствует литература и поднимем бокал за седины ее служителей. Но, очевидно, я не случайно начал фразой о том, что Маруся – вышла из дому, именно вышла. Жизнь, вечность, небо, люди, помогите ей в пути. Она ведь тоже бредет одна.

Обо мне не беспокойтесь.

Игла на ковре

Н. Рейзини

Поверят ли мне? Едва ли, едва ли. Если и поверят, то немногие, а большинство решит, что все выдуманно, пожалуй, даже добавив «и очень плохо выдуманно», как добавлял Бунин, когда говорил о Достоевском. Убеждать я никого не стану, да и чем мог бы я кого-нибудь убедить? Все записанное здесь – правда. Выдумки нет. Может быть, найдется несколько человек, которым случалось испытывать что-нибудь схожее, в том же роде. Они поймут, поверят, узнают сразу. А другие? В отношении других я бессилён.

Началось с того, что мне пришла в голову мысль о коротком рассказе. Названия не помню, можно было бы назвать его по-разному, например: «Встречи Ивана Ивановича». Лучше бы, однако, без встреч, чтобы не было по названию ясно, что именно в них дело. Идет Иван Иванович по улице, – почему-то мне с совершенной отчетливостью представилась рю де Ренн в Париже, самый конец ее, около старого, приземистого, теперь уже разрушенного монпарнасского вокзала, – идет, значит, Иван Иванович по улице и встречается знакомого, который ему не то улыбнулся, не то подмигнул. Иван Иванович взялся было за шляпу, как вдруг вспомнил: «Да ведь на прошлой неделе я был на его похоронах. Какое сходство! Совсем покойник Б.» И, остановившись купить вечернюю газету, забыл о странном происшествии.

Дня через три происшествие повторилось. Но улыбнулся Ивану Ивановичу не покойник Б., а покойник Ш., и не на темноватой рю де Ренн, а на Елисейских Полях, в яркий солнечный день.

«Что это, в самом деле, стала мне мерещиться какая-то чепуха», сказал себе Иван Иванович, однако домой вернулся слегка смущенный. Потом встречи стали учащаться, а какой-то потусторонний ловчила и смельчак, к тому же мало Ивану Ивановичу и знакомый, – так, раз или два на публичных собраниях ему возражавший, и притом довольно запальчиво, – какой-то смельчак даже остановился, ослабил, взял Ивана Ивановича за

пуговицу пальто и сказал: «Очень, очень рад. Дискуссию нашу мы, надеюсь, продолжим».

А на другой день Ивана Ивановича нашли на его диване мертвым. Значит, по моему авторскому замыслу, он мало-помалу втягивался в иной мир, не сразу, не внезапно, как всем нам предстоит, после какой угодно болезни, а именно мало-помалу, отчего и начались соответствующие встречи.

Рассказа я так и не написал. Но мысль о нем долго не оставляла меня и даже как будто надломила что-то в моем сознании. Будто я опрометчиво проник в тайны, которые должны бы остаться скрытыми. Будто взломал какой-то замок. Иваном Ивановичем я ничуть себя не чувствовал, но и совсем таким, как прежде, стать не мог. Иногда я видел то, чего передо мной не было, в течение нескольких секунд, не дольше, однако ясно и отчетливо. Иногда вспоминал что-нибудь из моей прежней жизни, нет, не вспоминал, а возвращался в прошлое, неодолимо втянутый туда и сейчас же вытолкнутый обратно, в настоящее, в то, что меня действительно в этот момент окружало, на улице, за письменным столом, в вагоне метро. Мне стало казаться, что хотя содействовать возникновению перебросок я не в состоянии, хотя происходят они помимо моей воли, — очевидно, по каким-то неведомым мне законам, — все же я могу их продлить. Не надо уступать, надо вызвать задержку в знакомом или забытом мире, какого бы напряжения всего моего существа задержка мне ни стоила. И это увлекало меня, как опыт, с каждым днем все сильнее. Бывало, правда, и разочарование, и не раз я говорил себе, что придаю значение пустым иллюзиям. Часами я сидел в кресле, глядя в одну точку, стараясь ни о чем не думать, и большей частью вставал раздраженный своей наивностью и доверчивостью. Но природой дано человеку больше, чем он допускает. Во всяком случае позволено больше. Слово «дано» предполагает обогащение, а никаких богатств мне не открывалось. Обнаруживалась только возможность, прежде представлявшаяся мне невероятной, и притом имеющая мало общего с предсмертными встречами моего Ивана Ивановича. И случалось это не после никчемных, изнурительных сидений в кресле, а большей частью тогда, когда ничего я и не ждал.

Какие тусклые фонари, от таких я в Париже отвык. Падает легкий снежок, узкая улица светится, как сквозь кисею, полупрозрачной белесой мглой. Бассейная, я сразу ее узнал. Немного дальше, налево, Эртелев переулок, где дом Суворина и редакция «Нового времени». Дребезжит конка, которую с трудом тащат две тощих клячи. На углу Знаменской посыльный в башлыке, и мне вспомнилось одно из любимых моих стихотворений, именно о посыльном, «что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый». Но вспоминая, узнавая, я ничуть ничему не удивлялся. Я снова был там, где провел детство и молодость, где ночами бродил под таким же снежком, какой падает сейчас, бродил и бредил стихами, и о посыльном в башлыке, и в особенности Блоком. «В блеске зимней ночи тающая...» Теперь я, может быть, вспоминаю неверно, ошибаюсь, но тогда не ошибся бы. «Ты, снегами тихо веющая, обрати ко мне свой лик...» Было счастье в этих строчках, было блаженное головокружение, была связь с необъятной вселенной, ко мне тогда благосклонной, с бесконечно далекими Млечными Путиями, не знаю, с чем еще. Так мне тогда представлялось, а теперь я лишь перебираю обрывки прежнего, развевшегося. Прошел молодевавший офицер, кажется, измайловец. Два встречных юнкера небрежно взяли под козырек. Немецкая булочная, та самая, куда, бывало, робко входили продрогшие уличные мальчишки. «На копейку крошек!» – «Крошек не осталось. Отойти от прилавка, мальчик». Та самая булочная, нет, я не сплю. Против булочной парикмахер «Дмитрий», с какими-то судорожно поблескивающими лампочками над стенными зеркалами. Как они назывались? Кажется, керосинокалильные. Не помню точно, может быть иначе, но что-то «калильное» было. Сквозь стекла чувствуется, что внутри пахнет дешевым одеколоном и «вежеталем», как мы тогда говорили. Но все ускользает, бледнеет. Надо сделать усилие, задержаться, – только какое усилие? Войти в парикмахерскую, заговорить с посыльным? Нет, это не поможет. Наоборот, это, пожалуй, ускорит исчезновение видения, – или вернувшейся из небытия реальности? – со всеми ее декорациями. А мне здесь что-то нужно, это я чувствую, только не знаю, что. Не надо тратить энергии на пустяки, на попытки вспомнить, как назывались

лампочки. Я безотчетно сопротивляюсь чуждым силам, отвлекающим меня от цели, использующим мою рассеянность. А в чем цель? Кто подскажет? Однако дверей моей парижской комнаты, уже было мелькнувших передо мной, нет. Опять улица, снег, булочная, башлык посыльного на углу.

В двух шагах Виленский переулок. Виленский, 4. Мое детство. Как странно, как страшно войти в дом, где полвека тому назад я бывал по воскресеньям, скучая, если сказать правду, и все же привычно ожидая этих воскресных семейных сборищ, будто просвета в моей сероватой детской жизни. Пойти, позвонить? Странно и страшно.

Дверь отворила Ириша, со своей всегдашней застывшей улыбкой, высокая, бледная, в веснушках. Дома мой дед? – я назвал имя. «Они кушают, сейчас уезжают». – «Ириша, скажите, пожалуйста, что я по делу... я из Парижа». Она не заметила или не обратила внимания на то, что я назвал ее по имени, ушла и почти сейчас же вернулась, предложив мне «пройти в кабинет». Да, в кабинет, где я знал каждое кресло, стол с какой-то огромной двойной чернильницей, длинный костяной разрезной нож, мною же к какому-то празднику деду подаренный, портреты Бетховена и Листа на стене, книжный шкаф с рядами цветных коленкоровых переплетов, почти никогда не раскрывавшийся, каждую вещицу, каждую мелочь.

Он вошел легко, торопливо, неслышно, в смокинге. Гораздо моложе, чем я ждал: но это и не удивительно, теперь я ведь был старше, чем он. «Чем могу служить?», или что-то в этом роде, с очевидным намерением поскорее отделаться от посетителя. Я долго молчал, пристально глядя на него, не в силах произнести ни слова. Но уловив его нетерпение, задыхаясь от волнения, все-таки сказал: «Неужели вы меня не узнаете? Я – ваш внук... Сережа». Он едва заметно пожал плечами, нетерпение его явно усилилось. Молчать нельзя было. Я начал бормотать, что теперь вовсе не 1913 год, как вот указано на его отрывном календаре, возле книжного шкафа, а 196... год, что я пришел к нему из Парижа, что он давно умер, что Сиротинин ошибся, лечив его от нефрита, что у него был рак, что он должен, должен меня понять, что будет

война, будет революция, а никто этого не знает, не предвидит... Глядя в сторону, он постучал пальцами по столу и встал. За дверью послышался недовольный голос:

– Папа, – с ударением на втором слоге, – папа, Никиш ждать не будет.

Тетя Ася. «Выше Шестой симфонии Чайковского нет ничего на свете». Я и тогда пытался ее убедить, что многое в музыке гораздо «выше». Но главный свой довод она считала неотразимым: «в каждой ноте – слезы». Никиш. Сегодня, значит, концерт под управлением Никиша. Он была в него влюблена, не пропускала ни одного его выступления, ходила к нему в артистическую с какими-то особыми бледными чайными розами, которые он однажды, – по ее рассказу, слышанному мной десятки раз, – прижал к сердцу и поцеловал.

Я быстро вышел в переднюю. Темно-зеленая ротонда до полу, поднятый меховой воротник, что-то легкое, воздушное на голове. Она считалась, и действительно была, самой хорошенькой в семье, но так, бедная, и не вышла замуж в ожидании сказочного принца. Принца не нашлось. И как она мучительно умирала в Ницце, еще не старая, но больная, нищая, вставала на рассвете, вязала дрожащими, «паркинсоновыми» руками узорчатые, разноцветные шали и шарфы на продажу. А потом уже не могла и вязать... Но мимо, мимо.

Я не удержался. «А где же розы?» – «Какие розы?» – «Чайные розы от Эйлерса?» – «Ничего не понимаю». Ответ был сухой, но в глазах недоумение, даже испуг. Дед, уже надевая шубу, обернулся ко мне:

– Теперь многим трудно... поверьте, я понимаю... Простите, вот, чем могу.

И в руках у меня оказалась бумажка, три рубля.

Вероятно, именно эта трехрублевка, это мое огорчение, что вместо ожидаемых и казавшихся мне вполне естественными родственных рыданий и объятий, все получилось так нелепо, да, именно этот толчок, эта растерянность сразу же вернули меня в Париж. Я лег на кровать, принял две или три снотворных лепешки, решив, что надо бы со всей этой чертовщиной покончить, а то можно и на одиннадцатую версту попасть. Но сна не было. Достал с полки книгу, не очередную, постылую, глупую «новинку», а одну из моих любимых книг, одну

из тех, которые обмануть и ни с чем оставить не могут. Но ни спать, ни читать я не был в силах. Больше того: не мог жить. Дело ведь было не в том, что меня не приняли, не узнали, что тетя Ася сидит сейчас на красном диване, около памятника Екатерины, в зале Дворянского собрания, и не отрываясь смотрит в бинокль на Никиша, вероятно, все-таки недоумевающая, откуда это пожилому господину в потертом, легком, не по сезону, пальто стало известно про чайные розы от Эйлерса. Нет, мелькнула и заставила меня содрогнуться совсем другая мысль. Надо что-то сделать. Надо предупредить, надо сделать, чтобы не было того, что будет. История одна? У меня возникла вдруг твердая уверенность, что это не так, не совсем так, и что от одного центра могут разойтись в истории почти бесконечные возможности. От одного центра по бесчисленным радиусам. Был я сейчас, пять минут тому назад, в Петербурге, Виленский, 4? Был. Я не бредил, не спал. Я был. Был. Очнувшись в Париже, я оказался не в постели, не в кресле, а на лестнице, у моей входной двери, с ключом в руках. Куда-то я перед тем вышел, поблизости, ненадолго, а каким образом в эти несколько минут уместилось мое пребывание в Петербурге, не знаю. Не знаю и не понимаю. Но там я вспоминал Блока, и, любуясь самим собой, восстанавливал какие-то свои возвышенно-сентиментальные юношеские эмоции, цитировал удержавшиеся в моей памяти строчки. До чего ничтожно все это по сравнению с тем, что открылось мне теперь! На календарном листке было помечено 1913. Значит, есть еще время остановить, изменить. Они не знают того, что будет, не знают, что будет война, революция, они не знают, что всех их ждет, что Россию ждет, а я знаю и обязан сделать так, чтобы того, что будет, не было. Или, по крайней мере, чтобы было и другое будущее, вызвать другое будущее из беспредельного небытия. Нет, это не абсурд, хотя я не в состоянии и сейчас объяснить, почему это представляется мне возможным, даже и сейчас, когда я сижу над этими своими записками, после провала, после постыдной моей неудачи. Неудачи, которую я не прошу себе никогда, до самой смерти, потому, что виновен в ней я, никто другой, и если бы хватило у меня тогда, в нужный, долгожданный момент самообладания и силы договорить все, что надо было сказать, история, может быть,

надо мной не посмеялась бы. Но об этом дальше, я сбиваюсь, путаюсь, волнуюсь от рокового воспоминания.

Чего бы я добился, если бы даже удалось мне убедить деда, кто я и откуда, что я могу как по книжке прочесть ему все, что произойдет в ближайшие десятилетия? Чем он помог бы мне? Какие-то связи у него, кажется, были, но мелкие, второстепенные. Человек он был легкомысленный, добрый, веселый, общительный, дилетант, прирожденный дилетант во всем, и по моим детским догадкам, даже и друзья вполне всерьез его не принимали. Куда пойти? В Государственную Думу? К какому-нибудь министру? Но, во-первых, министр меня не примет, а если и примет, то сочтет за умалишенного и оборвет разговор на полуслове. Да, в сущности, и министр оказался бы бессилён. Надо было добиться приема «там», я предстану нужным, спасительным вестником из будущего, несмотря на слабость и уклончивость того, что, по общему мнению, по всем доходившим до меня сведениям, представляло собой это «там», уверенность, что мой рассказ о будущем, со всеми ужасами, которые я перечислю, с изображением всего, что еще призрачно держится, но уже обречено, с кровавым туманом над всеми нами нависшим, самый тон мой, моя горячность, моя страстная, неотвязная настойчивость... не знаю, как кончить фразу. Да и не к чему кончать: все и так ясно. Надо, надо что-то сделать, а если оказалось, что сделать это должен я, мало подходящий для исторических и метафизических подвигов человек, то, значит, такова моя судьба. В многомиллиардной мировой лотерее вышел мой номер. Но, признаюсь, я был измучен, и даже соседка моя по площадке на лестнице, русская, из Таганрога, встретив меня в лавке, участливо сказала: «Что это, вас как будто подтянуло», впрочем, тут же добавив, что при такой несносной погоде она и сама прескверно себя чувствует.

Измучен был я тем, что переборски мои в Петербург прервались, как я ни старался вымышленными мной, но очевидно, вздорными способами их возобновить. Прервались как раз тогда, когда я вспомнил о Маргарите Францевне, последней моей надежде на содействие и помощь. Вспомнил и вздрогнул от радости, от уверенности, что добьюсь цели.

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи», писал Гоголь. Знаете ли вы Маргариту Францевну? – хочется мне спросить. Когда-то имя ее знала вся Россия, а теперь эта знаменитая артистка доживала свой долгий век в Париже, где я не раз у нее бывал и, сидя у ее глубокого кресла, слушал рассказы о далеком прошлом. Удивительная женщина, сохранившая до девяноста лет живой, быстрый ум и способность каким-то чутьем догадываться о том, что понять было бы ей, пожалуй, трудновато. Ну, а по части связей она могла бы дать сто очков вперед любому министру. Я вспомнил о ней и сразу решил, что при новом своем пребывании в Петербурге, – если оно повторится, если опять будет 1913 год, – отправлюсь прямо к ней.

Да, после долгого перерыва, и именно тогда, когда я всего менее этого ждал, я снова побывал в родном городе. Но побывал напрасно. Швейцар всем петербуржцам знакомого особняка хмуро, даже подозрительно оглядел меня и заявил, что барыня никого не принимает: «Но мне очень нужно... по очень важному делу», повторял я. Из-за вторых, внутренних дверей выглянула нарядная молодая горничная. Она оказалась приветливее, но подтвердила, что без предупреждения никого принимать не велено. Тут я сделал глупость, спросил: «Скажите, здесь у вас в Петербурге... какой здесь год? 1913, да?» Швейцар усмехнулся, покачал головой, и осторожно взяв меня за плечи, вывел на улицу. Я уныло поплелся к Троицкому мосту: почему-то мне захотелось взглянуть на Неву, такая ли она широкая, как мне по воспоминаниям казалось. Но моста не было. Была зажженная лампа на моем парижском письменном столе. Под лампой письмо в узком, длинном американском конверте, наполовину надорванном. Очевидно, я не успел его распечатать.

Письмо я отложил и взялся за телефон. Слабый, теперь уже всегда хриплый голос Маргариты Францевны. «Нет, сегодня нельзя, дорогой. Поздно, к вечеру я совсем без сил. Завтра? Что-нибудь спешное? Хорошо, завтра, часам к пяти».

Завтра. Пять часов. Я опять сделать оплошность, принявшись рассказывать, что был у нее в Петербурге и что меня не приняли. Она беспомощно, два или три раза, провела рукой по лбу. «О чем вы говорите?» Мне

стало ясно, что надо найти какую-нибудь уловку, иначе ничего не получится. Сон, сон! Я знал, что она верит в сны и решил сослаться на необыкновенное сновидение. Будто мне привиделось, с совершенно чудесной, небывалой отчетливостью, что я был у нее, что мне непременно, по важнейшему делу, надо было с ней поговорить, а меня даже не пустили. Она заинтересовалась, оживилась. «Да ведь я действительно никого так, с улицы, не принимала. Как же я могла, сами понимаете! Моему Матвею было раз навсегда приказано никого не впускать». Матвей: не забыть бы! Сон мой мало-помалу стал расцветиваться яркими красками, прилив лживой изобретательности не оставлял меня. Она слушала внимательно, как, впрочем, всегда со вниманием и удовольствием слушала все относящееся к былой ее жизни, к сценической карьере, к славе. Мне показалось даже, что в ее старческом, усталом мозгу произошла путаница и что иногда она отвечала на мои расспросы так, будто верила, что вчера я действительно был у нее в Петербурге, где Матвей не совсем вежливо взял меня за плечи. «Не может быть, – со смехом повторяла она, – не может быть, этого он никогда не позволил бы себе». Потом, помолчав и задумавшись, спросила:

– Вы говорите, 1913 год... да? Значит, незадолго до войны, да? Вот если бы тогда сказали, что вы от Подснежника, я приняла бы вас ночью, днем, утром, когда хотите.

И вместе с какой-то странной улыбкой, молодое, счастливое лукавство мелькнуло в ее глазах.

(Эта ее улыбка, ее короткий смешок оживил в моей памяти одну давнюю встречу. Никакого отношения к тому, о чем я сейчас пишу, встреча эта не имеет, но не раз уже мне хотелось о ней рассказать, для «потомства», для «истории». Мелочь, конечно, но похожая на пылинку, которая начинает светиться, попав в солнечный луч.

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, не больше. С матерью мы обедали у Карцовых, наших петербургских знакомых. После обеда собралось довольно много гостей. Я почти никого не знал, скучал, стеснялся, молчал. Хозяин дома, Георгий Павлович, зная о моем интересе к литературе, участливо наклонился ко мне:

– Видите, там сидит и дремлет старушка в седых букольках. Она когда-то танцевала с Пушкиным. Поговорите с ней, она будет рада.

Упустить такой случай нельзя было. Я расхрабрился, подошел, поклонился, назвал имя Пушкина. Старуха вздрогнула, очнулась.

– Что, Пушкин?.. – совсем, как Ларина, мать Татьяны, в Москве: «Как, Грандисон?.. а, Грандисон».

– Ах, да, Пушкин! Большой, большой был надсмешник!

И сказав это, она хихикнула. Кроме этого «надсмешника», почему-то с «д» в середине слова, я ничего не добился. Но тогда же подумал, что, вероятно, Пушкин, если он действительно танцевал с ней, сказал хорошенькой девочке на ухо что-нибудь двусмысленное, и это ей запомнилось. Однако еще раз: об этом мимоходом, только потому, что было в ее старческом хихикании что-то общее с улыбкой Маргариты Францевны, вспомнившей о Подснежнике. Кто он был, этот Подснежник? Не знаю. Моряк? Офицер?).

Я едва не вскочил, хотел уйти. Больше ничего мне не было нужно, ключ был у меня в руках: сказать, что я от Подснежника. Но Маргарита Францевна держала меня за руку. «Простите, я не собираюсь посвящать вас в свои сердечные тайны... да ведь и столько лет прошло! Бедный, бедный Подснежник. Мне передавали, что в Севастополе, перед расстрелом, он громко и твердо сказал: «да будет воля Твоя».

Голос ее дрожал, в глазах стояли слезы. Что было потом? Едва ли стоит рассказывать. Было, в сущности, только одно: нетерпеливое ожидание, что вот-вот я опять окажусь в Петербурге, боязнь, что этого не будет, именно теперь не будет, когда дело как будто налаживается. Временами были приступы отчаяния. А вдруг в загадочной, непонятной мне машине какое-нибудь колесико даст перебой, и перенесусь я не туда, где мне надо побывать. Нет, в другой век, в другую страну. Но я сам себя убеждал, что не случайно же я переносусь в Петербург, а не в Китай или в Египет при Рамзесе Втором. Есть в этом смысл, не может быть, чтобы смысла не было. Из дому я почти не выходил, сидел, смотрел в одну точку, смутно надеясь, что это способствует тому, чему я не

находил названия, – переброскам, переносам? – хотя должен был по опыту знать, что ничто их не облегчает, ничто им не препятствует. В Париже еще осень, сыро, дождь льет с утра до вечера. Надо бы вскипятить воды, выпить чаю. Я встал...

Матвея на подъезде не было, мне представилось, что это хороший знак. Отворила дверь горничная, не та, которая была в первый раз, а другая, постарше, не такая вертлявая. С подчеркнутой деловитостью, будто чем-то озабоченный, я сказал: «Передайте барыне, что я от Подснежника». Она как-то сообщнически улыбнулась, быстро, на ходу указала мне дверь направо, в гостиную, и скрылась. Наверху, за маленькой полувинтовой лестницей, устланной голубой бархатной дорожкой, слышался возбужденный голос. Маргарита Францевна сбежала в легком халатике, в туфлях на босу ногу, худенькая, стройная: никогда бы я ее не узнал, если бы не помнил по давним портретам. Она схватила меня за обе руки:

– Где он? Почему он не пишет?

Я сел, она продолжала стоять. У меня стоять не было сил.

– Где он? Что-нибудь случилось?

Я молчал.

– Ради Бога, скажите же что-нибудь... только ничего не скрывайте, ничего! Где он? Она опять с ним? Опять?

Наконец я совладал с собой.

– Маргарита Францевна, сядьте, мне нужно с вами поговорить. Это очень важно. Я не знаю Подснежника, я никогда не видел его...

– Как, даже никогда не видели? Значит, это вранье? Как вы смеете...

И убежав в переднюю, она принялась бранить горничную. «Да ведь они сказали, что они от Подснежника», – оправдывалась та. «Вранье, вранье, тысячу раз я говорила всем вам, никого с улицы не принимать. Где Матвей?»

Вернувшись в гостиную, она резко остановилась на первой ступеньке лестницы и с негодованием взглянула на меня. «Как, вы еще здесь?» Я близко подошел к ней и тихо, отчеканивая каждое слово, проговорил: «Да, я еще здесь. Я пришел сказать вам, что Подснежник будет расстрелян. В Севастополе». Она побледнела, взялась

дрожащей рукой за перила. Я продолжал: «Да, он будет расстрелян в Севастополе, а вы будете жить очень долго, умрете в Париже, и умрете в бедности, все потеряв, все».

На пороге показался Матвей с каким-то человеком в зеленом фартуке. Она молча, кивком головы велела им уйти и уже иначе, спокойнее, как будто даже задумчиво, сказала: «Странно, Чинский предсказал мне то же самое. Что я умру в Париже, в глубокой старости, без копейки денег. Вы знаете Чинского? Необыкновенный человек. Он даже улицу мне назвал, не помню какую». – «Рю Буало?» – «Да, да, кажется, Буало. Откуда вы знаете? Да, Буало. У меня есть план Парижа. Где эта улица?»

Мне хотелось ответить, что я у нее на улице Буало довольно часто бываю, что ей теперь девяносто лет, или даже больше, что все близкое ей, все окружающее ее исчезло, погибло... но я почувствовал, что надо поступить иначе. Она ничего не поняла бы, не могла бы понять и, вероятно, приняла бы меня за сумасшедшего, несмотря на совпадение с предсказанием Чинского, полу-визионера, полу-выдумщика, в те времена в Петербурге очень популярного. Она сказала бы мне то же самое, что я сам себе говорил, до сих пор иногда говорю: если это, – т. е., то, что я знаю, видел, пережил, – если это уже было, как же сделать, чтобы это не было? Или как построить рядом с одним будущим и другое? Она бы меня не поняла, разговор оказался бы бесцельным. Надо было, значит, притвориться провидцем, чувствующим опасность, но допускающим возможность ее предотвращения. Что было для меня важно? Что? Только то, чтобы меня приняли «там», на верхах, где я изложу все ужасы, всю правду. Не может быть, чтобы «там» мне не поверили, не поняли, не сделали всего, что нужно, не может быть, чтобы продолжала царить та же слепота и впереди была та же пропасть. Я никогда не подозревал в себе актерского дарования, но по-видимому, меня осенило вдохновение, думаю, посланное свыше. Я говорил Маргарите Францевне о Подснежнике, признался еще раз, что никогда имени его не слышал, но что будто бы здесь, в этом доме, уловил то, что ему угрожает. Говорил о России, не помню еще о чем, с лихорадочной настойчивостью прося устроить

нужное мне свидание, убеждая ее, что ей, при ее связях, известных всей стране, это ничего не стоило. Каждую минуту, с каждым словом я боялся проговориться, испортить дело, сказать, что все это уже произошло. Она слушала внимательно, в ее умных, блестящих черных глазах было любопытство, был и страх. По-видимому, она мне верила, как вообще верила колдовству и предсказаниям. Это я знал по парижским с ней разговорам. Когда наконец я в изнеможении умолк, она сказала: «Хорошо, я постараюсь устроить то, что вам нужно. Это не так легко, как вы думаете, но я попробую. Только будьте там тверды, будьте настойчивы. А то он вас выслушает, поблагодарит и ничего не сделает. Вот ведь в чем беда! Дайте мне ваш адрес или номер телефона».

Адрес, номер телефона... От неожиданности я растерялся. Она смотрела на меня с удивлением и внезапно возвратившимся к ней недоверием. Я пробормотал: «Знаете, сегодня мне надо уехать... в Москву... нет, может быть, в Киев. Если разрешите, я найду к вам позже». Недоверие в ее глазах усилилось. «Как хотите», холодно, слегка пожав плечами, сказала она, но руку на прощание все-таки мне подала. Я и тому был рад, хотя вышел смущенный и подавленный: а вдруг она раздумает, вдруг решит, что не стоит придавать значение болтовне какого-то проходимца? Я-то отлично отдавал себе отчет в смысле этого моего «позже», – как же мне, в самом деле, знать, когда я опять попаду в Петербург? – но ей оно должно было показаться подозрительным: спешил, умолял, а теперь, видите ли, «позже»! Как внушить ей, что дело мое бесконечно важнее всех ее несчастных Подснежников, важнее всего на свете? Вернуться, объяснить причину моего замешательства? Значит, сказать всю правду? Я в растерянности стоял на улице и чуть было не дотронулся до звонка в бронзовой оправе, изображавшей раскрытую львиную пасть. Теперь-то, год или два спустя, я знаю, что дело мое сорвалось из-за мимолетной утраты волевого напряжения, из-за исчезновения сосредоточенности на одной мысли, на одном желании. Сорвалось «там». Ту же оплошность допустил я и в доме Маргариты Францевны. Может быть, это было предостережением, уроком. Особняк улетучился, низкого неба с ключьями будто вперегонки летевших облаков

не было. Я сидел за своим столом в Париже, перелистывая словарь Ушакова.

Словарь я с раздражением отбросил. Тяжелый том распластался на полу. Я лег и стал думать: что делать? Не знаю, не могу вспомнить, сколько часов я так лежал, но мало-помалу волевое напряжение опять овладело мною, хотя я и говорил себе, что теперь оно бесцельно. Бесцельно? Может быть, не совсем, как выяснилось потом. Опять, на какую-то десятую или сотую долю секунды я оказывался в маленькой нарядной гостиной с голубым ковром, темные, блестящие глаза опять вглядывались в меня с пытливым страхом. Но только на сотую долю секунды, и едва я вставал, как снова полуразодранный том Ушакова был передо мной на полу. Не позвонить ли Маргарите Францевне, здешней, девяностолетней, парижской? Но зачем? Что я ей скажу? Стало уже светать, а я все лежал и думал, и не в силах был ничего придумать. Было, однако, у меня чувство, что придумывать и не к чему и что этой ночью я наверстал упущенное, может быть не все, но какую-то его частицу наверно. Передача мыслей? Из настоящего в прошлое? Не знаю, не знаю, я с ума схожу, когда пытаюсь что-нибудь понять в этой неразберихе, и, вероятно, даже на том свете, когда умру, не пойму и не узнаю ничего. Однако на четвертый или пятый день моих сомнений, ожиданий, упреков, надежд, видений, раздался телефонный звонок. Маргарита Францевна. Она уже давно перестала мне звонить, звонил всегда я ей, да и то редко, к праздникам, ко дню ее рождения. Знакомый дребезжащий голос, который я узнал бы из тысячи. «Скажите, я что-то... обещала вам? Что-то я должна сделать. Не могу никак вспомнить, что это меня мучит... я всю ночь не спала». От изумления я ответил не сразу. «Нет, нет, ничего. Спасибо. Нет, я ни о чем вас не просил», и справившись о ее здоровье, повесил трубку. Значит, что-то дошло. Не туда, куда надо, но дошло. А может быть, и туда. Не напрасно я чувствовал прилив бодрости и даже уверенности, что цели достигну. Но когда достигну? Прошла неделя, прошла другая. Еще несколько дней, и я, пожалуй, заболел бы от тоски и недоумения.

Прием состоялся. Обманут я самим собой не был. Да, в сущности, и сомневался лишь в том, удастся ли

Маргарите Францевне помочь мне, проявит ли она достаточно настойчивости. Я вспоминал ее слова: «Это не так легко, как вы думаете», – я боялся, что утруждать себя она не станет. Но нет, прием наконец состоялся. Все произошло гораздо проще, чем я предполагал, без всяких предварительных процедур, переговоров, проверок. А я считал, что без них обойтись не может. Где я был? В Царском Селе? Вероятно. Впрочем, что мог я знать? Было еще довольно светло, но горела небольшая люстра, какого-то кабинетного, скромно-добротного английского типа; такую я видел где-то в Лондоне. Он принял меня стоя, подал руку и, отойдя за свой письменный стол, молча указал на кресло напротив. Почему-то я ждал, что он улыбнется. Но нет, была привычная безразличная приветливость, улыбки не было. Отложив какие-то бумаги и на секунду-другую задержавшись на одной из них, он откинулся, пристально взглянул на меня и сказал:

– Я вас слушаю.

В голове чувствовалось привычное ожидание доклада. Невольно я подчинился этой его манере держаться, хотя в прежних своих раздумьях готовился ко всему, что угодно, кроме делового, спокойного тона, который здесь был, по-видимому, единственно-уместен. Превозмогая себя, я начал говорить именно так, как он мне безотчетно внушил: я именно «докладывал», как по заранее составленному тексту, старательно округляя придаточные предложения, только изредка сбиваясь и путаясь. Начал с того, что здесь, у него, сейчас 1913 год, но в действительности сейчас 196... год. На лице его не отразилось ни малейшего удивления. Он продолжал внимательно смотреть на меня, однако не прямо в глаза, а как-то мимо, будто одновременно и на меня, и в какую-то пустоту за мной. Да, теперь 196... год, – повторил я, – и пришел я к нему из будущего, пришел сказать, что в ближайшее время предстоят грозные, губительные события. Надо принять меры, чтобы предотвратить их. Сейчас, вспоминая, я лишь вкратце передаю то, что говорил, но изложение мое было обстоятельно и по-моему даже довольно красноречиво, как мог бы докладывать почтительный, полный достоинства, знающий в своем деле толк министр. Он оставался невозмутим, и только один раз перебил

меня, спросив, о каких же мерах может идти речь, если все то, о чем я рассказываю, уже произошло.

– По радиусам, – отвечал я, краснея, чувствуя, что говорю не то, что надо, что сбиваюсь с роли министра. – От одного центра расходится бесчисленное количество линий. Так и во времени. Есть одно будущее. Может возникнуть и другое. По другому радиусу.

– Да, если по другому радиусу, – невозмутимо повторил он, будто поняв и соглашаясь. И оглянулся.

В глубине комнаты шелохнулась портьера и вошла она, царица, с какой-то работой в руках. Он весь посветлел и улыбнулся в первый и единственный раз. Я встал. Но она еще на ходу сделала мне торопливый знак рукой, означавший «продолжайте, не обращайтесь на меня внимания», и сев в кресло, опустила голову и склонилась над своим вышиванием, как показалось мне, для того, чтобы присутствием своим меня не стеснять. Он сказал несколько слов по-английски. Она ответила так же коротко, вполголоса. Я плохо знаю английский язык, да и говорили они еле слышно, невнятно, как говорят давно и близко сжившиеся люди, понимающие друг друга еще до того, как смысл сказанного становится вполне ясен посторонним. Но слово «сгазу» я уловил. Значит, опять то же самое, то, чего я больше всего опасался: он считает меня сумасшедшим.

– Нет, я в своем уме... я не болен... я не сумасшедший, – тихо, прерывисто, уже не в состоянии сдерживать волнения, сказал я. Министерская роль была мне больше не под силу. Я нервничал, да и сознавал, что лучше оставить деловой тон, что не стоило и добиваться приема, если так, до конца, с тем же вежливым равнодушием он и будет слушать меня, как слушает, вероятно, сообщение о желательности какой-нибудь мелкой реформы. Помню, я вдруг вскочил и чуть не взял его за руку. Руку он отвел. Я говорил:

– Надо, надо что-то сделать. Поезжайте к Вильгельму, предупредите его...

Он нахмурился и довольно резко перебил меня:

– При чем тут император Вильгельм?

Я почувствовал, что недовольство его вызвано преимущественно тем, что сказал я просто «Вильгельм», без «императора». Надо было соблюдать установленные

формы, не стоило из-за пустяков раздражать его. Но что – пустяки, а что – не пустяки? В предвидении всего, о чем я пришел известить его? В сравнении с тем, что впереди? Не все ли равно, пусть я говорю не так, как положено, не все ли равно, что он удивится, рассердится, опять перебьет меня, только бы выслушал, понял, что я говорю правду, что я не болен, что надо, надо что-то сделать, предупредить, остановить, спасти.

– Причем тут Вильгельм? – переспросил я, опять, но даю слово, без всякого умысла, исключительно от волнения, от рассеянности, опять пропустив «императора», – причем тут Вильгельм? При многом, очень многом, как же вы не понимаете? Будет война с Германией, нельзя допустить войны, сговоритесь, уступите, согласитесь на какие угодно условия, это не имеет значения, да и не будет условий, вы плохо окружены, вас обманут, заставят, Россия не выдержит войны, последствия будут ужасны, вы не знаете, что будет потом, нельзя допустить войны, это безумие, самоубийство, все погибнет, все, государь, сделайте что-нибудь, вы не знаете, до чего это важно, для вас самого, для всех, умоляю вас, я готов на колени стать, сделайте что-нибудь, кровь, кровь зальет Россию, море крови, океан крови, сколько жертв, сколько благородной, чистой, самоотверженной молодежи, не только во время войны, а и после, после, ваше величество, после будет еще хуже, тюрьмы, лагеря, казни, слезы, муки, поезжайте к нему, сговоритесь, сделайте что-нибудь, назначьте диктатуру, отрекитесь от престола, позовите Витте, позовите Милюкова, позовите какого-нибудь умного генерала, устройте совещание мудрейших русских людей, всех профессий, всех взглядов, всех толков, объясните им, предупредите, сделайте что-нибудь, не теряйте времени, не играйте с огнем, вы мне не верите, но я говорю о том, что видел, пережил, государь, верьте мне, я знаю, что ждет Россию, я один говорю вам правду, я ночами не сплю, я должен, должен был прийти к вам, решитесь, найдите в себе силы, на вас ответственность, вы можете...

Существует ли на свете дьявол? Прежде я, как водится, сомневался и только за рулеткой или за покером смутно чувствовал присутствие каких-то подвластных ему бесенят. Но пусть теперь не говорят мне, что дьявола на свете нет. Дьявол есть, и это он следил, наблюдал, в

нужный момент вмешался и с чисто дьявольской вкрадчивой виртуозностью сорвал мое дело.

Все, казалось, шло как следует. Я сбивался, волновался, но видел, что внезапный переход от доклада к мольбе некоторое впечатление производит. Даже то, что я вторично пренебрег императорским титулом, произвело впечатление, и скорее в мою пользу. Он сидел бледный, с каким-то беспомощно-горестным выражением в глазах. Я колебался, сказать ли то, что приберегал к концу: о Екатеринбурге, о подвале ипатьевского дома. Что-то удерживало меня, вероятно, жалость. Но обойтись без этого довода было невозможно, в нем была главная сила, и я решил обратиться к ней, ли к нему и к ней вместе, но именно ей, женщине, сказать о судьбе сына, мужа, дочерей, ее самой. Мне представлялось, что с ее стороны отклик будет глубже, решительнее, длительнее, да ведь и настроена она была так, что путаница с годами и эпохами озадачить ее несколько не могла. Для нее все невероятное было вероятным, и наоборот. «Делай то, что нужно, возьми себя в руки, скажи все, со всеми ужасными подробностями, делай то, для чего ты здесь оказался, иначе не стоило ничего и затевать», внушал я себе. Помолчал и не без труда переведя дыхание, я обернулся к ней.

Она стояла, насколько помню, с лорнетом в руках и наклонившись, оглядывала сидение кресла. По-видимому, она не очень внимательно слушала то, что я говорил. Может быть ей, иностранке, и трудно было следить за моей торопливой, бессвязной русской речью. Поводив рукой по креслу, приподняв и опять прислонив к спинке большую бархатную подушку, она нагнулась ниже и стала осторожно шарить рукой по ковру, все с тем же приставленным к глазам лорнетом. Я молча смотрел на нее. Будет война, будет революция, будут неслыханные бедствия, а она ищет выскользнувшую из рук иголку. Зачем ей иголка? С величайшей услужливостью, с раболепием ей принесли бы миллионы иголок, нашли бы ту, которая упала: нет, она встала, нагнулась и с тяжелым усилием ищет сама. Извечный, вековечный женский жест, из поколения в поколение. Будут новые войны, землетрясения, пожары, восстания, казни, а где-нибудь, после того, как все мы исчезнем, всех нас забудут, опять встанет женщина и примется искать на полу иголку. Она стоит

над пропастью: ищет иголку, Смерть смотрит ей в глаза: она ищет иголку. «Поверят ли мне?», – спросил я, кажется, в начале этих своих записок. – «Поймут ли меня?», – хочется спросить мне сейчас. Я смотрел на нее, как зачарованный, онемев, обессилев от заполнившего меня сознания, что была жизнь и всегда будет жизнь. Единая, загадочная жизнь. Да, это построил дьявол, сомнения у меня нет. Он выдернул из ее рук иголку, он побудил меня именно в нужный момент оглянуться, он исподтишка за-гипнотизировал меня неожиданно нахлынувшими, впервые испытанными чувствами, он заставил меня молчать и смотреть, оборвав на полуслове речь. А главное, он не дал, он не позволил мне сказать то, что должно было потрясти ее и, может быть, привело бы к долгожданной, желанной цели: предупредить, образумить, ужаснуть, остановить, спасти. Я продолжал молчать.

И, вероятно, оттого, что я продолжал молчать, все вокруг меня начало тускнеть и бледнеть. Это я заметил не сразу, а заметив, вздрогнул, понял, что по своей же вине выпускаю дело из рук, что нельзя терять и секунды. Но было уже поздно. Срок был упущен. Я хотел схватиться рукой за край стола, рука не слушалась. Хотел вскрикнуть, не мог. Была тишина, туман, пустота, как всегда в таких случаях. А потом был Париж, знакомые трубы и крыши за моим окном. Точка: больше, в сущности, не было ничего. Разве только мой стыд, да еще горечь от уверенности, что дело проиграно начисто, что исправить ничего нельзя.

Да, я чувствовал безошибочно, что больше в Петербург не вернусь. Прошло с тех пор почти два года: возвращения не было. Наоборот, передо мной была стена. Даже ожидания мои прекратились, настолько ясно было, что они никчемны. Очевидно, «кто-то знающий», как сказал бы Леонид Андреев, понял, что со мной дела иметь не стоит, может быть подыскал себе другого, более подходящего. Но меня долго мучил вопрос: что же произошло там, когда я внезапно и бесследно исчез? Еще раз скажу, сто раз повторю то, что уже говорил: я был там, был. Не было ни забытья, ни сна. Но, может быть, все это представилось сном там, для него? Или все-таки то, что успел я сказать, какие-то последствия имело? Брешь была пробита? Не брешь, так какая-нибудь трещинка?

И другое будущее возникло? «По другому радиусу», как тогда повторил он за мной со своей неподражаемой, устало-безразличной, безучастно-вежливой интонацией, которая до сих пор звенит у меня в ушах? Не знаю, ничего не знаю, никогда не узнаю. И никогда оплошности своей не прошу себе.

Есть еще факт, о котором мне хочется упомянуть. Сначала я был даже взволнован, но потом решил, что придавать значение случайным мелочам не стоит. Совпадение, только и всего. Если бы я сочинял рассказ, то пожалуй, использовал бы эту мелочь для вящего, пусть и грубоватого эффекта. Но и рассказ это испортило бы, рассказ уподобился бы чему-то вроде балетного либретто, только с пожилой краснощекой француженкой, кассиршей соседней красильни, вместо полувоздушной нимфы. Да я ведь и не пишу рассказа.

Нет, конечно, совпадение. Этой весной, собираясь на каникулы и перебирая вещи, я отнес старый, залежавшийся пиджак в чистку. Неделю спустя пришел взять его. На стойке, за которой кассирша что-то подсчитывала, лежала зеленая трехрублевая бумажка с двуглавым орлом. Кассирша заметила, что я не отрываясь смотрю на нее.

– Это иностранный кредитный билет. Кто-то из клиентов забыл в кармане. Может быть, вы? Но, говорят, никакой ценности он не имеет.

Я надел очки. «Три рубля. Государственный банк разменивает без ограничения на золотую монету... Управляющий А. Коншин. Кассир Наумов. 1905».

– Это русские царские деньги. Нет, не мои.

– Да, русские, мне так и сказали. Не удивляюсь, все русские такие рассеянные. Вечно что-нибудь теряют или забывают.

Нет, это была не моя трехрублевка. Я теперь все допускаю, решительно все, но нет, это было бы слишком неправдоподобно. Виленский, 4. «Простите, вот, чем могу...» Нет, я не в силах верить. Но жаль все-таки, что я отказался взять никому ненужный билет: надо было бы спрятать его, сохранить. Одна стомиллиардная, одна квадриллионная вероятия... все-таки надо было бы сохранить его. Не как вещественное доказательство, а на вечную память: о том, что бывает, о том, что не сбылось.

ПЕРЕВОДЫ

Робин Гуд и нищий

Часть первая

Хочу я знатным господам
Сейчас поведать тут
О приключении одном,
Где был и Робин Гуд.
В дорогу Робин собрался
Без спутников своих
И к Бернисделю он пришел
Лишь в сумерках густых.
Какой-то бедный человек
Там повстречался с ним,
Спешивший с посохом в руке
Тяжелым и большим.
Он плащ заплатанный носил,
Чтоб не застыть в пути,
Подкладок было в том плаще
Не меньше двадцати.
Висела сумка чрез плечо,
Набитая едой.
Ее поддерживал ремень
Тяжелый и большой.
Три низких шляпы он надел
Одну поверх другой.
Его ни ливень не страшил.
Ни ураган ночной.
Тут добрый Робин преградил
Ему дальнейший путь,
Решив, что должен быть богат
Тот нищий чем-нибудь.

«Стой, – добрый Робин говорит. –
Стой, нищий, не беги!»
Тот не ответил ничего.
Но участил шаги.
«Так нет же, – Робин говорит, –
Ты не спасешься! Стой!»
«Клянусь, стоять я не хочу, –
Ответил удалой, –
Темнеет, к дому моему
Далекий путь тяжел,
Без ужина останусь я
И буду страшно зол».
«Клянусь я, – Робин говорит, –
Таская на спине
Подобный ужин, мог бы ты
Подумать обо мне,
Что тоже хочет каждый день
Обедать, может быть!
Хотел в харчевню я зайти,
Да нечем заплатить.
Вы, сударь, мне ссудить должны
На два иль на три дня».
«Свободных, – нищий проворчал, –
Нет денег у меня.
Ты ведь совсем еще не стар,
А, кажется, лентяй...
Не дам тебе я ни гроша,
Хоть год проголодай».
«Клянусь я, – Робин говорит. –
Сошлись не даром мы,
И не уйдешь ты от меня,
Не вытряхнув сумы.
Свой плащ заплатанный снимай
Да убирайся прочь,
Да развязать твои мешки
Не позабудь помочь.
И помни – коль посмеешь ты
Хотя б разинуть рот,
Я посмотрю, легко ль стрела
Через нищего пройдет».
С усмешкой нищий отвечал:
«Ты лучше опусти

Кривую палку; мог бы ты
И пострашней найти!
И не надейся – я не трус.
Нашел чем испугать!
На то лишь палка и годна,
Чтоб пуддинг ей мешать!
Попробуй, – спорить я готов, –
Ты, может быть, удал,
А не получишь ничего,
Не на того напал!»
Тут в гневе Робин изогнул
Свой благородный лук,
Вложил широкую стрелу,
Но не развел и рук,
Как благородная клюка
Ударила его,
И не осталось от стрелы
И лука ничего.
Напрасно Робин из ножен
Меч вырвал горячо, –
Другой ужаснейший удар
Разбил ему плечо.
Мне кажется, что сорок дней
Меча не тронет он.
Ни слова Робин не сказал
Душою огорчен.
Нельзя ни биться, ни бежать.
Что делать – он не знал.
А посох благородный тут
Еще жесточе стал.
По ребрам, шее, по спине
Был Робин награжден.
Пока, ударов не снеся,
Не повалился он.
«Послушай, – нищий говорит,
Теперь валяться срам,
Ты лучше, стоя, подожди,
Пока я денег дам!
Пойдешь в харчевню, да вина
Потребуешь бокал.
Пусть знают все твои друзья
Как славно ты гулял!»

Не молвил Робин ничего,
Не шевельнул рукой.
Недвижный, покрывался он
Землистой бледнотой.
«Скончался», – нищий рассудил
И храбро начал путь.
Желал бы я, чтоб на него
Вам удалось взглянуть.

Часть вторая

Трем людям Робина идти
Случилось тем путем,
Где предводитель их без чувств
Валялся под холмом.
Склонились к Робину они,
Рыдая тяжело.
Им рассказать никто не мог,
Что здесь произошло.
Они ощупали его.
Но не открыли ран,
Лишь у запекшегося рта
Кровь била, как фонтан.
Но пригоршня воды ему
Дала немного сил,
Он шевельнулся, поглядел
И вдруг заговорил.
«Что было с вами, господин? –
Спросили, – кто напал?»
Тут Робин про свою беду,
Вздыхая, рассказал:
«Прекрасный лук мой этот лес
Лет двадцать сторожит,
Но я никем и никогда
Так не бывал избит.
Какой-то нищий проходил,
Он на меня напал,
И ребра посохом своим
Он мне переломал.
На холм смотрите, – плащ его
Еще заметен там.
Вы отомстить ему должны,

Коль был я дорог вам.
Пусть тут же, на моих глазах,
Его накажет плеть.
Сюда велите, дайте мне
Спокойно умереть.
А если не достанет сил
Тащить его сюда,
Хоть преградите путь, а то
Я не снесу стыда».
«Вы слабы, вас оберегать
Останется один,
А негодяя приведут
Другие, господин».
«Клянусь я, – Робин говорит, –
Нет времени словам,
Поторопитесь, – как бы он
Не отплатил и вам».
«Нет, с ним расправа не трудна,
И нам неведом страх.
Пред проходимцем, что бредет
Лишь с посохом в руках.
Не долго устоит клюка,
Извольте лишь посмотреть.
Мы приведем его сюда
И приготовим плеть.
Тогда решим мы – пасть ему,
Иль на ветвях висеть!»
«Но будьте хитрыми, пока
Не ждет он ничего.
Да завладейте поскорей
Вы посохом его», –
Оставим Робина теперь
С одним из удалцов.
Он обессилел и не мог
Пройти и двух шагов.
Мы ж возвратимся к храбрецу,
Что на гору всходил
И, зла не помня своего,
Уже спокоен был.
Тот холм, где свой держал он путь,
Был молодцам знаком.
Три мили сократив, они

Пошли другим путем.
Спешили, не щадили сил,
Сквозь чащу, через грязь,
Ни на горы всходить, ни с гор
Спускаться не страшась.
И обошли врага, – ничто
Не помешало им.
У рощи спрятались они
Под деревом густым.
Там нищего подстерегать
Решили с двух сторон.
Не ожидая ничего,
Приблизился к ним он.
Чуть поравнялся, как один
Со всех рванулся сил,
Заметил посох и его
За острие схватил.
Сверкнул отточенным ножом
И закричал другой:
«Брось посох, негодяй, не то
Отходную запой!»
И посох отняли они,
И кинули в траву.
Чуть с горя нищий не решил,
Что бредит наяву.
Невероятен был его
Ужаснейший испуг:
Без посоха, он стал и слаб
И беззащитен вдруг.
Не знал, чего хотят враги,
Их велико-ль число.
Он смерти ждал, – в его душе
Отчаянье росло.
«О, ради Бога, – он сказал, –
На что вам жизнь моя?
Нож опустите, иль сейчас
Умру со страху я.
Ведь я не сделал никогда
Вам никакого зла.
За кровь несчастного вся жизнь
Вам будет тяжела».
«Ты лжешь, – ответили они,

– Клянемся в том, злодей.
Ты чуть героя не убил,
Отраду всех людей.
Мы поведем тебя к нему.
И что с тобою там
Нам сделать – вздернуть иль убить
Пусть выберет он сам».
«Все кончено – спасенья нет», –
Так нищий рассудил.
И свет Господен стал ему
И горек, и постыл.
«Освободиться-б, – думал он.
– Да посох мне опять.
Пусть попытаются они
Тогда меня связать».
И он задумался – нельзя-ль
Дела восстановить
И этих молодых людей
Во всем перехитрить.
Хотел за стыд пережитой
Он причинить им зло.
Дул резкий ветер – он решил,
Что тут ему везло.
«Оставьте, – молвил, – господа,
Вы нищего пожить,
Ведь вам не может кровь его
Ни в чем полезной быть.
Ведь, защищаясь, я убил
Того, кто нападал.
За жизнь награду поценней
Охотно я бы дал.
Пустите честно, не сломав
Мне шеи иль ребра –
Сто фунтов ваши, да еще
Не меньше серебра.
Его я долго под плащом
Копил и собирал.
В мешок запрятал, и никто
Того не замечал».
Совет понравился и вмиг
Свободен нищий был.
Ведь было ясно, что бежать

Он не нашел бы сил.
Решили юноши: сперва
Все деньги отберут
И, нищему не дав уйти,
На месте же убьют.
Ведь добрый Робин знать не мог
Об этом ничего.
Он счастлив будет услышать.
Что умер враг его.
«Что время тратить, – говорят, –
Рассчитывайся, плут.
За преступление с тебя
Недорого берут.
Коль все сокровища отдашь.
Не изменив словам,
Свободным сделаешься ты.
Чтоб ни грозило нам».
Тут на заплатанном плаще
Мешки он растянул
Тяжелые, – со стороны,
Откуда ветер дул.
Большую сумку отцепил,
Набитую едой;
Что пара дятлов там была,
Ручаюсь головой.
Он широко ее раскрыл
И, в обе взяв руки,
Слегка приподнял над собой.
Не двигались стрелки.
Тут все лежащее в мешке –
Хлеб, пироги, яйцо –
Собравшись с силами, швырнул
Он прямо им в лицо.
Им показалось – свет померк
За черной пеленой.
Был нищий радостью объят
И поднял посох свой.
Он поглядел, – как их наряд
Испачкан, загрязнен,
Почистить платье надо им,
И чистку начал он.
Они еще не поднялись,

Еще был мутен взгляд, –
Удары крепкие на них
Посыпались, что град.
Стрелки бесстрашные бежать
Со всех пустились ног.
Проворен нищий, – но никак
Он их догнать не мог.
«Повремените, – вскрикнул он,
Куда же так спешить!
Ведь не успели вы еще
И денег получить!
Скажите: из мешка-ли пыль
Так испугала вас?
Хороший посох у меня.
Все вычистит тотчас!»
Но не ответили они,
Безмолвней мертвых скал.
Покуда нищий в темный лес
От них не убежал.
Напрасно было бы искать
Его во мгле ночной.
Судите сами, как они
Отправились домой.
Все просит Робин рассказать.
«Все плохо», – говорят.
«Но, – молвил Робин, – были-ль вы,
Где мельницы стоят?
Обильна мясом та земля.
Хоть все зубами рви.
Не оттого-ль плащи у вас
В лохмотьях и крови?»
Им стыдно слово проронить,
Им не поднять главы.
«Я, – молвил Робин, – так и знал,
Что попадетесь вы.
Все дело расскажите мне.
С начала до конца.
Как встретили, куда свели
Как били молодца?»
Тут все, что я вам рассказал,
Поведали ему:
Про то, как нищий их провел,

Опорожнив суму,
Как ребра все до одного
Он им пересчитал,
Как в чашу темную потом
Коварно убежал,
Как добрели они домой.
Как больно им ходить...
И вскрикнул добрый Робин: «Вон!
Позора нам не смыть».
Хоть Робин яростью пылал,
Но тем развеселен,
Что заплатились удалцы,
Им улыбнулся он!

Томас Мур

**Огнепоклонники
Поэма**

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Луна над водами Омана
Горит: как жемчуг, острова
Блестят под пеленой тумана,
И волн смеется синева.
Уж спит Гармозия – блеск мира.
И в яшмовый чертог Эмира
Луч легкий бросила луна.
Там дикий рог звенел, зурна
Томила жаждавшее сна
И утомленное светило,
И было непонятно ей
Что на закате солнцу милы
Лишь лютня или соловей.
Ничто не возмутит природы,
Молчат и берега и воды.
Не колыхнет волны зефир,
Ни листьев не взметнет круженья,
И тщетно б ждал Эмир
На легкой башне дуновенья.
Но деспот аравийский спит,
Им стонущий народ забыт.
Пусть в воздухе горят проклятья
И яростно отцы и братья
Меч вырывают из ножен,

Чтоб был Иран им отомщен, –
Бездушный вождь, он глух к печали
И к звону смертоносной стали.
Он родом от убийц святых,
Что дух Корана чтут глубоко
И верят, ждет блаженство их
За кровь отступников пророка.
Он – там, где им же враг убит,
Стоит коленопреклоненный,
И стих молитвы говорит
На жаркой сабле иссеченный;
Он холодно, не трепеща,
Глядит на лезвие меча
И надпись, не смывая крови,
Читает, чуть нахмутив брови.
Аллах святой, как взглянешь ты,
Когда он смело пред тобою
Предстанет, древних книг листы
Держа кровавою рукою
И утверждая, что и в них
Есть оправданье дел таких?
Не так ли в Трапезунде пчелы
По чашечкам цветов сидят,
Чтоб извлекать из них тяжелый,
Лишающий рассудка яд?
Еще Аравия тирана
Сюда такого не слала,
Еще над селами Ирана
Тень не была такого зла.
Пал трон, земля полна врагами,
Окованы сыны цепями,
И в рабстве горестные дни
Едва дыша влачат они.
О, стыд! Погасло Митры пламя,
Богоотступники толпами
Аллаху строят алтари
И забывают под мечами
Все то, что чтили исстари!
Но есть средь этого крушенья
Пылающие жаждой мщенья
Сердца; им чудится возврат
Годов величия и славы,

Объяты мглой, они хранят
Луч солнца, поздний и кровавый,
Меч в исполнение приведет,
Что сердце дерзко замышляет,
И скоро, скоро должен тот,
Кто мирно ныне отдыхает,
Лелеемый во сне луной,
Изведать горький жребий свой!
Так спи теперь, – иные очи
Пленит сиянье звездной ночи,
Покойся, – пусть над сном твоим
Прострется мгла, суровый воин.
Лишь тот, кто любит и любим, –
В час нежный бодрствовать достоин.

Там, где утесы в небеса
Уходят, в облаках тумана
Есть башня; чьи-то волоса,
Разметаны легко и странно,
Как перья царского султана,
Волной упали из окна.
То – дочь Эмира, то – она,
Она – дитя орды мятежной,
Цветок пленительный и нежный,
Как будто Юности ручей,
Шумящий средь нагих полей.
О, чистоты для нас священной
Бывает Красота полна,
Толпы чуждаясь дерзновенной
И келье девичьей верна!
Цветок над темными волнами
Поднявший чашу, от лучей
Не так укрыт, как за стенами
Ты в тихой горнице твоей.
О Гинда, под густым покровом
Незрима ты мужам суровым,
Безмерно счастлив будет тот,
Кто твой порог перешагнет.
Так путник, знавший лишь унылый
И пенистый простор морей,
Причаливает к роще милой
И землю топчет, где ничей

Шаг не звенел в тиши ночей.
Прекрасны девушки, что летом
По рощам Йемена скользят,
Через покрывала жарким светом
Их взгляды встречного дарят.
Невесты вереницей нежной,
Как цвет жасмина белоснежный,
Мелькают в сладостной тени
Иль средь благоуханий рая
Пред зеркалом проводят дни,
Пышнейшей прелестью блистая.
И жен великого султана,
Но даже тот, кто знал гарем
И тот остановился б нем
Пред юной дочерью Гассана!

Легчайшим отраженьем сна
Казалась Гинда, но она
Чар женщины была полна.
Пред блеском девичьего взора
Прочь отступала тень позора
И грех был жалок, как змея,
Что слепнет, изумруд найдя,
Ее влекли и волновали
Желанья юные, печали,
И мир иной казался ей
Отчизной, как и мир страстей.
То сердце, пылкое без меры, –
Палил огонь небесной веры
Через оболочку чувств земных.
Так летом в зарослях густых
Луч, не удержанный листвою,
Горит такую чистотою,
Таким теплом, что эта тень
Прекрасней кажется, чем день.

Та дева в тишине безмолвно
И робко встала с ложа сна,
На темно-голубые волны
Глядела пристально она.
Ах! Не в слезах она когда-то,
Не горьким трепетом объята,

В дни радостей, в стране родной
На мир глядела пред собой.
Зачем блуждает взор смущенный
По глади моря озаренной
И по отрогам черных скал?
Что ночью дух ее тревожит?
Утесы круты, крепок вал.
Никто проникнуть к ней не может.

Был мыслью той Гассан пленен,
Когда для отдыха от зноя
Полднего построил он
Ту башню мира и покоя
И, щедро разубрав ее,
Мнил и приятной и надежной.
Мечтатель! Дли же забытье,
Забудь, что все любви возможно,
Любви, не знающей труда,
Любви, берущей счастье с бою,
Чьи наслаждения всегда
Цветут над бездною глухою!
Неустрашимей, чем пловец,
Что вглубь за жемчугом ныряет,
Когда наступит бурь конец,
Любовь тот перл и выбирает,
Что скрыт разгневанной волной.
Да, дочь Аравии, пусть твой
Чертог на скалах, путь опасен,
Есть юноша, что лишь за взгляд
Очей твоих взойти согласен
На недоступный Арарат.
И кажется стезею рая
Ему к тебе стезя крутая.

Но наконец ночь донесла
Плеск беспокойного весла.
Ты вдруг удар о скалы слышишь
Челна, ты все прерывней дышишь,
Белее снега, руки ты
Безмолвно тянешь с высоты,
Как встарь над бездною глухою
Невеста – милому герою,

Едва взбиравшемся к ней
По грудам вековых камней.
Она, в отчаянии глядя,
Как шел он от преград к преграде,
Вниз косы бросила свои,
Крича: «Возьми, мой друг, возьми!»

Нет, даже Заль такой отваги
В час подвига не проявил.
Чрез горные ручьи, овраги
Он к Гинде весело спешил.
Глядите – дикие газели
Не скачут легче и смелей.
Бесстрашный, он все ближе к цели,
Еще прыжок, и он у ней.

Любила Гинда, не пытая,
Откуда он, какой земли.
Так в рощах Индии чужая
Вдруг птица промелькнет вдали:
От стран цветущих и зеленых
Она порывом бурь соленых
Принесена, – на миг блеснет
И далее стремится полет.
Умчится ль и любовник странный?
Аллах, спаси! Забыть ли ей,
Раз ночью теплой и туманной,
Склонясь над лютнею своей,
Она сидела; чрез решетки
Той милой башни в первый раз
Почудился ей взгляд короткий
Блестящих незнакомых глаз.
Здесь человека быть не может,
Не духа ль доброго тревожит, –
Она решила, – лютни звон,
Не слушать ли спустился он?
Та мысль ее не покидала,
Но вдруг, одолевая страх,
Она безумца увидала,
Лежащего в ее ногах.
Бессвязно с уст его летели
Ей чуждые слова, горели

Глаза все жарче и смелей.
И Гинда вздрогнула, решая,
Что падший ангел перед ней,
Быть может изгнанный из рая,
Как те, что полюбили дев
Земных, и беспощадный гнев
Небесный на себе познали,
И рай на женщин променяли,
Нет, юная, не дух благой,
Не демон – соблазнитель твой,
Но сын земли отважный, страстный,
Который ни в любви своей,
Ни в вспышках ярости ужасной
Не знает равных среди людей.
Но этой ночью страсть молчала,
Был взор тоскою омрачен,
Таким она его не знала,
Таким ей только снился он,
Чтоб было сладостней проснуться,
Заплакать или улыбнуться.
Но сон подобный целый день
Порой томит нас и смущает,
Как бы блуждающая тень,
Что след печали оставляет.

«Как нежно, – наконец она
Проговорила, смущена,
Уж долго глядя молчаливо
На золотую даль залива, –
Как нежно, серебрясь едва,
Блестит на острове листва!
Как часто, друг мой, я мечтала,
Чтоб сила дивная умчала
Тот остров в чуждые моря
И чтоб и мы там скрыты были
И чтоб, очнувшись, ты и я
Уж вечно неразлучно жили.
Там обитали б мы одни,
Людей озлобленных не зная,
И нашего блаженства дни
Там охранял бы ангел рая.
Ответь, ты тоже был бы рад?»

И к другу, – дети так шалят, –
Она игриво наклонилась,
Но юноши был скорбен взгляд.
Ее веселье омрачилось,
Ручьями слезы потекли.
«Нет, нет, не лгали мне мои
Предчувствия, – она сказала, –
Мы расстаемся. О, как мало
Мы знали счастья, минет ночь,
И с нею жизнь умчится прочь!
О, я обречена с рожденья
И грусть изведала давно,
Мне только нравилось растение,
Как уж и вянуло оно,
Мне только стоило к газели
Привыкнуть, полюбить ее,
Как судорога в хрупком теле
Ей прекращала бытие.
А эта краткая отрада
Быть вместе и тебя любить,
И звать своим – ужели надо,
О, скорбь, и это мне забыть?
Ты прав, иди, иди... свиданья
Здесь так опасны... море, мгла...
Не возвращайся... Что страданья!
Тебя ведь гибель здесь ждала.
Прощай! Дорогою далекой
Ты помни, – я тебя люблю,
Мне лучше вечно одинокой
Быть, но не видеть смерть твою».
«Смерть! О, зачем меня пытаешь, –
Воскликнул он, – иль ты не знаешь,
Что смерти не боится тот,
Кто лишь в опасностях живет,
Кто, звону битв всегда внимая,
И бодр и весел лишь в бою,
Кто дремлет, голову склоняя
На саблю верную свою.
Смерть!» – «Боже! Ты находишь силы,
Мы будем вместе... будем, милый!»
«О, не гляди так на меня,
Боюсь я глаз твоих огня.

Ведь если что-нибудь на свете
Могло б мне душу совратить
Иль клятвы, данные в обете,
Навек мне в памяти затмить,
То лишь глаза твои. Пред ними
Честь, мощь мне кажутся пустыми.
Но жребий пал, – все решено,
Нам разлучиться суждено
Навек. Зачем, зачем судьбою
Мне было встретиться с тобою
Позволено в пылу страстей?
О, дочь Аравии, скорей
Соединится мгла со светом,
Чем мы в жестоком мире этом.
Отец твой...» – «О, храни Аллах
Его священные седины,
Не знаешь ты, – в его полках
Лишь смелые, лишь он единый
Из все властителей вокруг
Тебя оценит, милый друг.
Когда-то рукоять кинжала
Ребенком ухватила я.
И он поклялся, – я слыхала, –
За воина отдать меня.
Да и теперь, когда с шербетом
К нему спускаюсь я порой.
Он молвит с ласковым приветом;
Что ждет меня жених-герой
И что для счастья дев нужны
Огни побед и гром войны.
О, не бросай меня, до гроба
Тебя любить мы будем оба,
Вступай в отряды, бросься в бой...
Мы Персов гоним ведь... ты знаешь,
Как грозен взгляд твой! Что с тобой?
Ты яростью уже пылаешь?
Едва займется утра луч,
Беги, бесстрашен и могуч,
И помни, саблю обнажая
Что здесь всегда тебе верна я.
Один победоносный бой
И, ненавистник Гебров, мой

Отец...» – «Молчи, мне слушать больно!» –
Несчастный вскрикнул и невольно
Плащ сбросил и почти без сил
Гебрийский пояс свой открыл.
«Гляди, – плачь безутешно, дева,
Я тот, кого назвать без гнева
Отец не может твой. О да,
Я сын бесчестья и стыда,
Народ неверный мой веками
Чтит благодетельное пламя,
Я тот, кто падая от ран,
Отмстить клянется за Иран,
Кто умирающим и слабым,
Позора не простит Арабам,
Кому богатый выбор есть –
Смерть или без пощады месть.

Родитель твой... уйми волненье...
Ты чтишь его, и для меня
Он свят, как место зарожденья
Миродержавного огня.
Но знай, что в час, как в эту келью,
Заметив свет, я поднялся,
Лишь жизнь его была мне целью,
К добыче устремился я,
И... но ты знаешь остальное,
Увидел ястреба гнездо я
И робкую голубку в нем.
Ты, ты – виновница в моем
Бесчестии, – Любовь убила
Мысль, что Отчаянье вскормило.

О, если бы не знать тебя,
Иль хоть забыть был в силах я
О том, что нас блаженство ждало,
Когда б не пропасть разделяла.
Была бы персианкой ты,
И мы б с тобой детьми играли,
И наши думы и мечты
Родимым алтарям вверяли.
Одела б доли и поля
Тень милого душе обмана,

И, может быть, смешал бы я
Твой образ с образом Ирана.
Мне б в лютне слышался твоей
Зов миновавших, славных дней,
Твоя б улыбка говорила,
Что Персии воскреснет сила,
И, наконец, когда земля
В тебе жила, звала, дышала,
О, как врагов рубил бы я,
Как мощь моя б торжествовала.
Но нет, – все несогласно в нас.
Разлуки неизбежен час.
Мы связаны одной любовью,
Разделены огнем и кровью,
Мы честь забыли, помним страсть,
Отец твой лютый враг Ирана,
И ты... нет, было б слишком странно,
Чтоб ярость так была нежна,
И, может быть, за жизнь, за силы,
Что отдал я, моя страна
Тебе навеки будет милой.
Быть может, в час, когда в крови
Бойцы падут, заплачут вдовы,
Ты вспомнишь о моей любви
И жалости промолвишь слово!
Но погляди...» И, вздрогнув, ей
Он указал на цепь огней,
Мерцавших, гасших временами
Над отдаленными волнами.

Порой там пенилась вода,
Ракета быстрая взвивалась,
Как бы упавшая звезда,
Что вновь на небо возвращалась.
«Мои дозоры! Минул час,
Миг промедленья губит нас,
Прощай, любовь! Прочь оболъщенья, –
Тебе принадлежу я, мщенье!»
И на утесы спрыгнул он,
Внезапным гневом потрясен,
На башню взгляда не бросая,
Любовь свою на смерть меняя.

Безмолвно Гинда, чуть дыша,
Стояла, и ее душа
Окаменела от печали.
Но в миг, как волны зазвучали,
Раздался голос с высоты:
«Иду, иду! О, если ты
Погибнуть должен под волною,
Хочу и я на дне с тобою
Лежать. Пусть золотым песком
Покроюсь, порослью зеленой,
Но лучше умереть вдвоем,
Чем жить с тобою разлученной!»
Но нет, – еще не минул срок,
И Гинда, одолев истому,
Глядит, как близится челнок
К ее жилищу роковому.
Бежит спокойная ладья,
Луч серебристый отражая,
Как будто чей-то сон тая,
Ничьей любви не разбивая.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Зажегся медленный рассвет,
Чуть озарив Залив Зеленый,
И пальм Барейнских пышный цвет,
И рощи Кишмы благовонной.
Покрыт росой арабский стан,
Индийский плещет океан
И бьется у скалы священной
Селама, где на дне лежат
Рожь, чечевица, злак ячменный,
И финики, и виноград –
Дары усердные простые
Матросов, чтоб береговые
Попутные ветра послал
Им добрый Гений этих скал.
Где ж соловей? Над рощей темной
Ночь оглашал он трелью томной,
И не внимал никто ему.
Но чуть заря сменяет тьму,
Таится он между кустами,

Где крепкую листву гранат
Роса такими жемчугами
Украсила, что был бы рад
Их вделать в ножны ятагана
Наследник самого султана.

Глядите же, – заря зажгла
Два ослепительных крыла.
О Ангел света, ты, который,
Опередив созвездий хоры,
Понесся в небе за Творцом
Его пылающим путем,
Ответь, зачем, о чудо мира,
Исчезли дни, когда Иран
Твоим лучом был осиян.
Когда от берега Бендемира
До Самарканда лишь твои
Горели в капищах огни?
Что с ними сделалось? Пусть тени
Тех, что в Кадессии легли
И видели пожар селений
И плен своей родной земли,
Ответят на слова мои.
Пусть даст ответ изгнанник бедный,
Тот, что томится, хилый, бледный,
У Каспия крутых ворот
Иль в скалах Моссии живет,
Не видя орхидей, каштанов,
Ни легких солнечных фонтанов.
Там тосковать ему милей,
Чем быть на родине своей
Игрушкой злобы и страстей.
О, лучше по миру скитаться,
Отдав свободе жизнь свою,
Чем рабьим счастьем наслаждаться
Там, в завоеванном краю!

Ужель Иран забыл и гордость,
Как отблеск Митровых огней?
Нет, живы те, в чьих душах твердость,
Те, что не подставляют шей
Под взмахи вражеских бичей,

Те, что в ожесточеньи яром
Удары отразят ударом,
Что ненависти горький яд
Годами долгими таят
И вспыхивают без закона,
Как будто дерево Цейлона,
Что шумно расцветает вдруг
И потрясает все вокруг.

Да, тот, что полночью глухою,
Эмир, твой замок посетил.
Гебр, что склонившись над тобою,
Тебя б, наверно, пощадил.
Ты выходец из шайки смелых,
Детей селений опустелых.
Им ясно, что тщетна борьба,
Что безнадежна их судьба,
Что тот, кто цепи разбивает,
Осколком сердце поражает,
Но все ж бестрепетны они,
И в смертный бой летят одни,
И вольные кончают дни.
Ты знаешь их: еще недавно
Твоя тяжелая нога,
О деспота сатрап бесславный,
Попрала эти берега,
И здесь полков священных сила
Тебе дорогу преградила.
Араб заносчивый, ты смел
Счесть покоренным их предел,
Но лишь корабль твой в море вышел,
Ты клич мятежников услышал.

Мятеж! Позорный, страшный звук,
Которым часто оскверняли
То дело правое, что лук
Иль меч отважно защищали.
Какое множество из тех,
Чьи доблести бы мы любили,
Кто б знал и славу и успех,
Тем именем убиты были!
Так испарения земли,

Что в ночь холодную взошли,
Сгущаются и остывают,
Туманом тут же ниспадают,
Но, раз поднявшись на простор
И окружив вершины гор,
Там, в небесах, они над нами
Парят лучистыми крылами.

Кого же не зовут рабом
У волн Зеленого Залива,
Кто воин тот, пред чьим копьем
Меч Йемена молчит стыдливо?
Кто в битву ринуться готов
Лишь с горстью Керманских стрелков,
Тех горцев, преданных обрядам
Родительского алтаря,
Так, точно Бог, прощальным взглядом
Иран оставленный даря,
На выси бросил снеговые
И веры отблески златые.
То Гэфид, – сердце леденит
И заклинанием звенит
Звук этот, – оживить он в силах
Больных иль мертвецов в могилах,
То Гэфид, кто меж сыновей
Огня казался всех грозней
Ужаснейшему из вождей!
Глубокой ночью часовые
Рассказывают про такие
Жестокие дела его,
Что, и не видя никого
Не слыша ничьего движенья
В уснувшем лагере, солдат
От страха опускает взгляд.
Чудовищно его рожденье,
Исчадием огня и мщенья,
Потомком королей он слыл,
Тех, что на шляпу золотое
Перо похитили из крыл
Симурга, древнего героя,
Птенцом той проклятой земли,
Что демоны спасать пришли

И, на погибель правоверным,
Мощь дали полчищам безмерным.
Такие рассказы сплело
Тревожное воображение
Про человека, чье чело
Не отражало ни смущенья,
Ни ужаса, и кто в бою
За благоденствие народа
Отчизну вспоминал свою
И слово дивное – Свобода.
Он сын воителей былых,
Род Гебров озарили их
Дела, – так на Ливанских склонах
Лес кедров темных и зеленых
Под сенью бережет своей
Уже скудеющий ручей.
Нет, то не он поникнет
Пред Мусульманской тиранией,
Не он, чья мучилась душа,
Минувшей славою дыша,
Чья юность омрачалась думой
Меланхоличной и угрюмой,
Кто для счастливейших времен
Ирана был в слезах рожден.
Нет, оставался чужд он слабым,
Тем, что склонялись пред Арабом
Безмолвно – как цветок степной
Под ветром, веющим грозой.
Бежал он прочь в негодованьи
Из опозоренной земли.
Плен братьев, слезы их, страданья
Его, как злое пламя, жгли.
Тот свет, который для влюбленных
Порой в улыбках первых есть,
В мечах он видел обнаженных,
Несущих вольность или месть.

Но, в час бесчестья и обмана
Что цвет воителей Ирана
Пред всемогуществом Гассана?
Напрасно дерзкого встречать
За ратью выходила рать,

И все неустрашимы были
И путь телами преградили.
На каждый поднятый кинжал
Завоеватель отвечал
Тьмой их, на всех, кто там решался
Пройти наемников, бросался
Бесчисленный, кровавый рой,
И все сметал он пред собой,
Как туча саранчи степной.
Есть близ Гармозии старинной
Утес огромный, – над пучиной
Омановой сверкает он,
Его волною отражен;
То лишь обломок одинокий
Цепи, что, падая, ведет
От Каспия волны далекой
До берега Зеленых вод.
Проносятся над ним туманы,
И, как нагие великаны,
Подножье скалы стерегут.
А наверху, под облаками,
Есть храм, разрушенный годами
Неумолимыми, – и тут
Порою сонная орлица,
Задев о стены, удивится,
Что и на высоте такой
Жилища строит род земной.

Протяжным отзвуком в пещерах
Рев отдается гребней серых,
Стремительно летящих к ним,
Оттуда с рокотом глухим
Такие звуки долетают,
Такие рассказы сплетают
Про демонов, плененых там,
Что мусульманским храбрецам
Под вечер огибать те скалы,
Становье Гебра, – жутко стало.
Но с суши каменистый склон
Как бы осилил мощь Времен,
От человека отделенный
Мглой беспросветной и бездонной,

Где громоздящихся громад
Ничей не различает взгляд. –
Там призраки, толпою жадной
На пир слетаясь безотрадный,
Роятся. Там потоков рев
Вздывается до облаков,
Окрестность громом наполняет,
И человек не различает,
Что это – гул волны морской
Иль пламени подземный вой, –
Огонь ведь всюду – на утесах
Обрывистых, крутых откосах,
И хоть и минули давно
Дни славы той горы священной,
Хоть все разбито, сожжено
И жрец изнемогает пленный,
Огонь, случайности презрев,
Судьбы и милости и гнев,
Бессмертной силою пылает,
Как Бог, что волю отражает,
Там скрылся – с армией своей
Разбитой Гэфид побежденный.
«Привет, о мыс уединенный, –
Сказал он, – рая ты светлей
Нам, убежавшим от цепей».
Пройдя по снеговым громадам,
Знакомым лишь его отрядам,
На башню Гэфид поднялся.
«Здесь нам защитой небеса, –
Воскликнул он, – здесь нашим ранам
И смерти мы приют дадим,
Не позволяя мусульманам
Торжествовать и петь над ним!
Здесь мы увидим, умирая,
Как ястребов голодных стая
Над нами кружит, – смертный час
Здесь вольными застанет нас».

Ночь темная была, и пламя,
Вздывавшееся меж стенами
Разрушенными, трепеща,
Горело на клинке меча.

«Все кончено. Мы все свершили.
Пусть, пусть Иран уступит силе,
Пускай не возмутит его,
Что и столетний жрец, и воин
Покорны прихотям того.
Кто Бога своего достоин,
Пусть наши лучшие сыны,
Чьи жилы кровью – о, мученье,
Рустемовой еще полны,
Гассана усладят мгновенья,
Пусть Митры погасят огни,
Пусть Магомета чтут они
И ползают перед врагами
Ирана до ужасных дней,
Когда в отчаянии сами
Застонут от своих цепей,
До дней, когда отчизны повесть
Им сердце возмутит и совесть
Их слезы за года обид
Потоком желчи обратит.
Здесь нет в оковы заключенных,
Нет душ, бесчестьем омраченных,
Не осквернил тиран иль раб
Утесов этих отдаленных,
Пусть знает яростный Араб:
Мы слабы, близок час паденья,
Но есть в нас сила для отмщенья!
Как те пантеры, что в горах
Ливанских нагоняют страх
На путников, – победно клича,
Мы ринемся к своей добыче,
И в час, когда как в забытьи
Мы сабель горькое прости
Услышим, и умрет желанье,
И вздох испустит Упованье, –
Тогда за честь родной страны
Падут, отчаянья полны,
Ей все отдавшие сыны».

Так он сказал. Ему рядами
Внимали воины, и в пламя
Меч острый погружали, – мгла

Ужасна и мрачна была.
Разбиты башни, плющ на склонах,
Нет рощ, нет и садов зеленых,
Что волей Магов здесь цвели
Для Призраков – гостей земли.
Забыты жертвоприношенья,
Алтарь, священные плоды,
Нет боле гимнов, иль куренья,
Иль символов святой звезды.
Но Бог великий все же слышал,
Когда на середину вышел
Их Вождь и родиной своей
Отмстить поклялся за детей
И жен, и на огнистых скалах
Не знать ни слабых, ни усталых,
И заколоть себя мечом
Здесь, пред последним алтарем.

Отважные сердца, печали
Исполненные, вы не знали,
Как дева молодая в час
Полнощный молится о вас.
Чужда желаньям и порокам,
Она жила как бы в глубоком
И мирном сне, пока Любовь
Ее не возмутила кровь.
Эмир! Ты помнишь, как спокойно
Беседовал ты с ней про войны
Твои? – Так лилия цветет,
Блестая чашей золотою,
Пока на землю не падет,
Под жаркой, красною росой.
За пряжею, по вечерам,
Без изумления, без гнева
Иль жалости внимала дева
Твоим кровавым повестям,
И иногда, бродя по залам
Гарема, злобным и усталым,
Бледнея, клял ты, раздражен,
Ее напевов легкий звон,
Звучавший лютней херувима
Близ адова огня и дыма.

Преобразила все любовь.
Ей пламя душу опалило,
Был взор печален, хмура бровь.
Мысль роковая все затмила.
Ей слышались слова его:
«Всех пожалей за одного!»
И в неизвестности унылой
Ей каждый Гебр убитый был
Так дорог, точно Гэфид милый
Одну с ним участь разделил.
На стали сабель обнаженных
Кровь друга видела она,
И каждая из стрел каленых
Его пронзить была должна.
Иной, тревожною стопою
Теперь она Гассану к бою
Мечи несла, и если б мглою
Ум злобный не был омрачен,
Наверно бы заметил он,
С полей кровавых возвращаясь,
Как шла она к нему, шатаясь,
Как быстро увядали в ней
Жизнь, молодость, и блеск очей,
И красота, – и, пораженный,
Он сжалился бы над влюбленной.
Ах, та ли, что всегда светла,
Любовь в груди ее жила,
Та ль, что, родившись здесь, на тесной
Земле, нас к высоте небесной
Уносит, что пленяет свет,
Чей сладостен и чист рассвет
И что из нашей жизни тленной
Творит как бы удел блаженный?
Нет, Гинда, нет – ведь роковой
Огонь твой вскормлен тишиной,
Позором, мукою бессонной.
Хранит его душа твоя,
Как некий идол утаенный,
Без надписи, без алтаря,
Где по ночам лишь жрец унылый
Томится точно над могилой.

Семь раз волну Омана ночь
Покровом темным омрачала
Со времени, как Гебра прочь
От берега ладья умчала.
Но, полночь каждую без сна,
Рыдала Гинда у окна.
И милого звала, чья нежность
Ее вскормила безнадежность.
Но что тоска, и плач, и страх!
Не видно лодки на волнах.
Лишь где-то над скалой далекой
Орлицы клекот одинокий
Иль однозвучный крик совы,
Летающей грузно и устало
Издаюка в родные рвы,
Порой несчастная слыхала:

Горит восьмой рассвет, – чело
Араба радостью сияет.
Чью ж гибель утро принесло,
Что Аль-Гассана улаждает?
Мерцание Геркендских волн,
Что в щепы разбивает челн,
Обманчиво, но без ошибки
Читали смерть в его улыбке.
«Дочь, дочь, вставай, – призывный зов
Трубы разбудит мертвецов! –
Вставай и радуйся со мною
Дню, посланному мне судьбою,
Дню гибели врагов моих
И разоренья станов их!
Еще до утра он, убитый,
Растерзанным под эти плиты
Падет, еще сегодня в ночь
Я кровь его увижу, дочь».
«Что! Кровь его!» – изнемогая,
Весь мир, всех близких забывая,
Воскликнула она. «Да, да,
Погасла Гэфиды звезда!
Помощница у нас – измена.
Иначе б на своих скалах

Они бы избежали плена,
Там их не взял бы и Аллах!
Но ныне этот непокорный,
Что мертвецами мне устлал
Дорогу, этот демон черный,
Что мне бесчестьем угрожал,
Изведает, как наш кинжал
И меч вонзаются глубоко
В грудь оскорбителей Пророка.
О, Магомет! Клянусь твоим
Венцом и именем святым –
За каждый стон, что извлеку я
У душ неверных, торжествуя,
Я врежу, возвратясь домой,
Персидский перл в светильник твой.
Но что это?.. она слабеет
Поблек румянец... взор тускнеет...
Дочь, дочь!.. здесь жизнь тебе вредна,
Ты жить в Аравии должна.
Поверь, здесь изнывают сами
Герои... ты же так хрупка,
Ведь думал я, что перед нами
Падут персидские войска, –
Меч поднимает их рука!
Но ободришь, дитя родное,
Сегодня ж море голубое
Тебя отсюда унесет,
И лишь когда ты дома будешь
И в нежных рощах грусть забудешь,
Здесь кровь неверных потечет».
Знал истину завоеватель.
Был на горе Огня предатель,
И, золотом врагов пленен,
Им указал дорогу он
Чрез бездны и седые воды,
Туда, в убежище свободы.
В ужасную, глухую ночь,
Когда со скал священных прочь
Сыны Ирана в бой помчались,
И умирали, и прощались
С надеждою, – меж хладных тел
Изменник низкий уцелел.

Заря лишь рабство озарила
Того, кого ждала могила.
И в час, как редкие полки,
На скалы возвратясь свои,
Бой вспоминали, жив, пленен,
Над ними же глумился он.

О, где я обрету проклятья,
Чтоб обратить их на того,
Кем преданы отцы и братья!
Кто дал Арабам торжество!
Пусть пред его горящим взглядом
Жизнь держит только кубок с ядом,
Пусть утешенья перед ним
Рассеиваются, как дым,
И обратятся чувства жадным
Обманом злым и безотрадным.
Пусть будет вечно жаждать он,
Огнем бессмертным опален,
Пусть раздается долгий стон
Изменника в глухой пустыне
И блеск волны небесно-синей
Сквозь тучи из песка и тьму
Всегда мерещится ему.
Когда же здесь его мученья
Минуют, сделай так, Пророк,
Чтоб видеть райские селенья
Из пекла ада он мог!

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Зловещий день встает: безмолвны
Тяжелые, тугие волны.
А в небесах седой туман
И рвет и треплет ураган.
Над гладью сонного залива
Летят в лохмотьях облака,
Здесь пелена их, точно грива
Коня, подвижна и легка,
Там их свинцовые громады
Быть колыбелью грома рады,
Иль, открывая даль небес,

Ложатся на прибрежный лес,
Как будто буря, что разбила,
Разорвала родную твердь,
Теперь и на земле решила
Посеять ужасы и смерть.

Но на земле еще спокойно.
Молчание долины знойной
Ужасные дела сулит
И людям сердце леденит.
Искатель перлов у залива
Погоды ждет нетерпеливо.
Морские птицы голосят
И бьют крылами; рулевые,
Минуя берега крутые,
Спускали паруса подряд
Шесть раз. Все гибель предвещало
В тот час, как Гинда покидала
Персидский разоренный склон.
Не раздавался лютни звон,
Ни друг не медлил над волною,
Чтоб горестно махать рукою.
Один по глади сонных вод,
Никем не зрим, корабль плывет,
Как чрез ворота слез, безмолвно
И медленно проходят челны.

Где ж был в тот час Гассан?
Урвал ли бич племен и стран
У грозных битв одно мгновенье,
Чтоб Гинде дать благословенье?
Нет, гневно в глубине дворца,
Твердя проклятья без конца
Или молитвы, он блуждает
И вражьей крови ожидает,
И буйно радуется ей.
Так близость жертвы разъяряет
Орла средь выжженных степей.
А дочь его плывет, рыдая,
Из им разграбленного края,
Подобная голубке той,
Что возвестить про славный бой
Должна, но только бьет крылами,

Подстреленными ей врагами.
Ужель и память милых лет
Румянца не вернет ей цвет?
Знакомые кусты, палатка,
Где грезить так бывало сладко,
Толпа газелей дорогих
И звонкий колокольчик их,
Птиц золотое оперенье,
И рыб веселые стада,
И в ясный полдень их движенье
В прозрачной глубине пруда
И цвет акаций, и решетки
Садов, где вечером она
Пойдет рубиновые четки
Перебирать в руке до сна, –
Ужель виденья те бессильны
Пред ней рассеять мрак могильный?
Безмолвно, точно в забытьи
Полузакрыв глаза свои,
Сидела Гинда и порою
Казалась скорбною сестрою
Недвижных Ангелов могил.
Пред дикими скалами плыл
Ее корабль и перед храмом,
Где будет яростным Исламом
Взята чрез несколько часов
Горсть непокорных храбрецов.
«Где ты теперь, изгнанник милый,
Любимый мной с такою силой,
Гебр, возмутитель, всем чужой,
Лишь мне навеки дорогой?
О да, Аллах неумолимый,
Когда путем греха пошли мы,
Пусть гневная волна твоя,
Что бьется в стены корабля,
Меня поглотит, пусть забвенье
Наступит до того мгновенья,
Когда, все бросив, разлюбя,
Отца, и близких, и Тебя,
Пред идолом его паду я!
Так пламенно его люблю я,
Что даже и в раю Твоём

Я вспоминала бы о нем».
Глаза ее в слезах блестели,
Чуть вздрагивала голова,
И хоть безумные летели
И дерзостные с уст слова,
Но чистая, святая сила
Горела на ее челе
Измученном и говорила,
Что дом ее не на земле.
Нет, и в падении глубоком
Была чужда она порокам, –
Так в ручейке полдневный луч
Пусть преломлен – еще могуч.

Одна лишь мысль ее терзала.
Все остальное, – рокот вала
Огромного, иль буйный рев
Горячих, крепнуших ветров,
Иль наверху сердитый ропот,
И тяжкий звон мечей, и топот,
Что становился все сильней, –
Все было безразлично ей.
Но чу! Не с палубы ль несется
Ужасный крик, – как будто рвется
Там парус или в стены бьет
Поток неуправляемых вод.
О, небеса! Что там такое?
Не вихрь, о нет, – такого воя
Еще не разу на волнах
Не слышали. «Аллах, Аллах,
Прости меня!» – шептала дева,
Поняв, что миг суда и гнева
Настал, и, падая без сил,
Ей стон подруг ответом был.
Рыдали жены, бились дети –
Еще удар, другой, вот третий,
И вдруг, как бы широкий шквал
Мгновенно палубу сорвал,
Так доски треснули, ломаясь,
И, падая и отбиваясь,
Забрызганные кровью, вниз
Как в пропасть люди ворвались,
Одни стремительны, иные

Уже в предсмертной агонии.
Кто отвратить от Гинды мог
Тот огнедышащий поток,
Кто мог ее рукою сильной
Увлечь из этой тьмы могильной?
Не знала ничего она.
Как будто льдистая волна
Покрыла Гинду и, бледна,
Она упала меж телами,
Как под палящими дождями
Вулкана падает цветок.
Полн ужаса был краткий срок!
Обломки палубы, и доски,
И там, в пролетах, берег плоский,
Чуть видимый, и небеса
Свинцовые, и паруса,
Что в дикой ярости трепещут,
И, залитые кровью, плещут
Над обезумевшей толпой,
Звон стали, бормотанья, вой
И сабли, точно метеоры
Горящие, и за волной,
Там, эти каменные горы!

Раз только показалось ей, –
Но нет, то было наважденье, –
Средь щеп летящих и мечей
Как бы знакомое виденье,
Тот образ вечно дорогой,
Который и на гребнях вала
Вспененного, и меж толпой
Бушующей она узнала.
Так темной ночью иногда
Египта белая звезда,
Чей блеск холодный и далекий
Знаком лишь на одном Востоке,
Зажжется, затмевая свет
Иных, кочующих планет.
Но это лишь воспоминанье
Мгновенное иль краткий сон.
Уже оставило сознание
Ее, она роняет стон.
И вдруг, отбросив покрывала,

Она, как мертвая, упала.
О, как пленителен для нас
За грозами идущий час,
Когда смолкает грохотанье
И солнца тихое сиянье
Горит над сушей и водой,
Лелея мирный их покой
И золотя эфир над ними
Лучами чистыми своими,
Роскошные цветы полей,
Похищенные со стеблей,
По временам еще мелькают
Пред нами и благоухают,
Как бы в награду за такой
Им небом посланный покой.
Сверкают капли меж листвою
Трепещущею и игрою
Напоминают камень тот,
Где пламя молнии живет,
Без счета легких дуновений
Летит широкою волной,
И воздух теплый и весенний
Так чист, так нежен, что порой
Мы верим, что всех роз и лилий
Здесь запахи соединили.
Уже лучом озарена
Чуть плещет слабая волна.
Но плеск ее, глухой и сонный,
Похож на шепот опьяненный –
Любовника, что первый год
От чаши наслаждений пьет.

Далеко туча грозовая
Была, когда, припоминая
Все виденное, ото сна
Очнулась Гинда. Лишь волна
О стены глухо ударяла
И тяжело корабль качала,
Но где она! Еще темно
Пред нею... Это ли судно
Там, в гавани отца стояло,
Его ль акула провожала

По следу красному – о нет
Все незнакомо здесь! Ни свет
Полуденный не скрыт коврами
Расшитыми, не веерами
Не охраняют легких снов
Ее, – ни лютен, ни цветов.
Плащи походные и шали
Как бы постель ей заменяли,
На копья, скрытые едва,
Ее склонилась голова.
Со страхом Гинда огляделась.
Горсть воинов, как в забытьи,
Пред нею на припеке грелась,
Окончив подвиги свои.
Одни на дремлющие волны
Глядели пристально. Безмолвны
И нетерпение тая,
Иные с мачты корабля
Глаз не сводили, где устало
И тихо паруса трепало.
Аллах! Спастисть удастся ль ей?
Не видно здесь ни ятагана
Отточенного, ни мечей
Покорных слову Аль-Гассана.
Одежды желтые, – тот цвет,
Что правоверных ужасает,
Тафья, широкий пояс, – нет,
Ее ничто не обольщает.
Да, жертвой Гэфиды она –
О, ужас! – стать обречена.
Да, Гэфиды! Остановилось
Испуганное сердце в ней, –
Она ведь Гебра научилась
Считать всех демонов страшней,
Начальником всех духов ада,
Кому отчаянье – отрада,
Чья тень палящею грозой
Прошла меж небом и землей.
Она в его плену, – во власти
Его жестокости и страсти.
Те воины – его полки,
Все грешники и все враги!

Какая дерзкая, пустая
Надежда говорила в ней,
Когда, отчаянье скрывая,
Она метнула на людей,
Ей чуждых, взгляд такой прекрасный,
Такой пронзающий и ясный,
Что тот, кто всех суровой был,
Глаза смущенно опустил.
Но все исчезло вдруг – виденья,
Сквозь кровь и бурю на мгновенье
Мелькнувшего, пред нею нет,
То был лишь сон ее иль бред,
Полумечта, полусиянье,
То странное очарованье,
Что может овладеть порой
Больной иль дремлющей душой.

Но оживилось все. Нырять
Меж синими волнами челн.
Гребец сильнее ударяет
По зеркалу широких волн.
И Гинда видит, чуть живая,
Что прямо к роковым скалам
Несет ее ладья чужая,
И чует, что предстанут там
Ее испуганным очам
Отверженцы людей и света,
Не знающие Магомета.

Меж берегом и пеной вод
Огромная гора встает.
Над ней, вершину покрывая,
Пылает туча зарева,
Как будто мечет плащ судьба,
Готова увенчать гроба.
Ее б сознание поразило, –
Когда б сознание сохранила
Она, – что смертного нога
Взойдет на эти берега,
На эти горные отроги,
Куда Араб не знал дороги.
Но в ужасе померкло все,

Когда плеснула близ нее
Прибрежная волна и в серых,
Промытых, гибельных пещерах
Под вулканической горой
Раздался безотрадный вой.
Вдруг долетает приказанье
Зажечь огни, и в содроганьи,
Без мачт и парусов, судно,
Течением увлечено,
Летит в глухую пропасть грота,
Как бы чрез вечные Ворота,
Куда не проходил живой.
Пять факелов, треща смолой,
Льют задуваемое пламя
Над пенящимися валами,
И молча воины плывут,
Как будто легкий шепот тут,
Иль окрики, иль взрывы смеха
Мгновенно роковое эхо
Зловещей тайной возвратит
От этих безотрадных плит.

Но вдруг от каменной преграды,
Подбрасывая легкий челн, –
Разгневанных, кипящих волн
Летят вспененные громады.
Весло по диким гребням вод
С удвоенным усилием бьет.
Чу! Кто-то на берег взлетает
Бесстрашно, цепи закрепляет,
Канаты спущены, и вот
Челн недвижим над бездной вод.
Тогда средь грохота и гула
Мерцанье слабое мелькнуло,
И вдруг, незрима и легка,
Повязку темную рука
На очи пленницы надела,
Она лишь простонать успела.
И, как бесчувственное тело,
На грубом ложе, в забытьи,
Ее солдаты унесли.

О солнце дивное! Луч света!
Тобой вселенная согрета,
Нам столько радостей дает
Тобой горящий небосвод,
Что если было бы судьбою
Позволено одним тобою
Здесь любоваться, – все же мы
Бежали б от могильной тьмы.
И Гинда бедная, не зная,
Где цель предстанет роковая
Ее дороги, поняла,
Что снова волнами тепла
Она овевана и снова
Над ней блеск солнца золотого.

Но вскоре вновь сгустился мрак.
Вел путь через глухой овраг,
По грудам сучьев шелестящих
И камней, с грохотом летящих.
Спросонья удивленный тигр,
Не разобрав тех буйных игр,
Встает и дикими прыжками
Летит вдогонку за камнями.
Рев жалобный гиены злой,
Голодного шакала вой
И отзвук вечный и печальный
Прибоя у пещеры дальней,
Подобный голосу волны
У тихой, мертвенной страны.
О, сколько ужасов. Но все же
Ей, точно скованной на ложе,
Казалось мукою двойной
Не различать их пред собой, –
Так прихотливые виденья
Под дикий шум, во тьме ночей,
Пугают нам воображенья
И яви кажутся страшней.

Но дремлет ли она? Иль снова
Ее коснулась тень былого
И шепот, легкий, как струна,

И правда ль – слышала она?
«Не бойся, друг мой, Гебр с тобою!»
Нет, быть не может, то не сон,
Как обмануться? «Гебр с тобою!»
Нет, – это прошептал ей он.
Тот звук меж тысячной толпою
Она б услышала, – так мил
И так многоречив он был.
О, пышноцветной розе Мая
Прискучит раньше соловей,
И будет нравиться иная
Песнь, и крикливей и грубей,
Чем сердце сердцу не ответит
И зова страсти не заметит.

И радостно, в тот страшный час,
Ей грезит, что так близок милый,
Тот, с кем она, легко смеясь,
Стояла бы и над могилой.
Но ужас заглушает вновь
То, что внушила ей любовь.
Их Вождь, не знающий пощады,
Простит ли, что пленила взгляды
Отважнейшего из бойцов
Дочь Аравийских берегов,
Дитя кровавого Гассана,
Чье роковое торжество
Его войска лишило стана,
Сгубило родину его,
Чья месть сегодня в ночь, о Боже,
Обрушится на Гебров. Кто же
Им даст неодолимый щит,
Кто меч разящий отвратит?
И минет ли Гассана злоба
Того, кто дорог ей до гроба?

«О Боже! Помоги ему,
И если духу твоему
Угодны грешных поклоненья,
Их стоны, жертвоприношенья,
То сохрани его, и я, –
Клянусь, – всю радость бытия,

Любовь, надежды, упования,
Нежнейшие воспоминанья –
Из сердца вырву и у ног
Твоих сложу, жестокий Бог!
Оставь, – пусть он живет, пусть дышит,
И небо грозное услышит
Признание грешное и стон,
Что должен знать был только он.
Пусть минет младость в покаянье
Пусть тяжелой старости скитанье
В угасшей памяти сотрет
То, что теперь мне сердце жжет.
И если некогда, тоскуя,
Его невольно помяну я,
То лишь с усердною мольбою,
Чтоб там, в раю, перед Тобою
Знал он блаженство и покой.
Мне будет дивная награда –
Ту душу оберечь от ада,
Заблудшую звезду вернуть
На истинный, небесный путь.
Пусть ночь пройдет, – тогда мы оба
Твои всецело, потому
Что, будь что будет, – я до гроба
Останусь верною ему».

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Тем, кто ни страха, ни печали
Не знает, – голубые дали
И моря пенистая гладь
Чудесными могли бы стать.
То вечер был из тех, что бури
Порою оставляют нам.
Весь запад в огненной лазури
Пылал торжественно, и там,
За скалами, роса ложилась!
И искрилась и серебрилась,
Как слезы грешницы молодой,
Что хочет прошлые ошибки,
И наслажденья, и улыбки
Омыть в час смерти роковой.

Все было тихо. Буря злая,
Что через Кермана сады
Промчалась, яростно срывая
Приятные в пути плоды,
Теперь лишь нежилась устало
На зеркале Зеленых Вод
И будто жемчуг растворяла,
Который море бережет.
Прибрежие цвело, и где-то
Гряда зеленых островков
Сияла, точно остров света,
Повиснувший меж облаков.

Но те красоты не пленили
Взор пленницы, и как в могиле,
Испугана и смущена,
Очнулась медленно она,
Когда с нее повязку сняли.
Глаза ее с тоской блуждали,
Как бы за тем, чтоб только весть
О гибели своей прочесть.
Чернел вверху, под облаками,
Разрушенный и древний храм
И будто помешать стенами
Хотел смеяться небесам.
Надежда Гинду обольщала,
И горестно она искала
Того, чей голос дорогой
Над нею прозвенел струной.
Сон краткий! улетевший снова!
И адского, глухого рева
Был бедной пленнице страшной
Клич боевой под звон мечей:
«Вождь, Гэфид!» – долетевший к ней.
Идет он... слышен звон по горам,
Ужель с его горящим взором,
Все ужасающим, она
Глаза скрестить обречена.
Арабы верят, что лишь пламя,
Виднеющееся ночами
Под лепестками мандрагор,

Губительней, чем этот взор.
Надежда с ужасом боролась,
Ужель ей слышать этот голос,
Чей крик неодолимый страх
Внушает воинам в боях,
Как путникам у водополя
Тигрицы рыканье глухое?
Привстав, закрыв глаза, она
Как бы ждала, потрясена,
Чтоб, наконец, ее спалила
Очей тех роковая сила.
Ослабевают звон шагов
Прочь удалившихся бойцов.
Ей страшно, – не снести ей,
Но Гэфид трепетную руку
Берет и, нежность затая,
Ей шепчет: «Милая моя!»
Ее рыдание глухое
Договорило остальное,
И пала к Гэфиду на грудь,
Без слов она, без сил.
То он, то он – покрытый славой
Вождь этой вольницы кровавой.
То Гэфид – битв и смерти бог,
Кого никто сразить не мог,
Он, Гебр, и ласковый и нежный,
Как в час тот, дальний, безмятежный,
Когда впервые у окна
Его увидела она,
Решив, что это дух небесный
У горницы замедлил тесной.

Мгновенья в жизни нашей есть, –
Как будто золотая весть
Мрак безнадежности пронзила,
Как будто солнце озарило
Самума горестную тьму
Года отчаянья, разлуки
И возвратило блеск всему.
Забывшие ль, живые муки –
Все в этот несравненный час
Бодрит и восхищает нас.

И даже он, – что зрел затменьё
Звезды своей и дерзновенья,
Что видел роковой закат
Надежд надменных и отрад
И то, как сделался могилой
Иран, ему навеки милый,
Он, мертвый для земных страстей
И тяжкие влачивший годы,
Чтобы последний вздох свободы
Услышать и погибнуть с ней,
Он, будто утопавший в море,
Где ветер – скорбь, где волны – горе,
Изнемогавший от вериг
Отчаянья, в тот сладкий миг
Чистейших ласк, воспоминаний
И сладостных, немых признаний, –
О, убедился даже он,
Что в чаше муки заключен
И терпкий, горестный напиток,
И нежных радостей избыток,
Что тем, кто эту влагу пьет,
Ни времени не страшен лет,
Ни смерть сама, – раз им в страданьи
Такое есть очарованье.

Она ж, лови ответный взгляд,
Забыла на одно мгновенье
И пережитый ею ад,
И долгий ужас, и мученье,
Как тот несчастный, что сквозь сон
Смеется, подавляя стон.
С развалин, где они стояли,
Меж серых, вековых камней
Виднелись океана дали
И множество живых ладей.
Укрывшихся от бури в заводь,
Покачиваясь, вышли плавать
И расправляли паруса,
С которых капала роса, –
Так крылья мокрые порою
Орлов трепещут над землею.
Уж села за холмистый Лар

Звезда дневная, и пожар
Заката в вышине лазурной
Переливался и горел,
Как будто ангел плащ пурпурный
На Запад бросить захотел.
О, этот миг – любви удел!
Внизу волна устало плещет,
Луч золотой над нею блещет, –
И бьются их сердца в ответ
На волн и облаков привет.

Но ах! Умчалось прочь виденье,
Вновь всем овладевает страх,
Ночь близится – ночь преступленья.
Погасло пламя в небесах,
Лучи, что на волнах блистали,
Туманней и слабее стали,
И, глядя на небо, бледна,
Вдруг дико вскрикнула она:
«В ночь, он сказал, – так, значит, скоро,
Беги, не мучь меня, беги!
Здесь через час вся эта свора
Покажется, – твои враги!
Чу! Слышишь ли ты в этих безднах
Звон сабель и мечей железных?
Беги, темнеет небосклон,
Беги же, кто тебя осудит?
Я знаю! крови жаждет он
И ночи ожидать не будет!»
В отчаяньи, почти в бреду
Пред воином она упала.
«Увы, из-за меня беду
И муку эту ты узнала.
Я проклят, около меня
Ни счастья нет, ни бытия,
И воздух вокруг меня – о, горе! –
Печален, как на Мертвом море,
Зачем нагнать твое судно
Мне было небом суждено?
Зачем, увидев, что послала
Мне в жертву дивная судьба,
Увидев то, как ты лежала,
И беззащитна, и слаба,

Поклявшись быть тебе в неволе
Незримым другом, но тебя
Не называть, не помнить боле, –
Зачем нарушил клятву я?
Зачем пришел сюда я ныне?
Не бойся, это ветер в долине
Проносится и бьется там.
Здесь на заоблачной вершине
Мир остальной неведом нам,
Здесь вечное уединенье
Напоминает погребенье,
И если даже адский рой
Захочет овладеть горой,
Будь безмятежна здесь, друг мой, –
Здесь я и звезды золотые
Твои сегодня часовые.
И завтра, чуть забрезжит свет,
К отцу домой ты...» – «Завтра! Нет,
Несчастный, – простонала дева, –
Ночь эта – ночь суда и гнева!
Здесь кровью все зальют враги,
Не медли более – беги!

Ты предан... Негодяй, который
Знал, как пройти на эти горы...
Не сомневайся, верь мне, верь,
Я лгать бы не могла теперь...
Ты жертвой стал отца, несчастный,
Сегодня он с улыбкой ясной
И грозной все мне рассказал.
По гулким анфиладам зал
Шагал он, чуть дыша от злости,
Как бы твои уж видя кости
О, Господи, как далека
От истины тогда была я.
Беги ж... померкли облака...
И верь мне, друг, во имя рая!

О, холоднее даже льда,
Что сковывает взлет фонтана,
Становится душа, когда
Пред ней раскрыта сеть обмана.
Не молвил Гэфид ничего.

Но леденела кровь его,
И, будто чары роковые
Испытывая, он стоял,
Как истуканы в Исмонии
Под сводами безмолвных зал.

Но минуло оцепененье,
И прежних, лучших дней виденья
Промчались легкой чередой
Пред гордою его душой.
Очам его такие дали
Еще ни разу не сияли.
Лучистый и спокойный взор
Он тихо к небу поднимает
И будто смертный приговор
Огнем начертанный читает.

«Так вот и гибель! Пробил час,
Поля Ирана, пасть за вас!
Пусть жизнь жестоко обманула,
Пусть молнией она блеснула,
Но перейдет чрез бездну лет
Зажженный ею вечный свет.
И некогда, пленившись славой,
Потомок-раб сюда придет
И Гэфиды удел кровавый,
Гордась и плача, помянет.
Здесь будет мыс уединенный
Потомку говорить о нем,
Поэт и воин непреклонный
Оставят город свой и дом
И здесь, дивясь утесам этим,
О Гэфиде расскажут детям,
И на развалинах святых
Они заставят клясться их,
Пока еще в них дышит сила,
Пока не унесла могила,
Не примиряться, нет, и мстить
Тем, кто могли их покорить,
Чьи цепи перс несчастный носит
И крови чьей от них он просит!»

Тех мыслей в этот страшный срок

Им быстрый овладел поток.
Так Иссы мученик безгрешный
Не поднял на венец свой взор,
Как Гэфид смотрит на поспешный
Из сучьев и ветвей костер,
Который в темноте пылает
И стены храма освещает,
И где огонь средь душных смол
С товарищами он развел;
Как саван дивный и суровый
Горит костер, – покрыть готовый
Горсть непокорных храбрецов,
Которым славы слышен зов,
Которым жизни всей дороже,
Милее огненное ложе, –
Как Магомету, в миг чудес,
Когда те угли, что пылали
Под ним, вдруг волею небес
Роз благовонных грудой стали.

В тревоге дева, – страшно ей
Сверкание его очей
Что этот пламень означает?
Какие мысли он скрывает?
Увы! Зачем раздумьем он
В тот миг опасный омрачен?
«О Гэфид, – не сдержала крика
Она, – мой царь и мой владыка.
Когда жива донине страсть
Твоя, хоть след ее, хоть часть,
Здесь на коленях, как пред Богом
Молю тебя я не о многом:
Беги... коль Гинде ты не лгал,
Беги с кровавых этих скал.
Спешим!.. Я в свой корабль укрою
Тебя... уже совсем темно.
Мы уплывем вдвоем с тобою
На юг... на север... все равно.
Куда б ни унесло нас море,
Рука к руке, глаза к глазам,
Забудем мы и страх, и горе,
И все любовь заменит нам.
Мы где-нибудь найдем селенье,

Где полюбить – не преступленье,
Где можно, страсти не тая,
Земного ангела, тебя
Ласкать, – иль где могли б любя
Мы грех свой долгими ночами
Омыть горячими слезами,
Ты пред Аллахом всесвятым
И я пред Божеством твоим!»

Так обезумев, говорила
Она и головой на грудь
К нему легла, как бы молила
Ей счастье краткое вернуть.
А он (ужель в вас удивленье
Поднимется, что на мгновенье?
Все – гордость, честь, холмы могил,
Иран несчастный – он забыл
И видел только образ милый,
Пред ним склонившийся без силы.
О, пусть не будет осужден
За призрак упованья он,
За то, что гибнущий душою
Еще овладевал порою
Сон безнадежный о часах
Блаженства, о ночах и днях,
Что подарить ему могла бы
Лишь та, кем славятся Арабы.
Он наклонился к ней... глаза
Покрыли слезы на мгновенье,
И первая была слеза
Ему как предостереженье.
И, вздрогнув, будто раздражен,
Поспешно щеку вытер он.
Как воин, что, с ночным покоем
Простившись, утром перед боем
Стирает, слыша зов гудка,
Росу с блестящего клинка.

Пусть он и победил волненье,
Но голос, быстрые движенья
Еще хранят его печать,
И Гинда хочет в них читать,
Что он ее услышал просьбы,

И, может быть, в ней родилось бы
Забвение тревог и мук,
Но Гэфид вскакивает вдруг:
«Да, если правда во вселенной
Есть гавань для любви священной
И если есть желанный берег
Бессмертных и чистейших нег, –
Утешься! Там, забыв страданья
Мы вновь соединим лобзанья».

Задумалась она, едва
Поняв те странные слова,
Но юноша нетерпеливо
Уж бросился на край обрыва
И в рог из раковины дал
Ужасный, роковой сигнал,
Как будто демонов сзывая
На битву с ангелами рая
И знали верные друзья,
Что означает клич вождя:
То зов последний, безнадежный,
То весть о смерти неизбежной!
Уже давно у диких плит
Развалин этот рог висит,
Готовый известить народы
И земли о конце свободы.

Идут они, слыша зов
Начальника, с нагих холмов.
Увы! как их осталось мало!
По Керманским степям, бывало,
Неслись веселые полки,
И мавританские гудки
Им день победы предвещали,
И копыта солнце отражали,
И на взлетающем седле,
Сверкая бычьими хвостами,
Храня надменность на челе,
Казались воины богами.
Как изменились здесь они,
Как сделались бледны их лица,
Как отблеск, что дают огни,
Печально на черты ложится,

Когда к костру пришли они
Зажечь сигнальные огни.
Все тихо, – каждый воин знает,
Что Вождь ему повелевает,
И, услышав последний зов,
Исполнить долг святой готов.

Мгновенья убегают прочь.
Зажгла алмазы в небе ночь.
О Звезды! Тускло ваше пламя
Пред здесь сужденными делами.
Ум Гинды трепетом объят,
И сердце в ней пощады просит.
Безмолвно четверо солдат
Носилки для нее приносят.
И юноша, чей нежный взор
Таил отчаянье и муку,
Раскрыл над ней цветной шатер
И долго, долго жал ей руку,
Пусть вздрагивало сердце, пусть
Печаль в глазах его блеснула,
Ей радостью казалась грусть,
Ее надежда обманула.
«То знак любви – тот блеск очей,
То счастья предзнаменованье,
То пыл, забота, верность ей,
Все, все, – но только не прощанье».

«Спешим, спешим, – кричит она
Не потерять бы нам судна,
А завтра на лазурном море –
О, торжество! – с тобой вдвоем
Мне эти ужасы и горе
Покажутся далеким сном
И ты...» Но он не отвечает,
Аллах! Иль он ее бросает
И в путь отправиться она
Без Гэфида обречена?
Пред нею вновь встают ущелья,
Где незадолго до того
Ей в душу заронил веселье
Звук нежный голоса его,
Который слушать слаще было,

Чем райский голос Израфила
Меж отражающих напев
Эдемских золотых дерев.
Но нет его. «О Гэфид милый,
Ты, встретить смерть нашедший силы,
Позволь мне быть с тобой, и я
Умру, благословив тебя.
Пусть наши губы будут слиты,
Пусть вместе отцветут ланиты,
Пусть припаду к груди твоей,
И что мне тысяча смертей?!
О воины, – зачем так скоро
Меня несете с косогора,
Помедлите, – я вас молю!
Иль правда ты забыл свою
Подругу, Гэфид?» По дороге,
Изнемогая от тревоги,
Звала она почти без сил,
Но Гебр на зов не приходил.
Несчастливая чета! Последний
И безотрадный пробил час,
Нет больше ни надежд, ни бредней,
И нет свидания для вас.

Увы! Он слышал Гинды крики,
На полдороге он стоял,
И взор его, слепой и дикий,
Прикован был к отрогам скал
И к темной пропасти, что скрыла
Все, что душа его любила.
Так безутешен только тот,
Кто лунной ночью на безмолвном
И сонном море отдает
Возлюбленное тело волнам,
Кто мукою горящий взгляд
Бросает горестно назад.
Туда, где слышен плеск унылый
Над дорогой ему могилой.

Но что же с Гебром? Вздрогнул он.
Чем слух его так возмущен?
Ужасный звук! Иль рог огромный
Послышался из бездны темной,

Иль собрались туда толпой
И к небу устремили вой
Все злые духи этих башен,
Все демоны, – так звук был страшен.
«Идут, идут!», – воскликнул он,
Отчаяньем преображен, –
Ликуйте, древние герои,
Уже вкусившие покоя!
Сегодня в звездный ваш приют
Достойные друзья взойдут!»
Так он сказал и, как влюбленный,
К невесте мчащийся своей,
Бежит, – пред ним алтарь зажженный,
Блеск сабель острых и мечей,
Как молния из темной тучи,
Ответивших на рев могучий.
Но снова воздух потрясен,
Крик все грозней, все ближе он.
Все путник понял бы, который
Увидел воинов, и взоры,
Горящие огнем ночным,
Как тяжело казалось им
Быть неподвижными в покое
Под то гуденье роковое.
И Гэфид понял мысли их:
«Что ж! Иль бояться нам чужих
Полков, пока мы биться можем?
Иль головы свои мы сложим
Безропотно, стальных клинков
Не погрузив в сердца врагов?
Нет, нет, Ирана Бог державный,
Не примешь жертвы ты бесславной!
Пусть нет надежд у нас, но есть
Меч, жизнь и без пощады мести!
Удел кровавый наш и раны
В любви народной оживут,
И будут с трепетом тираны
Глядеть на Гэфиду приют.
За мной, бесстрашные, к отчизне
Небесной, от цепей, от жизни!
Блажен тот воин, чей удел
Пасть с грудой мусульманских тел!»

Вниз бросились они с обрыва.
Горя отвагой, горделиво
Глядят бойцы. Могучий враг,
Пройдя через глухой овраг,
Затих, обманутый огнями.
Неверно тусклое их пламя,
И, как Голкондская змея,
Он, хвост сверкающий тая,
Блуждает. Гебрам же не надо
Огней, – их давняя отрада
Носиться меж вершин крутых.
Так часто в игрищах своих
Исчадья гор они встречали,
Что тигры узнавали их
Издадека – и пропускали.

Чернеет на пути врагов
Глубокий, каменистый ров.
Здесь скоро примут янычары
От Гебров первые удары.
Прошедшей поутру грозой
Ров залит до краев водой,
По сторонам, тесня откосы,
Как тьма, вздымаются утесы
И клонят головы, храня
Алтарь свободы и огня.
Здесь ждут отрядов Аль-Гассана
Сыны и мстители Ирана.
Здесь, ожидания полны,
Они средь мертвой тишины
Стоят, – и птица битв крылами
Неслышно бьет над их рядами,
Идут, чрез ров спустились вброд...
Час смерти неизбежной бьет.
И настает, о Гебры, время
Навек прославить Ваше племя.
Передний должен первым лечь.
Идут... и беспощадный меч
Им головы подряд снимает
И ров телами наполняет.
И вновь идут они и вновь
Окрашивают волны в кровь.

Уж гебры убивать устали,
Их лица дики и бледны,
Их сабли из каленой стали
От крови вражеской пьяны.
Нет, никогда тиранов орды
Не гибли так, и никогда
Меч вольности, святой и гордый,
Не знал достойнее труда.

Пылают факелы так скупно,
Бросая отсветы на трупы,
Их различает взор едва
В воде окровавленной рва.
Какой там ад! Какие муки!
Тафьи в огне, без пальцев руки,
Разломанные на куски
Еще горящие клинки.
Одни, сгорев наполовину,
Вниз падают меж скал крутых
И погружаются в пучину,
Другие же, под грузом их,
Упав и захлебнувшись, тонут
И в ужасе предсмертном стонут.

Но мусульманам счета нет,
Погибла тысяча – ей вслед
Идет бестрепетно другая,
Тем насекомым подражая,
Что роем на огонь летят,
Чтоб загасить его, горят.
Идут Арабы и телами
Мост строят между берегами
И на мост этот, весь в крови,
Шлют дерзко полчища свои.
Но пройден ими путь ужасный.
Чего же ждешь ты, Гебр несчастный,
На что надеешься в тот час,
Когда с озлобленных их глаз
Завеса роковая спала,
Когда открылось им, как мало
В ущелии таилось вас?
И гибнут Персы – иль на страже
У берегов, не вскрикнув даже,

Иль близ Вождя, – а он, храня
Пути к святилищу огня,
Врагов жестоких отражает
Мечом и к башням отступает,
Подобно льву, который был
Снесен разливом Иордана
И в яростных волнах, без сил,
Боролся с бурей неустанно.
Так бился Гэфид, и пред ним
Рок смертный отступал, как дым.
Но где же скрылся Гебр? Добычу
Утратили свою они.
Несется дикий вихрь. Их кличу
Нет отзвуков, бледны огни.
«Проклятие!» – кричат Арабы.
«Где наши факелы? Как слабы
Лучи их! Гебр не мог уйти!
За ним же по его пути!»
Но тщетно дикою толпою
Летят они, объаты тьмою, –
Горящий на скалах крутых
Огонь обманывает их,
И, бросившись к нему, с обрыва
Арабы падают стремглав
Или над пропастью залива
Удерживаются, поймав
Рукой трепещущей, в надежде
Спастись, могучий сук, где прежде
Орлы сидели лишь. – И стон
Вздывается со всех сторон.

Тот крик – последняя услада
Для Гэфиды, – как вопль из ада
Земного долетел к нему.
Над склоном, вглядываясь в тьму,
Лежит он возле сабли верной.
Как будто подвиг свой безмерный
Окончил уж и новых ран
Не может требовать Иран.
Одна лишь мысль его смущает,
Одна звезда как бы сияет
Ему сквозь дрему, – то она,
Его блаженство и весна,

Чей образ незабываемый, нежный
Мрак побеждает безнадежный.
Был Гэфиду еще милей
Теперь и блеск ее очей,
И легкий стан, – ему казалось,
Что все лишь сон, – все муки, кровь, –
И что ничем не омрачалась
Их безмятежная любовь.
Как бы небесной пеленою
Была овевана она
И тихо, пред его душою,
Сияла, вся озарена.
Раздался чей-то голос рядом,
То был любимый друг – лишь он
Был в битве яростной, под градом
Ударов, роком пощажен.
«Вождь! Умирать ли меж врагами?
Пойдем и встретим гибель в храме».
То Гэфиду был точно знак,
И яростно вскричал он: «Как!
Мы и донныне не свободны?»
И точно сбросил он холодный
И смертный саван и стремглав,
Лишь яркой кровью запятнав
Утес, бежит. Забыл он муку,
Он друга ледяную руку
Сжимает, но во рвах глухих
Тень смерти настигает их.
О, помоги им, Боже правый,
Им тяжко... осени их славой.
Уж камни сделались красны
Под ними, на стеблях видны
Их крови отбрызги, и даже
Твой меч, о Гэфид, уж на страже
Не может быть, расщеплен он.
Спешите! Идут со всех сторон
Враги. Еще скачок, не боле –
И Гэфид там, где на престоле
Огонь божественный горит,
Где храм развалины вздымает, –
Но друг его у хладных плит,
Упав без силы, умирает.
«Увы, был славен твой удел.

Товарищ, я ль тебя покину,
Чтоб каждый негодяй посмел
Тебя копьём ударить в спину?
Нет, нет, клянусь у алтаря».
И, силой дивною горя,
Героя Гэфид поднимает
Уж холодеющей рукой,
Несет к костру и зажигает
Листву с пахучею смолой.
И буйно вспыхивает пламя,
Как молния над берегами
Оманскими. «Так, здравствуй, Бог
Свободы!» Но лишь вскрикнуть мог,
И с торжествующей улыбкой
Бросается, могучий, гибкий,
В огонь и, подавляя стон,
Дух дивный испускает он.

Чей вопль раздался над Оманом?
Летит он с барки, – над кормой
Луч, не удержанный туманом,
Блеснул, и все покрылось тьмой.
Та барка от вершины грозной
Уносит Гинду, – о, как поздно! –
Ее весна, ее удел
Лишь горсти вручены героев,
Которых Гэфид пожалел,
Их битвой не обеспокоив.
Он думал, что когда они
К отцу как бы живой из аду
Доставят Гинду, то их дни
Гассан помилует в награду.
Они не знали, выйдя в путь,
Что Гэфид в помыслах скрывает,
И лишь успели обогнуть
Передний мыс, как потрясает
Окрестность заповедный рог.
Иль слух их обмануться мог?
Безмолвно весла над бортами
Остановились вдруг, и вот
Вода широкими струями
По ним на дно ладьи течет.

Все взоры, муки не скрывая,
Прикованы к обломкам плит,
Где тихо, золотясь и тая,
Огонь святой еще горит.

О Гинда, твоего мученья,
Тех страшных для тебя минут
Не повторит воображенье,
Немая скорбь! Ее поймут
Лишь те, лежащие в могиле,
Что некогда их пережили.
То не тоска была, о нет,
Души, перед которой свет
Померк и для которой боле
Нет в мире ни надежд, ни боли,
Которой никаких потерь
Не страшно на земле теперь,
Нет, пусть надежд и гаснет пламя,
Несчастные живут порой,
Как те, которых под снегами
Находят спящими зимой.
Безмолвное уединенье,
Покой мертвящий, тишина
Пленили б, как благословенье,
Тех, чья душа опалена.
Их участь – вечный страх и мука,
Их время – гибели порука,
Им рано ль, поздно ль – все равно
Уничтоженье суждено.
Спокойны воды и безмолвны,
Звезда дрожит, бросая в волны
Лучи свои. В такую ж ночь
Недавно Аль-Гассана дочь
От счастья едва дыханье
Переводила, и мерцанье
Небесных звезд казалось ей
Такой отрадой, что милей
И не было у ней желаний.
Невинных, молодых мечтаний
Была душа ее полна.
И счастлива была она.
Исчезло все. Но тише, – снова

Раскаты рога боевого
Гремят. Воители, к чему,
Тревоги полны, за корму
Глядите вы, зачем рукою
Меч ищите, готовясь к бою?

Тот, смерть и ужас сеять вам
Приказывающий, – гибнет сам.
Вы смотрите на стены башен.
Но кажется пустой скала,
Лишь рог пронзителен и страшен.
Ах, объяснить бы все могла
Та, что, уже покорна мукам,
Лежит без сил в углу, над люком,
Все кончено для ней, весь мир
Погиб, ничто не обольщает, –
Единственный ее кумир.
Льет кровь теперь и умирает.
Но что это? Исчезнул мрак.
Блеснули факелы... то знак!
Зачем там промелькнуло пламя?
Все жадными следят глазами
За алтарем, и, Гинда, ты
Очей не сводишь с высоты.
Мгновенье, и костер огромный
Поднялся над скалою темной
И море озарил сквозь дым
Печальным пламенем своим.
Тогда, как грозное виденье,
Гебр показался над огнем,
Подобный богу разрушенья
В ужасном торжестве своем.
«То Гэфид», – дева закричала,
Но миг – и вот его не стало!
Закрыв все огненный туман.
Плачь, Гинда, ныне, плачь, Иран!
Крик безнадежный испустила
Она и бросилась за ним
Туда, как бы в огонь и дым.
Но темная ее могила
Ждала, – глубокая волна,
Где вечный мир и тишина.

«Прощай, прощай, младая дочь Гассана!
Так Пери пела в глубине морской. –
Нет жемчуга под водами Омана,
Что мог с тобой бы спорить чистотой.

О, ты была прекрасней темной розы
И сердцем радостна и весела,
Пока любовь, как те глухие грозы,
Что разрушают лютни, не пришла.

Когда-нибудь в Арабских рощах южных
Чета влюбленных помянет с тоской
Ту, что лежит у Островов Жемчужных
Под охраняющей ее звездой.

И в пору фиников, у пальм, где младость
И старость знойные проводит дни,
Простая повесть о тебе их радость
Смутит, и опечалятся они.

И девушка, цветами украшая
Прядь золотистую косы своей,
Твой образ вспомнит вдруг, о гостя рая,
И отодвинет зеркало быстрей.

Возлюбленную ль своего героя
Забудет Персия? Пускай тиран
Над ней глумится, – навсегда святое
Хранит воспоминание Иран.

Прощай! Твой гроб мы увенчаем сами
Сокровищами глубины морской,
Игрой камней, огромными цветами,
Чтоб чудным сном казался твой покой.

Тебя на дне овеют ароматы,
Птиц плачущих нежнейшие дары,
И груды раковин даст грот богатый,
Где отдыхают Пери от игры.

Мы спустимся туда, где на просторе
Сады кораллов скрыла глубина,
Мы золото найдем в Каспийском море,
Тебя осыпем им на ложе сне.

Прощай, прощай! Пока одно живое
Трепещет сердце, будет воздух полн
Тоской о павшем на скале герое.
О деве, дремлющей под сенью волн».

Жозе Мариа де Эредиа

Раб

Голодный, загнанный, в отрепьях нищеты,
Невольник – посмотри, вот рабства знак тяжелый, –
Свободным я рожден, у роц, где пахнут смолы
И Гиблы высятся лазурные хребты.

Я бросил милый край, увы!.. О, если ты
По следу лебедей еще вернешься в доли,
Где стены Сиракуз, и виноград, и пчелы,
Гость, расспроси о той, кому верны мечты.

Увижу ль некогда темней фиалок взоры,
Где неба нашего отражены просторы
Под торжествующей дугой ее бровей?

Будь милосерд! Иди, спеши в родные дали,
Поведай Лесбии, что я томлюсь по ней.
Ее узнаешь ты – она всегда в печали.

Джозеф Коттл

**Призрак
Быль**

– Эй, матушка! Где переехать выгон?
Будь доброй, проведи коня!
Ни зги не видно, лошадь сбилась, право,
Боюсь, что не добравшись до заставы,
Увижу духов страшных я!

– Нет, самый ранний дух, и тот лишь в полночь
Из преисподней прилетит, –
Сказала женщина, – но что с тобою?
Ты озираешься с такой тоскою,
Что, путник, что тебя страшит?

Ты колеи держись, минуя выгон,
А как проедешь за кусты,
Увидишь – виселица есть большая,
Где до сих пор висят два негодяя,
Убивших молодца, как ты.

– Ах, не боюсь я вовсе, – молвил всадник, –
Ножа разбойников ночных,
Те привидения, что вдруг пред нами
Являются во тьме, блестя глазами,
Ужасней и страшнее их.

Нельзя ли виселицу мне объехать? –
– Одна дорога, – был ответ. –
Там, правда, ветер мертвецов качает,

И воронов добыча собирает,
Но, ведь, причин для страха нет.

– Как, там и вороны еще? Те твари,
Что отливают синевой?
Да вороны ль они? Мне говорили,
Что и у виселиц, и на могиле
Встречали призраков порой.

– Нет, – молвила, – то вороны ночные,
Они глаза у мертвых тел
Выклевывают, каркают часами,
Да вот, сейчас один из них над нами
На пир, наверно, пролетел.

Прощай же! – Путник двинулся; от страха
Душа металась, как в огне;
Молчал он. Облака спокойно плыли.
И будто от ключа забвенья пили
Немые звезды в вышине.

И вот, до виселицы он доехал.
Качались черные тела.
Подняв глаза, глядел он без опаски
На мертвецов. При виде странной пляски
Решимость вдруг к нему пришла.

– Чего там, – он воскликнул, – мне бояться.
Опасности тут вовсе нет!
Но чуть промолвил это всадник смелый,
Как появился рядом призрак белый.
Он вздрогнул, проклиная свет.

Пустился вскачь, за ним и призрак следом,
Цепями звонкими гремит,
Уж виселица позади большая,
Они летят, друг друга обгоняя,
Безмолвен всадник, дух молчит.

Вот края выгона они достигли,
Закрыты были ворота.
И только всадник за столбы кривые

Рукою взялся, чьи-то ледяные
К ней прикоснулись вдруг уста.

Тут вскрикнул он и через рвы, канавы
От пугала помчался прочь.
Оглянется и видит, – длинной тенью
Бежать не надоело привиденью,
Лишь чуть светлее стала ночь.

Вот и застава. – Помогите! – воскликнул, –
Что делать мне? Какая тьма!
За мною призрак с выгона несется.
Ах, я боюсь, хозяин, сердце бьется...
Что, что там? Я сойду с ума!

– Ах, кляча старая, – тот молвил, – Дженни,
Постой-ка, я тебе задам!
Не бойтесь, господин, – не злая сила,
А Гафферова серая кобыла
Неслась за вами по пятам.

Шарль Бодлер

Пададь

Припомните предмет, что видеть, дорогая,
Нам в утро ясное пришлось:
Остаток падали чудовищной у края
Дороги узкой, ноги врозь.

Подобно женщине, давно привыкшей к блуду,
Мешая вместе яд и пот,
Бесстыдно выставил, открытый отовсюду
И весь в испарине живот.

Луч солнца яркого сиял на этой гнили,
Чтоб, словно, доварить ее,
И чтоб возвращены Природе щедрой были
Сторицей жизнь и бытие.

И словно над цветком раскрытым простиралась
Даль бесконечной синевы.
Так отвратительно воняло, что казалось,
Чуть вскрикнув, упадете вы.

Жужжала стая мух над этим чревом темным
Откуда медленно, в пыли,
Как жидкость вязкая, в количестве огромном,
Личины червяков ползли.

Все это двигалось, вздымалось, опускалось,
Иль тучею неслоь вокруг,
И тело мертвое размножившись, казалось,
Как будто оживало вдруг.

И этот странный мир рождает глухое пенье,
Как ветерок или волна,
Или как в веялке колеблемой движенье
Ссыпающегося зерна.

И блекли линии, и сон напоминали,
И образов стиралась нить,
Как на частях холста, которые в печали
Художник тщится довершить.

За скалы спрятавшись, пугливая собака
Едва преодолагала злость,
И будто бы ждала движенья или знака,
Чтоб доглотать гнилую кость.

– И все-таки для вас наступят дни и годы
Быть тоже мерзостью такой
О, свет моих очей, звезда моей природы,
Вы, страсть моя и ангел мой!

Да, будете такой и вы, о друг прелестный,
Когда в неотвратимый час
Навек вы спуститесь в приют сырой и тесный,
И плесень выступит на вас.

Тогда, о красота, на самом дне могилы,
Под поцелуями червей,
Вы все же скажете, что нет у смерти силы
Над сгнившей радостью моей!

Жан Кокто

* * *

Мне путешествия скучны. Я был в Мадриде,
Я видел Лондон, Рим.
От церкви к пирамиде
Охоту странствовать развеял я, как дым.

О, Лондон розовый, склад угля, город стали,
Где на ходу все спят.
Венеция в печали
Из-за того, что дряхл ее былой наряд.

Мадрид, где по ночам бродить темно и душно.
Рим, на далекий мир
Глядящий равнодушно.
Жасмином пахнувший и козами Алжир.

Нет, в этих городах не испытал я дрожи.
Не ведал забытья.
Но и в Париже то же.
Лишь на твоей груди бываю счастлив я.

* * *

Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица
И внешний их покой.
Египет – сны твои и ты – его царица
Под маской золотой.

Что ищет он, твой взгляд торжественный и грустный,
Зачем уходит прочь,
Едва разуберет тебя, как раб искусный,
Любви и неги ночь.

Оставь, о жизнь моя, о дикий мой утенок,
Пространства и года;
Плыви над бездной их, из чуждых мне потемок
Вновь возвратись сюда.

Наполеон I

* * *

Наследник юный мой, далекое виденье!
Да, вот черты его, их прелесть узнаю.
Он умер для меня; он в это заключенье
Навек не явится рассеять грусть мою.
О кровь моя! О сын! Заменю свободы
Ты б твоему отцу несчастному служил.
Я б охранял тебя в твои молодые годы,
Ты мне бы в старости опорой твердой был.
Ты заменил бы мне и славу, и порфиру,
На этом острове я счастлив быть бы мог,
И мог бы позабыть, что двадцать лет я миру
Свои веления предписывал, как бог.

Райнер Мария Рильке

* * *

Я тот, кто спрашивал когда-то
Несмело: как назвать тебя?
Кто после каждого заката
Стоит, смущаясь и скорбя.

Без сил, забывший о весельи,
Всем сборищам я вечный враг.
Вокруг меня все вещи – кельи,
Где меряют мне каждый шаг.

Ты нужен мне, о Дух Познания,
Ты, кроткий спутник всех тревог,
Ты, разделивший все страдания,
Как хлеб, ты нужен мне, о Бог.

Ты бел, – но не как белы ночи, –
Для тех, к кому склонил Ты лик;
Все, каясь, опускают очи,
Ребенок, дева и старик.

Сен-Жон Перс

Анабазис

ПЕСНЯ

Под бронзовой листвою рождался жеребенок. Человек положил нам ягоды горькие в руки. Чужеземец. Проходивший. И слух, кажется мне, доносится о других областях... «Привет вам, дочь моя, под самым большим из деревьев года».

* * *

Ибо Солнце входит в созвездие Льва, и Чужеземец вложил палец в рот мертвых. Чужеземец. Смеявшийся. И говорит нам о траве. Ах! сколько дыхания тем областям! Как легки нам наши пути! Какая услада в рожке и в пере, сколько мудрости на позор крыльям!.. «Душа моя, взрослая девушка, имели чуждые вы нашим нравам нравы».

* * *

Под бронзовой листвою родился жеребенок. Человек положил нам свои горькие ягоды в руки. Чужеземец. Проходивший. И вот великий шум в бронзовом дереве. Смола и розы, дар песни! И гром, и флейты в комнатах! Ах, так легки нам наши пути, ах, столько приключений за год, и Чужеземец, ни на кого не похожий, на дорогах всей земли! «Привет вам, дочь моя, под самым прекрасным из платьев года».

АНАБАЗИС

I

На трех временах года основываясь с честью, предсказываю мир на земле, принявшей мой закон.

Оружие поутру прекрасно и море. Во власть наших коней отданная, земля, без миндальных деревьев.

Нетленное дает нам небо. И солнце не названо, но мощь его среди нас.

И море поутру, как надменность духа.

Ты пела, мощь, на наших путях ночных.

В ясные иды утра, что знаем мы о сновидении, о первородство наше?

На год еще среди вас! Царь зерна, царь соли, и дело общее на точных весах!

С другого берега людей не кликну я. Главных частей городов

не намечу на склонах коралловым сахаром.

Но намерен я жить среди вас.

Вся слава у входа в шатры! Сила моя среди вас!
И чище соли мысль владычествует днем.

*

Я часто посещал снившийся вам город и на пустынных площадях я торговал своей душой, среди вас невидимой и распространенной, как на ветру пламя терновника.

Ты пела, мощь, на наших пышных дорогах! «Утехе солью все копя разума... Я солью оживлю мертвые рты желания!

Тому, кто не пил, восхваляя жажду, воды песков из шлема, не склонен верить я, как торговцу душой»...

(И солнце не названо, но мощь его среди нас)

Люди, люди праха и всех образов, люди деловые и праздные, люди наших земель и из-за границы. О, люди, полузабытые в этих местностях, люди долин и плоскогорий, и самых высоких склонов мира, у обрыва наших берегов; чующие знамена, семена, и исповедники дуновений на Запад; идущие по следам и за временами года, снимающие лагерь при легком рассветном ветре, о ищущие водяные точки на коре мира, о ищущие, о находящие причины, чтобы уйти отсюда, –

не крепче соль вы держите в руках, когда утром, в предчувствии царств и мертвых вод, высоко подвешенных на дымах мира, барабаны изгнания будят у границ вечность, зевающую на песках.

*

В одежде чистой среди вас. На год еще среди вас!
«Слава моя на морях, сила моя среди вас!

Обещанное нашим судьбам дыхание берегов иных и за пределы несущее семена времени, сиянье века на острие коромысла весов...»

Математика, подвешенная к сплошному льду соли!
На чувствительной точке моего лба, там, где создается стихотворение, я подписываю эту песню целого народа, самого хмельного,
тянущего бессмертные днища на верфях наших!

II

Нет глубже тишины, чем в населенных странах, чем в странах, в полдень полных саранчой.

Я иду, вы идете в стране с высокими, покрытыми пчельниками склонами, где сушатся после стирки белье и платья Великих.

Мы переступаем через платье Королевы, все из кружев, с двумя полосами серого цвета (ах! как умеют кислоты женского тела оставить пятно на платье, под мышкой!).

Мы переступаем через платье Ее дочери, все из кружев с двумя полосами яркого цвета (ах! как умеет язык ящерицы схватить муравья под мышку!).

И, может быть, не истек еще день, как тот же человек томился о женщине и о дочери ее.

Смех мудрый мертвецов, почистите-ка нам эти плоды!

Иль нет уж в мире милости под розой дикой?

Идет по водам, с этого конца мира, великое лиловое бедствие. Поднимается ветер. И сушившееся исчезает, как священник, разорванный в клочья...

III

В день жатвы ячменя человек выходит. Не знаю, кто сильный на крыше моей говорит. И вот уже сидят у двери моей Короли эти. И ест Посол за столом Королей (Пусть кормят их моим зерном!). Проверяющий весы и меры спускается по разбухшим рекам с частями насекомых и кусками соломы в бороде.

Пусть! Мы тебе удивляемся, Солнце! Ты столько лгало нам! Зачинщик смут, раздоров, о Бунтовщик, вскормленный хулой и позором! Разбей миндалину моего глаза! Мое сердце щебетало от радости под великолепиями извести, птица поет: «о старость...», реки в руслах своих подобны женским крикам, и этот мир прекраснее, чем кожа барана, окрашенная в красное!

А! удивительней прошлое этой листвы у наших стен и чище вода, чем во сне, слава ей, слава, что она – не сон! Моя душа полна лжи, как море сильна и подвижна под зовом красноречья!

Мощный запах меня окутывает. И встает сомнение, не призрачны ли вещи. Но если человеку грусть его приятна, пусть выведут его на свет дневной! И по-моему, пусть убьют его, иначе будет восстание.

Лучше сказано: мы извещаем тебя, Ритор! О наших бесчисленных выгодах. Моря, слабеющие в проливах, не знали судей придирчивее! И человек, разгоряченный вином, с сердцем суровым и жужжащим, как пирожное черных мух, начинает говорить такие слова: «...Розы багряное наслаждение: огромная земля желанию моему, и кто в этот вечер ограничит его? жестокость в сердце мудреца, и кто в этот вечер ограничит его?» И такой-то, сын такого-то, человек бедный,

приходит к власти знамений и снов.

«Наметьте пути, по которым уходят люди всех родов, показывая желтую краску каблука: принцы, министры, военачальники с гортанными голосами, совершившие великое и видящие во сне то или другое... Священник издал для глупцов законы против вкуса женщин. Знаток грамматики выбирает место споров под открытым небом. Портной вешает на старое дерево новое платье из прекрасного бархата. И человек, заболевший перелоем,

моет белье свое в чистой воде. Сжигают испражнения
больного, и запах долетает до гребца за веслом,
он сладостен ему».

В день жатвы ячменя человек выходит. Мощный за-
пах меня окутывает, и вода чище, чем в Явале, плещется,
как в иные годы... В длиннейший из дней лысого года,
хваля

под травами землю, не знаю, кто сильный шел по
моим стопам. И вот уж ничего не осталось от мертвых,
под песком, и мочой, и солью земли, как от мякины, ког-
да зерно отдано птицам. И душа моя, душа моя громко
бодрствует у ворот смерти. Но скажи Принцу замолчать:
до поломки копья среди нас,
этот лошадиный череп!

IV

Вот здесь ход мира, и лишь хорошее могу сказать о
нем. – Основание города. Камень и бронза. Огни тернов-
ника на рассвете

обнажили эти большие
камни зеленые и скользкие, как основания храмов,
как дно отхожих мест,
и мореплаватель в пути, опутанный нашими дыма-
ми, увидел, что земля доверху
изменила образ свой (великие выскребывания, вид-
ные с открытого моря, и эти работы
по закреплению горных источников).

Так был основан город, и поутру посвящен губным
звукам чистого имени. Исчезают лагеря на холмах.
А мы, находящиеся здесь, на деревянных помостах

без шляп и босоногие в свежести мира, что мы нахо-
дим смешного, нет, что мы
находим смешного с наших мест в выгрузке девок и
мулов?

И что сказать, от рассвета, обо всех этих людях под
парусами! – Прибытие муки!

И выше Илиона суда, под белым небесным павли-
ном, пройдя мол, останавливаются

на том мертвом месте, где зыблется мертвый осел.
(Надо быть судьями этой бледной

реки, без будущего, цвета кузнечиков, раздавленных в их соку.)

При громком и бодром шуме с другого берега, кузнецы овладевают очагами своими. Щелкания бича выгружают на новые улицы возы неизвестных несчастий. О мулы, наши тайны под кожаной саблей! Четыре головы, непокорные суставам руки, образуют в лазури живой щит. Основатели приютов останавливаются под деревом и думают о выборе участка земли. Они учат меня смыслу и назначению строений: сторона главная, сторона немая; боковые галереи, передние черного камня и прозрачно-тенистые бассейны для книгохранилищ; прохладные помещения для лечебных продуктов. Затем идут банкиры, свистящие в ключи. И уже пел на улицах одинокий человек из тех, на чьих лбах написано имя Бога. (Шорох насекомых, без исхода на свалке!..)

И здесь не место рассказывать вам о наших связях с людьми другого берега; вода, поднесенная в бурдюках, поборы конницы для портовых рабочих, и оплата принцев рыбьей монетой. (Ребенок печальный, как смерть обезьян, – старшая и прекрасная сестра – поднес нам перепелку в розовом атласном башмаке.)

...Одиночество! синее яйцо, снесенное большой морской птицей, и заливы поутру, все покрытые золотыми лимонами! – Это было вчера! Птица исчезла!

Завтра празднества, клики, улицы, обсаженные стручковыми деревьями, и чистильщики, увозящие на рассвете огромные куски мертвых пальм, обломки гигантских крыльев... Завтра празднества,

выборы портовых чиновников, вокализы в пригородах, и под теплой тяжестью грозы

город, пожелтевший, покрытый тенью, с девичьими штанами в окнах.

*

...В третий лунооборот те, кто бодрствовали на хребтах холмов, сложили паруса свои. Сожгли в песках тело женщины. И человек подошел ко входу в Пустыню, – как и его отец, торговец бутылками.

Для души моей, дальним делам не чуждой, сто огней городов, оживленных лаем собак...

Одиночество! Наши безумные сторонники хвалили нам наши нравы, но мыслью мы были уже у стен иных:

«Я никому не приказывал ждать... Я всех вас нежно ненавижу... И что сказать о песне этой, которую вы исторгаете у нас!»

Вождь бессчетных подобий, ведомых к Мертвым морям, где взять нам ночной воды, чтобы промыть глаза?

Одиночество! толпами звезды ходят по краю мира на задворках, захватывая домашнее светило.

Соединенные Короли неба сражаются на моей крыше и, господа высот, разбивают на ней лагеря.

Да пойду я один с дуновениями ночи к Принцам, к памфлетистам, туда, где паденье Белид.

Душа, сроднившаяся в молчании со смолой Мертвых! иголками прошиты веки! слава ожиданию под тенью ресниц!

Ночь дает молоко, остерегайтесь! и пусть медовый палец тронет губы расточителя:

«... Плод женщины, о царица Савская!» Предавая душу наименее сдержанную и носясь над чистыми ядами ночи,

я восстану в мыслях своих против действия сна; я уйду с дикими гусями, в пресном

запахе утра!

– А! знали ли мы, когда гасла звезда над пристанищами служанок, что уже столько новых копей

преследовали в пустыне кремнекислые соли Лета?

«Заря, считали вы...» У берега Мертвых морей умывание!

Те, кто голыми спали в огромное время года, толпами встают на земле

– толпами встают и кричат

что этот мир безумен! Старец шевелит веками при желтом свете; женщина

вытягивается на ноге;

и смолистый жеребец кладет свой пушистый подбородок в руку ребенка, не

думающего еще о том, чтобы проколоть ему глаза...

«Одиночество! Я никому не приказывал ждать... Я отсюда уйду, когда захочу...» И Чужеземец, одетый новыми мыслями своими, находит еще сторонников на путях молчания: его глаз подернут слюной, в нем ничего человеческого. И земля в своих зернах крылатых, как речи поэта, путешествует...

VI

Всевластные в наших главных военных округах, с дочерью нашими, одетыми в ткани, как воздух, мы на высотах расставили ловушки счастью. Изобилие и довольство, счастье! И долго стаканы наши, где лед мог запеть, как Мемнон...

И прекращая близь угла уступов стычку молний, огромные золотые блюда в руках служанок косили скуку песков у пределов мира.

Затем был год дуновений на Запад, и на крышах наших, заваленных черными камнями, разговор резвых холстов, преданных радости открытого моря. Всадники на обрыве мысов, под угрозами светоносных орлиц, неся

на копьях ясные катастрофы погожих дней, обнаруживали на морях пламенную летопись:

Кончено! рассказ для людей, мужественная песня для людей, как дрожь открытого моря в железном дереве!.. законы, данные на иных берегах, и союзы, благодаря женщинам, в лоне рассеянных народов; большие страны, проданные на торгу под солнечной опухолью, мир на высоких плоскогорьях и области, назначенные к продаже в торжественном запахе роз...

Тем, кто не чуял, рождаясь, тлеющих углей этих, — что делать им среди нас? И может ли быть, что они в общении с живыми? «Вам, а не мне царить над их отсутствием...» Мы, бывшие здесь, вызвали на границах необыкновенные происшествия и, силы свои истощив, мы радовались среди вас великой радостью:

«Я знаю это племя, основавшееся на склонах: всадники, сбитые в жизненных трудах. Пойдите и скажите им: огромная опасность для тех, кто с нами! Подвиги

без числа и без меры, воли могучие и расточительные, и власть человека, утаенная, как гроздь в лозе. Пойдите и ясно скажите: наши жестокие нравы, наши лошади быстрые и спокойные на зачатках восстаний, и шлемы наши, чуемые яростью этого дня... В истощенных странах, где достойны хулы обычаи, где семьи надо собрать как выводки певчих птиц, вы встретите нас, действующих по-своему, собирающих народы под обширными кровлями, громогласно читающих грамоты, и двадцать племен нам подвластных, говорящих на всех языках...

«Теперь вы уже знаете историю их вкуса: бедные капитаны на бессмертных дорогах, старейшины, толпой пришедшие нас приветствовать, все совершеннолетние этого года со своими богами на жезлах и короли, свергнутые в песках Севера, и их дочери, подчиненные им, приносящие нам уверения в своей верности, и Господин, говорящий: я верю в свою судьбу...

«Или вы рассказываете им о мирной жизни: в странах, наводненных довольством: запах форума и зрелых женщин, желтые монеты чистого звона, передаваемые из рук в руки под пальмами, и народы, движимые сильными пряностями – расходы на армию, установка сильного влияния под носом у рек, привет от мощного соседа, сидящего в тени своих дочерей, и обмен посланий на тонких золотых листках, миры, дружественно заключенные, и установка границы, договоры между народами о запруде рек и подати, наложенные на восторженные страны! (постройка цистерн, амбаров, зданий для кавалерии, ярко синие полы и дороги из розового кирпича – развертывающие материй когда вздумается, варенье из роз на меду, и жеребенок, родившийся в армейском обозе, развертывающие материй когда вздумается и, в зеркалах наших снов, море, заржавливающее мечи, и спуск однажды вечером в морские области к нашим странам великой праздности и к нашим дочерям

«раздушенным, которые успокоят нас дыханием, этими тканями...»)

Так иногда наши пороги торопит странная судьба и на быстрых шагах дня, с этой стороны мира, самого обширного, где добровольно власть уходит каждый вечер, целое вдовство лавров!

Но однажды под вечер дыхание фиалок и глины в руках дочерей наших жен посетило нас среди замыслов наших об устройстве и счастье.

И спокойные ветры носились в глубине пустынных заливов.

VII

Не вечно будем мы жить в этих желтых землях, устладе нашей...

Лето обширнее, чем царство, подвешивает к скрижальям пространства несколько этажей климата. Огромная земля на своем гумне катит, полна до краев, свои угли, гаснущие под золой.

Цвет серы и меда, цвет вещей бессмертных, вся земля с травами, зажигаемыми соломой минувшей зимы, и из зеленой губки единственного дерева небо берет свой лиловый сок.

Месторождение слюды! Ни одного нет чистого зерна в бородах ветра. И свет, как масло. Сквозь щели век, соединяющих меня с зубцами вершин, я знаю камень, запятнанный жабрами, рог молчания в ульях света, и сердце мое начинает заботиться о семействе акрид.

Самки верблюдов, спокойные во время стрижки, покрытые лиловыми рубцами, пусть спешат холмы под данными полевого неба, пусть движутся в молчании по бледной равнине, добела раскаленной, и пусть преклонят, наконец, колени в дыму снов, где в мертвой пыли земли гибнут народы.

Большие спокойные линии уходят к синеве невероятных виноградников. В нескольких краях земли зреют фиалки грозы; и эти облака песков, которые плывут над руслами умерших рек обломками веков...

Тише голос над мертвецами, тише голос днем. Сколько нежности есть в человеческом сердце, неужели найдется ей мера?.. «Я обращаюсь к вам, моя душа! – душа моя, лошадиным запахом омраченная». И несколько летящих на запад огромных земных птиц удачно подражают нашим морским птицам...

На востоке неба, такого же бледного, как священная местность, запечатленная бельем слепца, располагаются спокойные облака, там, где вращаются скорпионы кам-

форы и копыта. Дымы, из-за которых с нами спорит дыханье! земля в бородах насекомых, вся ожидание, земля рождает диковины!..

И в полдень, кода подорожник открывает камни могил, человек опускает веки и освежает он в столетях затылок свой. Всадники сновидений вместо мертвых песков, о тщетные дороги, дыханием обращенные к нам! где найти, где найти воителей, которые будут охранять реки в день их брака?

При шуме великих вод, движущихся по земле, вся соль земли дрожит в сновиденьях. И вдруг, а! вдруг, что эти голоса от нас хотят? Поднимите народы зеркал над покойницкой рек, пусть шлют они призыв векам грядущим! Поднимите камни в честь мою, поднимите камни в молчании, и на страже этих мест на огромных дорогах конница из зеленой бронзы!..

(Тень огромной птицы проходит по лицу моему.)

VIII

Закон о продаже кобыл. Блуждающие законы. Мы сами (Цвет человека).

Наши спутники, эти высокие странствующие смерчи, корабельные часы, идущие по земле, и торжественные ливни чудесного состава, сотканые из пыли и насекомых, преследовавших наши народы в песках, как подушная подать.

(В меру наших сердец было столько разлук!)

Не то, чтоб переход бесплоден был: шагом безбрачных животных (наших лошадей: чистых, по мнению старших), много предпринято в потемках разума – много праздного на границах разума – великие истории о Селевкидах при свисте недовольных и земля, принужденная дать объяснение...

Другое дело: эти тени, козни неба против земли...

Всадники через человеческие семьи, где ненависть порою пела, как синица, поднимем ли мы бич на счастья холощенные слова? Человек, измерь свой вес, сосчитанный в пшенице. Эта страна мне не принадлежит. Что мне дал мир, кроме шороха трав?

Вплоть до местности, называемой местностью Сухого
Дерева:

и голодная молния отдает мне области на западе.

Но за ними нескончаемые дороги и в огромной стране забывчивых лугов, год без оков и памятных дней, приправленный зорями и огнями

(Утреннее жертвоприношение сердца черного барана).

*

Земные дороги, некто вами идет. Власть над каждым знаменем земли.

О странствующий в желтом ветре, вкус души!.. и семя, говоришь ты, индейского папоротника обладает, пусть разобьют его! опьяняющими свойствами.

*

Насилия великое начало владело нами.

IX

В течение долгого времени, покуда на Запад мы шли, что знали мы о вещах смертных?.. И вдруг у наших ног первые дымы..

– Молодые женщины! и вся природа страны благоухает.

*

«..Я тебе возвещаю времена великой жары и крикливых вдов над рассеянием мертвых.

Те, что стареют, храня и лелея молчание,

Сидя на горных вершинах, глядят на пески

И знаменитость сегодняшняя на открытых гаванях.

Но наслаждение рождается в плоти женщин, и в наших женских телах есть как бы закваска черного винограда, и нет отсрочки для нас самих.

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство листвы в наших снах.

Те, что знают истоки, находятся с нами в изгнании, те, что знают истоки, скажут ли вечером нам

под чьими руками, давящими лозы наших бедер, слюной наполняются наши тела? (И

женщина легла в траве с мужчиной, она встает и оправляет платье, и сверчок улетает на своих синих крыльях.)

«...Я тебе возвещаю времена великой жары, а также ночь под лай собак доит наслаждение из женских бедер.

Но Чужеземец живет под шатром, одариваемый молоком и плодами. Ему приносят ключевой воды, чтобы омыть рот, лицо и пол.

Ему приводят к ночи больших бесплодных женщин (а! еще более ночных при дневном свете). И быть может, от меня он примет наслаждение. (Я не знаю привычек его в обращении с женщинами.)

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство родников в наших снах. Открой на свету мой рот, как медовую местность меж скал. И если во мне найдут изъян, да буду я изгнана!

Если же нет, пусть войду я в шатер, пусть войду я нагой близь кувшина, в шатер

и спутник с угла гробницы, меня ты долго будешь видеть немой под деревом – дочерью моих вен. Ложе настоящий под шатром, зеленая звезда на дне кувшина, и да буду я под твоею властью! Нет служанки в шатре, кроме кувшина со свежей водой! (Я уходить умею на заре, не разбудив зеленую звезду, не потревожив сверчка на пороге, не вызвав лая собак всего мира).

«...Я тебе возвещаю времена великого благополучия и блаженство вечера на наших тленных веках...

Но теперь еще день!»

– И стоя на ослепительном ребре дня, на пороге великой страны, более чистой, чем смерть, мочились девушки, раздвинув полотна пестрых одежд.

Х

Выбери большую шляпу, края которой будут соблазнены. Глаз отступает на столетие к областям души. Через ярко-лиловую дверь видны вещи долины: вещи живые, о вещи превосходные!

Жертвоприношение жеребят на могилах детей, очищение вдов среди роз и слет зеленых птиц на дворах в честь старцев;

Надо много вещей на земле услышать и увидеть, вещей живых между нас!

Празднование под открытым небом годовщин больших деревьев и общественные торжества в честь лужи; посвя-

щение черных камней, совершенно круглых, открытие ключей в бесплодных местностях, освящение тканей на концах шестов у входа в ущелья и буйные приветствия под стенами увечию взрослых на солнце, выставленному напоказ свадебному белью!

Много другого еще на уровне наших висков: холощение зверей в предместьях, движение толпы навстречу стригущим овец, роющим колодцы и холостящим жеребцов; размышление в дыхании жатвы и проветривание пастбищ, концами вил, на крышах; постройка изгородей из глины розовой и обожженной, сушилок для мяса уступами, галерей для священников, жилищ для капитанов, огромные дворы ветеринара, тяжелый труд поддержания дорог для мулов, дорог, вьющихся в ущельях, закладка приютов в неопределенных местностях, счета в день прибытия караванов и роспуск охраны в участках менял; известности, нарождающиеся под навесом перед чанами для горячего жира; опротестование долговых обязательств; уничтожение белых червей под землей, сжигание шипов и игл в местах, оскверненных смертью, выпечка прекрасного ячменного или кунжутного хлеба; или хлеба из полбы; и во всех областях человеческий дым...

А! разные люди на путях и обычаях их: пожиратели насекомых, водяных плодов, носящие пластыри богатства; земледелец и возделыватель адали, кровопускатель и солевар, мытарь, кузнец, продавец сахара, корицы, кружек для питья из белого металла и роговых ламп; тот, что кроит одежды из кожи, деревянные сандалии и пуговицы в форме маслины; дающий свои навыки миру, и человек без ремесла: человек с соколом, человек с флейтой, человек с пчелами; тот, кто черпает удовольствие в звуке своего голоса, тот, кто занят созерцанием зеленого камня; кто зажигает для развлечения костер из коры на своей крыше; кто стелет себе ложе на земле из пахучей листвы, кто ложится на него

и отдыхает; кто размышляет о рисунках зеленой керамики для бассейнов с проточной водой, и тот, кто со-

вершил путешествие и вновь думает об отъезде; живший в дождливой стране; играющий в кости, в бабки, или тот, кто разложил на земле свои счетные таблицы; имеющий виды на использование тыквы, волочащий следом за собой мертвого орла, как связку хвороста (и дарят перо, а не продают, для украшения луков), собирающий пыльцу в деревянный корабль (И радость для меня, говорит он, в той желтой краске); тот, кто ест олады, пальмовых червей, малину; любящий вкус эстрагона, мечтающий о перчинке; или еще тот, кто жует окаменелую резину, имеющий ушную раковину и улавливающий благоухание гения в свежих обломках камня; думающий о женском теле, сластолюбец; тот, кто видит свою душу при отблеске лезвия; человек, погруженный в науку, в именные списки; человек, имеющий влияние в советах, дающий названия источникам, дарящий скамьи под деревьями, шерсть, окрашенную для мудрецов, и приковывающий на перекрестках огромные бронзовые кубки для жажды; еще лучше тот, который ничем не занимается, – такой-то, и другой, и столько еще прочих! Ловец перепелов в складках земли, те, кто собирают в хворосте яйца, крапленые зеленым, те, кто сходят с лошади, чтобы поднять вещи, агаты, бледно-голубой камень, обтачиваемый при въезде в пригород (вроде футляров, табакерок и застёжек или же шаров для катания в руках паралитика); те, кто разрисовывают ящички для драгоценностей, сидя на открытом воздухе и посвистывая, человек с палкой из слоновой кости, человек с плетеным стулом, отшельник с руками девушки и воин в отпуске, воткнувший свое копье на пороге, чтобы к нему привязать обезьяну! а! разные люди на разных дорогах и разных привычек и вдруг! появившийся в своих вечерних одеждах и решающий один за другим все вопросы первенства. Рассказчик, который занимает место у подножья скипидарного дерева.

О генеалог на площади! Сколько рассказов о семьях и о родословных? – и пусть мертвый охватит живого, как это говорится на скрижалях Законоведа, если не видел я и тень всего и достоинства возраста: склад книг и хроник, лавки астронома и красота мест погребенья, древнейшие храмы под пальмами, обитаемые мулом и тремя белыми курицами, и там, за ареной моего глаза, множество тайных предприятий в ходу: лагерь, снявшийся с места

при получении новостей, от меня ускользающих, самоуверенность народов у холма и переправа через реки на бурдюках; всадники, везущие брачные письма, засада в виноградниках, затеи разбойников в глубине ущелий и перебежки через поля, чтобы похитить женщину, торговля и заговоры, случка животных в лесу, на глазах у детей, и извлечения пророков в глубине бычьих хлевов, немые разговоры двух мужчин под деревом.

Но над поступками людей на свете есть много знамений в пути, много семян в пути, и над опресноками прекрасной погоды в мощном дыхании земли все перо урожая!..

до вечернего часа, откуда женственная звезда, вещь чистая и данная нам на высотах
неба в залог...

Пахота сна!.. Кто говорит о постройках? – Я видел землю, разделенную на обширные пространства, и мысль моя не покидает моряка.

ПЕСНЯ

Остановив мою лошадь под деревом, полным голубок, я свищу таким чистым свистом, что нет берегам обещаний, которые сдержат реки (Листья, утром живые, живут по образу славы)...

* * *

И не то чтобы человек не был грустен, но, встав до зари, осторожно стоя под старым деревом, опершись подбородком на последнюю звезду, видит он в глубине голодного неба великие чистые вещи, которые превращаются в радость...

* * *

Остановив мою лошадь под воркующим деревом, я свищу еще более чистым свистом... И мир не видевшим этого дня, если умрут они. Но о моем брате, поэте, получены известия. Он опять написал очень нежную вещь. И некоторые прочли ее...

Алексис Раннит

Литания

Разлука – пролетает желтая птица
разлука – вдалеке высятся горы
разлука – тьма непроглядна
разлука – близятся грозы
разлука – пустыня, пустыня
разлука – рана не заживает

но не плачь – у тебя за спиною крылья.

Осень

Все, все перемешай:
и красный блеск Дамаска
с зеленым цветом ириса,
и Аттики
коричневую тень
с сияньем белым
 золота,
и пурпур горестный
с мерцаньем
 камня лунного
и ржу этрусскую
с холодной
 синевою бури.

Все, все перемешай
и помни:
 в красках – радость,
 в линии – боль.

* * *

О, не ищи игры в напеве,
застывшем в строгости своей.
Пойми: как звезды в темном небе
алмаз тем ярче, чем белей.

Пусть сердце бурями задето,
пусть пламя рдеет в них подчас,
единому будь верен свету,
не краскам, не теплу, – а свету,
тому, что виден сквозь алмаз.

Альбер Камю

Незнакомец

Часть первая

I

Сегодня умерла мама. Или, может быть, вчера, не знаю. Я получил из приюта телеграмму: «Мать скончалась. Похороны завтра. Примите соболезнование». Не совсем ясно. Может быть, это было и вчера.

Приют для престарелых находится в Маренго, в восьмидесяти километрах от Алжира. Автобус отходит в два часа, приеду я к концу дня. Таким образом, ночь я смогу провести у тела покойной и вернусь завтра вечером. Я попросил хозяина дать мне два дня отпуска. Отказать мне в подобном случае он не мог. Но вид у него был недовольный. Я даже сказал ему: «Моей вины тут нет».

Он ничего не ответил. Я подумал тогда, что напрасно сказал ему это. В сущности, извиняться у меня не было причин. Скорей он должен был бы выразить мне сочувствие. Но, вероятно, он сделает это послезавтра, увидев меня в трауре. Сейчас положение приблизительно такое, будто мама и не умирала. А после похорон, наоборот, дело будет окончено и все примет оттенок более официальный.

Я уехал с двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Как обычно, позавтракал я в ресторане, у Селеста. Им всем было очень жаль меня и Селест сказал мне: «У каждого из нас мать только одна». Когда я встал, они проводили меня до дверей. Я едва не забыл, что мне надо было

подняться к Эмманюэлю, чтобы занять черный галстук и повязку на рукав. У него с полгода тому назад умер дядя.

Пришлось бежать, чтобы не опоздать на автобус. Из-за спешки, из-за беготни я в пути задремал, да надо бы добавить к этому и толчки, запах бензина, отсвечивание неба и дороги. Я спал почти все время. А проснувшись, увидел, что прижимаюсь к какому-то военному, который улыбнулся и спросил, издалека ли я. Чтобы прекратить разговор, я сказал «да».

Приют находится в двух километрах от деревни. Я пошел пешком. Маму мне хотелось увидеть сразу же. Но сторож сказал, что сначала я должен явиться к директору. Тот был занят, я немного подождал. Сторож все время болтал, а затем я пошел к директору: он принял меня в своем кабинете. Это был старичок с орденом Почетного Легиона в петлице. Он взглянул на меня своими светлыми глазами. Потом пожал мне руку и так долго держал ее в своей, что я не знал, как ее выпростать. Перелистав какие-то бумаги в папке, он сказал мне: «Госпожа Мерсо поступила к нам три года тому назад. Вы были ее единственной опорой». Я подумал, что он в чем-то упрекает меня и начал объяснять ему положение. Но он меня прервал: «Вам не в чем оправдываться, мой юный друг. Я прочел дело вашей матери. Вы не могли взять ее на свое иждивение. За ней нужен был уход. Заработок ваш не велик. И в конце концов ей здесь жилось лучше». Я сказал: «Да, господин Директор». Он добавил: «Знаете, тут у нее были и друзья, люди ее возраста. С ними у нее были общие стариковские интересы. Вы молоды, с вами ей должно было быть скучно».

Это было верно. Дома мама молчала и, не отрываясь, следила за каждым моим движением. В приюте она сначала часто плакала. Но дело было в привычке. Если бы через несколько месяцев ее из приюта взяли, она тоже принялась бы плакать. Дала бы себя знать привычка. Отчасти из-за этого я в последние годы почти никогда и не навещал ее. Впрочем, и из-за того, что даром пропало бы мое воскресение, не говоря уж о необходимости дожидаться автобуса, брать билет и два часа трястись в дороге.

Директор продолжал говорить что-то. Но я его почти не слушал. Потом он сказал: «Вы, вероятно, хотите

видеть вашу мать». Я молча встал и направился за ним к двери. На лестнице он объяснил мне: «Мы перенесли ее в маленькую покойницкую при доме. Чтобы не производить тяжелого впечатления на других. Всякий раз, как один из призреваемых умирает, другие два-три дня нервничают. И тогда нам с ними нет сладу». Мы пересекли двор, где находилось много стариков. Разделившись на маленькие группы, они болтали, но умолкали при нашем приближении. После этого беседа возобновлялась и можно было принять ее за приглушенную болтовню попугаев. У небольшого здания директор со мной простился: «Господин Мерсо, я оставляю вас. Если вам что-нибудь угодно, я у себя в кабинете. В принципе погребение назначено на десять часов утра. Мы считали, что это даст вам возможность провести ночь у гроба скончавшейся. Еще два слова: мне передали, что ваша мать не раз выражала другим пансионерам желание быть погребенной по церковному обряду. Я взял это на себя и сделал все необходимое. Но мне хотелось поставить вас в известность об этом».

Я его поблагодарил. Мама, хоть и не была атеисткой, никогда в течение своей жизни о религии не вспоминала.

Я вошел. Помещение было очень светлое, выбеленное известью, со стеклянным потолком. Стояли стулья и несколько козел, сбитых крест-накрест. На двух козлах находился закрытый гроб. Блестящие винты были едва вверчены и выделялись на крашенных под орех досках. Около гроба сидела санитарка, видимо арабского происхождения, в белом переднике с рукавами и пестрой козынке на голове.

В это мгновение сторож оказался за моей спиной. Он очевидно спешил и слегка заикался. «Гроб мы закрыли, но я отверчу винты, чтобы вы на нее взглянули». Он уже взялся за гроб, но я его остановил. «Не хотите?», спросил он. Я ответил: «Нет». Сторож отошел, а я был смущен, чувствуя, что не следовало говорить этого. По прошествии нескольких секунд он взглянул на меня и спросил: «Отчего?». Я сказал: «Не знаю». Теребя седые усы и не глядя на меня, он сказал: «Понимаю». У него были прекрасные светло-синие глаза и красноватый цвет лица. Он пододвинул мне стул, а сам сел сзади, чуть-чуть

в отдалении. Сиделка встала и направилась к выходу. Сторож сказал мне: «У нее язва». Я сначала не понял, но, взглянув, увидел, что вся голова ее обернута бинтом и что на уровне носа повязка была плоской. Виден был только белый бинт, ничего больше.

Когда она ушла, сторож сказал: «Я вас оставлю одному». Не знаю, какое именно сделал я движение, но он не ушел, а продолжал стоять за мной. Присутствие его меня стесняло. Помещение было залито прекрасным предвечерним светом. Два шершня билось о стекло. Меня клонило ко сну. Не оборачиваясь, я спросил: «Давно вы здесь?». «Пять лет», тотчас же ответил он, будто только и ждал моего вопроса.

Затем он принялся болтать без умолку. Кто бы мог предположить, что он кончит свои дни сторожем в приюте Маренго! Ему было шестьдесят четыре года и был он парижанином. Тут я его прервал: «А, значит вы не здешний?». Потом я вспомнил, что еще до того, как свети меня к директору, он говорил о маме. По его мнению, похоронить ее следовало бы поскорее, потому, что здесь, на этой равнине, дни стоят жаркие. Тогда же он сказал мне, что прежде жил в Париже, где все было ему больше по душе. В Париже покойников оставляют у себя три, а то и целых четыре дня. Здесь это невозможно. Не успеешь свыкнуться с мыслью о случившемся, как уже приходится идти за колесницей. Жена его тогда сказала: «Замолчи. Им неприятно, что ты говоришь о таких вещах». Старик покраснел и извинился. Я вмешался и сказал: «Нет, нет, почему?». То, что он говорил, было, на мой взгляд, и правильно, и интересно.

В покойницей он сказал мне, что поступил в приют, как неимущий. Однако, будучи еще крепок, он предложил свои услуги в качестве сторожа. Я заметил, что, в сущности, он тоже пансионер. Он сказал, что это не так. До этого я уже успел обратить внимание на то, что, говоря о призреваемых, среди которых были люди не старше его, он называл их «другие», «они», или иногда «старички». Разумеется, разница была. Он был сторожем и до известной степени начальством для них.

В эту минуту вошла сиделка. Сумерки быстро сгустились. Над стеклянным потолком было совсем темно. Сторож повернул выключатель и внезапная вспышка

света ослепила меня. Он пригласил меня к обеду в столовую. Но я не был голоден. Тогда он спросил, не принести ли мне чашку кофе с молоком. Я очень люблю кофе с молоком и согласился. Он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Мне захотелось курить. Но я сомневался, удобно ли это при маме. Подумав, я пришел к заключению, что это не имеет никакого значения, и предложил папиросу сторожу. Мы закурили.

Через несколько времени он сказал: «Знаете, друзья вашей покойной матушки тоже придут сюда на ночь. Таков обычай. Я пойду принесу стулья и черный кофе». Я спросил его, можно ли выключить одну из ламп. Отблеск света на белых стенах утомлял меня. Он сказал, что это невозможно. Так была сделана проводка: все или ничего. Больше я не обращал на него внимания. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На одном из них он поставил кофейник и чашки. Потом сел против меня, по другую сторону мамы. Сиделка была в глубине, спиной к нам. Мне не было видно, что она делала. Но судя по движению ее рук, я решил, что она вяжет. Было тепло, от кофе я согрелся, сквозь открытую дверь пахло ночью и цветами. Кажется, я задремал.

Разбудил меня шорох. Сила света и белизна стен показались мне еще ослепительнее. Не было ни малейшей тени и каждый предмет, каждый угол, каждое закругление обрисовывались с четкостью, от которой болели глаза. В эту минуту вошли мамыны друзья. Их было человек десять, они бесшумно скользили в невыносимо ярком освещении. Ни один стул не заскрипел, пока они рассаживались. Я видел их так ясно, как никогда еще никого, и ни одна черта их лиц или их одежды не ускользала от меня. Не слышал я, однако, ни звука и мог бы принять их за призраки. Почти все женщины были в передниках, и шнурки, стягивавшие их по талии, подчеркивали выпуклость их животов. Прежде я никогда не замечал, до какой степени у старух выдаются животы. Мужчины были почти все очень худы, с палками в руках. Поразило меня в их лицах то, что вместо глаз виднелось только что-то тускло светящееся в окружении бесчисленных морщин. Рассевшись, многие из них поглядели в мою сторону и смущенно покачали головой с провалившимся, беззубым ртом. Трудно было понять, кланяются ли они мне

или это было движение произвольное. Думаю, что скорее они кланялись. В это мгновение я обратил внимание, что все они со своими трясущимися головами и со сторожем посередине сидят прямо против меня. Как это ни было нелепо, мне вдруг показалось, что собрались они здесь, чтобы судить меня.

Немного спустя одна из женщин принялась плакать. Она сидела во втором ряду, за другой женщиной, и видел я ее плохо. Она слабо и равномерно всхлипывала и, казалось, не остановится никогда. Другие как будто не слышали ее. Сидели они, понурясь, молча и хмуро. Один смотрел на гроб, другой на свою трость, или в одну точку, ничего не видя иного. Женщина все плакала. Меня это тем более удивляло, что я ее не знал. Мне хотелось, чтобы она умолкла. Но сказать ей это я не решался. Сторож наклонился к ней и шепнул несколько слов, но она, покачав головой, что-то пробормотала и продолжала так же равномерно всхлипывать. Сторож подошел ко мне и сел рядом. После довольно долгого молчания он, глядя в сторону, сказал: «Она была очень дружна с вашей покойной матушкой. Она говорит, что это была ее единственная подруга и что теперь у нее нет больше никого».

Так прошло довольно много времени. Вздохи и всхлипывания женщины стали стихать. Она сильно сопела и наконец умолкла. Спать мне больше не хотелось, но чувствовал я себя утомленным и у меня ломило в спине. Угнетало меня молчание всех этих людей. Время от времени слышался какой-то причудливый звук, но трудно было разобрать, что это. Наконец я догадался, что это тот или иной старик сосет внутреннюю сторону щеки и прищелкивает языком. Они так заняты были своими мыслями, что не отдавали себе ни в чем отчета. У меня даже возникло впечатление, что лежащая перед ними покойница для них ровно ничего не значит. Но теперь я думаю, что это было впечатление ошибочное.

Мы все выпили кофе, поданный сторожем. Что было потом? Не знаю. Ночь прошла. Помню, что я как-то открыл глаза и увидел, что старики, съжившись, спят, за исключением одного, который оперся подбородком на руку, сжимавшую палку, и пристально смотрел на меня, будто только того и ждал, чтобы я проснулся. Потом я

задремал снова. Очнулся я из-за все усиливавшейся боли в спине. Над стеклянным потолком светало. Один из стариков проснулся и сильно закашлялся. Он отхаркивался в большой клетчатый платок и, казалось, с каждым плевком отрывал что-то из груди. Проснулись и другие, и сторож сказал, что пора расходиться. Все встали. От утомительной ночевки лица были землистого цвета. К великому моему удивлению, выходя, они один за другим пожали мне руку, будто эта ночь, прошедшая без того, чтобы мы обменялись единым словом, нас чем-то сблизила.

Я чувствовал себя усталым. Сторож повел меня к себе, я умылся, пригладил волосы. Затем я еще выпил кофе с молоком, очень хорошего. Когда я вышел, было уже совсем светло. Все небо над холмами, отделяющими Маренго от моря, было красно. Ветер, пролетая над ними, доносил запах соли. День обещал быть прекрасным. Я давно уже не был за городом и чувствовал, с каким удовольствием пошел бы прогуляться, если бы не мама.

Но пришлось ждать во дворе, под платаном. Я вдыхал запах свежей земли и спать мне не хотелось. Я вспомнил о своих сослуживцах. Сейчас они встают и собираются на работу: для меня это всегда было самое тяжелое время. Отвлек меня от этих мыслей звон колокола, раздавшийся в здании приюта. За окнами началась возня, потом все стихло. Солнце взошло чуть-чуть выше и стало согревать мне ноги. Сторож, проходя по двору, сказал, что директор просит меня к себе. Я пошел в его кабинет. Он дал мне подписать какие-то документы. Я увидел, что одет он был во все черное с полосатыми брюками. Он взял телефонную трубку и обратился ко мне: «Служащие похоронного бюро здесь уже довольно давно. Я скажу им пойти закрыть гроб. Хотите в последний раз взглянуть на вашу мать?». Я сказал: «Нет». Понизив голос, он отдал по телефону распоряжение: «Фижак, скажите людям, что они могут идти».

Затем он сказал, что будет присутствовать на похоронах, и я его поблагодарил. Он сел за стол, скрестил ноги и предупредил меня, что мы будем одни с дежурной сиделкой. В принципе, пансионерам не полагалось присутствовать на похоронах. Разрешалось им только провести ночь у гроба. «По соображениям человечности», доба-

вил он. Но в данном случае он сделал исключение для одного старого маминого друга по имени Фома Перэз. Тут директор улыбнулся: «Понимаете, в этом было что-то ребяческое. Но он и ваша мать были неразлучны. В приюте над ними подтрунивали, говорили Перэзу: «Это ваша невеста». Он смеялся. Им это доставляло удовольствие. И в самом деле смерть госпожи Мерсо была для него большим ударом. Я не считал себя вправе отказать ему в разрешении. Но, по совету нашего врача, ночевку в покойницкой я ему воспретил».

Довольно долго мы молчали. Директор встал и, глядя в окно, заметил: «А вот и священник. Пожалуй, рановато». Он предупредил меня, что ходу до церкви, находящейся в самой деревне, не меньше трех четвертей часа. Мы спустились. Перед зданием стоял священник с двумя маленькими певчими. Один из них держал кадило, а священник, наклонясь, проверял длину серебряной цепи. Увидя нас, он выпрямился и сказал мне несколько слов, называя меня «своим сыном». Потом он вошел в покойницкую, а я последовал за ним.

Одним быстрым взглядом я заметил, что винты гроба ввинчены и что в помещении находится четыре человека одетых в черное. В то же мгновение директор сказал мне, что дроги стоят на дороге, а священник начал читать молитвы. С этой минуты все пошло очень быстро. Служители с покрывалом в руках подошли к гробу. Мы все, т.е. священник, певчие, директор и я, вышли. У двери стояла незнакомая мне дама. «Г. Мерсо», представил меня директор. Имени дамы я не расслышал и понял только, что это была представительница сиделок. Не улыбаясь, она наклонила свое длинное и костлявое лицо. Затем мы выстроились, чтобы пропустить тело, последовали за служителями, несшими гроб, и вышли за ограду приюта. Перед воротами стояли продолговатые, отполированные, блестящие, похожие на пенал, дроги. Рядом находился распорядитель, небольшого роста, нелепо одетый, и старик, как-то неестественно державшийся. Я понял, что это г. Перэз. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглым дном и широкими полями (он снял ее, когда гроб вынесли за ворота), костюм с потрепанными, смятыми брюками, спускавшимися на башмаки, и черный галстук бантиком, терявшийся в широком белом

воротнике рубашки. Седые, довольно жидкие волосы лежали по сторонам больших, оттопыренных, угловатых ушей, резко выделявшихся на этом белесом лице своим кроваво красным цветом. Распорядитель указал каждому из нас его место. Священник шел впереди, за ним дроги. Вокруг дрог четыре служителя. Позади директор, я, а за нами делегатка от сиделок и г. Перэз.

Солнце стояло уже высоко. Лучи его делались все жгучее, жара быстро усиливалась. Не знаю, почему мы так долго ждали, прежде чем двинуться в путь. Я был весь в темном, мне было жарко. Старик надел шляпу, потом снова снял ее. Я слегка повернулся и смотрел на него. Директор заговорил со мной о нем. По его словам, моя мать и г. Перэз гуляли по вечерам в сопровождении сиделки и часто доходили до самой деревни. Я смотрел вокруг себя. Вглядываясь в кипарисы, которые цепью вели к холмам, упиравшимся в небо, в красноватую и зеленую почву, в редкие, четко обрисованные строения, я как будто понимал маму. Вечера в этом краю должны были быть чем-то вроде меланхолической передышки. Сейчас, наоборот, нестерпимое солнце искажало пейзаж и делало его бесчеловечным.

Мы двинулись. В эту минуту я заметил, что г. Перэз слегка прихрамывает. Дроги ускорили ход и старик стал отставать. Один из служителей тоже слегка отстал и шел на моем уровне. Меня удивляло, с какой быстротой солнце поднималось в небе. В полях без умолку слышался треск насекомых и шелест травы. Пот лился по моим щекам. Шляпы у меня не было, я обвеивался платком. Служитель сказал мне что-то, но я не разобрал, что.левой рукой он держал платок, которым обтирал череп, правой приподнимал край фуражки. Я спросил его: «Что?». Он повторил, указывая на небо: «Жарит». Я сказал: «Да». Немного спустя он спросил: «Это ваша мать там?». Я опять сказал: «Да». «Она была старая?». Я ответил: «Так себе», потому что не знал точно ее возраста. После этого он умолк. Я обернулся и увидел, что старик Перэз отстал метров на пятьдесят. Он торопился и болтал руками, в одной из которых держал шляпу. Взглянул я и на директора. Тот шагал с большим достоинством, не делая лишних жестов. Несколько капель пота дрожало на его лбу, но он их не стирал.

Процессия как будто ускорила ход. Вокруг были все те же залитые солнцем поля. Блеск неба был невыносим. В течение некоторого времени нам пришлось идти по недавно отремонтированному участку дороги. Асфальт потрескался от жары. Ноги вязли в нем и оставляли искрящийся на солнце след. Шляпа из дубленой кожи на голове возницы казалась куском той же черной гущи. Все чуть-чуть перепуталось в моей голове: синева и белизна неба, однообразие липкой черноты асфальта, тусклой черноты одежд, отполированной черноты дроб. Усталость после бессонной ночи усиливалась от солнца, от запаха кожи и навоза, политуры и ладана. Я еще раз обернулся: Перээз был далеко, его едва было видно в пыльном сиянии солнца, потом он совсем исчез. Я прищелкнул и увидел, что он свернул с дороги и идет полем наперерез. Дорога сворачивала в сторону. Я понял, что Перээз, как человек здешний, скашивает, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом он снова исчез и снова пошел наперерез. Это повторилось несколько раз. Кровь билась в моих висках.

Дальше все произошло с такой быстротой, что мне ровно ничего не запомнилось. Впрочем, нет: при входе в деревню делегатка приютского персонала заговорила со мной. У нее был странный голос, певучий и дрожащий, не подходящий к ее лицу. Она сказала: «Если идешь медленно, рискуешь получить солнечный удар. А если спешить, то вспотеешь и в церкви можешь простудиться». Она была права. И так, и сяк плохо. Припоминаю еще кое-что: например, лицо Перээза, когда он в последний раз нагнал нас у входа в деревню. От растерянности и горя крупные слезы дрожали на его щеках. Они расплывались, сливались и влажным блеском покрывали его увядшее лицо. Морщины мешали им стекать. Затем была церковь, деревенские жители на тротуарах, красная герань на могилах, обморок Перээза (будто распавшийся по частям паяц), кроваво красная земля, сыпавшаяся на мамин гроб, обрывки белых корней, в ней мелькавшие, еще люди, еще голоса, деревня, стоянка перед кофейней, ожидание, что вот-вот послышится рев мотора, и радость, когда автобус достиг наконец гостеприимных огней Алжира, и я подумал, что лягу и буду спать двенадцать часов без просыпу.

Проснувшись, я сообразил, почему у хозяина был недовольный вид, когда я попросил его отпустить меня на два дня: сегодня ведь суббота. Я забыл об этом, но вспомнил, вставая. Разумеется, хозяин смекнул, что таким образом я буду свободен четыре дня, и доставить ему удовольствие это не могло. Но, с одной стороны, я же не виноват, что маму похоронили вчера, а с другой, так или иначе, суббота и воскресенье всегда в моем распоряжении. Все же я понимаю, что по-своему хозяин был прав.

Вчерашняя усталость давала себя знать, и встал я нехотя. Бреясь, я обдумывал, как провести день, и решил пойти купаться. На трамвае я доехал до портового пляжа и бросился в воду. Было много молодежи. Среди купавшихся я встретил Марию Кардона, мою бывшую сослуживицу, машинистку, которая мне когда-то нравилась. Кажется, я ей тоже. Но она оставила службу, и у нас с ней ничего не вышло. Я помог ей взобраться на спасательный круг и как будто случайно коснулся ее груди. Она легла плашмя на круге, я еще был в воде. Волосы падали ей на лицо, она смеялась. Я тоже взобрался на круг и лег с ней рядом. Было тепло, хорошо, и, как бы в шутку, я откинулся и положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, я не двинулся. Золотое и синее небо слепило мне глаза. Под затылком я чувствовал, как еле слышно вздрагивает живот Марии. Так, в полудремоте, пролежали мы долго. Когда стало слишком жарко, она нырнула, а я за ней. Я нагнал ее, обнял за талию и мы поплыли рядом. Она все время смеялась. На берегу, когда мы обсушивались, она сказала мне: «Я загорела сильнее, чем вы». Я спросил, не хочет ли она вечерам пойти в кино. Она опять засмеялась и сказала, что охотно посмотрела бы фильм с Фернанделем. Когда мы оделись, она с большим удивлением взглянула на мой черный галстук и спросила, в трауре ли я. Я ответил, что умерла мама. Она осведомилась, когда. Я ответил: «Вчера». Она слегка отшатнулась, но не сказала ничего. Я хотел ей объяснить, что моей вины тут нет, но вспомнил, что говорил об этом хозяину. Все это пустяки. Так или иначе, тебя всегда в чем-нибудь упрекнут.

Вечером Мария все забыла. Фильм был временами смешной, но, правду сказать, слишком глупый. Нога ее касалась моей. Я гладил ей грудь. К концу сеанса я ее поцеловал, но как-то плохо. Мы вышли, она поднялась ко мне.

Когда я проснулся, Марии уже не было. Накануне она объяснила мне, что должна навестить свою тетку. Я вспомнил, что сегодня воскресенье, и мне это было досадно: я не люблю воскресенья. Поэтому я повернулся к стене, и, вдохнув запах соли, оставшийся на подушке от волос Марии, проспал до десяти часов. Затем я выкурил несколько папирос и лежал до полудня. Мне не хотелось идти, как обычно, завтракать к Селесту, потому что наверно они стали бы задавать мне всякого рода вопросы, а этого я не люблю. Я сделал себе глазунью и съел ее прямо на сковородке, без хлеба, так как хлеба у меня не было, а спускаться было мне лень.

После завтрака я не знал, что делать и бродил без толку по квартире. При маме квартира это была удобная. Теперь, для меня одного, она была слишком велика, и обеденный стол я перенес к себе. Я свыкся со своей комнатой, с ее соломенными, слегка продавленными стульями, шкафом с пожелтевшим зеркалом, туалетным столиком, медной кроватью, и поэтому другими комнатами не пользовался. Немного позже, не зная, чем заняться, я взял старую газету и принялся читать. Вырезав объявление о каких-то лечебных солях, я вклеил его в тетрадь, где сохранял то, что показалось мне в газетах забавным. Затем я вымыл руки и уселся на балконе.

Комната моя выходит на главную улицу пригорода. День стоял прекрасный. Но мостовая отсвечивала чем-то жирным, прохожих было немного, и казалось, они торопились. Сначала это были семьи, отправлявшиеся на прогулку: два мальчика, довольно неуклюжих в своих новых матросских костюмах с короткими штанишками, и девочка с большим розовым бантом и в черных лакированных туфельках. За ними мать, огромная, в коричневом шелковом платье, и маленький, сухонький отец, которого я знал с виду. На нем была соломенная шляпа, галстук бабочкой, в руке он держал трость. Глядя на него рядом с женой, я понял, почему в околотке о нем отзывались, как о человеке изящном и благовоспитан-

ном. Немного позже прошли молодые люди, тоже местные жители, напомаженные, с красными галстуками, в узких пиджаках с вышитым платочком в боковом кармане и башмаках с квадратными носками. Я решил, что они идут в одно из центральных городских кино. Оттого-то они и вышли так рано и спешили к остановке трамвая, хохоча во все горло.

Потом улица мало-помалу опустела. Вероятно, всюду начались сеансы. Лавочники и кошки, больше не было никого и ничего. Небо над фикусами, стоявшими по обеим сторонам улицы, было чисто, но бледновато. Табачный торговец против моего дома вынес стул, поставил его перед дверью и сел верхом, опираясь обеими руками на спинку. Трамваи, только что проходившие переполненными, были почти пусты. В маленьком кафе «У Пьеро», рядом с табачной лавкой, человек подметал разбросанные в пустом зале опилки. Видно было по всему, что сегодня воскресенье.

Я повернул стул и сел, как табачный торговец, решив, что это в самом деле удобнее. Потом выкурил две папиросы, встал за куском шоколада и съел его у окна. Небо потемнело, и я подумал, что будет гроза. Постепенно, однако, опять прояснилось. Но от промчавшихся облаков веяло дождем и было уже не так светло. Я долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов послышался грохот трамваев. Со стадиона возвращались сотни зрителей, гроздьями висевших на ступеньках. Со следующим трамваем вернулись игроки, которых я узнал по их чемоданчикам. Они громко пели и орали, что их команда непобедима. Некоторые помахали мне рукой. Один даже крикнул: «Наша взяла!». Кивнув головой, я сказал: «Да». Показались автомобили, и вскоре пошли они сплошной вереницей.

День клонился к вечеру. Небо над крышами стало красноватым, улицы оживились. Гуляющие возвращались домой. Среди них был и благовоспитанный господин. Дети плакали, иных приходилось тащить за руки. Почти одновременно из распахнутых дверей местных кино хлынули толпы зрителей. Вид у молодых людей был более решительный, чем обычно, и я подумал, что фильм был, значит, авантюрный. Несколько позднее вернулись зрители и из центральных кино. Они казались

задумчивы, а если и смеялись, то сдержанно. Вид у них был слегка озабоченный. Довольно долго они ходили взад и вперед по тротуару против моего дома. Девушки держались за руки и были без шляп. Молодые люди старались попасться им на глаза и изощрялись во всякого рода шутках по их адресу. Те со смехом отворачивались. Некоторых из них я знал, и они кивнули мне головой.

Внезапно вспыхнули фонари. Первые звезды, уже мерцавшие в небе, стали еле заметны. Смотрел я на прохожих и на светящиеся вывески, по-видимому, чересчур долго, глаза мои устали. Поблескивала влажная мостовая, огни трамваев попеременно озаряли то чьи-нибудь светлые волосы, то улыбку, то серебряный браслет. Потом трамваи стали проходить реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, людей видно больше не было и первая кошка лениво пересекла опустевшую улицу. Я подумал, что пора обедать. Оттого, что я долго сидел, опершись на спинку стула, у меня слегка ныла шея. Я спустился купить хлеба, сварил макароны и съел их стоя. Папиросу мне хотелось выкурить у окна, но было довольно свежо и я немного продрог. Я затворил окна, а повернувшись, увидел в зеркале край стола, на котором стояла спиртовка и лежали куски хлеба. Я сказал себе, что вот воскресенье и прошло, мама похоронена, завтра надо идти на службу и что, в сущности, все осталось по-прежнему.

III

Сегодня в конторе у меня было много работы. Хозяин был любезен. Он спросил, не очень ли я устал, и полюбоществовал, сколько маме было лет. Боясь ошибиться, я сказал: «Лет шестьдесят». Не знаю, почему, он облегченно вздохнул и принял такой вид, будто нечего об этом больше и говорить.

На столе моем накопилась груда дел и надо было их разобрать. Перед тем, как пойти завтракать, я вымыл руки. В полдень это всегда приятно. Вечером я это люблю меньше, потому что висячее полотенце бывает тогда насквозь влажно: в употреблении оно находилось целый день. Однажды я сказал об этом хозяину. Он ответил, что, конечно, это досадно, но что на подобные пустяки

не стоит обращать внимание. Я вышел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюэлем, работающим в экспедиции. Контора находится на берегу моря. Некоторое время мы стояли, глядя на корабли в залитом солнцем порту. В это мгновение, громыхая и потрескивая, прошел грузовик. Эмманюэль подмигнул мне, и я бросился бежать. Грузовик нас обогнал, мы мчались за ним. Все тонуло в грохоте и в пыли. Я ничего не видел, ничего не чувствовал, кроме беспорядочной погони посреди лебедек и машин, мимо пляшущих на горизонте мачт и кораблей. Наконец я схватился за край грузовика и вскочил на ходу. Затем помог взобраться Эмманюэлю. Мы едва дышали, грузовик подскакивал на булыжниках, которыми была вымощена набережная. Эмманюэль не унимаясь хохотал.

Обливаясь потом, мы добрались до Селеста. Он был все тот же: толстый живот, передник, седые усы. «Как дела?», участливо спросил он меня. Я ответил: «Ничего, все в порядке» и сказал, что голоден. Поел я быстро и выпил чашку кофе. Затем я пошел к себе и лег вздремнуть, так как выпил слишком много вина. Проснувшись, выкурил папиросу. Было поздно, я побежал к трамваю. До вечера я работал. В конторе было очень душно, и выйдя я, не торопясь, с большим удовольствием прошелся по набережной. Небо было зеленое, чувствовал я себя прекрасно. Однако я все же, никуда не заходя, вернулся домой, потому что мне хотелось сварить себе картошки.

Поднимаясь, я в потемках наткнулся на старика Саламано моего соседа по комнате. С ним была его собака. Уже восемь лет, как они неразлучны. Собака страдает какой-то накожной болезнью, теряет шерсть и вся покрыта лишаями и коричневыми струпьями. От долгой совместной жизни вдвоем в маленькой комнате, Саламано стал в конце концов на нее похож. На его лице видны красноватые струпья, волосы его жидки и бесцветны. А собака по примеру хозяина слегка гнется, вытягивая морду и шею. Можно подумать, что они в родстве, хотя терпеть друг друга не могут. Два раза в день, в одиннадцать часов и в шесть, старик выводит собаку гулять. Маршрут их остался за восемь лет неизменен. Кто на Лионской улице их не знает? Собака рвется вперед, старик удерживает ее и спотыкается.

В конце концов он принимается бить и ругать ее. Тогда собака от страха приседает, еле-еле ползет, и тянуть ее приходится ему. Потом собака забывает о случившемся, снова рвется и снова он начинает бить и бранить ее. Они останавливаются на тротуаре и смотрят друг на друга, собака с ужасом, человек с ненавистью. Это повторяется ежедневно. Собака хочет помочиться, старик не дает ей достаточно времени, тянет вперед и она оставляет за собой длинных след маленьких капель. Иногда она мочится в комнате и старик снова бьет ее. Длится это целых восемь лет. Селест осуждает старика, но не знаю, справедливо ли. При встрече на лестнице Саламано ругал собаку и кричал: «Дрянь! Падаль!», а собака стонала. Я сказал: «Здравствуйте!», но старик продолжал кричать. Я спросил, в чем собака провинилась. Он не ответил, продолжая кричать: «Дрянь! Падаль!». Видя, что он наклонился и поправляет ошейник, я повторил свой вопрос громче. Не оборачиваясь и сдерживая гнев, он ответил: «Никак не подойдет!». Затем стал спускаться, волоча собаку за собой. Та упиралась и повизгивала.

Как раз в это время вошел мой другой сосед. В околотке ходит слух, что живет он на счет женщин. Однако сам он говорит, что работает кладовщиком. Мало кто любит его. Но со мной он довольно общителен и даже иногда заходит ко мне, очевидно ценя то, что болтовню его я выслушиваю. По-моему, рассказы его интересны, да и на каком основании я не стал бы с ним разговаривать? Зовут его Рэмон Сентэс.

Он маленького роста, широкоплечий, с носом, как у боксера. Одет всегда чисто. Глядя на Саламано, он тоже что-то проворчал и спросил меня, не противно ли мне такое соседство. Я сказал, что нет, не противно.

Мы поднялись и я уж взялся за свою дверь, когда он сказал: «У меня есть кровяная колбаса и вино. Может быть, закусим вместе?». Я подумал, что это избавит меня от стряпни, и согласился. У него тоже всего одна комната, с кухней без окон. Над кроватью ангел из белого с розовым гипса, фотографии чемпионов и двух или трех голых женщин. Комната грязная, постель неубрана. Он сначала зажег керосиновую лампу, потом вынул из кармана сомнительной чистоты бинт и перевязал правую руку. Я спросил, что это у него. Он сказал, что подрался

с одним парнем, лезшим к нему со всякого рода упреками.

«Видите ли, господин Мерсо, — сказал он, — я человек не злой. Но я вспыльчив. Тот сказал мне: «А ну-ка, сойди с трамвая, если ты не баба». Я сказал ему: «Брось, не дури!». Он сказал, что я баба. Тогда я сошел с трамвая и сказал: «Заткни глотку, или я тебе так двину!». Он сказал: «А ну-ка, попробуй!». Тогда я дал ему в морду. Он упал. Я хотел его поднять, но он оттолкнул меня ногой. Тогда я ударил его коленом и дал две оплеухи. Лицо его было все в крови. Я спросил его, хватит ли с него. Он сказал: «Да». Рассказывая все это, Сентэс возился с перевязкой. Я сидел на кровати. Он сказал мне: «Как видите, начал не я. Нагрубил мне он». Это было верно, и я с ним согласился. Тогда он мне заявил, что как раз-то и собирался просить у меня совета по этому делу, что я человек бывалый, знаю жизнь, мог бы помочь ему и что в таком случае мы станем приятелями. Я ничего не ответил, и он спросил, хочу ли я быть его приятелем. Я сказал, что мне все равно, и ответ мой, по-видимому, его удовлетворил. Он достал колбасу, зажарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, приборы и две бутылки вина. Все это молча. Мы уселись. За едой он стал рассказывать мне о себе. Сначала он слегка колебался. «Видите ли, я был знаком с одной дамой... это была, так сказать, моя любовница». Человек, с которым он подрался, был братом этой женщины. Он сказал, что содержал ее. Я ничего не ответил, хотя он и добавил, что ему отлично известно все, что говорят в околотке, но что совесть его спокойна и что он работает на складе.

«Дело обстояло так, — сказал он. — Я заметил, что что-то было не совсем чисто». Денег он давал ей в обрез. Сам платил за комнату и давал двадцать франков в день на еду. «Триста франков комната, шестьсот франков еда, ну, время от времени пара чулок, всего выходило около тысячи франков. А сударыня не работала! Но она жаловалась, что ей мало, что ей трудно сводить концы с концами. Я ей говорил: «Отчего ты не работаешь хотя бы полдня? На всякие мелочи тебе хватило бы. Я недавно купил тебе кофточку и юбку, я даю тебе двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты распиваешь кофе с разными там подругами! Кофе, сахар, все на твой

счет. Деньги ведь даю тебе я. Упрекнуть себя мне не в чем, а ты неблагодарна». Но она не работала, она продолжала жаловаться, что ей не хватает и вот в конце концов я и заметил, что дело тут не совсем чисто».

По его словам, он как-то нашел в ее сумочке лотерейный билет и она не могла объяснить, откуда он у нее. Немного позже он нашел ломбардную квитанцию, по которой видно было, что она заложила два браслета. Об их существовании он не знал. «Ясно, она меня обманывала. Тогда-то я с ней и разошелся. Но предварительно я здорово отколотил ее. Заодно я дал ей понять, что она за дрянь. Я сказал ей, что она ровно ни о чем не думает, кроме как о всем известных штучках. Я так сказал, господин Мерсо: «Разве ты не видишь, что все завидуют тому счастью, которое я тебе даю? Подожди, пройдет время, ты еще пожалеешь о нем».

Избил он ее до крови. Прежде он ее не бил. «Так только, изредка, да и то совсем легко. Она начинала кричать. Я затворял ставни, и все кончалось как обычно. Но теперь дело другое. По-моему, я недостаточно наказал ее».

Он объяснил мне, что именно поэтому и нужен ему совет. Лампа коптила, он остановился, чтобы поправить фитиль. Я слушал молча. От вина, — выпил я почти целый литр, — у меня стучало в висках. Папирос у меня больше не было, курил я папиросы Рэмона. Проходили последние трамваи, уносили с собой отдалявшийся шум пригорода. Рэмон продолжал свой рассказ. Досадно ему было то, что «к соитию с ней он испытывал то же влечение, что и прежде». Но надо было ее наказать. Сначала он думал пойти с ней в номера и вызвать полицию, чтобы произошел скандал и ее записали, как профессионалку. Потом он решил поговорить с друзьями из соответствующей среды. Те не придумали ничего. «Стоит ли, скажите, после этого водиться с такой компанией!», заметил Рэмон. Он им это и сказал, и они тогда предложили изуродовать ее шрамом на лице. Но он не этого хотел. Надо было подумать. Однако сначала у него была ко мне просьба. Кстати, что я вообще думаю о всей этой истории? Я ответил, что не думаю ничего, но что история это занятная. Он спросил, как я считаю, обманывала ли она его, — а по-моему, обман был вне сомнения, — и думаю

ли я, что надо ее наказать, и что я сделал бы на его месте. Я сказал, что решить трудно, но что его желание наказать ее мне понятно. Потом я еще немного выпил. Он закурил и стал откровеннее. Ему хотелось бы написать ей письмо, грубое, оскорбительное, но вместе с тем и такое, чтобы возбудить в ней раскаяние. Она к нему бы пришла, он лег бы с ней и в самый последний момент, «перед тем, как кончить», плюнул бы ей в лицо и вышвырнул бы ее вон. Я признал, что в самом деле наказание это было бы настоящим. Но Рэмон сказал, что написать как следует такое письмо он не в состоянии и рассчитывает на меня. Я молчал, и он спросил меня, не затруднит ли меня сделать это теперь же. Я ответил, что не затруднит.

Он встал, выпил еще стакан вина, отодвинул тарелки и остаток колбасы. Потом тщательно вытер клеенку, которой был покрыт стол. Из ящика стола он вынул листок бумаги в клеточку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с фиолетовыми чернилами. Судя по имени женщины, это была мавританка. Я составил письмо. Написал я его как попало, однако все же старался угодить Рэмону, потому что причин поступить иначе у меня не было.

Окончив, я прочел ему письмо вслух. Он слушал, куря и кивая головой, потом попросил прочесть еще раз и остался очень доволен. «Я чувствовал, что ты знаешь жизнь», сказал он. Сначала я и не заметил, что он перешел на ты. Поразило это меня только тогда, когда он сказал: «Теперь ты друг что надо!». Это он повторил дважды и я ответил: «Да». Мне было безразлично, быть его другом или нет, но ему этого явно хотелось. Он запечатал письмо и мы допили вино. Затем молча выкурили еще несколько папирос. На улице была тишина, проехала только одна машина. Я сказал: «Поздно». Рэмон с этим согласился и заметил, что время идет быстро.

В известном смысле это было верно. Мне хотелось спать, но подняться было трудно. Рэмон сказал мне, что не следует распускаться. Сначала я не понял его. Он объяснил, что знает о смерти мамы, но что рано или поздно это должно было случиться. Таково же было и мое мнение.

Я встал. Рэмон крепко пожал мне руку и сказал, что мужчина мужчину поймет всегда. Я затворил за собой

дверь и несколько секунд простоял на площадке в полной темноте. В доме все было тихо, снизу, из глубины лестницы, поднимался сырой, смутный запах. В ушах у меня билась кровь. Я стоял неподвижно. В комнате старика Саламано глухо проскулила собака.

IV

Всю эту неделю работы у меня было порядочно. Рэмон приходил сказать, что отправил письмо. Два раза был я в кино с Эмманюэлем, который не всегда схватывает, что происходит на экране. Приходится ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы и условились, у меня была Мария. Она очень взволновала меня, так как была в красивом платье с красными и белыми полосами и в кожаных сандалиях. Обрисовывались тугие груди, да и загар очень шел к ней. На автобусе мы отправились за несколько километров от Алжира на пляж, окруженный скалами, с тростниками на берегу. Послеполуденное солнце жгло не слишком сильно, но вода была теплой и на море тянулись низкие, ленивые волны. Мария научила меня игре, заключавшейся в том, чтобы, пlying, набрать в рот с гребня волны как можно больше пены и затем, обернувшись на спину, выдохнуть ее высоко вверх. Получалось нечто вроде легкого, пенистого кружева, которое рассеивалось в воздухе или теплым дождем падало на лицо. Однако я вскоре почувствовал, что соль разъедает рот. Мария нагнала меня и в воде прижалась ко мне. Рот ее слился с моим. Ее язык освежал мне губы и несколько времени мы провозились в волнах.

Когда мы на пляже одевались, Мария пристально, блестящими глазами смотрела на меня. Я ее поцеловал. Начиная с этого момента мы молчали. Я прижал ее к себе и нам не терпелось дождаться автобуса, вернуться, подняться ко мне и броситься на постель. Окно я оставил открытым и приятно было ощущать на наших загорелых телах дыхание летней ночи.

Утром Мария осталась у меня и мы решили вместе позавтракать. Я спустился купить мяса. Поднимаясь, я услышал в комнате Рэмона женский голос. Немного спустя старик Саламано принялся бранить свою собаку, на деревянной лестнице послышался стук подошв и

скрип когтей, потом ворчание: «Дрянь, падаль!». Они вышли на улицу. Я рассказал Марии про старика, она смеялась. На ней была моя пижама с засученными рукавами. Смех ее опять возбудил меня. После она спросила, люблю ли я ее. Я ответил, что это ровно ничего не значит, но что уж если на то пошло, то скорее не люблю. У нее сделался грустный вид. Но, готовя завтрак, она опять стала смеяться, не помню точно из-за чего, и я снова поцеловал ее. В это время в комнате Рэмона поднялся крик.

Сначала послышался пронзительный женский визг, а затем голос Рэмона, повторявшего: «Ты оскорбила меня, оскорбила. Я научу тебя, как меня оскорблять!». Затем какие-то глухие звуки и наконец женский вой, такой страшный, что площадка мгновенно наполнилась народом. Мы с Марией вышли тоже. Женщина продолжала кричать, а Рэмон бил ее. Мария сказала, что это ужасно, я ничего не ответил. Она попросила меня сходить за полицейским, но я сказал, что не люблю полиции. Однако жилец со второго этажа, водопроводчик, полицейского привел. Тот постучал в дверь и настала тишина. Он постучал сильнее, послышался женский плач, и Рэмон отворил дверь. В зубах у него была папироса, вид был самый добродушный. Женщина бросилась вперед и сказала полицейскому, что Рэмон избил ее. «Как фамилия?», спросил полицейский. Рэмон ответил. «Вьнь изо рта папиросу, когда говоришь со мной», сказал полицейский. Рэмон, будто колеблясь, взглянул на меня и затаился сильнее. Полицейский широко размахнулся и дал ему затрещину. Папироса отлетела на несколько метров в сторону. Рэмон изменился в лице, но сначала не сказал ничего, а затем дрожащим голосом спросил, может ли он поднять окурки. Полицейский заявил, что может, и добавил: «В следующий раз будешь знать, с кем имеешь дело!». Женщина все плакала и повторяла: «Он исколотил меня. Это кот». «Скажите, господин полицейский, — спросил Рэмон, — разрешается ли законом называть мужчину котом?». Но полицейский велел ему «заткнуться». Рэмон обернулся к женщине и сказал: «Подожди, голубушка, это еще только начало». Но полицейский снова велел ему молчать и сказал, чтобы женщина уходила, а Рэмон оставался у себя в ожидании вы-

зова в комиссариат. Затем добавил, что стыдно человеку напиваться до дрожи во всем теле. Рэмон возразил, что он вовсе не пьян. «Дрожу я, господин полицейский, потому, что стою перед вами. Как же иначе?». Дверь свою он притворил, и все разошлись. Вместе с Марией мы снова стали готовить завтрак. Но есть ей не хотелось и я один съел почти все. В час дня она ушла, а я прилег и задремал.

Часа в три раздался стук в дверь и вошел Рэмон. Я продолжал лежать. Он сел с краю кровати и молчал. Я спросил, как произошло дело. Он рассказал, что все было именно так, как он хотел, но что она дала ему пощечину и что тогда он ее избил. Остальное я видел сам. Я сказал, что, по-моему, теперь она наказана и что он должен быть доволен. Таково же было и его мнение. Ей здорово попало, и как бы полицейский ни изворачивался, ничего изменить тут было нельзя. Он добавил, что не раз имел с полицейскими дело и знает, как с ними обращаться. Его интересовало, ждал ли я, что он даст полицейскому сдачи. Я ответил, что не ждал ничего и что вообще не люблю полиции. Рэмону это, по-видимому, очень понравилось. Он спросил, не хочу ли я с ним пройтись. Я встал и начал приглаживать волосы. Он сказал, что я должен быть свидетелем по его делу. Мне это было безразлично, но я не знал, что именно должен я буду сказать. По словам Рэмона, достаточно будет подтвердить, что женщина его оскорбила. Я согласился быть свидетелем.

Мы вышли. Рэмон угостил меня рюмкой коньяку и предложил сыграть партию в бильярд. Выиграл он, но не без труда. Потом ему хотелось пойти в публичный дом, но я отказался, потому что не люблю этого. Мы потихоньку вернулись к себе и он все говорил о том, как доволен, что ему удалось наказать любовницу. Со мной он был очень мил и на мой взгляд время мы провели приятно.

Издали я увидел старика Саламано, стоявшего на пороге и казавшегося чем-то взволнованным. Приблизившись, я заметил, что собаки с ним не было. Он глядел во все стороны, вертелся, всматривался во тьму за дверью, бормотал что-то бессвязное и снова принимался смотреть вдаль своими маленькими красными

глазами. Рэмон спросил, что с ним, но он не ответил. Мне послышалось, что в волнении он шепчет: «Дрянь, падаль». Я спросил, где его собака. Он довольно резко ответил, что собака ушла. И вдруг заговорил, будто его прорвало: «Я пошел с ней, как обычно на Маневренное поле. Вокруг ларьков толпился народ. Я остановился взглянуть на «Короля беглецов». А когда обернулся, ее не было. Правду сказать, я давно уже собирался купить ей ошейник потуже. Но кто бы мог предвидеть, что эта падаль удерет?».

Рэмон объяснил ему, что собака, вероятно, заблудилась и вернется. Он привел примеры того, как некоторые собаки за десятки километров возвращались к хозяину. Но старик волновался все сильнее. «Дело ведь в том, что они заберут ее. Хорошо, если бы кто-нибудь ее приютил. Но ведь она вся в стружьях, кому такая нужна! Полиция заберет ее, будьте уверены». Я сказал, что ему следовало бы пойти справиться, и что если он заплатит штраф, собаку ему отдадут. Он спросил, велик ли штраф. Этого я не знал. Тут он пришел в ярость. «Этого еще не хватало, платить за такую падаль!». И он принялся ругать ее. Рэмон рассмеялся и стал подниматься. Я пошел за ним и на площадке нашего этажа мы расстались. Немного спустя послышались шаги старика и раздался стук в мою дверь. Я отворил. Он молча стоял на пороге, а потом сказал: «Извините, извините». Я пригласил его войти, но он не захотел. Опустив голову, он смотрел на носки своих башмаков и руки его, покрытые стружками, дрожали. Не глядя мне в глаза, он спросил: «Скажите, господин Мерсо, они ведь не заберут ее? Они отдадут ее мне, да? А то что же я буду делать?». Я сказал, что собак держат в распоряжении хозяев три дня, а потом делают с ними, что хотят. Он молча посмотрел на меня и сказал: «Добрый вечер». Дверь свою он затворил, но мне слышно было, как он ходит взад и вперед. Скрипнула его кровать. По странному глухому хрипению, доносившемуся из-за перегородки, я понял, что он плачет. Не знаю, отчего, я вспомнил о маме. Однако завтра утром надо было рано вставать. Есть мне не хотелось, я лег спать, не обедая.

Рэмон телефонировал мне в контору. Сказал, что один из его друзей (которому он обо мне говорил) приглашает меня в воскресенье к себе на дачу, в окрестностях Алжира. Я ответил, что ничего не имел бы против, но что обещал провести воскресенье с приятельницей. Рэмон тотчас же сказал, что приглашает и ее тоже. Он уверен, что жена его друга будет чрезвычайно рада не быть совсем одной в компании мужчин.

Я хотел повесить трубку, зная, что хозяин не любит, когда нас вызывают из города. Но Рэмон попросил меня подождать и сказал, что приглашение мог бы передать и вечером, но что у него есть ко мне и другое дело. За ним целый день ходила по пятам кучка арабов, среди которых был и брат его любовницы. «Если вечером, возвращаясь, ты увидишь их у нашего дома, предупреди меня». Я обещал так и сделать.

Вскоре после нашего разговора хозяин вызвал меня к себе. Сначала я с досадой подумал, что он скажет мне поменьше телефонировать и побольше работать. Но дело было не в этом. Ему хотелось поговорить со мной об одном еще туманном своем проекте и узнать мое мнение о нем. У него возникла мысль об открытии конторы в Париже, где можно было бы наладить коммерческие сношения непосредственно с крупными фирмами. Согласен ли я этим делом заняться? Жил бы я в Париже, а часть года проводил бы в разъездах. «Вы молоды, мне кажется, что такая деятельность должна быть вам по душе». Я ответил, что такая деятельность мне, может быть, и по душе, но что в сущности мне все равно. Он спросил, не привлекает ли меня изменение образа жизни. Я сказал, что жизнь всегда и везде одна и та же, что любой образ жизни, каков бы он ни был, не лучше и не хуже другого и что во всяком случае я своей жизнью доволен. Ему это не понравилось и он сказал, что я всегда отвечаю уклончиво, что у меня нет никакого честолюбия и что в делах это никуда не годится. Я ушел и стал работать. Противоречить ему мне было скорей неприятно, но изменять свою жизнь у меня оснований не было. Положа руку на сердце, несчастным счесть я себя не мог. В бытность студентом я часто мечтал о том, как бы выдвинуть-

ся. Но потом, когда принужден был бросить учение, быстро понял, что все это сущие пустяки.

Вечером за мной зашла Мария и спросила, хочу ли я на ней жениться. Я ответил, что мне это безразлично, но что если она хочет, то можно и жениться. Она спросила, люблю ли я ее. Как и в прошлый раз я ответил, что это бессмысленные слова, но что я ее не люблю, сомнений в этом нет. «Зачем же тогда ты на мне женишься?», сказала она. Я объяснил ей, что брак не имеет ни малейшего значения, но если таково ее желание, жениться мы могли бы. Да ведь и хочет этого она, а я ограничиваюсь тем, что не возражаю. Она заметила, что брак вещь серьезная. Я ответил: «Нет». Она умолкла и взглянула на меня. Потом заговорила снова. Ей хотелось знать, принял ли бы я подобное предложение от другой женщины, с которой тоже был бы в связи. Я ответил: «Само собой». Она сказала, что не уверена в своей любви ко мне, а я-то насчет этого не знал, разумеется, ничего. После короткого молчания она прошептала, что человек я странный, что за это-то она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь из-за этого я стану ей противен. Я молчал, так как к сказанному добавить мне было нечего, а она, улыбаясь, взяла меня за руку и сказала, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, что готов жениться когда угодно. Затем я рассказал ей о предложении хозяина. Мария призналась, что хотела бы побывать в Париже. Я сказал, что когда-то в Париже жил и она принялась расспрашивать, какова там жизнь. Я сказал: «Много грязи. Голуби, темные дворы. Кожа у людей белая».

После мы бродили по городу и пересекли его по главным улицам. Было много красивых женщин, и я спросил Марию, замечает ли она это. Она ответила утвердительно и сказала, что понимает меня. Некоторое время мы молчали. Мне хотелось, чтобы она осталась со мной, и я сказал, что мы могли бы вместе пообедать у Селеста. Ей тоже очень хотелось этого, но у нее были какие-то дела. Мы дошли до моего дома, и я с ней простился. Она взглянула на меня: «Тебе не интересно знать, какие у меня дела?». Конечно, мне было интересно, но раньше я об этом не подумал и в этом-то она меня и упрекала. Вид у меня был, вероятно, смущенный, она рассмеялась и прильнула ко мне всем телом, протянув мне губы.

Обедал я у Селеста. Я уже начал есть, как вошла маленькая, странная женщина и спросила, может ли она сесть за мой стол. «Отчего же нет?», ответил я. У нее были резкие, отрывистые движения, лицо, похожее на яблочко, и блестящие глаза. Она сняла жакетку, села и бегло просмотрела меню. Затем позвала Селеста и сразу, уверенно и поспешно, заказала все блюда. В ожидании закусок, она открыла свою сумочку, вынула листок бумаги и карандаш, подвела счет, взяла из кошелька нужную сумму и добавив к ней чаевые, положила деньги перед собой. В этот момент ей подали закуски, которые она тут же и уничтожила. В ожидании следующего блюда она опять открыла сумочку, вынула синий карандаш и журнал с радиопрограммами текущей недели. С большой тщательностью она принялась отмечать одну за другой чуть ли не все передачи. В журнале было двенадцать страниц, и занятие это растянулось на все время обеда. Я уже кончил есть, а она все так же старательно отмечала и подчеркивала. Потом встала, теми же точными, как у автомата, жестами надела жакетку и вышла. Делать мне было нечего, я вышел вслед за ней. Она шла по краю тротуара, двигаясь с невероятной быстротой и уверенностью, не сбиваясь в сторону и не оборачиваясь. В конце концов я потерял ее из виду и пошел обратно. Странная женщина, подумал я, но довольно скоро забыл о ней.

У моей двери стоял старик Саламано. Я попросил его войти, и он сказал, что собака его, очевидно, пропала. Городские служащие, забирающие на улицах бездомных собак, высказали предположение, что ее раздавили. Он упросил их, нет ли возможности навести справки в комиссариате, но ему ответили, что подобные происшествия случаются каждый день и никаких записей им не ведется. Я сказал старику, что он мог бы завести другую собаку, но он справедливо возразил, что привык к той.

Я пристроился на кровати, а Саламано сел на стул, против меня, перед столом, и держал руки на коленях. Старой своей фетровой шляпы он не снял и сквозь пожелтелые усы бормотал обрывки каких-то фраз. Было скучновато, но занят я не был и спать мне не хотелось. Поэтому я стал расспрашивать его о собаке. Он сказал, что завел ее после смерти жены. Женился он довольно

поздно. В молодости он мечтал о карьере актера: в полку ему давали роли в военных водевилях. Но вместо того он стал железнодорожником и не жалеет об этом, так как теперь получает маленькую пенсию. В браке счастлив он не был, но мало-помалу обжился и привык к жене. После ее смерти его тяготило одиночество. Тогда-то он и попросил товарища по мастерской уступить ему собаку, и тот дал ему крохотного щенка. Вначале приходилось кормить его соской. Но так как собачий век короче человеческого, то в конце концов состарились они вместе. «У нее был скверный характер, — сказал Саламано. — Время от времени у нас с ней бывали стычки. Но все-таки это была хорошая собака». Я сказал, что это была собака породистая, и, по-видимому, это доставило Саламано удовольствие. «А вы ведь не видели ее до болезни, — сказал он. — Особенно красива у нее была шерсть». Со времени болезни Саламано ежедневно, утром и вечером, натирал ее какой-то мазью. Но по его мнению, больна она была старостью, а старость неизлечима.

Тут я зевнул, и старик сказал, что сейчас уйдет. Я ответил, что он может посидеть у меня еще и что мне жаль его собаку: он меня поблагодарил, а потом заметил, что мама ее очень любила. Говоря о маме, он выразился «ваша бедная мать». По его предположению смерть ее должна была быть для меня тяжелым ударом. На это я ничего не ответил. Скороговоркой и со смущенным видом он добавил, что в околотке меня осуждали за то, что я поместил маму в убежище, но что он знает меня и уверен, что я очень любил маму. Почему-то я ответил, что впервые слышу о дурных отзывах обо мне, но что при недостатке средств и ухода за мамой мне казалось естественным поместить ее в приют. «Да кроме того, — добавил я, — у меня она все больше молчала и в одиночестве ей было скучно». «Да, — сказал он, — в приюте по крайней мере легко составить себе круг друзей». После этого он встал. Ему хотелось спать. Жизнь его теперь изменилась и он еще не знал, как она сложится. Впервые за все время нашего знакомства он протянул мне руку и я почувствовал, что кожа на его ладони облуплена. Он слабо улыбнулся и уходя сказал: «Надеюсь, собаки ночью не примутся лаять. А то мне все кажется, что это моя».

В воскресенье я проснулся с трудом, и Марии пришлось звать и трясти меня. Мы не завтракали, так как решили пойти купаться пораньше. Я чувствовал себя каким-то опустошенным и у меня слегка болела голова. У папирасы был горький привкус. Мария подтрунивала надо мной и говорила, что у меня «погребальный вид». Она была в легком белом платье с распущенными волосами. Я сказал, что сегодня она особенно хороша, и она рассмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь Рэмона. Он ответил, что сейчас спустится. Оттого ли, что я неважно себя чувствовал, или оттого, что у себя мы оставались в полутьме, не отворяя ставень, солнечный свет на улице показался мне нестерпимо ярким. Мария прыгала от радости и все повторяла, что день выдался прекрасный. Мне стало как будто лучше, я был голоден и сказал об этом Марии. Но у нее в руках был только клеенчатый мешок с нашими купальными костюмами и полотенцем. Пришлось ждать. Наконец раздался стук двери и появился Рэмон. На нем были синие брюки, белая рубашка с короткими рукавами и соломенная шляпа, что рассмешило Марию. Белая кожа на открытых до локтя руках выделялась под черными волосами. Мне это показалось довольно противно. Спускаясь, он посвистывал и вид у него был чрезвычайно довольный. Мне он сказал: «Привет, дружище», а Марию назвал «Мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в комиссариат и я подтвердил, что женщина ему нагрубила. Он отделался предупреждением. Мое показание проверено не было. Постояв и потолковав об этом, мы хотели пойти к автобусу. Пляж отстоит не очень далеко, но идти пешком было бы все-таки долго. Рэмон думал, что другу его будет приятно, если мы приедем пораньше. Внезапно он сделал мне знак: взгляни, мол, напротив. У табачной лавки стояла кучка арабов. Они смотрели на нас молча, с таким безразличием, будто пред ними были камни или засохшие деревья. Рэмон сказал мне, что второй слева — тот самый, о котором он мне рассказывал, и вид у него сделался озабоченный. Впрочем, добавил он, со всем этим покончено. Мария с недоумением спросила, в чем

дело. Я объяснил ей, что это арабы, у которых с Рэмоном какие-то счеты. Она сказала, что в таком случае лучше немедленно уйти. Рэмон выпрямился, рассмеялся и сказал, что в самом деле надо торопиться.

Мы направились к той остановке автобуса, которая отстоит немного дальше, и Рэмон сказал мне, что арабы остались на месте. Я обернулся. Они стояли у той же лавки и с тем же безразличием смотрели перед собой. Подошел автобус. Рэмон, казалось, совсем ободрился и без умолку отпускал шутки по адресу Марии. Я понял, что она ему нравится. Но на заигрывания его она не отвечала. Изредка только смотрела на него и смеялась.

Сошли мы с автобуса за чертой города. пляж был в двух шагах от остановки. Надо было, однако, пересечь маленькую площадку, возвышающуюся над морем, и затем ведущую к берегу. Она вся была покрыта желтоватыми камнями и асфоделями, казавшимися еще белее под знойной синевой неба. Размахивая своим клеенчатым мешком, Мария со смехом сбивала их лепестки. Мы шли между двумя рядами маленьких вилл, огороженных зелеными или белыми палисадниками. Одни вместе с верандами утопали в цветах, другие, наоборот, казались нагими посреди камней. С площадки виднелось неподвижное море и вдалеке сонный, тяжелый мыс, врезающийся в прозрачную воду. В тишине слышался легкий звук мотора. В сияющей морской дали почти незаметно двигалось маленькое рыбацье судно. Спускаясь к берегу, мы увидели, что уже было несколько купальщиков.

Приятель Рэмона жил в деревянном шалаше на самом краю пляжа. Дом был прислонен к скалам, море омывало поддерживавшие его сваи. Рэмон нас представил. Фамилия его приятеля была Массон. Это был высокий, крупный, плечистый парень. Его миловидная, кругленькая жена говорила с парижским акцентом. Он сразу же пригласил нас быть как дома и сказал, что к завтраку будет мелкая жареная рыба, которую он только сегодня утром наловил. Я сказал ему, что дом его мне очень нравится. Он ответил, что проводит здесь субботы, воскресенья и все отпускные дни. «С женой мы живем дружно», добавил он. Жена его смеялась, о чем-то болтая с Марией. Пожалуй, в первый раз в жизни подумал, что действительно хорошо было бы жениться.

Массон хотел пойти купаться, но его жена и Рэмон были против этого. Мы спустились втроем и Мария сразу же бросилась в воду. Я с Массоном посидели на берегу. Говорил он медленно, и я обратил внимание, что у него была привычка каждую свою фразу дополнять словами «скажу больше», — даже в тех случаях, когда добавить ему было решительно нечего. Говоря о Марии, он сказал мне: «Восхитительная женщина, скажу даже больше — очаровательная». Потом я уже перестал обращать внимание на эту его манеру и занят был только мыслями о том, как благотворно действует на меня солнце. Песок под ногами становился все горячее. Подождав немного и борясь с желанием освежиться, я все же в конце концов сказал Массону: «Идем, да?» и нырнул. Он тоже вошел в воду, но медленно, и поплыл только тогда, когда не мог уже достать дна ногами. Плыл он довольно неумело, взмахивая руками, так что я оставил его и нагнал Марию. Вода была холодная и плыть мне было приятно. С Марией мы заплыли далеко, испытывая удовлетворение согласованностью наших движений. Затем мы легли на спину и солнце быстро согнало с обращенного к небу лица моего последние брызги, стекавшие мне в рот.

Массон вышел на берег и растянулся на песке. Издали он казался огромным. Марии захотелось поплавать со мной вместе. Я взял ее за талию и она поплыла впереди, работая руками, в то время как я помогал ногами. В утренней тишине слышался легкий плеск воды и длилось это, пока я не почувствовал, что устал. Тогда я оставил Марию и вернулся на берег, плавая и дыша без усилия. На пляже я лег на живот рядом с Массоном и уткнулся лицом в песок. «Славно здесь, правда?», сказал я ему. Он был такого же мнения. Вскоре после того вернулась Мария. Я поднял голову, чтобы взглянуть на нее. С нее струилась соленая вода и в руке она держала откиннутые за спину волосы. Легла она бок о бок со мной, и чувствуя жар ее тела заодно с жаром солнца, я слегка задремал.

Мария меня растолкала и сказала, что Массон ушел и что пора завтракать. Я быстро встал, потому что был голоден, но Мария сказала, что с самого утра я еще ни разу не поцеловал ее. Это было верно и поцеловать ее мне хотелось. «Идем в воду», сказала она. Мы побежали,

распластались на прибрежных волнах и сделали руками несколько взмахов. Она прильнула ко мне. Ее ноги обви-ли мои и я почувствовал возбуждение.

В доме Массон уже поджидал нас. Я сказал, что очень голоден и он в ответ объявил жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был свежий, свою порцию рыбы я съел с жадно-стью. Затем было мясо с жареным картофелем. Мы ели молча. Массон и сам много пил, и мне подливал без оста-новки. К концу обеда у меня отяжелела голова и я курил папиросу за папиросой. Вместе с Массоном и Рэмоном мы решили провести на пляже весь август, деля рас-ходы поровну. Вдруг Мария сказала: «А знаете который час? Половина двенадцатого!». Все мы были удивлены, но Массон заметил, что позавтракали мы рано и что это естественно, так как есть надо тогда, когда ты голоден. Мария рассмеялась, не знаю, собственно говоря, почему. Вероятно, она слегка подвыпила. Массон спросил меня, не хочу ли я пойти с ним прогуляться. «Моя жена при-выкла отдыхать после завтрака, но я этого не люблю. Мне необходимо движение. Я постоянно ей говорю, что это нужно и для здоровья. Но в конце концов пусть дела-ет, как хочет». Мария сказала, что останется и поможет госпоже Массон вымыть посуду. Парижаночка заметила, что в таком случае женщинам лучше быть одним: пусть мужчины уходят. Мы трое спустились на берег.

Лучи солнца падали на песок почти отвесно и блеск моря был невыносим. На пляже не было больше никого. Из прибрежных домиков, возвышавшихся над морем, доносился стук посуды, звон ножей и вилок. От зноя, поднимавшегося от земли, спирало дыхание. Сначала Рэмон с Массоном говорили о вещах и людях, мне неиз-вестных. По-видимому, знакомы они были давно и даже одно время вместе жили. Мы направились к морю и пошли вдоль самого берега. Порой легкая, разбежавша-я волна орошала наши полотняные башмаки. Солнце било мне в обнаженную голову и находился я в полуза-быты.

Вдруг Рэмон что-то сказал Массону, однако я не рас-слышал, что именно. В ту же минуту я увидел вдалеке, в самом конце пляжа, двух арабов в синей рабочей одежде, шедших нам навстречу. Я взглянул на Рэмона. Он ска-зал мне: «Это тот самый». Мы продолжали идти. Массон

спросил, как могли они проследить нас. Я ничего не ответил, но подумал, что, вероятно, они видели, как мы с купальным мешком в руках сели в автобус.

Арабы двигались медленно и были уже гораздо ближе. С виду мы оставались так же спокойны, но Рэмон сказал: «Если дело дойдет до драки, ты, Массон, займись вторым. Своего я беру на себя. В случае, если появится третий, я, Мерсо, рассчитываю на тебя». Я сказал: «Да», а Массон спрятал руки в карманы. Раскаленный песок казался мне теперь совсем красным, ровным шагом мы шли навстречу арабам. Расстояние между нами сокращалось. Когда мы оказались от них в нескольких шагах, арабы остановились. Массон и я замедлили шаг, а Рэмон направился прямо к своему парню. Я не совсем расслышал, что он ему сказал, но тот наклонил голову, будто хотел сбить Рэмона с ног. Рэмон ударил его и сейчас же позвал Массона. Массон подошел к тому арабу, который был ему указан, и дважды ударил его, навалившись всей своей тяжестью. Араб упал лицом в воду и несколько секунд был неподвижен. Пузыри поднимались и лопались вокруг его головы. Рэмон продолжал бить своего араба и лицо того было все в крови. Он обернулся и сказал мне: «Увидишь, места живого не оставлю!». Я крикнул: «Осторожно, у него нож!». Но было поздно: у Рэмона на руке уже зияла открытая рана и был изрезан рот.

Массон рванулся вперед. Второй араб поднялся и стал за спину того, который был вооружен. Двинуться мы не смели. Они медленно отступили, глядя на нас в упор и угрожая ножом. Потом, отойдя на некоторое расстояние, бросились бежать. Мы стояли, как вкопанные. Рэмон прижимал к себе руку, из которой сочилась кровь.

Спохватившись, Массон сказал, что знает врача, который бывает здесь по воскресеньям. Рэмон хотел пойти к нему немедленно. Но едва открывал он рот, кровь, пузырясь, мешала ему говорить. Поддерживая его, мы поспешно вернулись домой. Тут Рэмон сказал, что ранения его пустяшные и что к врачу он пойти может. Массон увел его, а я остался, чтобы объяснить женщинам, что произошло. Госпожа Массон плакала, а Мария была очень бледна. Все это мне наскучило, я умолк и стал курить глядя на море.

Около половины второго Рэмон с Массоном вернулся. У него была перевязана рука и угол рта был залеплен пластырем. Врач не нашел ничего серьезного, но вид у Рэмона был очень мрачный. Массон пытался его рассмешить. Но тот молчал. Наконец, он сказал, что спустится на пляж, и я спросил его, зачем. Он ответил, что ему хочется пройтись. Мы с Массоном заявили, что пойдем вместе с ним. Он рассердился и выругал нас. Массон сказал, что не надо его раздражать. Однако я все-таки вышел вслед за ним.

Шли мы по пляжу долго. Солнце жгло нестерпимо. Казалось, лучи его разбиваются на куски о песок и море. У меня возникло впечатление, что Рэмон знает, куда идет, но едва ли это было верно. Мы дошли до самого края пляжа, где в песке за утесом журчал ручеек. Там мы увидели наших двух арабов. Они лежали в своих синих просаленных куртках. Вид у них был невозмутимый и почти довольный. Наше появление их ничуть не встревожило. Тот, который ударил Рэмона, молча смотрел на него. Другой дул в обрезок тростника и, искоса поглядывая на нас, безостановочно повторял три ноты, которые удалось ему извлечь из своей дудочки.

Солнце, тишина, журчание ручья, три ноты: больше не было ничего. Рэмон взялся рукой за задний карман, но араб не шевельнулся и по-прежнему они пристально смотрели один на другого. Я заметил, что у того, который играл на дудочке, пальцы на ногах очень широко расставлены. Не отводя глаз от своего врага, Рэмон спросил меня: «Пристрелить его?». Я подумал, что если ответить отрицательно, он вспыхнет и выстрелит наверно. Поэтому я сказал: «Он ведь молчит. Стрелять без повода не годится». Снова тишина, жара, плеск воды, звук дудочки. Рэмон сказал: «Если так, то я примусь ругать и оскорблять его, а когда он ответит, пристрелю». Я сказал: «Пожалуй. Но пока он не выхватит ножа, стрелять нельзя». Рэмон начинал горячиться. Второй араб по-прежнему играл на дудочке и оба следили за каждым движением Рэмона. «Нет, сказал я. Возьми его в рукопашную, а револьвер дай мне. Если он выхватит нож или если вмешается другой, я его прикончу».

На револьвере, который передал мне Рэмон, блеснул солнечный луч. Однако, мы не двигались с места, будто все вокруг нас было заколдовано. Не опуская глаз, мы

смотрели на них, они смотрели на нас, и не было вокруг ничего, кроме моря, песка и солнца. В эту минуту я подумал, что можно и выстрелить, можно и не стрелять. Внезапно арабы, пятясь, спрятались за утесом. Тогда и мы с Рэмоном пошли назад. Он казался спокойнее и говорил о возвращении и об автобусе.

Я довел его до шалаша и задержался у первой ступеньки, пока он поднимался по деревянной лестнице. Голова моя горела, мне было не под силу подняться и снова начать что-то растолковывать женщинам. Но зной был таков, что тяжело было и стоять без движения под падавшим с неба световым ливнем. Подождав немного, я вернулся на пляж и стал ходить.

Вокруг меня все было раскалено докрасна. Легкие волны разбивались на песке с глухим плеском и, казалось, это прерывисто вздыхает море. Я медленно шел по направлению к скалам и чувствовал, что лоб мой набухает под солнцем. Жар давил меня и мешал двигаться. Но всякий раз, как зной с новой силой обдавал мне лицо, я стискивал зубы, сжимал в карманах брюк кулаки и весь напрягался, чтобы оказаться сильнее солнца и того зыбья, которым оно мутило мой мозг. При всякой насквозь пронзавшей меня искре, с песка ли, с побелевшей ли ракушки или с осколка стекла, челюсти мои судорожно сжимались. Ходил я долго.

Издали виднелись очертания маленького темного утеса, тонувшего в ослепительном свете и в морском тумане. Я подумал о ручейке, текшем за ним. Мне хотелось снова услышать его журчание, убежать от солнца, от всего, что требует усилия, от женских слез, хотелось побыть в тени и отдохнуть. Но приблизившись, я увидел, что араб, враг Рэмона, вернулся.

Он был один. Лежал он на спине, заложив руки за голову. Лоб его был в тени, падавшей от скалы, тело на солнце. От зноя одежда его дымилась. Я был слегка удивлен. Мне представлялось, что со всем этим покончено, и пришел я сюда без всякой цели.

Увидев меня, он чуть-чуть приподнялся и сунул руку в карман. Само собой, я сжал в руке револьвер, находившийся в моем пиджаке. Однако он снова откинулся на спину, хотя и не вынимая руки из кармана. Я был от него довольно далеко, метрах в десяти. Из-под его полуопу-

щенных век я угадывал на себе его взгляд. Но облик его чаще расплывался передо мной в раскаленном воздухе. Плеск волн был еще ленивее, еще глуше, чем в полдень. Было то же солнце, тот же свет на том же тянувшемся досюда песке. Прошло уже два часа, как день не двигался, два часа, в течение которых день стоял на якоре в океане расплавленного металла. На горизонте прошел маленький пароход. Видел я его только краем глаза, так как, не отрываясь, смотрел на араба.

Достаточно сделать шага два назад, подумал я, и дело с концом. Но залитый солнцем пляж как будто оттеснял меня. Я направился к ручью. Араб не двинулся. Был он еще довольно далеко. Вероятно, из-за игры теней на его лице казалось, что он улыбается. Я подождал. Солнце жгло мне щеки и в бровях дрожали капли пота. Это было то же самое солнце, что и в день маминых похорон, и так же, как и тогда, у меня особенно болел лоб и под кожей, во всех моих венах билась кровь. Из-за этой невыносимой боли я сделал шаг вперед. Это было глупо, я знал, что не избавлюсь от солнца, подвинувшись на каких-нибудь полметра. Однако я шаг сделал, единственный шаг. Не приподнимаясь, араб вытащил из кармана нож и показал его мне. На стали сверкнул отблеск солнца и мне почудилось, что длинное, искрящееся лезвие ударило меня в лоб. В то же мгновение накопившийся в бровях пот ручьями потек мне на веки и застлал их теплым, плотным покровом. Слезы и соль ослепили меня. Я ничего не чувствовал, кроме звона и треска солнца о мой лоб, и мне казалось, что нож передо мной превратился в сверкающий меч. Он срезывал мне ресницы, проникал в наболевшие глаза. Тогда-то все и смешалось. Море дохнуло чем-то жгучим и тяжелым. Мне показалось, что небо разверзлось и что оттуда льется огонь. В крайнем напряжении я сжал в руке револьвер. Нашупав курок, я взялся за гладкую рукоятку, и так, в сухом и оглушительном грохоте, все и началось. Я стряхнул с себя и пот, и солнце. Я повял, что нарушил стройное течение дня, исключительную тишину пляжа, где был счастлив. Тогда я выстрелил еще четыре раза подряд в неподвижное тело, куда пули входили незаметно.

И было это будто четыре коротких моих удара в дверь несчастья.

Часть вторая

I

Тотчас же после моего ареста меня несколько раз допрашивали. Но речь шла об удостоверении личности и допросы были короткие. В первый раз это было в комиссариате, где к моему делу никто интереса не проявил. Неделью спустя судебный следователь, наоборот, присматривался ко мне с любопытством. Но сначала он спросил только мою фамилию, адрес, род занятий, время и место рождения. Затем пожелал узнать, выбрал ли я адвоката. Я ответил отрицательно и спросил, действительно ли это необходимо. «В каком смысле?», удивился он. Я ответил, что, на мой взгляд, дело мое совсем просто. Он улыбнулся: «У всякого свое мнение. Но закон есть закон. Если вы сами не выберете себе защитника, мы дадим вам его по назначению». Я нашел очень удобным, что правосудие берет подобные мелочи на себя. Это я ему и сказал. Он согласился и заметил, что закон предвидит все.

Вначале я не обращал на него большого внимания.

Он принял меня в комнате, завешанной портьерами, на его столе стояла одна-единственная лампа, освещавшая кресло, куда он меня и усадил, сам оставшись в тени. Все это было мне знакомо по некоторым прочитанным книгам и показалось скорей игрой. По окончании беседы я, однако, пригляделся к нему и увидел, что это был человек высокого роста, с тонкими чертами лица, синими, глубоко запавшими глазами, длинными седыми усами и копной почти совсем белых волос. Он показался мне весьма рассудительным и, в сущности, симпатичным, несмотря на нервное подергивание губ. Уходя, я едва не протянул ему руку, но вовремя спохватился, вспомнив, что убил человека.

На следующий день ко мне в тюрьму явился адвокат, маленький, толстенький, довольно молодой, с тщательно приглаженными волосами. Несмотря на жару (я был без пиджака), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок с отогнутыми углами и какой-то странный галстук в широкую, черную с белым, полосу. Он положил свой портфель на мою кровать, представился и

сказал, что ознакомился с моим делом. Положение мое было будто бы нелегкое, но он не сомневался в успехе, при условии, что я буду с ним откровенен. Я его поблагодарил и он сказал: «Давайте разберемся в самой сути этой истории».

Он сел на кровать и объяснил мне, что были наведены справки о моей частной жизни. Стало известно, что мать моя недавно скончалась в приюте. Следствие перенесено было в Маренго. Выяснилось, что в день похорон я «проявил бесчувственность». «Понимаете, — сказал адвокат, — меня немножко стесняет задавать вам такого рода вопросы. Но это очень важно. Если мне нечего будет возразить обвинению, у него в руках будут все козыри». Он хотел, чтобы я ему помог, и спросил, был ли я огорчен в день похорон. Вопрос этот сильно удивил меня. Мне показалось, что я постеснялся бы задать его кому-либо. Все же я ответил, что отвык от самонаблюдения и что мне трудно сказать ему что-нибудь об этом. Конечно, я любил маму, но что это значит «любить»? Все нравственно здоровые люди в большей или меньшей степени желали смерти тех, кого они любили. Тут адвокат в большом возбуждении прервал меня и взял с меня слово, что я не скажу этого ни на процессе, ни у судебного следователя. Я принужден был объяснить ему, что физические потребности по самой натуре моей отражаются на моих чувствах. В день маминых похорон я был утомлен и хотел спать. Вследствие этого я не отдавал себе отчета в происходившем. Разумеется, я предпочел бы, чтобы мама не умирала, в этом сомнения нет. Но у адвоката вид был недовольный. Он сказал: «Этого не достаточно».

Подумав, он спросил, может ли он сказать, что в этот день я скрывал свои чувства. Я ответил: «Нет, потому, что это неправда». Он как-то странно взглянул на меня, будто почувствовав ко мне отвращение. Чуть ли не со злобой в голосе он сказал, что во всяком случае директор и служащие приюта будут вызваны в качестве свидетелей и что «обернуться это может плохо». Я обратил его внимание на то, что все это не имеет отношения к моему процессу, но он коротко ответил, что, по-видимому, я никогда не имел дела с судами.

Ушел он рассерженный. Мне хотелось бы удержать его, объяснить, что я рад был бы вызвать к себе его рас-

положение, и вовсе не для того, чтобы он лучше защищал меня, а так, просто. В особенности неприятно мне было то, что, по-видимому, я как-то коробил его. Он меня не понимал и вымещал на мне это. Я хотел бы объяснить ему, что я такой же человек, как все другие, совершенно такой же. Но, в сущности, все это было бы ни к чему, и лень заставила меня от мысли моей отказаться.

Вскоре после того меня опять вызвали к судебному следователю. Было два часа пополудни и на этот раз кабинет его, сквозь легкие кисейные занавески на окнах, был залит светом. Было очень жарко. Он пригласил меня сесть и очень вежливо сказал, что «по непредвиденным обстоятельствам» адвокат мой придти не может. Однако за мной остается право и не отвечать на вопросы, и подождать присутствия адвоката. Я сказал, что готов отвечать на вопросы и без адвоката. Он нажал на столе кнопку. Явился молодой секретарь и сел почти вплотную за мной.

Оба мы расположились в своих креслах. Начался допрос. Прежде всего он сказал, что мне приписывают угрюмый, скрытный характер, и пожелал узнать, что я об этом думаю. Я ответил: «Дело в том, что говорить мне не о чем. Оттого я и молчу». Он улыбнулся как в первый раз и, признав, что довод мой лучший из всех возможных, добавил: «Впрочем, это не имеет никакого значения». Помолчав, он взглянул на меня и неожиданно выпрямившись, скороговоркой сказал: «В этом деле интересуете меня вы». Я не совсем уловил смысл его слов и не ответил ничего. «Мне не все понятно в вашем поступке, — сказал он. — Я уверен, что вы поможете мне в нем разобраться. Я сказал, что все было совсем просто. Он потребовал, чтобы я по порядку перечел ему все, что в тот день произошло. Я перечел то, о чем уже ему говорил: Рэмон, пляж, купание, драка, снова пляж, ручеек, солнце и пять револьверных выстрелов. Он приговаривал: «Так, так». Когда я дошел до неподвижно лежавшего тела, он кивнул головой и сказал: «Отлично». Мне скучно было повторять все то же самое и, казалось, никогда еще я не был так болтлив.

Помолчав опять, он встал и сказал, что хочет мне помочь, что я его интересую и что с Божьей помощью он облегчит мою участь. Но сначала он хотел задать мне

еще несколько вопросов. Без обиняков он спросил, любил ли я маму. Я сказал: «Да, как всякий другой человек». Секретарь, который до этого невозмутимо стучал на своей машинке, вероятно запутался в клавишах, так как остановился и лишь после этого застучал снова. Без всякой видимой связи следователь спросил, выстрелил ли я все пять раз подряд. Подумав, я ответил, что сначала выстрелил раз, а потом еще четыре раза. «Отчего же вы сделали перерыв между первым и вторым выстрелом?», спросил он. Опять привиделся мне красный пляж и на лбу я ощутил ожог солнца. Но не ответил я ничего. У следователя стал возбужденный вид. Он сел, взъерошил волосы, положил локти на стол и со странным выражением лица наклонился ко мне: «Зачем, зачем стреляли вы в распростертое тело?». Я опять не нашелся, что ответить. Следователь провел рукой по лбу и глуховатым голосом повторил вопрос: «Зачем? Ответьте, мне надо это знать. Зачем?». Я молчал. Внезапно он встал, поспешно направился в другой конец кабинета и открыл один из ящиков в стойке для бумаг. Оттуда он вынул серебряное распятие и издали показал мне его. Изменившимся, почти дрожащим голосом он вскрикнул: «Его-то вы знаете?». Я сказал: «Да, конечно». В ответ он быстро и страстно сказал, что верит в Бога, что, по его убеждению, нет такого преступника, которого Бог не простил бы, но что для этого надо уподобиться ребенку с душой чистой и ко всему открытой. Он всем телом наклонился над столом. Распятием он потрясал чуть ли не над самой моей головой. Правду сказать, я с трудом следил за ходом его мыслей, отчасти потому, что мне было жарко и что в его кабинете кружились большие мухи, то и дело садившиеся мне на лицо, а еще потому, что производил он на меня впечатление жуткое. Вместе с тем я сознавал, что было это нелепо, ибо преступником-то в конце концов был я. Но он продолжал говорить. Смутно я понял, что, по его мнению, в моем показании был только один неясный пункт, а именно тот, что я не сразу сделал второй выстрел. Остальное было ему вполне понятно, а это — нет.

Я собирался сказать ему, что настаивает он напрасно, пункт этот не имеет, мол, большого значения. Но он прервал меня и, вытянувшись во весь рост, принялся в последний раз увещевать меня и спросил, верю ли я в Бога.

Я ответил, что не верю. В негодовании он сел и сказал, что это невозможно, что верят в Бога все люди, даже те, кто отворачиваются от лица Его. Таково было его убеждение, и если бы он в этом усомнился, жизнь утратила бы для него смысл. «Что же, вы значит хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл?». По-моему, это меня не касалось, и так я ему и сказал. Но весь наклонившись над столом, с Христом в руке перед самыми моими глазами, не владея собой, он кричал: «Я христианин. Я у Него прошу прощения за твои грехи. Как можешь ты не верить, что Он пострадал за тебя?». Я, конечно, заметил, что он перешел на «ты», но все это мне надоело. В комнате становилось все жарче. Как обычно, когда мне хочется избавиться от того, кого я едва слушаю, я притворился, что согласен с ним. К моему удивлению, он принял вид торжествующий: «Видишь, видишь, — твердил он. — Ты веришь, правда, и ты откроешь Ему свое сердце?». Разумеется, я еще раз сказал: «Нет». Он снова упал в кресло.

По-видимому, он сильно устал. Пишущая машинка, стучавшая во все время нашего разговора, еще заносила последние фразы, а он молчал. Затем он внимательно, с легкой грустью взглянул на меня и прошептал: «Никогда еще не видел я души столь ожесточенной, как ваша. Все бывавшие у меня преступники плакали перед этим олицетворением скорби». Мне хотелось ответить, что плакали они именно потому, что были преступниками. Но потом я подумал, что между ними и мной разницы не было. Свыкнуться с этой мыслью мне было трудно. Следовательно встал, будто давая мне понять, что допрос окончен. Тем же усталым голосом он только спросил меня, жалею ли я о том, что сделал? Поразмыслив, я ответил, что жалеть не жалею, но что все случившееся мне досадно. Однако понять меня он, очевидно, был не в силах. В тот день дело этим и ограничилось.

Впоследствии я много раз бывал у следователя, однако всегда в сопровождении адвоката. Речь шла только об уточнении некоторых пунктов в моих предшествовавших показаниях. Случалось, следователь рассуждал с адвокатом о статьях закона, по которым я могу быть обвинен. Но, правду сказать, лично мной они в эти минуты заняты не были. Допросы мало-помалу приняли иной характер. Очевидно, следователь перестал мною интере-

соваться и к делу стал относиться формально. О Боге он больше со мной не говорил и ни разу я не видел его в том же возбуждении, что прежде. В результате, наши отношения сделались дружественнее. Несколько вопросов, два-три слова с адвокатом, на этом все и кончалось. По выражению следователя, дело мое шло своим порядком. Иногда беседа затрагивала предметы общие, и я принимал в ней участие. Дышалось мне тогда легче. Никакой злобы вокруг себя я в это время не чувствовал. Все шло как по маслу, все было так естественно и так хорошо разыграно, что у меня возникало нелепое впечатление, будто я нахожусь в кругу семьи. И, к моему удивлению, в течение всего следствия, длившегося одиннадцать месяцев, самыми приятными, хотя и редкими минутами были те, когда следователь, провожая меня до дверей кабинета, хлопал меня по плечу и с дружеским видом говорил: «На сегодня достаточно, господин Антихрист». После этого я снова оказывался под стражей.

II

Есть вещи, о которых я никогда не любил говорить. Попав в тюрьму, я по прошествии нескольких дней понял, что говорить об этом периоде моей жизни мне всегда будет неприятно.

Позднее все это стало мне безразлично. Да, в сущности, и в тюрьме-то я в первые дни не был: безотчетно я ждал, что должно произойти что-то непредвиденное. Все началось лишь после того, как в первый и единственный раз навестила меня Мария. Когда я получил от нее письмо (она писала, что посещения ей запрещены на том основании, что она мне не жена), тогда-то я и почувствовал, что камера – это мой дом, и что жизнь моя остановилась. После моего ареста меня сначала заперли в помещении, где было несколько заключенных, в большинстве арабов. Увидев меня, они расхохотались, а затем спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и тогда они умолкли. Вскоре стемнело. Они объяснили мне, как расположить циновку на ночь. Надо было скрутить один ее конец в виде валика под голову. Всю ночь по моему лицу ползали клопы. Через несколько дней меня изолировали в отдельной камере,

где я спал на деревянных нарах. В моем распоряжении была параша и железный таз. Тюрьма стояла на холме, на окраине города, и в маленькое окно видно было море. Однажды, когда, уцепившись за прутья решетки, я смотрел в светящуюся даль, явился сторож и сказал, что ко мне кто-то пришел. Я подумал, что это Мария. В самом деле это была она.

Надо было пройти длинный коридор, затем лестницу и, наконец, снова коридор. Я вошел в огромный зал с окнами во всю ширь стены. Двумя решетками зал был разделен в длину на три части. Между решетками было расстояние в восемь или десять метров, отделявшее посетителей от арестантов. Я увидел Марию, загоревшую, в платье с полосками. С моей стороны было человек десять заключенных, большей частью арабов. Мария была окружена мавританками и по бокам ее стояли две посетительницы: старушка, вся в черном, с плотно сжатыми губами, и крупная, простоволосая женщина, говорившая очень громко и размахивавшая руками. Из-за расстояния между решетками посетители и арестанты принуждены были кричать. В первый момент у меня слегка закружилась голова от шума голосов, эхом гудевших посреди высоких голых стен, и от яркого света заливавшего сквозь стекла весь зал. В моей камере было тише и темнее. Прошло несколько секунд, пока я освоился и все лица обрисовались отчетливо. Сторож сидел в конце прохода между решетками. Большинство арабов и их родственники сидели на корточках. Кричать им было незачем. Несмотря на шум, они отлично слышали друг друга, даже говоря совсем тихо. Их глухой шепот, проносясь внизу, был как бы подпоркой для голосов, скрещивавшихся над их головами. Все это я заметил почти сразу, направляясь в сторону Марии. Прильнув к решетке, она широко улыбалась мне. Я нашел ее очень красивой, но сказать ей это мне не удалось.

«Ну что, как?», во весь голос спросила она. — «Ничего, так». — «Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?». — «Да, все».

Мы умолкли. Мария улыбалась. Толстая женщина кричала что-то моему соседу, высокому белокурому парню с открытым лицом. Разговор их, очевидно, начался еще до моего прихода.

«Жанна не захотела взять его», орала она. «Да, да», отвечал он. «Я ей говорила, что когда ты выйдешь, то возьмешь его. Но она отказывается».

Мария крикнула, что Рэмон мне кланяется. Я сказал: «Спасибо». Однако голос мой был заглушен соседом, который справлялся, «здоров ли он». Жена его рассмеялась и сказала, что «здоровее, чем когда бы то ни было». Сосед мой слева, молодой человек небольшого роста с худыми руками, молчал. Я заметил, что против него стояла маленькая старушка и что оба они напряженно смотрели друг на друга. Но внимание мое было отвлечено Марией, крикнувшей, что надо надеяться. Я сказал: «Да». Взглянув на нее, я почувствовал желание взять ее за плечи. Мне нравилась легкая ткань ее платья, а на что надо было надеяться, я, в сущности, не знал. Но, очевидно, это было что-то хорошее, потому что улыбка с лица Марии не сходила. Я ничего не видел, кроме блеска ее зубов и легких морщинок у глаз. Она снова крикнула: «Ты выйдешь и мы женимся». Я ответил: «Ты думаешь?», но только так, чтобы сказать что-нибудь. Поспешно и все так же громко она ответила, что, конечно, я буду оправдан, и что море, купание и все прочее будет по-прежнему. Но женщина, стоявшая рядом, кричала тоже, повторяя, что оставила в конторе плетенку и перечисляя все, что в ней находится. «Проверь, когда получишь, вещи это дорогие». Другой мой сосед и его мать по-прежнему, не отрываясь, смотрели друг на друга. Снизу неся все тот же шепот арабов. Свет за окнами казался еще ярче.

Чувствовал я себя довольно плохо и мне хотелось уйти. Шум раздражал меня. Однако присутствие Марин было мне приятно. Не знаю, сколько прошло времени. Не переставая улыбаться, Мария заговорила о своей работе. Шепот, крики, разговоры, все это перемешалось. Единственный оазис молчания находился около меня: молодой человек и старушка, глядевшие друг на друга. Мало-помалу арабов начали уводить. Едва ушел первый, как почти все другие смолкли. Старушка приблизилась к решетке и в тот же момент сторож сделал знак ее сыну. Он сказал; «До свидания, мама», а она просунула руку между прутьями и долго, медленно махала ему ею.

Место ее занял какой-то вновь пришедший человек со шляпой в руке. Ввели заключенного, и они принялись

разговаривать оживленно, однако вполголоса, так как вокруг была тишина. Пришли и за моим соседом справа, и жена его сказала так же громко, будто не замечая, что в этом уже не было надобности: «Смотри за собой и будь осторожен». Потом настала моя очередь. Мария послала мне воздушный поцелуй. Выходи, я обернулся.

Она стояла, не двигаясь, вся прижавшись к решетке, с той же мучительной и застывшей улыбкой на лице.

Написала она мне вскоре после этого. Тогда-то и началось то, о чем я не люблю говорить. Впрочем, не надо преувеличивать: другим бывало и тяжелее, чем мне. Первые дни моего заключения хуже всего было то, что мысли мои оставались такими же, как у свободного человека. Мне, например, вдруг хотелось пойти на пляж, спуститься к морю. Представляя себе плеск волн под ступнями ног, погружение тела в воду, счастливую беззаботность, охватывавшую меня при этом, я еще острее чувствовал, как тесна моя камера. Продолжалось это несколько месяцев. Потом я свыкся с мыслью, что нахожусь в тюрьме. Каждый день я ждал прогулки по двору или прихода моего адвоката. Да и в остальное время я не скучал. Часто мне приходило в голову, что если бы меня заставили жить в дупле сухого дерева и если бы делать мне было решительно нечего, кроме как смотреть на лоскуток неба вверху, я привык бы и к этому. Я ждал бы, чтобы пролетела птица или проплыли облака, так же как теперь жду адвоката с его смешным галстуком или как прежде, в другом существовании, терпеливо ждал субботы, чтобы наконец сжать в своих объятьях тело Марии. А ведь если вдуматься, в дупле сухого дерева я не был. Другим приходилось хуже, чем мне. Кстати, это была мамина мысль, Она постоянно повторяла, что человек привыкает ко всему.

Добавлю, что так далеко я обычно и не заходил. Первые месяцы были тяжелыми. Но то напряжение, в котором я находился, и помогло мне пережить их. Мучила меня, например, потребность в женщине. Это было естественно, я был молод. При этом я никогда не думал именно о Марии. Нет, я так неотвязно думал о женщине вообще, о разных женщинах, о всех тех, которых я знал, о том, как и когда были у меня с ними сношения, что камера моя, казалось, была наполнена их лицами и оду-

шевлена моим влечением к ним. В известном смысле это нарушало мое равновесие. Но в другом — убивало время. Ко мне был почему-то расположен старший сторож, присутствовавший при раздаче пищи. Он первый заговорил со мной о женщинах и сказал, что заключенные жалуются на это больше всего. Я ответил, что вполне с ними согласен и что, на мой взгляд, обращаются с нами несправедливо. — «Но ведь для этого-то и сажают вас в тюрьму», — сказал он. — «Как для этого?». — «Ну да, это ведь и есть свобода. А вас лишают свободы». Прежде мне это никогда не приходило в голову и я решил, что он прав. «Да, это так, — сказал я ему. — Иначе в чем же было бы наказание?» — «Вот, вы понимаете порядок вещей. Другие не понимают. Но в конце концов облегчают они себя сами». Сказав это, сторож ушел.

Мучило меня и отсутствие папирос. При заключении в тюрьму у меня отобрали пояс, шнурки от башмаков, галстук и все, что было в карманах, в том числе и папиросы. Уже будучи в камере, я потребовал, чтобы мне их отдали. Но оказалось, это запрещено. Первое время мне было очень тяжело. Может быть, именно это больше всего меня и угнетало. Я обсасывал кусочки дерева, отламывая их от досок, на которых спал. Целыми днями меня тошнило. Я не мог понять, почему меня лишают того, что никакого вреда никому не причиняет. Потом я догадался, что это тоже было частью наказания. Но к тому времени я уже отвык от курения, и наказание перестало быть для меня наказанием.

Если эти неприятности отбросить, особенно несчастен я не был. Скажу еще раз, все дело заключалось в том, чтобы убить время. Перестал я скучать с того момента, как научился жить воспоминаниями. Порой я припоминал свою комнату и в воображении ходил по ней вдоль и поперек, представляя себе все, что в ней находится. Вначале это быстро приходило к концу. Но при повторении длилось это с каждым разом дольше.

Я мысленно видел стол или шкаф, представлял себе то, что в том или другом находится, разглядывал каждую вещь и в каждой вещи какую-нибудь ее особенность, например резьбу, трещинку, отбитый край, цвет или поверхность на ощупь. В то же время я старался соблюдать последовательность в инвентаре и опись составить пол-

ную. По прошествии нескольких недель я способен был проводить часы и часы, перечисляя все, находящееся в моей комнате. Чем напряженнее я о ней думал, тем большее количество забытых или брошенных предметов всплывало в моей памяти. Я понял тогда, что достаточно было бы человеку прожить один день, чтобы затем оказаться в состоянии безмятежно провести в тюрьме сто лет. Воспоминания не дали бы ему скучать. Как-никак, это было преимуществом.

Несколько слов по поводу сна. Вначале я ночью плохо спал, а днем не мог заснуть ни на минуту. Постепенно ночи стали спокойнее и удавалось мне задремать даже днем. В последние месяцы я спал от шестнадцати до восемнадцати часов в сутки. Оставалось всего шесть часов, которые я убивал едой, естественными надобностями, воспоминаниями и историей, происшедшей в Чехословакии.

На нарах, под соломенным тюфяком, я как-то нашел почти склеившийся с ним, пожелтый, просаленный обрывок газеты. В отделе происшествий сообщалось о случае, который, по-видимому, произошел в Чехословакии. Начало рассказа отсутствовало. Какой-то человек покинул свою родную чешскую деревню и отправился искать счастья. Спустя двадцать пять лет он вернулся богатым, с женой и ребенком. Мать и сестра его содержали в деревне гостиницу. Думая их ошеломить, он оставил жену и ребенка в другой гостинице и пошел к матери. Та его не узнала. Шутки ради он снял комнату, показав при этом толстую пачку денег. Ночью мать и сестра убили его ударом молотка по голове, ограбили, а тело бросили в реку. Утром пришла жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был их постоялец. Мать повесилась, сестра утопилась. Я перечел эту историю тысячи раз. С одной стороны, было в ней что-то неправдоподобное. С другой — все казалось вполне естественно. Во всяком случае, человек этот, по-моему, играл комедию напрасно и получил по заслугам.

Так время и прошло: сон, воспоминания, чтение чехословацкого происшествия, чередование тьмы и света. Прежде я где-то читал, что в тюрьме теряется представление о времени. Тогда мне это показалось пустой выдумкой. Я не понял, что дни могут быть и длинными, и вме-

сте с тем короткими. Длинными в том смысле, что их надо чем-нибудь заполнить, однако настолько растянутыми, что в конце концов один сливается с другим. Невозможно определить, какой сегодня день. Вчера или завтра: все другие названия утратили для меня значение.

Однажды сторож сказал мне, что я в тюрьме уже пять месяцев, и я ему поверил, хотя и не понял его, на мой взгляд, в камере длился все тот же день и занят я был все одним и тем же. После ухода сторожа я взглянул на себя в свой жестяной котелок. Лицо показалось мне мрачным, хотя я и пытался улыбнуться.

Я встряхнул котелок и улыбнулся снова. Лицо по-прежнему оставалось строгим и грустным. День клонился к вечеру, и был это час, о котором я не люблю говорить, час без имени и названия, когда вечерние шорохи поднимаются от всех этажей тюрьмы и рассеиваются в тишине. Я приблизился к окошечку и в последних лучах света опять взглянул на себя. Лицо было по-прежнему серьезно, да и могло ли быть иначе, раз серьезен был я сам? Но в то же время я впервые за несколько месяцев отчетливо услышал звук своего голоса. Это был тот же голос, который давно уже звенел в моих ушах, и тут я понял, что в течение всего этого времени говорил сам с собой. Я вспомнил тогда то, что сказала сиделка на маминых похоронах. Нет, выхода не было, и никто не в силах представить себе, что такое вечера в тюрьмах.

III

Могу сказать, что, в сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я знал, что с первыми теплыми днями произойдет в моей участи что-то новое. Дело мое было назначено на первую сессию суда присяжных, оканчивалась же эта сессия в июне. Город был уже весь залит солнцем, когда начался мой процесс. Адвокат уверял меня, что продлится он не больше двух-трех дней. «Суд будет торопиться, — говорил он, — так как дело ваше не самое важное в сессии. Тотчас же вслед за ним на повестке стоит дело об отцеубийстве».

За мной пришли в семь с половиной часов утра и в тюремном фургоне доставили в здание суда. Два жандарма ввели меня в маленькую комнату, где пахло плесенью.

Ждать пришлось, сидя у дверей, за которыми слышались голоса, какие-то вызовы, шум передвижаемых стульев, и все это напомнило мне благотворительные празднества, когда по окончании концерта в зале освобождают место для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не началось, и один из них предложил мне папиросу, от которой я отказался, и спросил, волнуюсь ли я. Я ответил, что не волнуюсь. Меня, пожалуй, даже интересовало посмотреть, как происходит процесс. Никогда в жизни я в судах не бывал. «Да, — сказал второй жандарм, — но в конце концов это утомительно».

Немного спустя в комнате раздался звонок. Жандармы сняли с меня наручники и открыли дверь, за которой находилась скамья подсудимых. Зал был набит битком. Шторы были спущены, но солнце кое-где пробивалось в щели, и было уже очень душно. Окна были заперты. Мы сели: я в середине, жандармы по бокам. На другой стороне я увидел ряд лиц. Все они смотрели на меня: я понял, что это присяжные. Но сказать, чем один отличался от другого, я затруднился бы. Впечатление у меня было такое, как если бы я сидел в трамвае и незнакомые пассажиры разглядывали вновь вошедшего с намерением обнаружить в нем что-либо смешное. Конечно, мысль это была нелепая, потому что здесь они вглядывались не в чудака, а в преступника. Но разница невелика, и так или иначе, пришла мне голову именно эта мысль.

Надо сказать и то, что в запертом, переполненном зале я слегка ошалел. Еще раз взглянув на публику, я, как и прежде, оказался не в силах отличить одно лицо от другого. Насколько помню, сначала я не отдавал себе отчета, что все эти люди пришли сюда ради меня. Обычно люди мало обращали на меня внимания.

Не без усилия я понял, что причиной всей этой суматохи был именно я. «Сколько народа!», сказал я жандарму. Он ответил, что это из-за газет, и указал мне на кучку людей, находившихся у стола, чуть-чуть ниже скамьи присяжных. «Вот они», сказал он. Я спросил: «Кто?». Он повторил: «Газеты». С одним из журналистов он был знаком, и тот заметил его и направился в нашу сторону. Это был человек уже не молодой, симпатичный, со слегка подергивавшимся лицом. Он очень дружески пожал жандарму руку. Я обратил внимание на то, что все эти

люди переходили от одного к другому, обменивались замечаниями, беседовали, будто они в клубе, где собравшиеся объединены принадлежностью к одному и тому же обществу. Я понял, что должен среди них выделяться, как человек незваный или какой-то втируша. Однако журналист улыбнулся и, обратившись ко мне, выразил надежду, что все кончится для меня благополучно. Я поблагодарил его, и он добавил: «Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Летом в газетах решительно не о чем писать. Кроме вашей истории и дела этого отцеубийцы не было ничего интересного». Затем он указал мне в той же кучке людей маленького человека, похожего на разжиревшую ласку, с огромными очками в черной оправе. Это был специальный корреспондент одной из парижских газет. «Приехал он сюда не для вас. Но заодно с отчетом о процессе отцеубийцы его просили написать и о вашем деле». Я и тут едва не поблагодарил его, но потом сообразил, что это было бы нелепо. Он дружески помахал мне рукой и удалился. Прошло еще несколько минут.

Явился мой адвокат, в тоге, окруженный другими адвокатами, направился к журналистам и пожал им руки. Они шутили, смеялись и были как у себя дома, пока в зале не раздался звонок. Все заняли свои места. Мой адвокат подошел ко мне, пожал руку и посоветовал отвечать на вопросы коротко, не беря на себя никакой инициативы и во всем положась на него.

Слева от себя я услышал звук отодвигаемого стула и увидел высокого, худощавого человека, одетого в красное и с пенсне на носу. Он сел, бережно расправив свою мантию. Это был прокурор. Судебный пристав крикнул: «Суд идет». В тот же момент послышалось гудение двух огромных вентиляторов. Вошло трое судей с папками в руках, один в красном, другие два в черном, и быстро направились к трибуне, возвышавшейся в глубине зала. Тот, что был в красном, сел в кресло, положил перед собой свою шапочку, обтер платком лысый череп и объявил, что заседание открыто.

Журналисты держали перья наготове. Вид у них был равнодушный и слегка насмешливый. Лишь один из них, моложе других, в сером фланелевом костюме с синим галстуком, отложив свое перо, смотрел на меня.

Лицо у него было угловатое, и видел я только очень светлые глаза, внимательно и без какого-либо определенного выражения на меня уставившиеся. Как ни странно, мне показалось, что это я сам смотрю на себя. Может быть, именно вследствие этого, да еще потому, что судебных порядков я не знал, мне не совсем было понятно все то, что произошло дальше: жеребьевка присяжных, вопросы председателя, обращенные к адвокату, прокурору и к ним (каждый раз все головы присяжных, как одна, повертывались к судьям), торопливое чтение обвинительного акта, в котором мелькали знакомые мне имена и названия, и наконец снова вопросы моему адвокату.

Председатель сказал, что приступит к вызову свидетелей. Пристав огласил список имен, привлечших мое внимание. Из толпы собравшихся, в которой до этого все для меня сливалось, поднялись один за другим директор и сторож приюта, старик Фома Перэз, Рэмон, Массон, Саламано, Мария. Она тревожно помахала мне рукой. Не пришел я еще в себя от удивления, что не заметил их раньше, как поднялся Селест, имя которого было оглашено последним. Рядом с ним сидела та маленькая незнакомка, которая однажды обедала в ресторане за моим столом, в той же жакетке, с тем же своим решительным и сосредоточенным видом. Она пристально на меня смотрела. Не успел я ни о чем подумать, как раздался голос председателя, сказавшего, что приступает к разбирательству дела и что ему представляется излишним просить публику о соблюдении спокойствия.

Приговор должен быть вынесен присяжными в соответствии с духом подлинной справедливости и при малейшем инциденте он во всяком случае потребует, чтобы публика очистила зал.

Духота усиливалась и многие в зале обмахивались газетами. Слышался шорох скомканной бумаги. Председатель сделал знак приставу и тот принес три веера из плетеной соломы, которые немедленно были пущены судьями в ход.

Тотчас же начался мой допрос. Председатель обращался ко мне спокойно и даже, как мне показалось, довольно благосклонно. Меня еще раз попросили назвать имя и фамилию, и, несмотря на раздражение, я подумал, что в сущности это правильно, так как недопустимо было

бы судить не того, кого следует. Затем председатель начал рассказ о том, что я сделал, через каждые три фразы обращаясь ко мне: «Было именно так, не правда ли?». Я неизменно отвечал: «Да, господин председатель», как научил меня адвокат. Длилось это долго, потому что рассказывал председатель с большими подробностями. Журналисты все время писали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и маленькой женщины, похожей на автомат. Трамвайная скамья была вся повернута к председателю. Тот кашлянул, перелистал бумаги и, обвеваясь, обратился ко мне.

Он сказал, что должен теперь перейти к вопросам, которые могут показаться не имеющими отношения к делу, хотя в действительности они близко его касаются. Я понял, что он имеет в виду маму, и почувствовал, как это мне неприятно. Почему я поместил маму в приют? — спросил он. Я ответил, что сделал это по недостатку средств, необходимых для ухода за ней. Он спросил, было ли мне это тяжело. Я ответил, что ни мама, ни я больше ничего друг от друга не ждали, как, впрочем, и ни от кого, и что мы оба свыклись с нашим новым образом жизни. Председатель сказал, что не хочет больше на этой стороне дела настаивать и справился у прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор сидел ко мне боком и, не оборачиваясь, сказал, что с разрешения председателя хотел бы знать, возвратился ли я к ручью с намерением убить араба. «Нет», ответил я. «Так отчего же вы были вооружены и отчего оказались именно там?». Я сказал, что это произошло случайно. Прокурор хмуро пробормотал: «Других вопросов у меня пока нет». Все дальнейшее прошло сбивчиво, по крайней мере, на мой взгляд. Однако после каких-то переговоров председатель объявил перерыв и сказал, что заседание возобновится во второй половине дня.

Подумать о чем-либо у меня не было времени. Меня увели, посадили в фургон и увезли в тюрьму, где я позавтракал. Едва успел я почувствовать, что утомлен, как за мной пришли снова. Все возобновилось, я оказался в том же зале, с теми же физиономиями напротив. Но было гораздо жарче и каким-то чудом у каждого из присяжных, у прокурора, у моего адвоката и у нескольких

журналистов оказалось в руках по соломенному вееру. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на своих местах. Но они не обвеивались и по-прежнему молча смотрели на меня.

Я обтер с лица пот и пришел в себя только тогда, когда услышал, что вызвали директора приюта. Его спросили, жаловалась ли на меня мама, и он ответил, что да, жаловалась, но что жаловаться на родственников вошло у всех призреваемых в привычку. Председатель попросил его уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я поместил ее в приют. Директор снова ответил утвердительно, но на этот раз ничего к своим словам не добавил. На другой вопрос он ответил, что был удивлен моим спокойствием в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор покосился на носки своих башмаков и сказал, что я не пожелал взглянуть на маму, ни разу не всплакнул и уехал сразу после похорон, даже не склонив перед могилой головы. Одна мелочь также удивила его: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал маминого возраста. После короткого молчания председатель спросил директора, относятся ли его показания именно ко мне. Тот не понял вопроса и председатель сказал: «Этого требует закон». Затем, обратившись к прокурору, он спросил, нет ли у него вопросов к свидетелю, и тот воскликнул: «О, нет, достаточно и этого!». При этом у него был такой торжествующий голос и он с таким видом взглянул на меня, что впервые за много лет я, как дурак, едва не заплакал, почувствовав, что все эти люди меня ненавидят.

Председатель справился у присяжных и у моего адвоката, нет ли у них вопросов, а затем вызвал приютского сторожа. Повторилась та же церемония, что и для следующих свидетелей. Став на указанное ему место, сторож взглянул на меня и отвел глаза. Затем ответил на заданные ему вопросы. Он сказал, что я не пожелал видеть маму, что я курил, спал и выпил чашку кофе с молоком. В публике я уловил смутное возмущение и в первый раз понял, что я виновен. Сторожа попросили повторить рассказ о кофе с молоком и о папиресе. Прокурор бросил на меня насмешливый взгляд. В этот момент мой адвокат спросил сторожа, не курил ли и он вместе со мной. Однако прокурор с ожесточением за-

протестовал: «Кто здесь подсудимый, и допустимы ли методы, сводящиеся к тому, чтобы очернить свидетелей обвинения и умалить значительность показаний, которые во всяком случае чудовищны?». Несмотря на его возмущение, председатель предложил сторожу ответить на поставленный вопрос. Сторож смущенно сказал: «Да, я виноват, сознаюсь. Но они протянули мне папиросу, и я не посмел им отказать». Наконец спросили меня, хочу ли я что-нибудь добавить.

Я ответил: «Нет, ничего, кроме того, что свидетель прав и что я действительно предложил ему папиросу». Сторож взглянул на меня с удивлением и как будто с благодарностью. Поколебавшись, он сказал, что чашку кофе предложил мне он сам. Мой адвокат едва не захлопал в ладоши и громко заявил, что присяжные оценят по достоинству значительность этого показания. Но тотчас же прогремел голос прокурора: «Да, присяжные оценят показание. И они придут к заключению, что человек посторонний мог предложить кофе, но что сын, перед телом той, которая дала ему жизнь, обязан был от кофе отказать». Сторож удалился.

Когда вызвали Фому Перэза, приставу пришлось довести его под руку до места, предназначенного для свидетелей. Перэз сказал, что хорошо знал мою мать, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я в этот день делал, и он ответил: «Знаете, я был слишком удручен. От горя я не видел ничего. Для меня это была очень большая утрата. Я даже лишился чувств. Так что молодого человека я не видел». Прокурор спросил, видел ли он, по крайней мере, что я плачу.

Перэз ответил: «Нет». Тогда в свою очередь прокурор сказал: «Присяжные это оценят». Но мой адвокат рассердился. Тонем, который показался мне не совсем уместным, он спросил Перэза, видел ли он, что я не плачу. Перэз сказал: «Нет». В публике послышался смех. Отвернув рукава, адвокат мой сказал не допускающим возражений голосом: «Вот что такое этот процесс. Все достоверно и нет ничего достоверного!». Нахмурившись, прокурор молчал и лишь постукивал карандашом по лежащим перед ним папкам.

Был объявлен перерыв на пять минут, во время которого мой адвокат сказал мне, что все идет превосходно.

После этого был вызван Селест в качестве свидетеля защиты. Под защитой подразумевался я. Селест время от времени поглядывал в мою сторону и вертел в руках соломенную панаму. На нем был новый костюм, тот, который он надевал по воскресеньям, когда мы с ним отправлялись на скачки. Но воротничка на его рубашке не было и застегнута она была медной запонкой. Его спросили, был ли я его клиентом. Он сказал: «Да, но это и мой приятель». Какого он обо мне мнения? Он ответил: «Человек что надо». Что именно это значит? Селест заявил, что это понятно всякому. Заметил ли он, что я не общителен? Он признал, что болтуном я действительно не был. Прокурор спросил, аккуратно ли я платил по счетам. Селест засмеялся и сказал: «Да мы на это и внимания не обращали». Его спросили, что он думает о совершенном мной преступлении. Тут он положил руку на барьер, отделявший его от судей, и видно было, что к этому вопросу он приготовился. «По-моему, — сказал он, — это несчастье. Все знают, что такое несчастье. Помочь тут ничем нельзя. Так вот, по-моему, это несчастье». Он хотел что-то добавить, но председатель остановил его, заявив, что сказанного достаточно и что суд его благодарит. Селест был, по-видимому, озадачен и заявил, что хотел бы сказать еще несколько слов. Его попросили быть кратким. Он еще раз повторил, что это несчастье. Председатель сказал: «Да, да, конечно, но ведь мы здесь для того и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас за показание». Будто не зная, на что решиться и как все происходящее понять, Селест повернулся в мою сторону. Казалось, он спрашивает меня, что можно еще сделать. Губы его дрожали, глаза были влажны. Я не шелохнулся, не сказал ни слова, но впервые в жизни мне захотелось человека поцеловать. Председатель снова предложил ему оставить место, предназначенное для свидетелей. Селест удалился вглубь зала. До конца заседания он сидел, слегка наклонившись, уставив локти в колени, с панамой в руках, и слушал то, что говорилось. Вошла Мария. Она была в шляпе и казалась еще красивой. Но мне она больше нравилась с распущенными волосами. Издалека я угадывал легкие очертания ее груди и видел нижнюю губу, всегда немного припухшую. По-видимому, она нервничала.

Тотчас же ее спросили, с какого времени она меня знает. Мария ответила, что в таком-то году работала в нашей конторе. Председатель пожелал узнать, каковы были наши отношения. Она сказала, что была со мной в связи. На следующий вопрос она ответила, что действительно должна была выйти за меня замуж. Прокурор, перелистывая бумаги, спросил ее, когда началась наша связь. Она назвала месяц и число. С самым небрежным видом прокурор заметил, что, если не изменяет ему память, накануне умерла моя мать. Затем он с легкой иронией сказал, что не хотел бы настаивать, что положение Марии щекотливо и что он понимает ее замешательство, но что долг — и тут голос его стал более жестким — заставляет его пренебречь условностями. Поэтому он просит Марию полностью восстановить все, что было в тот день, когда мы вступили в связь. Мария молчала, но видя, что прокурор от своего требования не отступится, рассказала, как мы купались, как пошли в кино и потом вернулись ко мне. Прокурор заметил, что основываясь на показаниях Марии у судебного следователя, он выяснил, какая в тот день была программа в кино. Но пусть Мария сама скажет, какой шел тогда фильм. Еле слышным голосом она ответила, что это был фильм Фернанделя. В зале воцарилась мертвая тишина. Прокурор тяжело поднялся и голосом, который показался мне подлинно взволнованным, указывая на меня пальцем, с расстановкой проговорил: «Господа присяжные, перед вами человек, который едва похоронив свою мать, купался, вступил в беспутную связь и отправился хохотать в кино. Больше мне вам сказать нечего». В той же мертвой тишине он опустил в кресло. Но вдруг Мария разрыдалась и сказала, что все было совсем не так, что есть многое другое, что ее заставляют говорить не то, что она думает, что она хорошо меня знает и что ничего дурного я не сделал. Но по знаку председателя пристав увел ее и заседание продолжалось.

Не произвело никакого впечатления показание Массона, заявившего, что я человек честный и «даже он сказал бы больше, человек порядочный». Не произвело впечатления и то, что сказал Саламано, напомнивший, что я хорошо относился к его собаке. На вопрос о моем отношении к матери, он сказал, что у нас с мамой не было уже

почти ничего общего и что потому-то я и поместил ее в приют. «Надо все это понять, — повторял Саламано, — надо понять». Но не понимал, по-видимому, никто. Его увели.

Затем настала очередь Рэмона, который был последним свидетелем. Рэмон кивнул мне и сразу же сказал, что я ни в чем не виновен. На это председатель заявил, что суду нужны факты, а вовсе не мнения свидетелей, и попросил Рэмона подождать, пока ему будут заданы вопросы. Каковы были его отношения с убитым арабом? Рэмон ответил, что убитый ненавидел не меня, а его, и что причиной ненависти была пощечина, которую он дал его сестре. Однако председатель спросил, не было ли у убитого причин ненавидеть и меня. Рэмон сказал, что на пляже я оказался случайно. Прокурор спросил, как же объяснить, что письмо, приведшее к драме, написано было именно мной. Рэмон ответил, что и это случайность. Прокурор возразил, что в этой истории у случая на совести что-то слишком много грехов. Случайно ли я не остановил Рэмона, когда он бил свою любовницу по щекам, случайно ли я оказался свидетелем в комиссариате, случайно ли мои показания были для него столь благоприятны? В заключение он спросил Рэмона, каковы его средства существования, и когда тот ответил, что он кладовщик, прокурор, обратившись к присяжным, заявил, что профессия свидетеля ни для кого тайны не представляет и что он сутенер. А я, мол, его сообщник и друг. Речь идет, следовательно, о преступлении самого гнусного рода, да вдобавок и совершенном каким-то нравственным выродком. Рэмон стал оправдываться, запротестовал и мой адвокат, но председатель заявил, что прерывать прокурора не позволит. Тот сказал: «Да мне, пожалуй, и добавить нечего», и обратившись к Рэмону спросил: «Скажите, он был вашим другом?». «Да, — ответил Рэмон, — это мой приятель». Тот же вопрос прокурор задал и мне. Я взглянул на Рэмона. Глаз он не отвел, и я сказал: «Да». Прокурор обернулся к присяжным и заявил: «Тот же человек, который на следующий день после смерти своей матери предавался постыднейшему разврату, тот же человек, не колеблясь, совершил убийство, в сущности, лишь для того, чтобы выпутаться из грязной и отвратительной истории».

Сказав это, он сел. Но мой адвокат не в силах был больше сдерживаться и вскинув руки так, что из-под рукавов мелькнули складки накрахмаленной рубашки, воскликнул: «В конце концов в чем его обвиняют, в том ли, что он похоронил свою мать, или в том, что убил человека?». Публика засмеялась. Но прокурор снова встал и, приняв величественную позу, заметил, что надо быть столь простодушным человеком, как уважаемый защитник, чтобы не уловить глубокой, патетической, коренной связи между тем и другим. «Да, — с ожесточением воскликнул он, — да, я обвиняю этого человека в том, что когда он хоронил свою мать, в груди его билось сердце преступника». Это заявление, по-видимому, произвело сильное впечатление на присутствующих. Мой адвокат пожал плечами и отер со лба обильный пот. Но даже он казался поколебленным, и я понял, что дело принимает для меня оборот неблагоприятный.

Заседание было закрыто. Выйдя из здания суда и прежде чем сесть в фургон, я на мгновение ощутил прелесть летнего вечера с его запахами и красками. В полумраке этой тюрьмы на колесах, усталый, погруженный в самого себя, я различал все до одного шумы любимого города и чувствовал, что это тот час, когда, бывало, мной овладевала какая-то особая беспечность. Выкрики газетчиков на уже затихавших улицах, птицы в скверах, голоса торговцев сэндвичами, жалобное взвизгивание трамваев на крутых поворотах и какой-то неясный гул, несшийся оттуда, с неба, перед тем как ночь окутает порт, все это вслепую восстанавливало для меня то, что было мне так хорошо знакомо до заключения. Да, это был час, когда я бывал охвачен беспечностью. Но как это было давно! Что ожидало меня в те дни? Легкий сон без всяких сновидений. С тех пор, очевидно, что-то изменилось, ибо теперь, в ожидании следующего дня, я вернулся в камеру. Начертанные в летнем небе пути, казалось, с тем же безразличием вели человека в тюрьму, как и обещали ему безмятежный сон.

IV

Слушать, что о тебе говорят, всегда интересно, даже если сидишь на скамье подсудимых. Должен заметить, что и в речи прокурора, и в речи моего адвоката сказано

было обо мне много, и даже, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Чем, в сущности, отличались эти речи одна от другой? Адвокат взмахивал руками и утверждал, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор простирали руки вперед и утверждал, что снисхождения я не заслуживаю. Одно только смущало меня. Несмотря на озабоченность, мне порой хотелось сказать несколько слов, но адвокат каждый раз останавливал меня. «Молчите, это для вас же лучше!». Выходило, значит, что к делу я касательства как будто не имел. Все протекало без моего участия. Решалась моя судьба, а мнением моим никто не интересовался. Иногда я готов был прервать говоривших и спросить: «Позвольте, господа, кто же все-таки тут обвиняемый? Это ведь вовсе не пустячок, быть обвиняемым! Мне тоже есть что сказать». Но если вдуматься, сказать мне было нечего. Да кроме того, если сначала и лестно чувствовать себя в центре всеобщего внимания, то длится это не долго. Речь прокурора, например, мне быстро наскучила. Запомнились мне или поразили меня лишь его жесты, отдельные замечания или тирады, порой даже длинные, но выхваченные из его речи, как целого.

Насколько я понял, основная его мысль сводилась к тому, что преступление мое было предумышленно. На этом он свою речь и построил. Так он и сказал: «Я докажу вам это, господа, и докажу двояким образом. Сначала в ослепительном свете фактов, а затем в той полутьме, которая охватит нас при проникновении в психологию этой преступной души». Факты он изложил, начиная с маминой смерти. Напомнил он и мою бесчувственность, и незнание маминого возраста, и купание на следующий день вместе с женщиной, и кино, и Фернанделя, и возвращение домой с Марией. Я не сразу его понял, так как он говорил «его любовница», а для меня она была просто Марией. Затем он перешел к Рэмону. На мой взгляд, излагал он все перипетии этой истории довольно ясно. Все, что он говорил, было правдоподобно. Письмо я, мол, написал в согласии с Рэмоном, чтобы вовлечь его любовницу в западню, где она оказалась бы во власти человека «сомнительной нравственности». На пляже, при встрече с врагами Рэмона, я вел себя вызывающе. Рэмон был ранен. Я взял его револьвер и вернулся на место дра-

ки один. Араба я убил отнюдь не случайно. Выстрелив в первый раз, я подождал. А затем, чтобы не оставалось сомнений, что дело сделано, как следует, спокойно, в упор выстрелил еще четыре раза.

«Вот, значит, как обстоит дело, господа присяжные, — сказал прокурор. — Я изложил вам все то, что привело этого человека к преднамеренному убийству. Ибо на этом я настаиваю. Речь идет не о заурядном преступлении, не о поступке необдуманном, который мог бы вам показаться заслуживающим смягчающих обстоятельств. Этот человек, господа, — человек неглупый. Вы слышали его ответы, не правда ли? Он находчив, он знает, что сказать. Он отдает себе отчет в значении слов. И никак нельзя предположить, что он действовал, не понимая, что делает».

Я слушал и отметил то, что меня считают умным. Но мне не совсем было понятно, каким образом свойства обыкновенного человека могут превратиться в нечто бесспорно доказывающее его преступность. Это меня поразило, и больше за речью прокурора я не следил, пока он не сказал: «Выразил ли он хотя бы раскаяние? Нет, господа, ни разу. Ни разу в течение всего следствия он не утратил спокойствия при напоминании о его ужасающем злодеянии». В эту минуту он обернулся ко мне и, указывая на меня пальцем, продолжал уличать и обвинять меня, без того, чтобы я в силах был понять причину его возмущения. Конечно, я сознавал, что по существу он прав. Особого раскаяния я не испытывал. Но озлобление прокурора удивляло меня. Мне хотелось бы дружески, без малейшего раздражения, объяснить ему, что не сожалел я никогда ни о чем. Неизменно мне представлялось, что все случившееся должно было случиться, не сегодня, так завтра. Но разумеется теперь, со скамьи подсудимых, в таком тоне я не мог бы говорить ни с кем. Я не вправе был проявить благодушие, расположение к людям. Поэтому я снова стал следить за речью прокурора, принявшегося говорить о моей душе.

Он сказал, что пытался вникнуть в нее и не нашел в ней ровно ничего, господа присяжные. Истина заключалась, по его словам, в том, что души у меня не было, и что все человеческое, все нравственные принципы, облагораживающие сердца людей, мне чужды. «Конечно, упре-

кать его в этом было бы нелепо. Нельзя ставить человеку в вину, что у него того-то нет, что ему то-то недоступно. Но поскольку находимся мы в суде, терпимость должна уступить место другому началу, более суровому, однако и более высокому: началу правосудия. Особенно в тех случаях, когда подобная опустошенность души и сердца превращается в бездну, угрожающую поколебать устои, на которых держится наше общество». Тут он заговорил о моем отношении к маме. Повторил он то, что сказал раньше. Но коснувшись мамы, он сделался гораздо словоохотливее, чем когда говорил о моем преступлении, и в конце концов я перестал его слушать, думая только о том, какое сегодня жаркое утро. Однако я невольно насторожился, когда прокурор вдруг умолк и потом проговорил глухим и проникновенным голосом: «Завтра, господа, в этом же суде будет слушаться дело о самом страшном из всех преступлений: дело об отцеубийстве». По его мнению, нельзя представить себе ничего чудовищнее. Надо надеяться, что правосудие окажется беспощадным. Но он принужден признаться, что ужас, который испытывает он при мысли о подобном преступлении, едва ли не слабее того, который внушает ему моя бесчувственность. По его убеждению, моральный убийца матери так же ставит себя вне всякого организованного общества, как и тот, кто поднял руку на человека, давшего ему жизнь. Во всяком случае, первое из этих преступлений подготавливает второе, предвещает его и в известном смысле узаконивает его. «Я уверен, господа, — добавил он, возвысив голос, — что вы не припишете мне склонности к парадоксам, если я скажу, что человек, сидящий на этой скамье, ответственен и за убийство, о котором речь будет завтра. Кару он должен понести в соответствии с тем, что сделал». Тут прокурор вытер блестящее от пота лицо и сказал, что долг его тягостен, но что выполнит он его до конца. Мне нечего, по его мнению, делать в обществе, основные принципы которого мной были попраны, и я не имею права взывать к милосердию, раз я даже не знаю, что это значит. «Господа, я требую головы этого человека, — сказал он, — и требую ее без малейших колебаний. На протяжении моей долгой деятельности мне не раз приходилось высказываться за применение высшей меры наказания, но никогда еще я не чувствовал с такой

ясностью, как чувствую сегодня, что этот тяжелый долг находится в согласии с властными и священными велениями совести и с ужасом, который овладевает мной при виде человека, превратившегося в чудовище».

Прокурор сел и в зале воцарилась довольно долгая тишина. Мысли мои путались и от духоты, и от удивления. Председатель кашлянул и спросил меня, хочу ли я что-нибудь добавить. Я встал и, так как говорить мне хотелось, сказал почти наудачу, что намерения убить араба у меня не было. Председатель ответил, что утверждать можно все решительно, что до сих пор он не в силах был понять, на чем я основываю свою защиту, и что прежде, чем дать слово адвокату, он хотел бы, чтобы я уточнил мотивы, внушившие мне мой поступок. Немного путаясь и чувствуя нелепость своего заявления, я быстро сказал, что всему виной было солнце. В зале послышались смешки. Мой адвокат пожал плечами и вслед за тем слово было предоставлено ему. Но он заявил, что уже поздно, что речь его займет несколько часов и что он просит перенести заседание на вторую половину дня. Суд дал на это согласие.

После перерыва в зале все так же вертелись огромные вентиляторы, рассеивавшие спертый воздух, и так же равномерно колыхались в руках присяжных маленькие разноцветные веера. Речи моего адвоката, казалось, не будет конца. Был, однако, момент, когда я стал его слушать. Он сказал: «Что правда, то правда: я убил». И дальше он все время, говоря обо мне, употреблял местоимение «я». Я был сильно удивлен и наклонившись к жандарму, спросил его, что это значит. Тот велел мне молчать, а потом сказал: «Все адвокаты это делают». А я-то думал, что ему хотелось еще больше отстранить меня от дела, свести меня к нулю и в каком-то смысле заменить меня собой. Но, по-видимому, я был уже очень далек от всего происходившего в зале. Адвокат мой казался мне смешон. Он вскользь коснулся того, что я был будто бы спровоцирован и в свою очередь заговорил о моей душе. Но, на мой взгляд, таланта у него было много меньше, чем у прокурора. «Я тоже, — сказал он, — дал себе труд проникнуть в эту душу, но в противоположность глубоочтимому представителю обвинения, я нашел в ней многое и читал ее, как раскрытую книгу». Прочел

он, что я был честный человек, усердный, неутомимый труженик, преданный тому делу, в котором работал, всеми любимый и готовый каждому помочь в беде. По его убеждению, я был примерным сыном, поддерживавшим мать, пока у меня была на это возможность. Если я поместил мать в приют, то лишь в надежде, что там старушка будет окружена заботой и уходом, которых по недостатку средств дать ей я не мог. «Позвольте, господа, выразить удивление, что здесь так много говорилось об этом приюте. Ведь если бы нужно было представить доказательство необходимости и великого значения подобных учреждений, то следовало бы прежде всего напомнить, что содержатся они на средства самого государства». О похоронах он не сказал ничего, и я почувствовал, что это в его речи пробел. Однако в результате всех этих длинных фраз, всех этих бесконечных часов, в течение которых речь шла о моей душе, у меня возникло впечатление, что я растворяюсь в чем-то бесцветно-водянистом и впадаю в забытьё.

Помню только, что к концу заседания, пока адвокат мой все говорил и говорил, до меня донесся с улицы, сквозь все эти залы и приемные, рожок мороженщика. В памяти моей мгновенно промелькнули воспоминания о жизни, больше мне не принадлежавшей, но в которой заключалось все то бедное и незаменимое, чему я, бывало, радовался: летние запахи, любимый квартал города, вечернее небо, смех и платья Марии. Мне стало до тошноты отвратительно сидеть в этом зале, и ждал я только того, чтобы все это кончилось и я опять вернулся в тюрьму и лег спать. Едва расслышал я, что в заключение своей речи адвокат, обращаясь к присяжным, выразил уверенность, что они не решатся приговорить к смерти честного труженика, лишь по минутному заблуждению оказавшегося преступником, и что он просит признания смягчающих обстоятельств, тем более что самым тяжким моим наказанием останутся вечные угрызения совести. Заседание было прервано и адвокат в изнеможении сел. Другие адвокаты подошли к нему и пожали ему руку. «Превосходно, дорогой мой!», сказал один. Другой даже подмигнул мне, как бы приглашая в свидетели: «Ну, а вы что скажете?». Я ответил, что речь была замечательна, но одобрение мое не было искренне, так как я слишком устал.

День клонился к концу и в зале было уже не так жарко. По голосам и звукам, доносившимся с улицы, я угадывал возникающую к вечеру прохладу. Все находившиеся в зале чего-то ждали. И то, чего все мы ждали, касалось лишь одного меня. Я снова взглянул на публику. Журналист в сером костюме и женщина-автомат смотрели на меня. Это навело меня на мысль, что с начала процесса я ни разу не бросил взгляда на Марию. Не то чтобы я забыл о ней, нет, но был слишком занят. Различил я ее между Селестом и Рэмоном. Она сделала мне знак рукой, как бы говоря «Наконец-то!», и на слегка встревоженном лице ее появилась улыбка. Но сердце мое было ко всему безразлично и на улыбку ее я не ответил.

Заседание возобновилось. Присяжным был торопливо прочитан ряд вопросов. Я расслышал: «виновен в убийстве»... «предумышленность»... «смягчающие обстоятельства». Присяжные удалились, а меня увели в маленькую комнату, где я уже не раз ждал. Вошел мой адвокат: он был крайне словоохотлив и говорил со мной доверчивее и сердечнее, чем когда бы то ни было прежде. Он считал, что все идет хорошо и что отделаюсь я несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил его, возможна ли кассация в случае неблагоприятного приговора. Он ответил отрицательно. Тактика его состояла в том, чтобы воздерживаться от слишком определенных заключений и не раздражать присяжных. Для кассации, по его словам, необходим был бы серьезный повод. Мне это показалось очевидным, и я с ним согласился. Если спокойно вдуматься, так оно и должно быть. Иначе было бы слишком много бумажной волокиты. «Во всяком случае, — сказал адвокат, — всегда остается возможность обжалования приговора». Но он был убежден, что решение будет благоприятно.

Ждали мы очень долго, кажется около трех четвертей часа. Наконец раздался звонок. Мой адвокат ушел, сказав мне: «Старшина присяжных сейчас прочтет ответы. Вас вызовут только для того, чтобы выслушать приговор». По лестницам, не знаю, далеко ли, близко ли, бегали люди, хлопали дверьми. Затем я услышал глухой голос, что-то читавший в зале. Снова раздался звонок, дверь отворилась и меня поразила мертвая тишина в

зале: тишина и то, что молодой журналист, увидев меня, отвел глаза. На Марию я не взглянул. У меня не хватило на это времени, так как председатель, употребляя какие-то странные слова, сказал, что именем французского народа мне на публичной площади будет отрублена голова. Выражение лиц окружавших меня изменилось. Едва ли я ошибусь, если скажу, что на них написано было уважение. Жандармы стали ко мне крайне предупредительны. Адвокат положил свою руку на мою. Голова моя была совершенно пуста. Но председатель спросил меня, хочу ли я что-нибудь добавить. Я подумал и сказал: «Нет». Тогда меня увели.

V

В третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, мне не хочется с ним говорить, да вскоре я ведь все равно увижу его. Единственное, что в данный момент меня интересует, это возможность ускользнуть от механического сцепления вещей, убедиться, что из неизбежного может найтись выход. Меня перевели в другую камеру. Лежа я вижу небо, но и только небо, больше ничего. Дни проходят в созерцании того, как постепенно гаснут в вышине краски и приближается ночь. Вытянувшись, я кладу руки под голову и жду. Не знаю, сколько раз я старался вспомнить, случилось ли в прошлом, чтобы приговоренный к смерти ускользнул от неумолимого механизма, исчез до казни, вырвался на свободу сквозь цепь полицейских. К сожалению, до сих пор я не обращал достаточно внимания на рассказы о смертной казни. А подобными вопросами надо бы интересоваться. Нельзя предвидеть, что может случиться. Разумеется, я просматривал отчеты в газетах. Но наверно существуют специальные исследования, а с ними-то я и не потрудился ознакомиться. Может быть, в них я и нашел бы рассказы о побегах. Может быть, хоть один, единственный раз машина дала осечку, и случай заодно с удачей восторжествовал над непреодолимой предумышленностью и изменил ход событий. Один-единственный раз! Думаю, что с меня этого было бы достаточно. Остальное доделало бы сердце. Газеты часто писали о счете, который общество предъявляет преступ-

нику. Надо будто бы по счету платить. Но для меня это все пустые слова. Думал я только о возможности побега, о прыжке за пределы неумолимо очерченного круга, о побеге внушенном безумием и надеждой. В чем заключалась надежда? Само собой, в том, чтобы убегая, упасть на каком-нибудь углу мертвым под несколькими шальными пулями. Но нечего было и мечтать об этом. Все было против меня, механика была всесильна.

Примириться, однако, с этой чудовищной очевидностью я не мог. Было какое-то нелепое несоответствие между приговором, на котором она была основана, и ее невозмутимым развертыванием, начиная с минуты, когда приговор был вынесен. Тот факт, что приговор был прочитан в восемь часов вечера, а не, например, в пять, тот факт, что он мог бы оказаться совсем иным, что вынесен он был людьми опрятными, а не неряшливыми, что осужден я был во имя чего-то столь неопределенного, как французский народ (или германский, или китайский народ), все это на мой взгляд лишало основательности такого рода решение. Вместе с тем я не мог не признать, что с того момента, как решение было принято, действие его становилось столь же достоверным, столь же бесспорным, как существование стены, вдоль которой стояла моя койка.

В связи со всем этим мне вспомнилось то, что рассказывала мне мама об отце. Отца я не знал. К рассказу этому, пожалуй, и сводились единственные определенные мои сведения о нем. Однажды он пошел досмотреть на казнь убийцы. Самая мысль о таком зрелище заранее ужасала его. Все же он отправился, а когда вернулся, у него сделалась рвота, продолжавшаяся все утро. Рассказ этот вызвал во мне легкое отвращение к отцу. Но теперь я его понял, и поступок его казался мне естественным. Как мог я прежде не сознавать, что нет ничего значительнее смертной казни и что, в сущности, для человека, для мужчины это единственная подлинно интересная вещь на свете! Если когда-нибудь я из тюрьмы выйду, то не пропущу ни одной казни. Но, пожалуй, я напрасно думал об этом.

Ибо при мысли, что я стою на рассвете перед отрядом полицейских, но стою, так сказать, по эту сторону, при мысли, что я добровольный зритель, которого затем

может и вырвать, какая-то ядовитая радость охватывала все мое существо. Но было это ни к чему. Не проходило и минуты, как мне становилось так страшно холодно, что я весь съеживался под одеялом. зуб на зуб не попадал, я не в силах был с собой совладать.

Всякий знает, однако, что нельзя всегда вести себя разумно. Случалось, я придумывал новые законы. Мысленно я проводил реформу уголовного кодекса. На мой взгляд, самым существенным было бы предоставление осужденному известного шанса. Один шанс на тысячу, и то было бы не плохо. Мне представлялось, например, что можно было бы изобрести порошок, который по химическому своему составу убивал бы пациента (мысленно я употреблял именно это выражение: пациент) лишь в девяти случаях из десяти. Осужденный был бы предупрежден, таково было бы условие. Что же касается гильотины, то после обстоятельного, спокойного размышления я пришел к выводу, что неприемлемо в ней полное, абсолютное отсутствие какого-либо шанса. Беспрекословно постановлено, что пациент должен умереть. Ни о каких пересмотрах, колебаниях, возражениях не допускается и речи. Если нож почему-либо срывается, операцию возобновляют. Осужденному, значит, приходится желать, — и это-то меня и коробило, — чтобы машина действовала исправно. Неприемлемо, скажу еще раз. Однако, если с одной стороны это так, то с другой нельзя не признать, что в этом-то и обнаруживается отличная организация. Осужденный поневоле превращается в сотрудника. В своих же собственных интересах он принужден желать, чтобы все прошло без задоринки.

Должен также признать, что до сих пор суждения мои по этим вопросам были ошибочны. Не знаю почему, мне представлялось, что приговоренный к гильотинированию должен взойти на эшафот по лестнице. Вероятно, казалось мне это из-за революции 1789 года, т.е. из-за всего, что я читал или видел на картинках. Но однажды утром мне вспомнилась фотография, появившаяся в газетах в связи с казнью, которая наделала много шума. Машина стояла прямо на земле, без каких-либо ухищрений. Она была далеко не так широка, как я предполагал. На снимке эта стройная и прекрасно отшлифованная машина поразила меня сходством с прибором точного

измерения. Впрочем, то, чего мы не знаем, всегда представляется нам сложнее, чем есть оно на самом деле. Я убедился, что в действительности все было просто: машина находится на уровне направляющегося к ней человека. Он подходит к ней, как мог бы подойти к первому встречному. Это тоже было мне не по душе. Эшафот, лестница, по которой поднимаешься будто к небу, с этим воображение могло бы примириться. Но тут была одна только мертвящая механика: убивали тебя втихомолку, с легким стыдом и большой точностью.

Были еще две вещи, о которых я постоянно думал: рассвет и обжалование приговора. Я убеждал себя, что мысли это никчемные, и старался отвлечься. Я ложился на спину, смотрел на небо, искал в нем чего-либо такого, что приковало бы мое внимание. Небо становилось зеленым, наступал вечер. Я снова делал усилие, чтобы рассеяться, прислушивался к биению своего сердца. Мне казалось невероятным, чтобы звук, с которым я так давно свыкся, мог прерваться. Воображения у меня всегда было маловато. Однако я все же пытался представить себе то мгновение, когда биение сердца не отзовется больше в моем мозгу. Но удавалось мне это плохо. Рассвет или помилование: больше ни о чем я думать не мог. В конце концов я решил, что насиловать себя бессмысленно.

Приходят они на рассвете, это я знал. Ночи мои и проходили в ожидании рассвета. Неожиданностей я не любил никогда. Лучше знать заранее, что должно с тобой случиться. Поэтому я засыпал, да и то ненадолго, лишь днем, а ночами терпеливо ждал, чтобы за окном забрезжил свет. Самым тягостным был тот неопределенный час, когда, по моим сведениям, это обычно происходит. Начиная с полуночи, я ждал и прислушивался. Никогда еще слух мой не улавливал столь разнообразных звуков и еле различимых шорохов. Должен все-таки сказать, что мне везло, так как шагов я не услышал ни разу. Мама часто говорила, что никогда человек не бывает безгранично несчастен. Едва розовело небо и в моей камере становилось светлее, я мысленно с ней соглашался. Ибо могло ведь случиться, что послышались бы шаги и сердце мое разорвалось бы. Даже если при малейшем шорохе я бросался к двери, даже если, прижавшись к ней, я ждал, ждал, пока в тишине не слышал своего собствен-

ного дыхания, пугавшего меня тем, как оно прерывисто и как напоминает предсмертный хрип собаки, даже в этих случаях сердце мое продолжало биться и впереди были еще целые сутки.

Днем мысли мои были заняты просьбой о помиловании. На мой взгляд размышления эти приняли оборот самый благоприятный. Я все взвесил, принял все возможности во внимание. Неизменно я останавливался сначала на худшем предположении: просьба моя отвергнута. «Что же делать, значит смерть». Раньше, чем для других, это бесспорно. Но ведь всем известно, что жить на свете, в сущности, не стоит. Я сознавал, что мало разницы, умереть в тридцать лет или в семьдесят, раз в обоих случаях после тебя останутся другие мужчины и женщины, и так будет в течение тысячелетий. Ничего очевиднее нельзя себе и представить. Умру ли я теперь, умру ли через двадцать лет, это ведь я умру, я, а не кто-нибудь другой. Впрочем, при мысли, что жизнь могла бы продлиться еще двадцать лет, я чувствовал, как все мое существо страстно рвалось вперед, и это-то меня и смущало. Приходилось внушать себе, что и через двадцать лет мысли и чувства мои остались бы такими же. Как умереть, когда умереть, значения не имеет, нельзя этого не сознавать. Следовательно, — и трудность заключалась в том, чтобы не упустить из виду всего, что в ходе моих мыслей приводило меня к этому «следовательно», — следовательно с отклонением моей просьбы я должен примириться.

После этого, но только после этого, я, так сказать, считал себя вправе перейти ко второму предположению: меня помиловали. Неприятно было то, что приходилось сдерживаться, обуздывать в себе буйный порыв, переполнявший все мое существо дикой радостью. Надо было мало-помалу убеждать себя в нелепости каких бы то ни было счастливых восклицаний. Надо было даже в этом случае держаться естественно, чтобы правдоподобным оставалось мое безразличие при первой гипотезе. Если я этого добивался, несколько часов протекало в спокойствии. Пренебрегать этим все-таки не следовало.

Именно в один из таких моментов я еще раз отказался принять священника. Я лежал и по бледневшей окраске неба догадывался, что близится вечер. В воображении

своим я только что отклонил просьбу о помиловании и чувствовал, что кровообращение мое совершенно спокойно. Священник не был мне нужен. Впервые за много дней я вспомнил о Марии. Давно уже она не писала мне. Подумав, я решил, что ей, вероятно, надоело быть любовницей приговоренного к смертной казни. А может быть, она больна или умерла. Это было бы в порядке вещей. Как мог бы я это почувствовать, раз кроме плотской, теперь распавшейся связи ничто нас не объединяло? Если бы Мария умерла, я о ней ничуть не тосковал бы. К покойнице у меня не было бы ни малейшего интереса. Мне казалось это естественным, так же как и то, что после моей смерти люди обо мне забыли бы. Должен признаться, что мысль об этом не казалась мне тягостной.

В эту-то минуту священник и вошел. Увидев его, я слегка вздрогнул. Он заметил это и сказал, что бояться мне нечего. Я ответил, что обычно приходит он при других обстоятельствах. Он сказал, что пришел как друг, и что посещение его не находится ни в какой связи с моей жалобой, о которой он ничего и не знает. Сев на мою койку, он предложил мне сесть рядом. Я отказался. Но, правду сказать, вид у него был очень приветливый.

Некоторое время он сидел молча, положив руки на колени и опустив голову. Руки у него были тонкие, но мускулистые, похожие на двух подвижных зверьков. Он медленно потер их одну о другую, потом остановился и так долго сидел молча, с опущенной головой, что я едва не забыл о его присутствии.

Внезапно он поднял голову и взглянул на меня в упор. «Отчего вы отказывались принять меня?», спросил он. Я ответил, что не верю в Бога. Он любопытно смотрел, убежден ли я в этом, и я сказал, что никогда и не задавал себе такого вопроса: вопрос это, по-моему, пустой. Тогда он откинулся к стене, прижав руки плашмя к ляжкам. Будто беседуя сам с собой, он сказал, что иногда человек считает себя убежденным в том, в чем на деле не убежден он нисколько. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил: «Вы согласны или нет?». Я ответил, что это возможно. Во всяком случае я, может быть, и ошибаюсь, считая, что то или иное меня интересует, но то, что меня не интересует, знаю точно. И именно то, о чем он со мной говорит, меня не интересует.

Он отвел глаза и, не изменяя положения, спросил, не избыток ли отчаяния диктует мне мои слова. Я объяснил ему, что никакого отчаяния не испытываю. Мне страшно, только и всего, и это вполне естественно. «Бог не оставит вас, — заметил он. — Все те, кого я видел в вашем положении, обращались к Нему». Я сказал, что это было их право. Кроме того, у них, очевидно, было для этого время. Что же касается меня, то я не ищущу ничьей помощи, а главное, у меня нет времени заниматься тем, что меня не интересует.

Он сделал жест, выдававший его раздражение, но овладел собой и принялся расправлять складки своей сутаны. Покончив с этим, он снова заговорил со мной, называя меня «другом». Обращение это было, по его словам, вызвано, однако, не тем, что я приговорен к смерти: нет, приговорены к смерти все мы. Тут я прервал его, сказав, что это далеко не то же самое, и что мысль его ни в каком случае утешением служить мне не может. «Пожалуй, вы правы, — согласился он, — ведь не умрете вы теперь, так умрете позже. Тот же вопрос встанет и тогда перед вами. Как встретите вы это страшное испытание?». Я ответил, что встречу его точно так же, как встречаю сейчас.

Он встал и взглянул мне прямо в глаза. Эту игру я хорошо знал. Не раз я забавлялся этим с Эмманюэлем или Селестом, и почти всегда отводили глаза они, а не я. Сразу же я убедился, что и священник в этой игре не новичок: взгляд его был неподвижен. Не дрожал и голос его, когда он сказал мне: «Неужели же нет у вас никакой надежды, неужели можете вы жить с мыслью, что умрете весь, без остатка?». Я ответил: «Да, могу». Он наклонил голову и снова сел. Потом сказал, что жалеет меня. Ему казалось, что человек не в силах этого выдержать. А мне он начал надоедать. Я, в свою очередь, отвернулся и стал под окном, прислонившись спиной к стенке. Он опять начал меня о чем-то спрашивать, но я плохо следил за его речью. Голос его бы тревожен и настойчив. Я понял, что он волнуется и принялся слушать его внимательнее.

Он выразил уверенность, что я буду помилован, однако, по его мнению, на совести моей останется тяжкий грех, от которого я должен избавиться. Правосудие человеческое — ничто, все в правосудии божеском. Я возразил, что осудило-то меня правосудие человеческое. Он ответил, что греха моего оно не смыло. Я сказал, что не

знаю, что такое грех. Мне заявили, что я виновен, и только. Я виновен, я плачу по счету, больше с меня никто ничего требовать не может. Он поднялся, и мне пришла в голову мысль, что при желании двигаться в этой тесной камере выбора нет: можно только садиться или вставать.

Глаза мои были устремлены вниз. Он сделал шаг в мою сторону и остановился, будто колеблясь. Взгляд его был обращен к небу, видневшемуся за решеткой. «Вы ошибаетесь, сын мой, — сказал он. — С вас могут потребовать и большего. Может быть, и потребуют». — «Потребуют чего?». — «Может быть вас попросят взглядеться». — «Во что взглядеться?».

Священник оглянулся вокруг, и в голосе его мне вдруг послышалась большая усталость: «Знаю, стены эти насквозь пронизаны страданием. При виде их у меня всегда сжимается сердце. Но знаю я и то, что самым несчастным из вас случилось различить в окружающем их мраке божественный лик. В него-то я и прошу вас взглядеться».

Я слегка оживился и сказал, что смотрю на эти стены в течение долгих месяцев. Нет никого и ничего на свете, что было бы мне лучше знакомо. Может быть когда-то, уже довольно давно, мне и хотелось увидеть на них лицо. Но лицо это было ярко, как солнце, и пламенно, как возжеление: лицо Марии. Искал я его тщетно. Теперь с этим покончено. И так или иначе, не появилось на этих страдальческих стенах ровно ничего.

Священник грустно взглянул на меня. Я вплотную прислонился к стене и лоб мой был освещен. Он сказал несколько слов, которых я не разобрал, и быстро спросил, может ли он меня поцеловать. «Нет», ответил я. Он отвернулся и медленно провел рукой по стене. Потом шепнул: «Неужели же вы так привязаны к этому миру?». Я не ответил ничего.

Так стоял он довольно долго. Присутствие его тяготило и раздражало меня. Я уже собирался сказать, чтобы он оставил меня и ушел, как вдруг он обернулся и вскрикнул: «Нет, я вам не верю. Я убежден, что и вам случалось мечтать об иной жизни». Я ответил, что конечно случалось, но так же, как случалось мечтать о том, чтобы разбогатеть, научиться быстро плавать или иметь красиво очерченный рот. Все это были мечты одного и того же порядка и никакого значения придавать им нельзя. Но он перебил меня и пожелал узнать, как я себе представляю эту иную

жизнь. Тогда я крикнул: «Как жизнь, в которой у меня сохранились бы воспоминания о существовании здешнем», и тут же добавил, что все это мне надоело. Он хотел что-то мне еще сказать о Боге, но я подошел к нему и попытался в последний раз разъяснить, что времени остается в моем распоряжении мало. Тратить его на болтовню о Боге я не намерен. Он попробовал перейти на другие темы и спросил, почему я не называю его «отцом», согласно обычаю. В раздражении я ответил, что он мне вовсе не отец: он — сообщник моих врагов.

— Нет, сын мой, — сказал он, кладя мне руку на плечо, — я не на их стороне, а на вашей. Но вы, с вашим слепым сердцем, понять этого не можете. Я буду за вас молиться.

Тут что-то во мне прорвалось, не знаю почему. Я стал кричать во всю глотку, оскорблять его и требовать, чтобы он не смел молиться. Я схватил его за воротник сутаны. То ликуя, то кипя злобой, я вылил на него все, что таилось в глубине моего сердца. Он верит в то, что проповедует, да? Но вера его не стоит одного женского волоса. Он должен бы сомневаться даже в том, жив ли он, раз живет он как мертвец. В сравнении с ним у меня за душой нет ничего, да? Но я уверен в себе, я уверен во всем гораздо тверже, чем он, я уверен в том, что живу и в том, что вскоре умру. Да, ничего, кроме этого, у меня нет. Но этой-то истиной я по крайней мере владею, так же, как и она владеет мной. Я был прав, я и теперь прав, я всегда был прав. Я жил так-то, а мог бы жить и иначе. Я сделал то-то, но не сделал другого. А что дальше? Все в конце концов свелось к ожиданию брезжащего рассвета и минуты, когда правда моя обнаружится. Все — пустяки, все — случайность, и я знаю, почему это так. Он тоже знает. В течение всей моей глупейшей жизни, из недр будущего, сквозь еще непришедшие, неведомые года веяло на меня чем-то темным, и веяние это заставляло меня с одинаковым безразличием воспринимать все происходившее в года, пожалуй, не менее призрачные. Что мне смерть других людей, что мне материнская любовь, что мне в его Боге, в том или ином образе жизни, в выборе своей судьбы, раз не я ее выбрал, а она, одна-единственная судьба выбрала меня, и вместе со мной миллиарды счастливиц, называющих себя, как и он, моими братьями! Поймет ли он, поймет ли он наконец все это? Люди сплошь счастливицы. Нет никого на свете,

кроме счастливых. Другим тоже вынесут когда-нибудь смертный приговор. Ему тоже. Какое значение имеет то, что судя человека как убийцу, казнят его, собственно говоря, за то, что он не плакал на похоронах матери? Собака Саламано ничем не хуже его жены. Женщина, похожая на автомат, так же виновна, как парижанка, на которой женился Массон, или как Мария, которая хотела выйти замуж за меня. Какое значение в том, что Рэмон был моим приятелем, как был моим приятелем и Селест, который лучше его? Какое значение в том, что Мария теперь целуется с новым Мерсо? Поймет ли он наконец, он, осужденный, поймет ли он, что из недр моего будущего... Я задыхался, выкрикивая все это. Но уже бежали сторожа и с угрозами вырвали священника из моих рук. Он, однако, успокоил их и молча посмотрел на меня. Глаза его были полны слез. Он отвернулся и исчез.

Когда он ушел, я успокоился и в изнеможении бросился на койку. Кажется, я спал, так как, очнувшись, увидел звезды. Доносившиеся до меня звуки напоминали о близости деревни. Запах ночи, земли и соли освежал мне виски. Чудесный покой этого спящего лета проникал в меня, как морской прибой. Где-то далеко завывали сирены. Это был знак каких-то отбытий в мир, навсегда сделавшийся мне безразличным. Впервые за долгое время я подумал о маме. Мне почудилось, что я понимаю, почему на склоне лет у нее оказался «жених», почему затеяла она эту давно забытую игру. Там, в полях, окружавших приют, где угасали существования, там вечер тоже был чем-то вроде меланхолической передышки. В преддверии смерти мама должна была ощутить себя свободной и готовой все пережить сначала. Никто, никто не был вправе оплакивать ее. И я тоже почувствовал в себе готовность все пережить снова. Вспышка гнева как будто убила во мне зло, лишила меня надежды, и перед лицом этой таинственной звездной ночи я впервые весь отдавался нежному безразличию мира. Поняв, до чего мир мне подобен, как братски он ко мне расположен, я почувствовал, что был счастлив и что счастлив до сих пор. Ради достойного завершения всего пережитого, ради избавления от одиночества, оставалось мне только пожелать, чтобы при казни моей присутствовало множество зрителей и чтобы встретили они меня криками полными ненависти.

ПРИМЕЧАНИЯ

В том вошла практически вся известная ныне беллетристика Адамовича. В основе тома — составленная самим Адамовичем итоговая книга стихотворений «Единство» (1967), в дополнениях — стихотворения ранних сборников «Облака» (1916), «Чистилище» (1922), «На Западе» (1939), попытки прозы, а также переводы (за исключением коллективных произведений большого объема).

Поэтическое наследие Адамовича сравнительно невелико. Нам известен 161 текст, напечатанный им при жизни. Еще семь были опубликованы посмертно. Итого — 168 текстов, но в частных собраниях могут еще быть находки. Ю. Иваск пишет, что Адамович «дал в печать не более ста стихотворений, хотя как-то мне признался, что писал их часто, но “не предавал тиснению”» (Новый журнал. 1972. № 106. С. 286). Вероятно, с легкой руки Иваска число «сто» фигурирует во многих справочниках.

Редактором собственных стихов Адамович был невероятно строгим. В «Единстве» перед нами своеобразный тройной отбор — во-первых, он, по справедливому выражению Николая Вадвича, «всегда охотнее промолчит, чем скажет лишнее» (*Вадвич Николай*. Русские поэты // Русский временник. 1939. № 3. С. 126), пишет только когда не писать не может. Во-вторых, в печать отдает после многих размышлений и скрепя сердце, поскольку по большей части все, что вышло из-под его пера, «не вполне устраивало и его самого». В третьих, на склоне лет он просмотрел все опубликованное и отобрал стихи, выдержавшие, по его мнению, проверку временем. В сознании потомков он намеревался остаться именно этим тщательно отобранным корпусом стихотворений. И, в общем-то, нет оснований нарушать его авторскую волю. То, что ко многим своим стихам он был незаслуженно строг, легко убедиться, обратившись к ранним сборникам, помещенным в дополнения.

Даты под стихами (в тех немногочисленных случаях, когда Адамович их проставлял) воспроизводятся и в настоящем издании. Если стихотворение было датировано в ранней редакции, а в книжном издании дата была снята, она приводится

курсивом в угловых скобках. В большинстве же случаев нам известна только дата первой публикации. Предположительная датировка стихотворений, данная составителем, приводится в угловых скобках со знаком вопроса.

Тексты печатаются в последней авторской редакции с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру).

В примечаниях указываются первые публикации стихотворений, а также наиболее существенные лексические разночтения в ранних вариантах стихов (пунктуационные разночтения не фиксируются, за исключением наиболее значимых случаев). Поскольку количество разночтений невелико, в книге не выделен особый раздел «Другие редакции и варианты»; предполагаемая этим разделом текстологическая информация сообщается непосредственно в примечаниях. Библиографическая информация о немногочисленных, как правило, до 1987 г. перепечатках стихотворений также приведена в примечаниях.

Начиная с 1995 года стихи Адамовича множество раз печатались подборками в периодике, антологиях и отдельными сборниками, но комментированные их издания были осуществлены лишь трижды:

Адамович Г. Одиночество и свобода / Вступ. ст., сост. и прим. В. Крейда. М.: Республика, 1996.

Адамович Г.В. Собрание сочинений: Стихи, проза, переводы / Вступ. статья, сост. и прим. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1999.

Адамович Г.В. Полное собрание стихотворений / Сост., подг. текста, вступ. статья, примеч. О.А. Коростелева. СПб.: Академический проект; Издательство «Эльм», 2005. (Новая Библиотека поэта. Малая серия).

Эти примечания нами учтены, а также учтены разыскания и отдельные наблюдения Роджера Хэглунда, М.Л. Гаспарова, Р.Д. Тименчика, Н.А. Богомолова, А.В. Лаврова.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех, кто в разные периоды помогал советами, справками и предоставленными материалами: Р.Д. Тименчика (The Hebrew University of Jerusalem), А.Е. Барзаха (СПб.), А.Б. Устинова (San Francisco), Татьяну Чеботареву (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, New York), Жоржа Шерона (Los Angeles), С.Р. Федякина (Литературный институт, Москва), Е.А. Голлербаха (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург), Е.А. Кольчужкина (Издательство «Водолей», Томск), А.В. Яковенко (Томская областная научная универсальная библиотека им. А.С. Пушкина).

Список условных сокращений

АППЭА — Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма. Мюнхен, 1973.

Вне России — Вне России: Антология эмигрантской поэзии 1917–1975. = Outside Russia: An anthology of poetry written by Russian poets in emigration / Edited by H.W. Tjalsma. [Introduction by George Ivask]. München: Wilhelm Fink Verlag, 1978. [на копирайте авантитула 1979] — XIV, 188 с. — (Centrifuga: Russian Reprintings and Printings. Vol. 37).

ВП — Воздушные пути. Нью-Йорк, 1960–1967. № 1–5.

200 поэтов — Вернуться в Россию стихами... 200 поэтов эмиграции: Антология / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1995.

Е — Адамович Г. Единство: Стихи разных лет. Нью-Йорк: Русская книга, 1967.

ЕШ — Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней. Под ред. И.С. Ежова и Е.И. Шамурина. М., 1925.

ЖРП — Жемчужины русского поэтического творчества / Ред. Т.А. Березний. Нью-Йорк: Изд-во Общества Друзей Русской Культуры, 1964.

Звено — Звено. Париж, 1923–1928. (5 февраля 1923 — 19 июня 1927. № 1–229; 1 июля — 1 декабря 1927. № 1–6; 1 января — 1 июня 1928. № 1–6).

ИНП — Из новых поэтов: Сборник стихов / Сост. Борис Бродский. Берлин: Мысль, 1923.

ИР — Иллюстрированная Россия. Париж, 1924–1939. № 1–748.

Ковчег — Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост. Вадим Крейд. М.: Республика, 1991.

Муза диаспоры — Муза диаспоры: Избранные стихи зарубежных поэтов. 1920–1960 / Сост. Ю. Терапиано. Франкфурт: Посев, 1960.

Мы жили тогда — «Мы жили тогда на планете другой...»: Антология поэзии русского зарубежья: 1920–1990 (Первая и вторая волна): В 4 кн. / Сост. Е.В. Витковский. Биогр. справки и комм. Г.И. Мосешвили. М.: Московский рабочий, 1995. Кн. 2.

На Западе — На Западе: Антология русской зарубежной поэзии / Сост. Ю.П. Иваск. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953.

На чужих берегах — На чужих берегах: Лирика русского зарубежья. Хрестоматия / Сост. Ф.П. Федоров. М.: Ковчег, 1995.

НЖ — Новый журнал. Нью-Йорк, 1942–.

- НЗ — Адамович Г. На Западе. Париж: Дом книги, 1939.
- НРС — Новое русское слово. Нью-Йорк, 1920—.
- О — Адамович Г. Облака: Стихи. М.; Пг.: Альциона, 1916.
- Опыты — Опыты. Нью-Йорк, 1953–1958. № 1–9.
- ПН — Последние новости. Париж, 1920, 27 апреля–1940, 11 июня. № 1–7015.
- РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
- РЗ — Русские записки. Париж; Шанхай, 1937–1939. № 1–20/21.
- РМ — Русская мысль. Париж, 1947—.
- РН — Русские новости. Париж, 1945–1970. № 1–1288.
- РПСВ — Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917: Антология / Под ред. М.Л. Гаспарова, И.В. Корецкой. М.: Наука, 1993.
- СЗ — Современные записки. Париж, 1920–1940. № 1–70.
- Собр. соч. Стихи. — Адамович Г.В. Собрание сочинений: Стихи, проза, переводы / Вступ. статья, сост. и прим. О.А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 1999.
- Строфы века — Строфы века: Антология русской поэзии / Евгений Евтушенко. Минск–Москва: Полифакт, 1995.
- ЦП-1. — Дракон: Альманах стихов. Вып. 1. Пг., 1921.
- ЦП-2. — Альманах цеха поэтов. Кн. 2. Пг., 1921.
- ЦП-3 — Цех поэтов. 3. Пг., 1922.
- ЦП-4 — Цех поэтов. Альманах. № 4. Берлин, 1923.
- Ч — Адамович Г. Чистилище: Стихи. Книга вторая. Пб.: Петрополис, 1922.
- Числа — Числа. Сборники. Париж, 1930–1934. № 1–10.
- ЭРП — Эротика в русской поэзии: Сборник стихов / Под ред. Бориса Бродского. Берлин: Русское универсальное изд-во, 1922.
- Якорь — Якорь: Антология зарубежной поэзии / Под ред. Г.В. Адамовича и М.Л. Кантора. Берлин: Петрополис, 1936.
- VAR. — Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. The Rare Book and Manuscript Library. Columbia University. New York.
- Muza na wygnaniu — Muza na wygnaniu: Rosyjska poezja emigracyjna. Antologia. T. I (1920–1940) / Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Bronisław Kodzis i Aleksandra Wiczorek. Opole, 1994.

Единство (1967)

Сборник «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк: Русская книга, 1967) Адамович рассматривал как свое поэтическое завещание. Книга включала тщательно отобранные авто-

ром 45 лучших стихотворений, написанных на протяжении полувека (из них 28 входили в сборник «На Западе», в том числе 4 стихотворения, публиковавшихся прежде и в «Чистилище»). Почти все стихи были впервые опубликованы в эмигрантской периодике — в «Звене», «Современных записках», «Числах», «Опытах», «Новом журнале» и др.

Подготовка книги началась задолго до выхода ее в свет. В письме Александру Бахраху 14 декабря 1964 года Адамович писал: «Сидел все эти дни над эвентуальным сборником своих стихов, который собирается издать Раннит из Yale (т.е. университета). Сегодня послал ему рукопись, но с чувством, что все не то и не так, кроме 2–3 “пьес”, как выразился Ходасевич» (Новый журнал. 2001. № 225. С. 176). Спустя год, в письме Игорю Чиннову 16 декабря 1965 г. Адамович писал: «Сборник стихов должен был выйти к концу года. Но Раннит (Yale), который за это дело взялся и хочет написать предисловие (или, кажется, послесловие), медлит, тянет и до сих пор ничего не написал. Я его не тороплю, т.к. торопить и нет причин. Вероятно, к лету книжка все-таки выйдет» (Литературоведческий журнал. 2008. № 22. С. 247).

Итоговый сборник патриарха эмигрантской поэзии был встречен с соответствующим пиететом. «Тема смерти — во всей ткани поэзии Адамовича, — писал в своей рецензии Роман Гуль. — Поэзия “Единства” идет в высокой русской лирической традиции — пушкинско-тютчевско-баратынской. Эта небольшая книжка — одна из ее подлинных “нот”. Под конец жизни Адамович выговорил какие-то слова высокой значимости для каждого человека <...> эта книга, думаю, останется в большой русской лирике» (Новый журнал. 1967. № 89. С. 279).

Юрий Иваск выводил существенно иную и гораздо более убедительную родословную стихов «Единства». По его мнению, Георгий Адамович «на свой особый лад допел Лермонтова, Блока, Анненского <...> “Единство” Адамовича — книга о немодном теперь “самом главном” и, может быть, тем самым, она оправдывает и поощряет такие беседы о многом, даже обо всем... Это не только книга хороших стихов, имеющих несомненные формальные достоинства и неуловимую прелесть, неподдающуюся анализу. Стихи Адамовича будят мысль, незаметно очаровывают и глухо звенят где-то на самом “дне сознания”, за что-то укоряя или же что-то обещая» (Иваск Ю. Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 234, 235).

«Адамович — мастер срывающегося голоса, мастер обреченного шепота, — по определению Ольги Анстей, — мало кто умеет так обреченно шептать о смерти, как Адамович» (Анстей О. Разговор под дождь // Новое русское слово. 1967. 27 августа).

Юрий Терапиано находил, что «Единство» — это очень русские стихи, органически связанные с большой линией нашей поэзии, но Георгий Адамович не только русский, но еще и европеец. В его стихах нет и тени постоянно врывающегося в произведения большинства современных русских поэтов какого-то неистребимого провинциализма. В «Единстве» и вкус, и тон, и уровень, и трезвый, ясный, порой даже несколько картезианский ум безупречны. И в то же время чувству дана полная свобода, а уметь вовремя остановиться, «сдерживать опьянение и протрезвиться», показывает, какой огромный путь поэтического опыта и внутреннего искусства необходимо пройти поэту, чтобы так говорить о самом для него значительном и важном <...> «Единство», в своей самой сокровенной сущности, глубоко христианская книга, мотивы греха, раскаянья и смирения, в высшем смысле, то есть в сознании ограниченности человеческого «я», мы встречаем повсюду, — и не в виде «выставленного напоказ», а без всякого «нажимания на педаль», в простом, трезвом и ясном утверждении того, что есть самого подлинного в человеке» (Терапиано Ю. «Единство» // Русская мысль. 1967. 28 сентября. № 2654. С. 8–9).

Игорь Чиннов в статье «Смотрите — стихи» отмечал «тяготение к евангельской простоте, к сосредоточенности на самом важном, на единственно серьезном <...> По глубине чувства, по силе жажды слов незаменимых, освобожденных от случайности, «предельных» — эта книга, действительно, томов премногих тяжелей» (Чиннов И. Смотрите — стихи // Новый журнал. 1968. № 92. С. 138).

Тираж книги за рубежом расходился на протяжении четверти века, остатки его были ввезены в Россию и в течение нескольких недель 1992 года распроданы книжными магазинами Москвы и Новосибирска.

Тексты печатаются по сборнику 1967 года.

«Стихам своим я знаю цену...». Встреча. [Париж], 1945. № 2. С. 13. С разночтением в 5 строке: «Сквозь умаленья, повторенья». Перепечатывалось: Е. С. 5; АППЭА. 1973. С. 147; Даугава. 1988. № 1. С. 113; Лепта. 1991. № 2. С. 151–152; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 100; Ковчег. С. 35; На чужих берегах. С. 98.

А. Бахрах, рецензируя второй сборник «Встреч», отозвался о его стихотворном отделе в целом негативно, сделав одно исключение: «Только стихи Адамовича с некоторым деланным смирением, что не лишает их пронзительности, говорят о беспомощности языка и о чем-то, чего не выразишь словами. Но при этом Адамович поэт слишком умный и опыт-

ный, чтобы впасть в умничанье. Стихи его просты при всей их двупланности. Зато как эта простота (хотя бы и нарочитая) оттеняется соседствованием иных строф, в которых “мудрость” желает быть высказана любой ценой» (А. Б. [Бахрах А.В.] «Встреча»: сборник второй // Русские новости. 1945. 14 декабря. № 31. С. 3).

В своем отзыве на «Единство» Юрий Иваск писал об этом стихотворении Адамовича: «“Иных поэзий торжество” для него — измена музыке, небу» (Иваск Ю. Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 233).

«Тихим, темным, бесконечно-звездным...». СЗ. 1929. № 40. С. 238. Под названием «Голос» и с разночтениями — 9–12 строки: «Я не слушаю, не отвечаю, / Я дышу, гляжу на белый свет... / Только понемногу умираю / голосу любимому в ответ». Перепечатывалось: НЗ. С. 12; Е. С. 6; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 192; Ковчег. С. 35; Алтарь. 1994. С. 130.

«Ни с кем не говори. Не пей вина...». Звено. 1923. 19 ноября. № 42. С. 2. С разночтением во 2 строке: «Оставь сестру и брата». Перепечатывалось: СЗ. 1932. № 27. С. 145; Якорь. 1936. С. 65; НЗ. С. 5; Во славу Божию. Нью-Йорк, 1945. С. 31; ЖРП. С. 290; Е. С. 7; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 97; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 192; Ковчег. С. 24; Алтарь. 1994. С. 129.

«Ты здесь опять... Неверная, что надо...». НЖ. 1960. № 59. С. 93–94. Под названием «Отрывок» с разночтением в 20 строке: «Нет, я не болен, не схожу с ума» и дополнительной четвертой строкой:

Пообтрепалась ты в чужой столице,
Был даже слух, что по рукам пошла,
А петь не Бог весть что за мастерицей,
По совести, и прежде ты была.

Перепечатывалось: Е. С. 8–9; НРС. 1967. 27 августа; Лепта. 1991. № 2. С. 153–154; Мы жили тогда. С. 343.

Ю.К. Терапиано, откликаясь на статью Адамовича «Невозможность поэзии», завел речь и об этом стихотворении: «Прочтя “Отрывок” Георгия Адамовича, помещенный в “Новом журнале”, многие поэты, вероятно, станут праздновать победу Георгия Адамовича-поэта над Георгием Адамовичем м-к критиком <...> Стихотворение это полно движения и жизни, оно без всякого “строгости рая” и “сдержанности” становится до-

казательством возможности поэзии» (*Терапиано Ю.* «Новый журнал». Книга 59. Часть литературная // Русская мысль. 1960. 16 июля. № 1552. С. 6–7).

«с восторгом сладострастья» — Выражение неоднократно встречается в стихах начала XIX в., например, у Пушкина в стихотворении «Месяц» (1816), в отрывках из поэмы «Воспоминание» (1820) и др.

«...Небо то же. Снег, рестораны, фонари, дома...» — Тема повтора, возможно, вызвана к жизни стихотворением Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (1912).

«Без отдыха дни и недели...». Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Неоднократно перепечатывалось: ЦП-4. С. 6; НЗ. С. 6; На Западе. С. 95; Е. С. 10; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Звезда. 1988. № 9. С. 127; Лепта. 1991. № 2. С. 151; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 98; Ковчег. С. 22; Muza na wugnaniu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 129; Гнозис. 1995. № 11. С. 29; На чужих берегах. С. 98.

Георгий Иванов взял это стихотворение в качестве эпиграфа к своей книге «Петербургские зимы» (Париж, 1928). Рецензируя его книгу, Н.Ф. Мельникова-Папоушкова написала: «Маленькое замечание об эпиграфе, взятом из Адамовича. Эти два гладкие и абсолютно пустые четверостишия являются одним из тысячных перепевов А. Блока» (*Н.М.П. [Мельникова-Папоушкова Н.] [Рец.:] Георгий Иванов. Петербургские зимы. Изд. «Родник». Париж, 1928 // Воля России. 1928. № 12. С. 122).*

«По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...». ЦП-3. С. 6. С разночтениями — 2 строка: «Эта выюга мешает, ведь мы заблудились в пути...», 6 строка: «Рестораны распахнуты, стынет дыханье в груди...», 10 строка: «Но как скошены ноги, я больше бежать не могу...», 12 строка: «Все погибло, все кончено... Видишь ты, кровь на снегу...». Исправления были внесены при публикации стихотворения в сборнике «На Западе» (1939), после чего стихотворение перепечатывалось без изменений: Ч. С. 11–12; ЦП. Берлин, 1923. № 2–3; З. 1924. 16 июня. № 72. С. 2–3; НЗ. С. 24–25 (с разночтениями); На Западе. С. 96; Е. С. 11; АППЭА. 1973. С. 145; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Волга. 1990. № 12. С. 127; Ковчег. С. 23; Человек. 1992. № 6. С. 185; Muza na wugnaniu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 132; Венок Пушкину. М., 1994. С. 169; На чужих берегах. С. 99.

Обстоятельный разбор блоковских реминисценций в этом стихотворении см. в статье: *Фетисенко О.Л.* А. Блок и Г. Адамович (о возможном прочтении одного стихотворения

Г. Адамовича) // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 9. С. 78–89; то же: А. Блок: Исследования и материалы. СПб., 1998. Вып.3. С. 90–101.

«О, если правда, что в ночи...». СЗ. 1937. № 64. С. 151. С разночтением в 15 строке: «Тогда конец, бессмер... победа». Перепечатывалось: НЗ. С.7; Е. С. 12; Ковчег. С. 31; Алтарь. 1994. С. 129; Венок Пушкину. М., 1994. С. 169.

Рецензент варшавского «Меча», откликаясь на книгу «На Западе», остановился на этом стихотворении: «Это смелое оборванное “бессмер...” показательнейшее, характернейшее для Адамовича. Не убеждаясь им в статьях, здесь мы принимаем его целиком, всю его горечь и всю скрытую, почти метафизическую “надежду”» ([Гомолицкий Л.Н.?] Среди новых книг // Меч. 1939. 14 мая. № 20 (257). С. 5).

«...может быть, залог» — из пушкинского «Пира во время чумы» (1830).

«О, если правда, что в ночи...» — из пушкинского «Заклинания» (1830).

Но если... — Поскольку стихотворение «пушкинское», нельзя исключить аллюзию на стихотворение Пушкина «Ненастный день потух...» (1824) с его провалом в недоговоренность и многоточия.

«За слово, что помнил когда-то...». Числа. 1930. № 1. С. 12. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 62. В книге «На Западе» (С. 8) опубликован вариант стихотворения с разночтением в первой строке: «За все, что ты помнил когда-то». Этот вариант перепечатан: Алтарь. 1994. С. 130. Позже Адамович вернулся к первоначальному варианту: Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. С. 80; Е. С. 13; Лепта. 1991. № 2. С. 152; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 192; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 99; Muza na wugnaniu. С. 29. Ковчег. С. 26; Человек. 1992. № 6. С. 187; 200 поэтов. С. 25; На чужих берегах. С. 99.

«О, если где-нибудь, в струящемся эфире...». Числа. 1930. № 1. С. 12. Перепечатывалось: НЗ. С. 40; Е. С. 14; Ковчег. С. 26; Алтарь. 1994. С. 135.

«Слушай — и в смутных догадках не лги...». НЖ. 1967. № 86. С. 21. Перепечатывалось: Е. С. 15; АППЭА. 1973. С. 149; Вне России. С. 60; Даугава. 1988. № 1. С. 113; Ковчег. С. 40–41; Мы жили тогда. С. 341.

«Тише воды, ниже травы...» — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910–1914).

«**Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...**». СЗ. 1931. № 46. С.163. Под названием «Баллада» и с разночтениями — строка 6: «И перекликались прощально рога», строки 9-12: «Лазурью дышу я, не воздухом дымным! / Скрипели веревки и голос молил, / И верность, как лебедь, над призрачным миром / Взлетала и падала тут же без сил». Без названия перепечатывалось: НЗ, С. 36–37; Лепта. 1991. № 2. С. 155; Ковчег. С. 28–29; Алтарь. 1994. С. 134.

Откликаясь на этот номер «Современных записок», В.В. Вейдле счел, что «“Баллада” Г. Адамовича ниже уровня его последних стихов: она расплзается на составные части, и своего замысла, и своего внешнего построения» (*Вейдле В. «Современные записки», кн. 46 // Возрождение. 1931. 28 мая. № 2186. С. 4).*

Цветаева перед отъездом в Советскую Россию переписала это стихотворение вместе с рядом других стихотворений эмигрантов к себе в тетрадь: «— Себе на память — (2 июня 1939 г., пятница)», приписав под ним: «Чужие стихи, но к<отор>ые местами могли быть моими — МЦ)» (Звезда. 1992. № 10. С. 44). Под впечатлением от этого стихотворения Цветаева находилась по крайней мере неделю и цитировала строки из него в письме А.И. Андреевой от 8 июня 1939 года (*Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М.: Эллис Лак, 1995. С. 657).* Ариадна Эфрон, разбирая позже записи матери, посчитала, что это стихотворение Ходасевича.

«**Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...**». Числа. 1930/1931. № 4. С. 5–6. Перепечатывалось: НЗ. С. 38; Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. С. 77; Е. С. 17; Ковчег. С. 28; Муза на wugnapiu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 134; Мы жили тогда. С. 338.

Строку «О всех оставленных, о всех усталых...» Юрий Иваск очень убедительно выводил из строки «О всех усталых в чужом краю...» стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905). По мнению Иваска, «в “Единстве” немало реминисценций из Блока», поскольку «поэзия Георгия Адамовича, как и поэзия Георгия Иванова родилась в блоковском мире, в его *музыке*. Понятие это, или — вернее — образ, точному определению не поддается. Это не инструментальная музыка. Это — музыка сфер — та романтическая динамика, о которой писал Ницше в философских комментариях к Вагнеру» (*Иваск Ю. Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13/14. С. 231–232).* Действительно, ритмический рисунок строки «О верности, терпении, любви» близок к заглавной строке блоковского стихотворения «О доблестях, о подвигах, о славе» (1908), а «героиня» стихотворения ассоциируется, помимо всего прочего, еще и с блоковской Сольвейг.

«Светало. Сиделка вздохнула. Потом...». Встреча (Париж). 1945. № 2. С. 13. С разночтениями — без 3 строки, после 8 строки другой текст: «И не задохнулся, и в смутном волнении / Не встал как с ударом землетрясения, / И над морями, над тысячью рек / На голос беспомощно звавший не вышел. / И не почувствовал, не услышал, / Что все обрывается, гибнет навек... / А вот, еще говорят — человек!». Перепечатывалось: Е. С. 18; Вне России. С. 61; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 193; Ковчег. С. 39; Гнозис. 1995. № 11. С. 29.

«Да, да... я презираю нервы...». Встреча (Париж). 1945. № 2. С. 13. С разночтением в 14 строке: «Все говори, как есть... да, да...». Перепечатывалось: Е. С. 19; Ковчег. С. 35–36.

«Ну, вот и кончено теперь. Конец...». Числа. 1930. № 1. С. 13. С разночтением во 2 строке: «Легко и просто, грубо и уныло». Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 62–63; НЗ. С. 56; На Западе. С. 94; Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. С. 81; Е. С. 20; Подъем. 1988. № 11. С. 122; Ковчег. С. 26–27; Человек. 1992. № 6. С. 187; Muza na wugnaniu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 137; Гнозис. 1995. № 11. С. 29–30; Мы жили тогда. С. 339.

«За все, за все спасибо. За войну...». Новый корабль. 1928. № 4. С. 3. С разночтениями — 5 строка: «Нет блага большего — все потерять», 7 строка: «И никогда ты не был к небу ближе». Перепечатывалось: НЗ. С. 50; Е. С. 21; НРС. 1967. 27 августа; Вне России. С. 60; Лепта. 1991. № 2. С. 154; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 193; Ковчег. С. 32; Человек. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 136; Мы жили тогда. С. 338; 200 поэтов. С. 24; Строфы века. С. 226.

Один из часто встречающихся у Адамовича мотивов, восходящий, в частности, к стихотворению Лермонтова «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...», 1840).

3 декабря 1928 года З.Н. Гиппиус писала Адамовичу об этом стихотворении: «Мы (и Дмитрий Сергеевич) вновь остановились в... (не знаю, как сказать: не в восхищении, и не в почтении, ну словом что-то очень хорошее и серьезное) — перед вашим стихотворением, начинающим Корабль. Да, оно *есть*, да еще как! Можете быть спокойны: это одно из лучших (если не лучшее) стихотворений, написанных за последние годы. Не вами, а вообще» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972. P. 384–385). Позже, рецензируя эмигрантский сборник Адамовича, Гиппиус опять вспоминала «За все, за все спасибо. За войну...», выражая сожаление, что «не им начинается книжка “На Западе” <...> так просто, с таким словесным целомудрием оно написано (кто-то

назвал его даже “гениальным”)» (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3).

Игорь Чиннов приводил это стихотворение как наиболее характерное для зрелой поэзии Адамовича. По его мнению, у «Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиально, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности от всего “неокончательного”, необязательного, декоративного» (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 139).

«Когдамы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?..». Круг. 1936. № 1. С. 111. Перепечатывалось: НЗ. С. 15–16; Е. С. 22–23; Вне России. С. 59; *Лихоносов В.И.* Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж: Роман. М.: Советский писатель, 1987. С. 4; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Огонек. 1988. 21–28 мая. № 21. С. 9; Молдавия литературная (Кишинев). 1990. № 5. С. 107 (под рубрикой «Из редакционного портфеля» и за подписью: Вячеслав Иванов); Лепта. 1991. № 2. С. 156; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 98; Ковчег. С. 29; Человек. 1992. № 6. С. 185; Алтарь. 1994. С. 131; Мы жили тогда. С. 338; На чужих берегах. С. 100; Строфы века. С. 225.

И. Голенищев-Кутузов, крайне недовольный «диктатурой Адамовича», посвятил альманаху «Круг» большую статью, в которой разгромил большинство опубликованных в альманахе произведений, а по поводу стихотворения Адамовича заметил: «Впрочем, нужно выделить болезненные, духовно “пораженческие” и все же чрезвычайно талантливые стихи Георгия Адамовича, который, вероятно, останется в литературе не как критик» (*Голенищев-Кутузов И.* Об эмигрантской литературе // Русское дело. 1936. 14 ноября. № 10. С. 3–4).

Гамлет восточный... — Вертинский, приводя отрывок из стихотворения в своих воспоминаниях, без всяких на то оснований заявил об Адамовиче, что «Гамлетом он называл Сталина» (*Вертинский А.* Дорогой длинною. М., 1990. С. 206).

«Коль славен...» — масонский гимн М.М. Хераскова (1733–1807), положенный на музыку Д.С. Бортнянским (1751–1825) в 90-х годах XVIII века; первый национальный гимн Российской империи, в XIX веке замененный на официальный государственный гимн «Боже царя храни...» сперва в варианте В.А. Жуковского (1816), затем А.Ф. Львова (1833). С середины XIX века куранты Петропавловской крепости каждый час исполняли «Коль славен...», пока после революции их не заставили играть «Интернационал».

«Что там было? Ширь закатов блеклых...». СЗ. 1928. № 37. С. 231. Перепечатывалось: Е. С. 24; Даугава. 1988. № 1. С. 112; Лепта. 1991. № 2. С. 153; Ковчег. С. 25; Подъем. 1992. № 2. С. 32; Человек. 1992. № 6. С. 185–186; Мы жили тогда. С. 338; 200 поэтов. С. 25; На чужих берегах. С. 101; Строфы века. С. 225.

Отзываясь на этот номер «Современных записок», Е.С. Вебер-Хирьякова из всего раздела поэзии выделила Адамовича: «Если стихи Ходасевича, Оцупа оставляют досадное чувство неудовлетворенности, неприятия их, то о двух стихотворениях Г. Адамовича можно смело утверждать, что они — настоящие, “говорящие”. Особенно хорошо первое — о Петербурге» (*Луганов Андрей [Вебер-Хирьякова Е.С.] Современные записки. Кн. XXXVII // За свободу! 1929. 15 января. № 12 (2645). С. 3).*

«Всю ночь слова перебираю...». СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: НРС. 1967. 27 августа; Литература русско-го зарубежья: В 6 т. / Сост. В.В. Лавров. М.: Книга, 1990. Т. 2. С. 387; Лепта. 1991. № 2. С. 153; Человек. 1992. № 6. С. 186; Ковчег. С. 25.

Георгий Иванов, рецензируя тридцать пятую книгу «Современных записок», писал: «Георгия Адамовича в эмиграции все знают, как критика. Знают и то, что он поэт, но в глазах многих поэзия его заслоняется критической работой. Как это несправедливо, просто нелепо, поймет каждый, кто прочтет хотя бы стихи, напечатанные в этой книжке “Современных записок”. Говорю “хотя бы”, потому что любое стихотворение Адамовича свидетельствует, что он один из самых подлинных и своеобразных современных поэтов, и никакая “критическая деятельность”, как бы умна и талантлива она ни была, с его поэзией ни в какой уровень не может идти. Как и все стихи Адамовича, и эти три безошибочны на слух, полны лиризма (оттого, что лиризм Адамовича всегда сдержанный, — он только выигрывает в очаровании) и, как всегда, они чуть “тронуты” воспоминанием о родственной Адамовичу поэзии двух великих поэтов: Анненского и Лермонтова» (*Иванов Г. «Современные записки». Книга XXXV-ая // Последние новости. 1928. 31 мая. № 2626. С. 3).*

А.В. Бахрах, рецензируя тот же номер «Современных записок», отметил: «Очень приятны стихи Адамовича, который из стоячей воды акмеизма переплыл в русло пушкинской поэтики» (*Бахрах А. «Современные записки», XXXV // Дни. 1928. 10 июня. № 1445. С. 4).*

В.В. Вейдле отозвался более скептически: «Стихи Г. Адамовича нарочито бедны и обнажены, но вряд ли они оправды-

вают до конца эту бедность и обнаженность; свойства эти больше результат выбора, вкуса, некоторой усталости, может быть, чем необходимые черты сложившегося дара; однако сама эта усталость, вместе с тем падающим движением переживания и стиха, которое она за собой влечет, не только человечески, но и поэтически действенна: отчасти она вне искусства, отчасти еще в нем» (*Вейдле В.* «Современные записки», кн. XXXV // Возрождение. 1928. 21 июня. № 1115. С. 3).

«Когда успокоится город...». ЦП-4. С. 17. Перепечатывалось: Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. ; НЗ. С. 48–49; Е. С. 26; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 194; Подъем. 1992. № 2. С. 32; Ковчег. С. 32–33; Алтарь. 1994. С. 136; 200 поэтов. С. 25–26.

Обыгрываются строки стихотворения В.А. Жуковского «Ночной смотр» (1836):

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик...

«Я не тебя любил, но солнце, свет...». Опыты. 1955. № 4. С. 3–4. Под названием «Посвящение». Перепечатывалось: Е. С. 27–28; Вне России. С. 57–58; Подъем. 1988. № 11. С. 121; Ковчег. С. 38–39.

Г. Аронсон, рецензируя четвертую книгу «Опытов», счел, что «стихотворение Г. Адамовича, умелое и искреннее, сорвано к концу риторическим восклицанием: “Чрез миллионы лет я вскрикну: да!”» (НРС. 1955. 1 мая. № 15709. С. 8).

Н. Андреев, откликаясь на «Опыты», пришел к иному выводу: «Георгий Адамович напечатал стихотворение “Посвящение”. Оно отлично сделано; к удивлению, оно романсно, несмотря на глубину темы; вероятно, в этом есть тоже свой “вызов”; по случайности, и это стихотворение касается темы встречи. Поэзию Адамовича можно не любить, но нельзя не воздать должное совершенству его мастерства» (*Андреев Ник.* Заметки о журналах: «Опыты» III и IV // РМ. 1955. 29 июля. № 784. С. 4).

Говоря о сборнике «Единство», Игорь Чиннов писал об этом стихотворении Адамовича: «порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда... тогда, нарушая свой догмат: “делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула” — он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, “предметы роскоши”, как “розовый идол, персидский фазан”, как “арфы, сирены, соловьи, прибор”. Больше того: он вводил патетические сравнения: “как голос из-за океана”, вводил де-

кламационные, риторические интонации. И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, как будто заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все же книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) — «Единство» (*Чиннов Игорь*. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 139–140).

«Нет, только тот, кто знал» — романс П.И. Чайковского на слова Л.А. Мея (перевод стихотворения «Песнь арфиста» из романа И.В. Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера», Кн. 4. Гл. 11).

«Наперекор бессмысленным законам...». ЦП-4. С. 10. С разночтениями — 2 строка: «Наперекор бессмысленной судьбе», 6 строка: «Оно опутает их всех, как нить», 8 строка: «Воскреснет в нем и будет снова жить», 10 строка: «Простую жалость, о звезда моя». Перепечатывалось: НЗ. С. 30; Е. С. 29; Лепта. 1991. № 2. С. 155; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 99; Ковчег. С. 35; Алтарь. 1994. С. 133.

В рецензии на четвертый альманах «Цеха поэтов» Нина Берберова писала: «Отличительная черта Георгия Адамовича — его тщательность. В учебник стихосложения его стихи могли бы войти образцами. Не раз было говорено, что у Ахматовой много подражательниц среди поэтесс; гораздо тоньше, но и сильней, подражает Ахматовой Адамович. Строение стихотворений, темы и особенно интонации, которыми Ахматова так богата, поразительно точно переданы им, но часто звучат искусственно» (СЗ. 1924. № 19. С. 432. Подп.: Ивелич).

«Он милостыни просит у тебя...». Орион. Париж, 1947. С. 8. С разночтениями в 6–7 строках: «Поймешь ли ты? — блаженство униженья, / Блаженство слез, речей, ночей, Бог весть». Перепечатывалось: Е. С. 30; Ковчег. С. 36.

«Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды...». Жизнь искусства. 1922. 3 января. № 1. С. 12. С разночтением в 10 строке: «Коснуться губ твоих, безмолвно и устало». В таком виде перепечатывалось: ЦП-4. С. 11. В новом варианте печаталось: НЗ. С. 29; Е. С. 31; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8.

С. 193; Ковчег. С. 32; Алтарь. 1994. С. 133. Автограф, датированный 1922 г., в фонде Ходасевича в РГАЛИ (Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 127).

«Ночь... и к чему говорить о любви?..». Орион. Париж, 1947. С. 8–9. С разночтением в последней строке: «Жизнь или смерть — все равно одному». Перепечатывалось: На Западе. С. 98; Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 9. Е. С. 32; Подъем. 1988. № 11. С. 122; Ковчег. С. 36–37; Muza na wygnaniu. С. 29; Мы жили тогда. С. 339.

«В последний раз... Не может быть сомненья...». Орион. Париж, 1947. С. 9. С разночтениями — 1 строка: «В последний раз... О, сердце, нет сомненья...», 6 строка: «Небо синело всюю синевой». Перепечатывалось: Лепта. 1991. № 2. С. 156; Ковчег. С. 37.

«Ночью он плакал. О чем, все равно...». НЖ. 1967. № 86. С. 22. Без посвящения. Перепечатывалось: Е. С. 34; Ковчег. С. 41; Мы жили тогда. С. 342.

Стихотворение посвящено давнему другу Адамовича Николаю (Науму) Георгиевичу Рейзину (1905–1979) — в начале 1930-х годов сотруднику парижского издательства «Nachette», завсегдаю русского литературного Монпарнаса, вдохновителю журнала «Числа», ставшему после войны предпринимателем, американским миллионером. После высылки из Франции Рейзини занялся нелегальным бизнесом, снискав себе славу международного авантюриста. Имеющиеся о нем сведения весьма противоречивы. Во время гражданской войны в Испании «поставлял на греческих судах оружие Франко, затем занимался торговлей опиумом и другими делами в Данциге, Харбине и других местах»; во время второй мировой войны «сотрудничал с японцами и числился в черных списках США» (Авантюрист Николай Рейзен // Русские новости. 1946. 29 ноября. № 81. С. 2). После разгрома Японии Рейзини снова проявил «сумасшедшую изворотливость»: прибыв в Грецию, он стал вести «переговоры с министром авиации относительно основания греческой авиационной компании», а затем, получив соответствующие полномочия от греческого правительства, «выехал в Соединенные Штаты в роли экономического советника» (Там же). На протяжении сороковых–пятидесятых годов вокруг колоритной фигуры Рейзини периодически вспыхивали громкие скандалы, находившие отзвук в эмигрантской прессе. См., например, ряд заметок в «Новом русском слове» под общим названием «Дело Николая Рейзини», посвященных выяснению подробностей его биографии: «Рейзини уверяет,

что он родился в Салониках, в Греции, в 1905 году. Учился в Париже и в Данциге, жил в Харбине с 1934 до 1946 года, когда он вернулся к себе на родину в Грецию. Греческое правительство Цалдариса командировало Рейзини в С. Штаты в 1946 году в качестве экономического наблюдателя. Рейзини занялся в Нью-Йорке экспортными делами и быстро разбогател. Между прочим, ему принадлежит лицензия на кинематографический новый процесс “Синерама” <...> Иммиграционный департамент утверждает, что Рейзини родился не в Греции, что он русский еврей, родом из Харбина. Настоящее его имя либо Николай, либо Борис Рейзин» (Новое русское слово. 1955. 20 сентября. № 15451. С. 1; 2 октября. № 15436. С. 2, 5). После войны Рейзини нередко помогал своим бывшим приятелям (см. об этом у В. Яновского, Ю. Терапиано и др.). 19 октября 1957 года Адамович писал Л.Д. Червинской: «Кстати, о Рейзини: я не уверен совсем, что он так богат. При миллиардерном train'e жизни, он скорей запутан и может завтра оказаться без гроша. В каждом его слове это чувствуется. М.б. и сейчас 10 т<ысяч> для него — “сумма”, хотя он и делает вид, что это пустяк. В смысле блеффа он забьет Германова» (BAR. Coll Adamovich. Vox 1). Спустя несколько лет Адамович писал Бахраху 27 декабря 1964 года: «Рейзини у меня в больнице действительно был <...> он разорен <...> Это все-таки мой настоящий друг, коих не много на свете» (BAR. Coll. Vacherac. Vox 1).

«Один сказал: “Нам этой жизни мало”...». Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2. Многократно перепечатывалось: Новый корабль. 1927. № 2. С.3; Якорь. 1936. С. 63; НЗ. С. 11; За родину (Псков [фактически Рига]). 1944. 1 апреля. № 75 (475). С. 4 (под названием «Мать»); На Западе. С. 95; Грани. 1959. № 44. С. 25; Муза диаспоры. С. 82; Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961. С. 7; ЖРП. С. 290; Е. С. 35; АППЭА. 1973. С. 147; Вне России. С. 57; Даугава. 1988. № 1. С. 111; Лепта. 1991. № 2. С. 154; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 192; Ковчег. С. 31; Muza na wugnanii. С. 29; Мы жили тогда. С. 339; Алтарь. 1994. С. 130; На чужих берегах. С. 100; Строфы века. С. 225.

П.М. Бицилли, рецензируя сборник «На Западе», подробнее всего остановился именно на этом стихотворении, трактуя его так: «Это выход не из жизни, а из того, что мы привычно отождествляем с жизнью, из “истории”, с ее неизбежными злодеяниями, насилиями ради “достижений”; это — способность понять, что кроме *этого* плана жизни, в котором “нам этой жизни мало”, есть *другой*, но все же *жизненный*, а не “метафизический”, тот, в котором пребывает *Мать* — воплощение начала Вечно-женственного, начала ничего не требующей, никакой награды не ждущей Любви. Показательно для этого стихот-

ворения, что в нем нет ни одной “цитаты”, ни одной реминисценции; а также, что оно построено, в отличие от других вещей Адамовича, для которых характерно пользование современным синтаксисом поэтического языка (“придаточные” предложения без “главных” и т.п.), в соответствии со строем обычной, повседневной речи. Это не случайно, и опять-таки эстетически осмысленно: это усугубляет впечатление освобождения от усилия, от тревоги, впечатление “выхода”, “катарсиса”, обретения того, в поисках чего металась душа» (СЗ. 1939. № 69. С. 384). Незадолго до смерти, 14 февраля 1972 года Адамович писал Ю.П. Иваску: «“Один сказал...” написано в Париже, но давно. Почему этому стишку повезло среди других моих, для меня загадка. Кстати, я люблю у себя “Светало. Сиделка вздохнула...”» (Иваск Ю. Собеседник: Памяти Георгия Викторовича Адамовича // НЖ. 1972. № 106. С. 287).

«Но смерть была смертью. А ночь над холмом...». НЖ. 1967. № 86. С. 21. Перепечатывалось: Е. С. 36; Вне России. С. 62; Ковчег. С. 40; 200 поэтов. С. 26.

«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно...». СЗ. 1929. № 40. С. 239. Под названием «Рассвет» и с разночтениями — 9 строка: «За непришедшую... И за конец разлуки!», 16 строка: «День начинается в полоске ледяной». Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 64; НЗ. С. 13–14; Е. С. 37; Ковчег. С. 25–26; Алтарь. 1994. С. 130; Мы жили тогда. С. 338.

В своей некрологической статье Игорь Чиннов привел это стихотворение целиком, заметив: «Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно — все равно. Зато это пронзительно, незабываемо» (Чиннов Игорь. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 141).

«Под ветками сирени сгнившей...». СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 66; НЗ. С. 33; ЖРП. С. 291; Е. С. 38; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Литература русского зарубежья: В 6 т. / Сост. В.В. Лавров. М.: Книга, 1990. Т. 2. С. 387; Ковчег. С. 24–25; Алтарь. 1994. С. 133. В архиве В.В. Вейдле (ныне — VAR. Coll. Weidle. Box 1) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением во второй строке: «Уйдя от лести и обид».

В некрологической статье Вейдле привел это стихотворение целиком, сокрушаясь и недоумевая: «Старики стесняются друг друга. А то я бы его спросил о последней строфе, отчего там о кощунстве говорится <...> Где кощунство? В чем самообман? И цветы, заботливая рука — разве главное не это? Спросил бы... С цветами пришел бы и спросил. Да поздно спраши-

вать» (Вейдле В. Памяти Г.В. Адамовича // РМ. 1972. 2 марта. № 2884. С. 4).

«Осенним вечером, в гостинице, вдвоем...». СЗ. 1928. № 37. С. 232. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 63–64; НЗ. С. 39; Е. С. 39; Вне России. С. 59; Лепта. 1991. № 2. С. 155; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 194; Алтарь. 1994. С. 134; Мы жили тогда. С. 340; Строфы века. С. 225.

Первые строки стихотворения — парафраз на тему стихотворения Бодлера «Туманы и дожди»: «Разве только вдвоем, под рыдана́я метели / Усыпить свою боль на случайной постели...» (Пер. В. Левика). Рецензируя выполненный Адрианом Ламбле перевод бодлеровских «Цветов зла» (Париж, 1929), Адамович писал об этом стихотворении: «Есть у Бодлера сонет “Brgumes et Pluies”. Поэт говорит в нем о своей любви к северной природе, к нескончаемым туманам и дождям. Нет для него ничего слаще этих туманов, — пожалуй, только бывает так же сладко “безлунным вечером, с кем-нибудь вдвоем, на случайной постели, усыпить свою боль”. По-французски это неожиданное заключение удивительно: в каждом из медленно падающих слов его есть огромная тяжесть, и тяжестью этой читатель действительно “подавлен”. По-русски:

Иль разве ласки те, которыми вдвоем
Мы усыпляем боль на ложе роковом.

Довольно точно. Но у Бодлера отсутствуют “ласки”. У него не “ложе”, а постель, кровать. Не “роковая”, а случайная. В переводе все стало поэтическим “общим местом”, под которым охотно подписалась бы Щепкина-Куперник” (Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1930. 27 февраля. № 3263. С. 3).

Вариант своего стихотворения Адамович прислал З.Н. Гиппиус 20 августа 1928 года в составе подборки из девяти своих стихотворений (оригинал письма вместе с автографами стихов ныне хранится в коллекции Томаса Уитни Амхерстского центра русской культуры в США — Amherst Center for Russian Culture):

Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях устало засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом...

Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною рядом?

Осенним вечером, Бог знает где, вдвоем,
В печальном запахе простых духов и дыма,
О том, что мы умрем, о том, что мы живем,
О том, как страшно все и как непоправимо.

З.Н. Гиппиус отозвалась в ответном письме: «Ну а вот “Безлунной ночью...” немножко самоподражание, и “Монмартр” был резче и проще. Тут есть, конечно, маленькая прибавочка, чуть-чуть... но она вне стихов как “стихов»» (Письмо З. Гиппиус Г. Адамовичу от 5 сентября 1928 г. // *Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippus.* München, 1972. P. 384).

Рецензируя 37 номер «Современных записок», В.В. Вейдле заметил: «Георгий Адамович в лучшем из двух своих стихотворений меланхолически перепевает дивные и страшные стихи Бодлера, из которых взяты эпитафией последние слова. То, что в “Brumes et Pluies” было рыданием, здесь обернулось вздохом; то, что было там отчаянием, здесь превратилось в не лишнюю изящества грусть» (Возрождение. 1929. 10 января. № 1318. С. 3).

В.В. Набоков в своей рецензии на этот номер «Современных записок» язвительно написал: «О двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать. Этот тонкий, подчас блестящий критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: “кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?..”» (Рувль. 1929. 30 января. № 2486. С. 2). Адамович чуть изменил одну строку, но включал это стихотворение в оба своих последующих сборника.

Е.С. Вебер-Хирьякова усмотрела в этом стихотворении отголоски Блока: «Хорошая, умная, простота во втором стихотворении, в котором для меня невольно звучат строки блоковского “Унижения”:

Там: страшный «желтый закат» за окном
Здесь:

Осенний крупный дождь стучится у окна.
Обои движутся под неподвижным взглядом...

У Блока:

Разве дом этот дом в самом деле?
Разве так суждено меж людьми?..

У Адамовича:

Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она сейчас со мною рядом?

И иной, не менее мучительный, до конца почувствованный ужас в последних словах» (*Луганов Андрей [Вебер-Хирьякова Е.С.]* Современные записки. Кн. XXXVII // За свободу! 1929. 15 января. № 12 (2645). С. 3).

А Игорь Чиннов сравнивал его со стихотворением Евгения Винокурова «Когда мы просыпались на постели» (*Чиннов И.* Смотрите стихи // НЖ. 1968. № 92. С. 136).

Александр Бахрах склонен был поставить строки этого стихотворения эпиграфом не только к поэзии Адамовича, но и ко всему его творчеству: «Ведь, в конечном счете, все, о чем писал Адамович, так сказать, “для души”, для себя, не выполняя роли присяжного критика, может быть выражено двумя его собственными строчками. Ведь во всех своих писаниях он — порой с оттенком скептицизма и не без внутренней иронии — комментировал ту же вечную тему:

О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо...

(*Бахрах А.* Памяти Адамовича (К 10-летию со дня смерти) // РМ. 1982. 28 февраля).

«Тянет сыростью от островов...». ЦП-4. С. 7. Перепечатывалось: НЗ. С. 27; Е. С. 40; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 132.

«Где ты теперь? За утесами плещет море...». ЦП-2. С. 9. С разночтениями — 4 строка: «На шестом этаже, у дрожащего телефона...», 12 строка: «Озаряемая, в лесу, века и века...». Перепечатывалось: Ч. С. 10; ЦП. Берлин, 1923. № 2–3; НЗ. С. 9–10; Е. С. 41; Алтарь. 1994. С. 130.

Рецензируя второй альманах Цеха поэтов, А. Свентицкий отметил: «Хорошо также первое стихотворение Г. Адамовича, хотя он и эклектичен в значительной дозе (тут и Эренбург, и Гумилев, и др.)» (*Свентицкий А.* Болезнь русской поэзии // Вестник литературы. 1921. № 11 (35). С. 8).

«Пора печали, юность — вечный бред...». Числа. 1930/1931. № 4. С. 5–6. Перепечатывалось: Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. С. 79; Е. С. 42; Ковчег. С. 28; Человек. 1992. № 6. С. 186; Muza na wygnaniu. С. 29; 200 поэтов. С. 26.

«Нет, ты не говори: поэзия — мечта...». ЦП-1. С. 3. С раз-
ночтением в 9 строке: «И, может, к старости, без сил, ты встре-
тишь срок». Перепечатывалось: Ч. С.27; ЦП. Берлин, 1923.
№ 1. С. 3; ЕШ. С. 150; ИР. 1931. 24 января; НЗ. С. 26; На Западе.
С. 93; Чтец-декламатор. Нью-Йорк, 1961; Е. С. 43; АППЭА.
1973. С. 145; Даугава. 1988. № 1. С. 111; Волга. 1990. № 12.
С. 129; Лепта. 1991. № 2. С. 151; Ковчег. С. 23; Человек. 1992.
№ 6. С. 187; Muza na wugnaniu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 132; На
чужих берегах. С. 102; Centifolia Russica: Упражнение в отборе.
100 стихотворений 100 русских поэтов: Antologia / Сост. и пред-
дисл. В. Маркова. СПб.: Алетейя, 1997. С. 11; Русская провинция.
1999. № 1 (29). С. 87.

Тема стихотворения навеяна строками Рильке: «Надо всю
жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и
тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками
удачными» (*Рильке Р.М.* Записки Мальте Лауридса Брюгге /
Пер. Е. Суриц. М., 1988. С. 29).

По свидетельству Ю. Иваска, Адамович рассказывал ему,
что написал эти стихи в 1919 году в Новоржеве, где работал
учителем: «Наступил Девятнадцатый год. Выпал первый снег
в Новоржеве и я долго ходил по полю, что-то бормотал и по-
лучились стихи, которые почему-то цитируются: “Нет, ты
не говори: поэзия — мечта...”» (*Иваск Ю.* Недавно: Памяти
Георгия Викторовича Адамовича // РМ. 1972. 16 марта.
№ 2886. С. 8).

Михаил Слонимский, рецензируя альманах «Дракон»,
где впервые было опубликовано это стихотворение, писал:
«В стихотворении Г. Адамовича, которым открывается сборник,
слишком слышно дыхание Пушкина» (Жизнь искусства. 1921.
9–11 марта. № 688–690. С. 2. Подп.: М. Сл.). Почти дословно
повторила эту мысль в своей рецензии на «Дракон» Ольга
Форш: «В овечьих грустью, хрустально чистых и музыкаль-
ных строках Г. Адамовича слишком ясно слышатся перепевы
из Пушкина» (*Форш О.Д.*) // Начала. Журнал исто-
рии литературы и истории общественности. 1922. № 2. С. 294).
А. Свентицкий в своем отзыве заявил: «Никто из “драконцев”
не создал тех “пяти-шести случайных строк”, о которых пишет
Адамович, таких строк, чтобы их “в полубреду потом твердил
влюбленный...”» (*Свентицкий А.* Стихотворения наших дней //
Вестник литературы. 1921. № 6–7 (30–31). С. 7–8).

«Как холодно в поле, как голо...». Ч. С. 54. Пере-
печатывалось: НЗ. С. 47; Е. С. 44; Лепта. 1991. № 2. С. 152;
Ковчег. С. 22–23. Человек. 1992. № 6. С. 186; Алтарь. 1994.
С. 136; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 89.

«Там, где-нибудь, когда-нибудь...». СЗ. 1927. № 32. С. 146. Перепечатывалось: Якорь. 1936. С. 65; НЗ. С. 60. (с посвящением З.Н. Гиппиус); На Западе. С. 95; Е. С. 45. (с посвящением З. Г.); Вне России. С. 60 (с посвящением З.Н. Гиппиус); Даугава. 1988. № 1. С. 112; Ковчег. С. 24; Muza na wygnaniu. С. 29; Алтарь. 1994. С. 137; На чужих берегах. С. 103; Строфы века. С. 226.

В стихотворении использованы рисунок и интонация стихотворения З.Н. Гиппиус «Прогулки», опубликованного годом раньше в журнале «Звено» (1926. 21 февраля. № 160. С. 3):

Вы помните?..
О, если бы опять
По жесткому щетинистому полю
Идти вдвоем, неведомо куда,
Смотреть на рожь, высокую, как вы,
О чем-то говорить, полуслучайном,
Легко и весело, чуть-чуть запретно...
И вдруг — под розовую цепью гор,
Под белой незажегшейся луною,
Увидеть моря синий полукруг,
Небесных волн сияющее пламя...

З.Н. Гиппиус в письмах к Адамовичу не раз обращала внимание на их поэтическое сходство: «А ваши стихи — самые лучшие. Не оттого ли говорю, что они мне так родственны? Нет, это à part, говорю объективно. Если б мне вздумалось кого-нибудь “в гроб сходя, благословлять” — то именно вас» (Письмо З.Н. Гиппиус Адамовичу от 31 марта 1927 г. // *Intellect and Ideas in Action. Selected Correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972. P. 345*); «Ваши стихи мне близки, некоторые даже завидны» (Письмо от 5 сентября 1928 г. Там же. С. 383).

По мнению Гиппиус, в этом стихотворении Адамовича наиболее ярко, «всего совершеннее дана эта ясность не сказанного, магия недоговоренного», вообще очень характерная для его поэзии (ПН. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3).

Игорь Чиннов также считал это стихотворение «одним из самых прекрасных» у Адамовича (*Чиннов И. Вспоминая Адамовича // НЖ. 1972. № 109. С. 145*).

Рецензент варшавского «Меча» счел это стихотворение «лучшим» в книге «На Западе»: «За тем, что скрыто в нем, за всю его значительностью, последней, по розановски “смертной”, совершенно исчезает форма — как сказано, чем достигнута эта метафизичность, потусторонность, как сказано о не-сказанном, как выходящее за пределы искусства еще остается искусством, при всей формальной бедности, внешней незамет-

ности, недоговоренности и т.д.» (*Гомолицкий Л.Н.?*) Среди новых книг // Меч. 1939. 14 мая. № 20 (257). С. 5).

Еще позже, в юбилейной статье к столетию Адамовича, именно это стихотворение приводил Андрей Вознесенский, как характерный и лучший образчик его творчества: «Адамович писал уже не словом почти, а дыханием, осязанием <...> Так акварелист порой берет темную, цветную от мытья кистей воду непонятого, смутного уже цвета, который нельзя ни разглядеть, ни повторить, и пишет ею тени — этим странным, уже не цветом, а темным перламутровым тоном. Это на жаргоне живописцев называется “писать грязью”, то есть не чистым цветом, а тенью от всех цветов. Так поэт писал уже душою, преодолев плоть стиха» (*Вознесенский А. А.Г.В.* // Литературная газета. 1994. 20 апреля. № 16. С. 6).

«**Есть, несомненно, странные слова...**». ЦП-4. С. 15. Перепечатывалось: Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2; НЗ. С. 22; Е. С. 46; Ковчег. С. 32; Алтарь. 1994. С. 132.

«**Ничего не забываю...**». НЗ. С. 58–59. Перепечатывалось: Е. С. 47; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 31; Подъем. 1992. № 2. С. 33; Человек. 1992. № 6. С. 186; Алтарь. 1994. С. 137; 200 поэтов. С. 26–27.

«*Тень несозданных созданий... звонкой тишине... на эмалевой стене...*» — из стихотворения-манифеста В.Я. Брюсова «Творчество» (1895). Ср. отзыв Адамовича о Брюсове из письма С.К. Маковскому от 17 февраля 1953 г.: «Я все читаю Брюсова, которого Вы мне дали, и давно собираюсь написать Вам о нем. Конечно, в общем это ужасно. Но ужасен выбор стихов в этой книжечке, где Брюсов представлен самой нелепой своей стороной “вождя”, “законодателя”, “мастера” и т.п. Я отыскал в здешней библиотеке другое, старое его издание и, признаюсь, обрадовался и успокоился, убедившись, что прежнее мое впечатление от него не было все же ошибочным. Есть стихи прелестные — и именно те, где он ходули свои бросает. С самого начала есть что-то свое и острое в соединении Замоскворечья со всякими утонченностями, в “москвиче в верленовом плаще”. Есть сразу голос, которого нет и не было у Бальмонта, есть музыка. “Тень несозданных созданий...” Как могли люди только хотеть над этими строками, не слыша звуков? <...> В сущности, Брюсов погиб, как поэт, оттого же, отчего погибла лягушка у Крылова. У него было небольшое настоящее дарование, и он лучше всего там, где вдруг сознает правду. Ему по его литературной attitude не полагается быть грустным и растерянным, но иногда это на него находит, он и становится самим собой <...> Остаюсь все-таки при своем старом мнении, что он

больше поэт, чем Гумилев. Даже если вся его поэзия — в развалинах, и как-то вся с треском обрушилась, есть и в этом больше “поэтической темы”, драматизма, — не знаю, как сказать правильнее — чем в гумилевских гладких и детских стихах. О Бальмонте я и не говорю...» (РГАЛИ. Ф. 2512. Оп. 1. Ед. хр. 134).

«Он говорил: “Я не люблю природы...». Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2. Перепечатывалось: НЗ. С. 54; Е. С. 48; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 137.

Тема стихотворения — весьма популярный у поэтов начала века мотив. Вяч. Иванов любил приводить фразу Оскара Уайльда: «Тернер создал лондонские туманы» (*Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Собр. соч.: В 6 т. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1987. Т. 4. С. 402*). На этом фоне не кажется столь уж новой и неожиданной теория В.В. Набокова о том, что не литература отражает жизнь, а, наоборот, жизнь подражает литературе.

«Нам *Tristia* — давно родное слово...». Е. С. 49. Перепечатывалось: Ковчег. С. 40; Человек. 1992. № 6. С. 186.

Tristia — написанные в ссылке «Скорбные элегии» (8–12 гг. н.э.) Публия Овидия Назона (43 г. до н.э.—18 г. н.э.).

Sulmo mihi patria est... — Город родной мой — Сульмон (Овидий. Скорбные элегии. Книга IV. Элегия 10. Строка 3. Перевод с лат. С. Ошерова). Сульмон — город в области пелигнов в Апеннинах (в 133 км от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия.

...я родился в Москве... Чуть брезжил день последнего, Второго... В апрельской предрассветной синеве... — Адамович родился в Москве 7 (19) апреля 1892 года, хотя с юности начал везде указывать годом своего рождения 1894 (подробнее об этом см.: Коростелев О.А. Адамович (1892–1972) // Литература русского зарубежья: 1920–1940. Вып. 2. М.: ИМЛИ — Наследие, 1999. С. 159, 184). Николай II взошел на престол в 1894 году.

...Помню коронационные колокола... — Коронация Николая II состоялась в Успенском соборе Московского Кремля 18 мая 1896 года (в день рождения императора). Адамовичу в это время шел пятый год и теоретически он мог помнить описанную во множестве мемуаров торжественную атмосферу праздника, завершившегося Ходынкой.

«Из голубого океана...». Числа. 1934. № 10. С.5. Перепечатывалось: НЗ. С. 53; На Западе. С. 97; Е. С. 50; Ковчег. С. 29; Алтарь. 1994. С. 136; 200 поэтов. С. 24.

«Приглядываясь осторожно...». Опыты. 1953. № 2. С. 7–8. С разночтением в 10 строке: «Сбиваться, возвышая тон». Перепечатывалось: Е. С. 51; Ковчег. С. 37; 200 поэтов. С. 27.

«Ни музыки, ни мысли... ничего...». НЖ. 1967. № 86. С. 22. С разночтением в 3 строке: «Тебе давно игрой постылой стало». Перепечатывалось: Е. С. 52; АППЭА. 1973. С. 148; Лепта. 1991. № 2. С. 152; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 194; Ковчег. С. 40; Человек. 1992. № 6. С. 187; Мы жили тогда. С. 341.

Рецензируя номер «Нового журнала», Ю.К. Терапиано цитировал это стихотворение и писал: «Четыре стихотворения Георгия Адамовича с полным правом стоят во главе стихотворного отдела, столько в них глубины и своеобразного ощущения волнующих и неразрешимых мировых вопросов. Мы видим сейчас какой-то новый, преображенный лик поэта. Над этими стихами действительно сияет “немеркнущий свет”» (РМ. 1967. 27 мая. № 2626. С. 6–7).

Ю.Я. Большухин определил эти стихи как «аскетически простые — до бедности, но не переступающие ее порога, богатые, однако, внутреннею углубленной жизнью души» (*Большухин Ю.* Новый журнал-86 // НРС. 1967. 21 мая. № 19795. С. 8).

ДОПОЛНЕНИЯ

«Облака» (1916)

Первый сборник стихов Адамовича «Облака» был подготовлен в самом конце 1915 г. и вышел в свет под маркой издательства «Альциона», помеченный 1916 г. Сорокастраничный сборник насчитывал 25 стихотворений и стоил 1 рубль. Стихотворения печатаются по тексту этого издания.

В 1914–1918 гг. несколько книг участников Цеха поэтов вышли в издательстве «Альциона», а не под привычной маркой «Гиперборей». С. Городецкий в статье «Поэзия как искусство» заявил, что «по недостатку организованности, по странному недомыслию авторов книжки эти попали в руки юркого предпринимателя и вышли не под маркой Цеха поэтов или “Гиперборей”, но, в конце концов, это не важно, ибо книжки объединены внутренне» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 19).

П.Н. Лукницкий записал в дневнике рассказ Ахматовой о том, как владелец «Альционы» (1910–1923) Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884–1942) «приехал в Царское Село к ней просить у нее сборник. Это было зимой 15–16 (вер-

нее, осенью 15 г.). В это время выходило третье или четвертое (кажется, третье) издание “Четок”. АА сказала ему, что всегда предпочитает издавать сама и, кроме того, у нее нет материала на сборник. (“Белая стая” еще не была готова). Во время разговора Н.С. спустился из своей находившейся во втором этаже комнаты к ней. Кожебаткин предложил взять у него “Колчан” (об издании которого Николай Степанович начал уже хлопотать). Н.С. согласился и предложил ему издать также “Горный ключ” Лозинского, “Облака” Г. Адамовича и книгу Г. Иванова (АА, кажется, назвала — “Горница”. Не помню). Кожебаткин для видимости согласился. А потом рассказывал всюду, что Гумилев подсовывает ему разных, не известных в Москве, авторов...» (*Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924–25 гг. Париж, 1991. С. 252*).

Все эти книги были выпущены «Альционой», и в архиве М.Л. Лозинского сохранилось стихотворное послание С. Городецкого от 24 декабря 1915: «Лишь кожебаткинского знака тебе простить я не могу» (Цит. по: *Тименчик Р. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7–8. Р. 26*). На части тиража «Облаков» издательский знак «Альционы» был заклеен маркой издательства «Гиперборея», что внесло некоторую путаницу в большинство библиографий, тем более что Адамович и сам впоследствии обычно упоминал «Облака» как книгу, выпущенную «Гипербореем».

Книга была хорошо встречена в печати. Н. Гумилев в очердном «Письме о русской поэзии» назвал Адамовича «поэтом неустановившимся», но тут же прозорливо добавил: «Однако везде чувствуется хорошая школа и проверенный вкус, а иногда проглядывает своеобразие мышления, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение» (Аполлон. 1916. № 1. С. 27). В. Ходасевич отметил «целый ряд влияний»: Ахматовой, Анненского, Блока, Белого, но счел нужным сказать, что «ученик г. Адамович хороший: у него есть вкус, есть желание быть самостоятельным, хотя до оригинальничания он не опускается» (Утро России. 1916. 5 марта. № 65. С. 7). Те же влияния отметили в своих рецензиях К. Липскеров (Русские ведомости. 1916. 10 августа. № 184. С. 5), И. Оксенов (Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74), и В. Еникальский (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9), причем каждый счел необходимым оговориться. В. Еникальский: «Можно составить генеалогию почти каждого образа», и вместе с тем «у него есть свое лицо». И. Оксенов: «Пока он слишком подчинен Ахматовой и Анненскому», но «у этого поэта есть своя, невыдуманная боль». В. Жирмунский отнес Адамовича к «тесной группе поэтов “Гиперборея”, “преодолевшей символизм”», и добавил, что он «может развиваться в самостоятельного и своеобразного пред-

ставителя нового направления», ибо у него есть «подлинный вкус и хорошая школа», а также «подлинное художественное дарование» (Биржевые ведомости. 1916. 14 октября. № 15861. 14 октября. С. 5). Другой рецензент выделил «Облака» из ряда современных сборников за «поэтическую искренность» и признал «книгой истинного поэта, совершенства владения стихом еще не достигнувшего» (Северные записки. 1916. № 2. С. 229–230. Подп.: Р. Д.). Дважды откликнулся на «Облака» С. Городецкий. В статье «Поэзия для себя» он написал про Адамовича, что «стихи делать и он мастер. Только не на чем мастерство свое показать ему» (Лукоморье. 1916. № 6. С. 15). А чуть позже, в статье «Поэзия как искусство», написал, что Адамович «поторопился выпустить свои “Облака”», хотя и «не чужд поэзии как искусства» (Лукоморье. 1916. № 18. С. 20).

Адамовичу важнее всего было узнать мнение Блока о стихах. Блоку стихи не понравились. Он написал на письме Адамовича от 23 января 1916 г.: «очень плохие его стихи» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20). Впоследствии Адамович в свои книги стихи из «Облаков» никогда не включал, признавшись: «за исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому» (Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 115).

Более полувека спустя после выхода книги, в годовщину со дня смерти Адамовича, А. Туроверов посвятил «Облакам» статью в «Русской мысли»: *Туроверов А. Далекое и близкое* // РМ. 1973. 15 марта. № 2938. С. 8.

«Вот так всегда, — скучаю и смотрю...». О. С. 3-4.
Перепечатывалось: Волга. 1990. № 12. С. 129.

«Скоро день. И как упрямо...». О. С. 5.

В.М. Жирмунский в своей рецензии приводил это стихотворение как доказательство того, что у Адамовича «подлинное художественное дарование <...> не похожий на Ахматову по основному душевному тону, Адамович может развиваться в самостоятельного и своеобразного представителя нового направления, если он пойдет по пути душевного и художественного углубления и не впадет в соблазн слишком легко дающейся современному поэту внешней завершенности» (Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5).

Валаам — имеется в виду Валаамский (Спасо-Преображенский) мужской монастырь на острове Валаам (Ладожское озеро). По свидетельству Ю.П. Иваска, Адамович «еще студентом ездил на Валаам. Не то что хотел постричься, а так — присматривался» (*Иваск Ю. Разговоры с Адамовичем* // НЖ. 1979. № 134. С. 97).

На траве медведь лежит... — с прирученным медведем изображается обычно св. Серафим Саровский или Сергей Радонежский.

«В зоологических садах орлы...». О. С. 6.

«Так тихо поезд подошел...». О. С. 7–8. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150; Волга. 1990. № 12. С. 128; РПСВ. С. 489.

Стихотворение наполнено образами и мотивами поэзии Анненского. Отмечая склонность Адамовича к перепевам Ахматовой и Анненского, Гумилев писал в рецензии на «Облака»: «Для одного стихотворения пришлось даже взять эпиграф из “Баллады” Иннокентия Анненского, настолько они совпадают по образам» (*Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1916. № 1. С. 27*).

Это же отмечал в своей рецензии и В.М. Жирмунский, также приводя стихотворение почти целиком и добавляя от себя: «Здесь непосредственное повествование о душевном настроении заключено только в словах: “Так грустно сердце вспоминало...”, остальное — тонко и точно переданные восприятия внешнего мира» (*Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 14 (27) октября. № 15861. С. 5*).

О «Балладе» Анненского Адамович писал в эмиграции, особо отмечая «опустошенную» строфу с георгинами:

«Мне вспоминается удивительный случай. По рассказу Гумилева я знаю, что Анненский, написав свою знаменитую “Балладу” — одно из самых пронзительных и “безнадежных” своих стихотворений, — долго над ней мучился, долго был неудовлетворен. Ему казалось, что “что-то в ней не вышло”. Он без конца перечитывал стихи, они ему не нравились.

Однажды, встретив Гумилева, Анненский прочел ему измененную “Балладу” и сказал:

– Кажется, теперь хорошо...

Гумилев с удивлением услышал, что во второй и последней строфе уничтожены рифмы. Только в этом и заключались поправки Анненского. Но именно они и дали “Балладе” ее тон. Напомню начало стихотворения:

День был ранний и молочно парный,
Скоро в путь, поклажу прикрутили...
На шоссе перед запряжкой парной
Фонари, мигая, закоптили.
Позади лишь вымершая дача...
Желтая и скользкая... С балкона
Холст повис ненужный там... но спешно
Оборвав, сломали георгины...

Вторая строфа «леденит» душу» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 14 февраля. № 159. С. 2).

«Так беспощаден вечный договор!..». Новый журнал для всех. 1915. № 8. С.4. С разночтением в 3-4 строках: «Но слезы, — слезы не туманят взор / И непорочен образ Эвридики». Перепечатывалось: О. С. 9; Посвящается Ахматовой. Tenafly, 1991. С. 63; Подъем. 1992. № 2. С. 27.

Очень характерный для Адамовича «обезнадеженный» вариант излюбленного символистского мифа об Орфее, хотя имя Орфея так и осталось произнесенным.

Ночи

I. **«Как трудно вечером дышать...».** О. С. 10–11.

II. **«Ведь только тюльпана упал цветок...».** О. С. 12.

«Не знал и не верил в Бога...». О. С. 13.

«Под глухой, подавленный гул...». О. С. 14.

«Сухую позолоту клена...». О. С. 15–16. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150.

В. Еникальский в своей рецензии на «Облака» привел это стихотворение, как доказательство того, что у Адамовича «есть свое лицо. Настоящий пафос и особенная зоркость к обыденной жизни, тоску которой он умеет передавать в своих, почти всегда неязвимых со стороны формы, стихах, — наиболее характерны для него» (Журнал журналов. 1916. № 30. С. 9).

Аяксы — в «Илиаде» два греческих героя, неразлучных друга, сражавшиеся под Троей.

«Стоцветными крутыми кораблями...». О. С. 17.

Летом («Опять брожу. Поля и травы...»). О. С. 18–19. Перепечатывалось: ЕШ. С. 150; Подъем. 1992. № 2. С. 27.

По мнению Вадима Крейда, это стихотворение Адамовича явилось поэтическим откликом на стихотворение Георгия Иванова «Я не любим никем. Пустая осень...», чему свидетельством — параллелизм строк Иванова «Я ненавижу полумглу сырую / Осенних чувств и бред гоню, как сон» и строк Адамовича «Я ненавижу тьму глухую / Томительных июльских дней». Крейд считает частыми и значимыми для творчества членов Цеха поэтов «параллелизм между стихами акмеистов, совпадения, скрытые и явные цитаты, намеки на известное стихотворе-

ние, иногда пародия или диалог с другим поэтом-акмеистом» (*Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Тераfly: Эрмитаж, 1989. С. 41–42).

Всадник со скалы поскачет — аллюзия с пушкинским «Медным всадником».

Зигфрид («Я не знаю, я все забыл...»). О. С. 20.

«Выходи, царица, из шатра...». О. С. 21–22.

«Опять, опять лишь реки дождевые...». О. С. 23. Перепечатывалось: Весенний салон поэтов. М., 1918; РПСВ. С. 490. Иннокентий Оксенов, в целом считавший «творчество Г. Адамовича вполне приемлемым», по поводу этого стихотворения патетически воскликнул в своей рецензии на «Облака»: «Но есть у него стихотворение, за которое да будет поэту стыдно» (Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 74).

Элегии

I. «Бегут, как волны, быстрые года...». Зеленый цветок. Пг., 1915. С. 11. Без названия.

II. «Когда с улыбкой собеседник...». О. С. 28.

«Вот все, что помню: мосты и камни...». Новый журнал для всех. 1915. № 6. С.3. С разночтениями — 4–6 строки: «Дожди, спокойствие и заря. / Брожу, не знаю, не верю, шатаюсь, / А мысли, — а мысли всегда одни». Перепечатывалось: РПСВ. С. 490.

«Вот жизнь, — пелена снеговая...». О. С. 30–31.

«И жизнь свою, и ветры рая...». О. С. 32–33. Перепечатывалось: Подъем. 1992. № 2. С. 27.

Последняя любовь («Вот, под окном идут солдаты...»). О. С.34. Перепечатывалось: ЕШ. С. 151.

Последний нынешний денечек... — Первая строка популярной в начале века песни, которая пелась от лица мобилизованного в солдаты.

«Мы так устали от слов и дела...». О. С. 36.

«Летят и дни, и тревоги...». О. С. 37. Перепечатывалось: Весенний салон поэтов. М., 1918.

«Но, правда, жить и помнить скучно!..». О. С.38.
Перепечатывалось: РПСВ. С. 490-491.

«берегам отчизны дальней» — парафраз заглавной строки стихотворения А.С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней...» (1830).

«Вышел я на гору высокую...». О. С. 39.

Из сборника «Чистилище» (1922)

Сборник «Чистилище. Стихи. Книга вторая» был выпущен издательством «Петрополис» в начале 1922 г. тиражом 2000 экземпляров и посвящен «Памяти Андрея Шенье» (намек на расстрелянного Гумилева и одновременно знак принадлежности к «неоклассицизму», куда Адамович себя в то время относил).

Стихотворения печатаются по тексту этого издания. На 96 страницах книги были опубликованы 47 стихотворений и поэма «Вологодский ангел». Адамович готовил сборник с 1918 года, причем название постоянно менялось. Первоначально он хотел назвать книгу «Венера» (см. афишу первого собрания общества «Арзамас» 13 мая 1918 г. в кн.: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 128–129), потом «Возвращение Орфея» (см. анонс на обложке третьего альманаха Цеха поэтов. Пг., 1922). Сохранилось недатированное письмо Адамовича владельцу «Петрополиса» Якову Ноевичу Блоху (1892–1968) об издании книги (РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 509).

В новой, преимущественно революционной, прессе книга Адамовича была встречена холодно. Марк Аверин в статье «Поэтический лимонад» заявил, что хоть в некоторых стихах и «чувствуется верная, тонкая, но цепкая хватка поэта», в целом это «только барахтанье в луже эстетства» (Новая жизнь. [Псков], 1922. № 9. С. 95). Илья Груздев счел, что «образы и темы Георгия Адамовича насквозь литературны» (Книга и революция. 1922. № 7 (19). С. 59–60).

Валерий Брюсов, в статье «Среди стихов» укоряя Гумилева, Ахматову и Сологубу за то, что они «находятся в очарованном сне и повторяют прошлое», включил в этот «синодик поэтов-окаменелостей» и Адамовича «с его “второй книгой”, где сонет посвящен, например, Воробьевым горам». Последнее обстоятельство особенно не понравилось мэтру, заставив его язвительно пробурчать: «Это, кажется, называется, акмеизм» (Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. № 2. С. 145).

Более внимательно отнесся к сборнику К.В. Мочульский. В статье «Классицизм в современной русской поэзии» он сравнивал Адамовича с Г.В. Ивановым и отмечал такой же «отчет-

ливый и простой язык <...> Но его дарование более гибко и динамично, чистый парнасизм Г. Иванова ему чужд. Фактура его нервна, угловата, порывиста, он эмоционален и даже патетичен» (Современные записки. 1922. № 11. С. 379).

С умеренным одобрением отозвался на сборник Г.А. Шенгели: «Стихи Адамовича в русле той школы, которая восстанавливает прерванную пушкинскую традицию. В этом их главное достоинство... Книга не шедевр. В ней немало промахов, слов, поставленных заставкой, не вполне чист язык... Но поэт на настоящем пути» (Г. Ш. [Шенгели Г.А.] // Эcran. 1922. № 32).

Делая обзор современной поэзии, М. Кузмин в статье «Парнасские заросли» заметил, что «из десятков книг лирическое содержание можно найти в книге Г. Адамовича “Чистилище”» (Завтра. Литературно-критический сборник. I. Берлин, 1923. С. 119). Еще одна рецензия, написанная Л.В. Горнунгом, появилась в первом номере машинописного журнала «Гермес» (М., июль 1922), выпущенном в свет в количестве 12 экз. (Сообщено Л.В. Горнунгом).

В отклике на вышедшую в то же время книгу К. Липскерова рецензент упрекал его в использовании только известных приемов, воскликнув: «Если бы хоть немножечко свежего и живого, до чего еще не додумались Адамович с Мандельштамом!» (Бик Э.П. [Бобров С.П.] // Печать и революция. 1922. № 2 (5). С. 363).

В эмиграции, по свидетельству Юрия Трубецкого, стихи «Чистилища» были хорошо известны в литературной среде: «“Сады” Георгия Иванова, “Чистилище” Адамовича, о них говорилось и тогда, и теперь, в зарубежье, много. Это ценности несомненные» (Трубецкой Ю. Литературный НЭП // НРС. 1955. 30 января. № 15618. С. 8).

«Звенели, пели. Грязное сукно...». Ч. С. 9. Перепечатывалось: ЕШ. С. 151; РПСВ. С. 491.

Нет, я не Байрон... — начало заглавной строки стихотворения Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой...» (1822).

Воробьевы горы («Звенит гармоника. Летят качели...»). Ч. С. 13. Под названием «Воробьевы горы». Перепечатывалось: ИМП. С. 7; ЕШ. С. 151; РПСВ. С. 491–492. В книге «На Западе» стихотворение публиковалось без названия. В этом виде перепечатано: Алтарь. 1994. С. 135.

«Не шей мне, мать, красный сарафан...» — измененная для соблюдения ритма строка романа Александра Егоровича Варламова (1801–1848) «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (1833) на стихи Николая Григорьевича Цыганова (1797–1831). Искажение известной строчки, втиснутой в не-

свойственный ей ритм, вызвало недоумение Брюсова: «Почему “матерь” вместо “матушка”?» (*Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. № 2. С. 145*).

«Тогда от Балтийского моря...». ЦП-2. С. 10–11. Перепечатано: Ч. С. 14–15.

«О мертвом царевиче Дмитрие...». Ч. С. 16–17. Перепечатывалось: ИМП. С. 8.

Лузитания — английский пассажирский пароход, потопленный 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой недалеко от берегов Ирландии. Погибло 1154 человека.

Марна — на реке Марне, между Парижем и Верденом, англо-французские войска под командованием генерала Ж. Жоффра 5–12 сентября 1914 г. остановили наступающие германские армии, а затем вынудили их отойти, сорвав германский стратегический план быстрого разгрома Франции.

«О, жизнь моя! Не надо суеты...». Ч. С. 18. В сборнике «На Западе» (С. 57) — с разночтением в первой строке: «О, жизнь моя, довольно суеты...». В этом же варианте перепечатано: Алтарь. 1994. С. 137; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 88.

«Когда, в предсмертной нежности слабея...». Ч. С. 19. Перепечатывалось: РПСВ. С. 493; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 87.

«По темно-голубому небу мчались...». Ч. С. 20–22. Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 96.

«За миллионы долгих лет...». ЦП-3. С. 5. С посвящением Андрею Цур-Милену и разночтением в 5 строке: «Нам голос прозвучит с кормы...». Перепечатывалось: Ч. С. 23; ЦП-2-3. Берлин, 1923.

Вагнер. I. («Падает снег, звенят телефоны...»). Тринадцать поэтов. Пг., 1917. С. 4. Без названия и с разночтением в 16 строке: «Дружок, останься со мною». Перепечатано: Ч. С. 24–25.

«Опять гитара. Иль не суждено...». Ч. С. 26. Перепечатывалось: НЗ. С. 43; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; РПСВ. С. 492; Алтарь. 1994. С. 135.

О, лошадей ретивых не гони, Ямщик... куда ж спешить?.. кого любить? — парафраз романса Я.Л. Фельдмана (1884–

1950) на слова Н.А. фон Ритттера (1846–1919) «Ямщик, не гони лошадей».

«Еще и жаворонков хор...». Ч. С. 28–29.

«На окраине райской рощи...». Ч. С. 30–32. Перепечатывалось: ЭРП. 1922. С. 183; АППЭА. 1973. С. 146.

«Тридцатые годы, и тени в Версали...». Ч. С. 33.

«Печально-желтая луна. Рассвет...». Ч. С. 34–35.

Гудруна — персонаж древнеисландских героических песен («Старшая Эдда»).

«Там вождь непобедимый и жестокий...». Тринадцать поэтов. Пг.: типография В.Ф. Киришбаума, 1917. С. 3. С посвящением В.Х. Футлину, под названием «Отступление из Польши» и с разночтениями — 1 строка: «Там страшный вождь, коварный и жестокий...», 18 строка: «А ты вскочил на легкого коня», 26 строка: «По рее, по траве, по зеленым морским берегам». В. Футлин (наст. имя Владимир Христофорович (Эдуардович) Кундзинг; 1898–?) — танцовщик кордебалета в театре Теляковского (в 1914–1916 гг.), затем артист балетной труппы Литейного театра (сообщено Р.Д. Тименчиком).

Цветаева в письме В.Ф. Булгакову от 12 августа 1925 года, говоря об Адамовиче, припомнила, что он «издал в начале революции в Петербурге “Сборник тринадцати”, там были его контрреволюционные стихи» (*Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. Письма. М.: Эллис Лак, 1995. С. 9*). В сборнике «Тринадцать поэтов» были опубликованы и стихи самой Цветаевой: «Над церковкой — голубые облака...» и «Чуть светает...».

И.А. Оксенов в рецензии на сборник писал: «В “Отступлении из Польши” Г. Адамовича явлена боль русской души, — которой, кажется, более всего к лицу элегическая скорбь об утрате... В сборнике, к несчастью, есть стихи, мимо которых нельзя пройти без чувства жалости к их автору. Это вещи Марины Цветаевой — хорошего подлинного поэта Москвы» (*Оксенов И. // Знамя труда. 1918. 8 марта*).

О, Русь, Русь, — далеко она за горой... — из «Слова о полку Игореве».

Маккензен Август (1849–1845) — германский генерал-фельдмаршал (1915), в первую мировую войну командир корпуса, затем командующий армией, а с 1915 г. — группой армий.

Росмерсгольм («Темнеют окна. Уголь почернел...»). Северные записки. 1916. № 4/5. С. 49. С разночтениями — 1 строка: «Темнеет, вот и уголь почернел», 5 строка: «Кипит неукротимый водопад», 13–16 строки: «Но в этом доме будет тишина / Такая, как над фьордами бывает, / Когда смолкает ветер, и луна / Полярные долины озаряет». Перепечатывалось: Ч. С. 38–39.

«Росмерсгольм» (1894) — пьеса Генрика Ибсена (Ibsen; 1828–1906), которую особенно часто цитировал Адамович. См., в частности, его статью к двадцатилетию со дня смерти Ибсена: *Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 16 мая. № 172. С. 2–3.*

«Холодно. Низкие кручи...». Ч. С. 39. Перепечатывалось: Числа. 1930/1931. № 4; НЗ. С. 45. Грани. 1959. № 44. С. 24; Муза диаспоры. С. 78; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 193; Ковчег. С. 22. Алтарь. 1994. С. 135; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 87.

Вагнер. П. («Туман, туман... Пастух поет устало...»). Ч. С. 40.

«Проходит жизнь. И тишина пройдет...». Ч. С. 41. В фонде Г. Шенгели (РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Ед. хр. 225) сохранился автограф этого стихотворения с разночтением в восьмой строке: «В шелку *багряном* — Гончарова».

«Гуляй по безбрежной пустыне...». Ч. С. 42.

«Качается фонарь. Белеет книга...». Ч. С. 43.

Григ Эдвард (Grieg; 1843–1907) — норвежский композитор, пианист, дирижёр, музыкальный деятель. Адамович с юности ценил его творчество и в статьях не раз восхищался, «как Григ, это бедный талант, уловил и почувствовал тон песни Сольвейг» (*Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1928. № 4. С. 188.*)

По Марсову полю («Сияла ночь. Не будем вспоминать...»). Ч. С. 44–45.

«Сияла ночь...» — Здесь напрашивается параллель со стихотворением Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали...» (1847), хотя вслед за Гумилевым и Гиппиус Адамович к поэзии Фета относился неприязненно, считая его «типичным образцом второразрядного поэта» (*Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 5 января. № 101. С. 2; см. также: Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 27 апреля.*

№ 117. С. 2). Об отношении Гумилева к Фету см.: *Тименчик Р.Д.* Заметки об акмеизме // *Russian Literature*. 1981. IX. P. 177. З.Н. Гиппиус также считала Фета «довольно бездарным человеком» (*Антон Крайний*. Современность // Числа. 1933. № 9. С. 143). Именно это стихотворение Адамович приводил в качестве доказательства дурного вкуса Цветаевой: «Меня все чаще корят Цветаевой. “Замечательный поэт, а вы упираетесь или просто не понимаете!” Недавно я — как бы в свое оправдание, в свое “понимание” — узнал, что самым любимым ее русским стихотворением было фетовское “Рояль был весь раскрыт”... Человек весь в том, что он любит, и не все ли мне равно, при таком выборе, что Цветаева была действительно очень даровита!» (*Адамович Г.* Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 47). После нескольких отзывов Адамовича о поэзии Фета Глеб Струве заметил в частном письме: «я подозреваю, что он Фета давным-давно (или вообще) не читал. Прочтет и “откроет”» (Письмо Г.П. Струве В.Ф. Маркову от 11 июня 1961 г. // *Собрание Ж. Шерона, Лос-Анджелес*).

«Я вас любил. Любовь еще, быть может...» — отсылка к стихотворению Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829).

В.Ф.

I. «О, сердце, не бейся, не пой...» Ч. С. 46. Посвящено В. Футлину (см. примеч. к стихотворению «Там вождь непобедимый и жестокий...»).

II. «Все понимаю, все - одно сиянье...» Ч. С. 47.

III. «Четвертый раз над этой жизнью...» Ч. С. 47–48.

«За стенами летят, режут моторы...». Ч. С. 49.

«Еще, еще немного краски синей...». Ч. С. 50.

1801 («— Вы знаете, — это измена!..»). Северные записки. 1916. № 4/5. С. 46. Под названием «12 марта 1801 г.» и с разночтением в 22 строке: «Как страшно лететь, как темно!». Перепечатывалось: *Строфы века*. С. 225.

«Жизнь! Что мне надо от тебя, — не знаю...». Ч. С. 53. Перепечатывалось: *ЕШ*. С. 151; *НЗ*. С. 35 (с разночтениями; в частности, 6 строка: «Тот, кто как вестник послан мне судьбой»); *Алтарь*. 1994. С. 134.

«Едва расслышу я два-три последних слова...». Ч. С. 55. Перепечатывалось: *Подъем*. 1992. № 2. С. 30.

«Еще, еще минуточку...». Ч. С. 56–57. Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 97.

«Еще, еще минуточку, Повремени, палач!» — Адамович имеет в виду обращенные к палачу Сансону последние слова перед казнью фаворитки Людовика XV графини Мари-Жанны Дюбарри (du Barry; 1743–1793), гильотинированной по требованию революционного трибунала 8 декабря 1793 г. за помощь французским эмигрантам: «Encore un moment, monsieur le bourgeaul (Еще минуточку, господин палач!)».

Чиновник пьяный молится За упокой души... — Персонаж Достоевского Лебедев молился по ночам «за упокой души великой грешницы графини Дюбарри и всех ей подобных», прочитав ее «жизнеописание в лексиконе» (Достоевский Ф.М. Идиот. Часть вторая. II). Адамовичу глубоко врезался в память этот образ и он несколько раз приводил его в статьях и письмах: «Вспомните у Достоевского нищего пьяницу, который каждую ночь молился за упокой “душеньки” рабы Божьей графини Дюбарри, прочитав где-то, как она кричала на эшафоте: “Encore un moment, monsieur le bourgeaul” — после всей своей славы, богатства и великолепия» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 2).

Песня («Ах, весна, ах прекрасное лето...»). Северные записки. 1916. № 4/5. С. 48. Под названием «Забывтая», с эпиграфом из стихотворения С. Городецкого «Весна» (1906): «Где ты, милый, лобызанный, / Где ты, ласковый такой?» и разночтением в 7 строке: «Поселяют в широкой Сибири».

«Им счастье даже не снится...». Ч. С. 60.

Болезнь («В столовой бьют часы. И пахнет камфарой...»). Северные записки. 1916. № 4/5. С. 47. С разночтениями — 2 строка: «И под глазами к утру все яснее зелень», 7-8 строки: «А разлучиться, значит, было суждено / И неизбежно было, поздно или рано». Перепечатывалось: ЕШ. С. 151.

«Как дымный парус, жизнь моя...». Ч. С. 62.

«— Поскучай, дружок, поскучай...». Ч. С. 63.

«Тихо, мирно, мы теперь живем...». Ч. С. 64.

«Девятый век у северской земли...». Аполлон. 1916. № 3. С. 46. Перепечатывалось: Ч. С. 65. Слово о полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1967. С. 406; *Слепухин Ю.* Южный Крест: Роман. Л.: Советский писатель, 1981. С. 38; Слово о

полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1990. С. 203; Простор (Алма-Ата). 1991. № 3. С. 96.

Стихотворение представляет собой парафраз на темы «Слова о полку Игореве».

«Я думал: вся земля до края...». Ч. С. 66.

«Проходил под лесами. Кирпич...». Ч. С. 67.

«Не в книге прочесть и не в песнях узнать...». Ч. С. 68. Перепечатывалось: ЭРП. 1922. С. 184.

«Нам в юности докучно постоянство...». Ч. С. 69.

«Когда, Забыв родной очаг и города...». Ч. С. 70–71.

«Устали мы. И я хочу покоя...». Ч. С. 72. Перепечатывалось: РПСВ. С. 492; Подъем. 1992. № 2. С. 29.

...*И я хочу покоя, Как Лермонтов... Зеленый дуб склонялся и шумел...* — парафраз строк стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» (1841).

«Заходит наше солнце... Где века...». Ч. С. 73. Волга. 1990. № 12. С. 128.

Вологодский ангел («Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос, ты нам помоги...»). Северные записки. 1917. № 1. С. 87–94. Со множеством незначительных разночтений.

Отзывы критики на единственную поэму Адамовича были заслуженно отрицательными. Марк Аверин в рецензии на «Чистилище» охарактеризовал ее как «раннюю, нудную, тягучую как клейстер, усыпительную вещь» (Новая жизнь [Псков]. 1922. № 9/10. С. 95). Один только К. Мочульский усмотрел в ней «стремление к широкому масштабу и простору эпоса» (*Мочульский К.* Классицизм в современной русской поэзии // СЗ. 1922. № 11. С. 374). Анализируя метрику поэмы, М.Л. Гаспаров сравнивал ее с метрикой стихотворения М. Волошина «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...» (1907) и пришел к выводу, что «скудный опыт русского галлиямба был предварительной школой русского тактовика <...> оговоримся сразу: никаких свидетельств о том, что Адамович сознательно опирался на традицию античного галлиямба, нет. Но что он держал в сознании или подсознании образец Волошина, можно не сомневаться» (*Гаспаров М.Л.* Русские стихи 1890-х–1925-го годов в комментариях. М.: Высшая школа, 1993. С. 132–134).

«Очи черные» — романс Г. Софусь на слова Евгения Павловича Гребенки (Евген Гребинка; 1812–1848).

Из сборника «На Западе» (1939)

Подготовку сборника Адамович начал еще в середине 20-х годов и намеревался выпустить его осенью 1927 года, о чем летом 1927 писал З.Н. Гиппиус. См. ее ответ 4 августа 1927: «Я жалею, что вы раньше не выпустили ваших стихов. Они своеострунны, и как-то хочется их “в особину”» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972. P. 359). В то время, однако, издание не осуществилось. В шутовском предсказании на 1930 год В.Л. Корвин-Пиотровский назвал будущую книгу «Парижское чистилище» (Предсказание m-me Тэб на 1930-ый год // Руль. 1930. 19 января. № 2781. С. 8. Без подп.).

Сборник «На Западе» был выпущен парижским издательством «Дом книги» в феврале 1939 года тиражом 200 экземпляров в серии «Русские поэты» (5-я книга серии) и включал 47 стихотворений, 9 из которых были взяты из «Чистилища» (позже 28 стихотворений вошли в «Единство», в том числе 4 из «Чистилища»). 14 стихотворений, не входивших в другие прижизненные сборники, печатаются по тексту этого издания.

Основные периодические издания эмиграции отозвались на выход сборника рецензиями, оценивая его довольно высоко. Зинаида Гиппиус в качестве своеобразной черты стихов отметила их «недосказанность» и назвала Адамовича единственным поэтом из всего «западного “полупоколения”» близким Блоку «необыкновенной правдивостью, связанным с ней чувством ответственности». «Простота в этих стихах прямо, просто (и сознательно) проста» (*Антон Крайний*. Почти без слов // Последние новости. 1939. 9 марта. № 6555. С. 3). «Простоту и удивительную цельность» подчеркнул также Вадим Андреев, заметив, что Адамович «пишет только в тех случаях, когда решительно чувствует, что не писать не может» (Русские записки. 1939. № 16. С. 199–200. Подп.: С. Осокин).

П.М. Бицилли, напротив, нашел в стихах «“философский диалог” — беседу души со сродственными душами», когда «в одном стихотворении осуществляется со-гласие двух или нескольких “голосов”» (Современные записки. 1939. № 69. С. 383–384).

Николай Вадвич назвал сборник «книгой исключительной по своей напряженности и лаконической выразительности» и заметил, что «некоторые стихотворения напоминают химические формулы — названы и дозированы элементы, реакция

должна произойти уже в сознании читателя» (Русский временник. Париж, 1939. № 3. С. 123–127).

К. Элита-Вильчковский отнесся к сборнику строже: «Как всегда в этой серии (единственный упрек, который можно ей сделать), в сборнике отсутствуют какие-либо примечания, и потому читателю непосвященному нелегко дать себе отчет в том, какой именно период творчества данные стихи представляют. Большинство из них, впрочем, уже хорошо известны. Некоторые мы читали, однако, в несколько других вариантах. Я не уверен, что все исправления удачны.

И если где-нибудь живет и дышит
Тот, кто навек назначен мне судьбой...

мне нравилось больше, чем

Тот, кто как вестник послан мне судьбой

с этим избытком мелких словечек и нагромождением т и к.

Но, конечно, дело не в этих мелочах, а в общем впечатлении. Никто не станет отрицать, что Г.В. Адамович человек тонкого вкуса и поэт опытный. Для некоторых эмигрантских авторов он даже своего рода арбитр поэтического вкуса. И эта опытность, и этот вкус в сборнике несомненны. Но, странное дело, взятые в отдельности, те же стихи производили как будто более сильное впечатление. При чтении в этой последовательности, в этом сочетании, вступая в какой-то выравненный строй, они тускнеют, бледнеют. Г.В. Адамовичу есть что сказать и говорить он умеет. Но хотелось бы больше внутренней простоты, больше непосредственности, больше “пронзительности”, выражаясь его языком. В “куртку потертую с беличьим мехом” мы верим (как в “Синюю рубашку” Штейгера, например) — но цианистый калий в конце не очень убедителен. И это не единственный случай, когда подлинный, трогающий мотив вдруг заслоняется чем-то надуманным. Слишком часто стихи как бы исходят из цитаты, из “классических” мотивов, ритмов, образов, развивая их и споря с ними. “Эмалевая стена” — грустно-ироническая дань Брюсову — тронет многих. “Ничего не забываю, ничего не предаю” — это относится не только к личному воспоминанию, но и к литературным “реминисценциям”. В сборнике пахнет старой книгой: воздух, милый всякому книжнику, но не совсем свежий» (*Элита-Вильчковский К.* Заметки о книгах // Бодрость. 1939. 12 февраля. № 213. С. 4).

Критик варшавского «Меча», берясь за рецензию на книгу Адамовича, намеревался по традиции вступить в спор, однако спора не получилось: «С невольным предубеждением, зная

“тенденцию” литературных статей критика-Адамовича, раскрываешь книжку Адамовича-поэта. Но с первых же страниц стихи заставляют забыть о всяких преубеждениях.

Стихи Адамовича в чем-то существенном дополняют стихи Георгия Иванова, сближение это приходит само собою: только в их сопоставлении приобретает равновесие “легкость”, отделяющаяся от земли музыка Г. Иванова, находя тут свой “вес”, свою земную форму. Там, где Г. Иванов проходит над звуками какими-то воздушными движениями виртуозного музыканта, у Адамовича слышен человеческий голос. Его недомолвки не продолжают звучание. Это не оборванный мотив, а недосказанная мысль, которая до невыносимого и так известна» (*Гомолицкий Л.Н.?*) Среди новых книг // Меч. 1939. 14 мая. № 20 (257). С. 5).

Позже, в письме Игорю Чиннову от 16 декабря 1965, Адамович заметил, что в сборнике «очень много дряни» (НЖ. 1989. № 175. С. 261) и в свой итоговый сборник «Единство» включил лишь 28 стихотворений из 47, составивших книгу «На Западе».

«**У дремлющей парки в руках...»**. СЗ. 1928. № 35. С. 239. Перепечатывалось: НЗ. С. 17; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Литература русского зарубежья: В 6 т. / Сост. В.В. Лавров. М.: Книга, 1990. Т. 2. С. 388; Ковчег. С. 25; Алтарь. 1994. С. 131.

«**Навеки блаженство нам Бог обещает!..»**. Звено. 1924. 9 июня. № 71. С. 2. Перепечатывалось: НЗ. С. 18; Молдова литературная (Кишинев). 1991. № 8. С. 193; Ковчег. С. 34; Алтарь. 1994. С. 131.

«**Рассвет и дождь. В саду густой туман...»**. Благонамеренный. 1926. № 1. С. 13–14. Перепечатывалось: НЗ. С. 19; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 30; Алтарь. 1994. С. 131.

«**Летит паровоз, клубится дым...»**. Благонамеренный. 1926. № 1. С. 14. Перепечатывалось: НЗ. С. 20–21; Ковчег. С. 33–34; Алтарь. 1994. С. 131.

«**За все, что в нашем горестном быту...»**. Звено. 1923. 17 сентября. № 33. С. 2. Перепечатывалось: ЦП-4. С. 14; НЗ. С. 23; Алтарь. 1994. С. 132.

«**Ложится на рассвете легкий снег...»**. Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 7. Под названием

«Посвящение» и с разночтением в 1 строке: «Уносит в реку белый снег, — увыл!..». Перепечатывалось: ЦП-4. С. 9; НЗ. С. 28; Ковчег. С. 34; Подъем. 1992. № 2. С. 31; Алтарь. 1994. С. 133.

«**Чрез миллионы лет — о, хоть в эфирных волнах!..**». ЦП-4. С. 8. Перепечатывалось: НЗ. С. 31; Литературная Россия. 1987. 10 июля. № 28. С. 19; Ковчег. С. 29–30; Алтарь. 1994. С. 133.

«**Куртку потертую с беличьим мехом...**». Петербургский сборник. Поэты и беллетристы. Пг., 1922. С. 8. Перепечатывалось: НЗ. С. 32; Ковчег. С. 33; Подъем. 1992. № 2. С. 31; Алтарь. 1994. С. 133.

Последнюю строфу этого стихотворения Георгий Иванов взял эпиграфом к своему стихотворению «Как вы когда-то разговорчивы были...», составляя свой последний сборник «Стихи 1943–1958 гг.» (Нью-Йорк, 1958). Обстоятельства этого см. в письме Адамовича Одоевцевой от 16 ноября 1957 года (Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 458).

«**Еще переменится все в этой жизни, — о, да!..**». Перезвоны (Рига). 1926. № 19. С. 589. С разночтением в 7 строке: «И где-то, за гранью почти уж раскрытых ворот». Перепечатывалось: Новый корабль. 1927. № 2. С. 3; НЗ. С. 34; Ковчег. С. 24; Для всех (Рига). 1944. № 5. 1 мая. С. 27; Алтарь. 1994. С. 134; По страницам журнала «Перезвоны» / Вступ. ст., сост. Э. Б. Мекша. Даугавпилс: Даугавпилский педагогический университет, 1994. С. 55; 200 поэтов. С. 24.

«**Если дни мои милостью Бога...**». Числа. 1930. № 1. С. 12–13. Перепечатывалось: НЗ. С. 41–42; ЖРП. С. 290; Ковчег. С. 27–28; Человек. 1992. № 6. С. 187; Алтарь. 1994. С. 135.

20 сентября 1928 года Адамович прислал З.Н. Гиппиус автограф этого стихотворения с разночтениями — 2 строка: «Могут быть на земле продлены», 5 строка: «Я оставить хочу завещанье». К строке «Брат мой, друг мой, не бойся страданья» он сделал смущенную пометку: «Il est temps de lancer Надсона <Пора пускать в ход Надсона — фр.>». Ср. хрестоматийную заглавную строку стихотворения С.Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат» (1880).

С. Нальянч, рецензируя «Числа», остался недоволен всеми стихами в номере: «Гиппиус, Адамович, Иванов, Ладинский, Оцуп, Поплавский — вот “парад-алле”, которым открывается новый “толстый” журнал эмиграции. Все это поэты, завоевав-

шие не только признание читателей и критики, но также и постоянные места в “толстых” журналах, главным образом, в “Современных записках”. Но такое монопольное положение на эмигрантском парнасе отзывается самым неблагоприятным образом на творчестве наших “избранников”. <...> Все поэты здесь слабее своих обычных сил, ниже своего нормального уровня (за исключением З. Гиппиус). Особенно слаб Г. Адамович. Просто не верится, что он, один из наиболее видных критиков зарубежья, имеющий многолетний литературный стаж, является автором детски-неумелых виршей: “От всего отрекаюсь. Ни звука. О другом не скажу я во-век. Все постыло. Все мерзость и скука. Нищ и темен душой человек. И когда бы не это сиянье, как могли б не сойти мы с ума? Брат мой, друг мой, не бойся страданья, как боялся всю жизнь его я...” Здесь все элементы творчества шестиклассника-гимназиста: и “отречение от всего”, и “все мерзость и скука”, и влияние Надсона (у Надсона красочнее: “друг мой, брат мой”...) и звонкие рифмы “ума-я” (у Надсона таких безграмотных рифм нет). Вообще, поэты “Чисел” будто щеголяют слабой техникой и неряшливой формой. Работа лучших мастеров стиха, создавших новую технику, к сожалению, не находит продолжателей в лице наших современных поэтов, которые пишут так, будто после Надсона, Апухтина и разных Кругловых, Порфириковых, Коринфских, Лихачевых, Медведевых и Фофановых не было Гумилева, Брюсова, Сологуба, Бунина. Разве не эпохой “безвременья” веет от процитированных стихов Адамовича?» (*Нальянц С. [Шовгенов С.И.] Поэты «Чисел»* [№ 1] // За свободу! 1930. 28 апреля. № 113 (3094). С. 3).

Ходасевич в своем обзоре первого номера «Чисел» посетовал на отсутствие новизны: «Нравятся мне и стихи, напечатанные теперь в “Числах”. Но, конечно, никому не придет в голову в них увидеть начало нового поэтического течения. Этих новых идей поэтических нет и у других участников “Чисел”: ни у Ладинского, нашедшего прелестный ритм для своего “Каирского сапожника”; ни у Поплавского; ни у позднего акмеиста Г. Адамовича; ни у Г. Иванова, о котором надо и сейчас повторить то же, что писал я лет восемнадцать тому назад: — изящные перепевы, преимущественно из Кузмина и акмеистов» (*Ходасевич В. Летучие листы. «Числа»* [№ 1] // Возрождение. Париж, 1930. 27 марта. № 1759. С. 3).

«На Монмартре, в сумерки, в отеле...». Новый дом. 1926.
№ 1. С. 4. С дополнительной первой строфой:

Дон-Жуан, патрон и покровитель
Всех, кто не находит забытья,

Первомученик, первоучитель
Дон-Жуан, — тебя ль не вспомню я?

Перепечатывалось: НЗ. С. 44; Алтарь. 1994. С. 135.

На соседней странице журнала было опубликовано стихотворение З.Н. Гиппиус «Ответ Дон-Жуана (Дон-Жуан, конечно, вас не судит...)». Эмигрантские критики особо отметили это в своих отзывах на первый номер «Нового дома», причем почти синхронно и в унисон: «Интересна стихотворная полемика на тему о любви между Г. Адамовичем и Гиппиус» (*Цетлин М.* «Новый дом» // Последние новости. 1926. 11 ноября. № 2059. С. 3); «Интересен стихотворный диспут между Георгием Адамовичем и Зинаидой Гиппиус на тему о Дон Жуане: он любил многих — утверждает поэт: он любил одну — утверждает поэтесса» (*Айхенвальд Ю.* Литературные заметки // Руль. 1926. 17 ноября. № 1813. С. 2–3); «Интересен стихотворный спор о Дон-Жуане Г. Адамовича и З. Гиппиус» (*Струве Глеб.* Литературные «реакционеры» (Новый дом. № 1. Париж, 1926) // Возрождение. 1926. 25 ноября. № 541. С. 3).

«Он еле слышно пальцем постучал...». Звено. 1924. 15 сентября. № 85. С. 2. С подзаголовком «Отрывок». Перепечатывалось: НЗ. С. 51; Алтарь. 1994. С. 136.

«Граф фон-дер Пален! — Руки на плечах...». Числа. 1930. № 1. С. 11. Перепечатывалось: НЗ. С. 52; Даугава. 1988. № 1. С. 112; Ковчег. С. 27; Алтарь. 1994. С. 136.

Пален Петр Алексеевич (1745–1826) — граф, генерал от кавалерии, петербургский военный губернатор. Один из организаторов дворцового переворота 1801 года.

«Невыносимы становятся сумерки...». Числа. 1930. № 1. С. 11. Перепечатывалось: НЗ. С. 55; ЖРП. С. 291; Ковчег. С. 27; Алтарь. 1994. С. 137; 200 поэтов. С. 24–25.

Стихотворения, не включавшиеся в сборники

Анне Ахматовой («По утрам свободный и верный...»). Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 39. Стихотворение из альбома Ахматовой, хранящегося в РГАЛИ, впервые опубликовано Н.А. Богомоловым. Перепечатывалось в сборнике: Посвящается Ахматовой. Терафлу, 1991. С. 62.

Балтийский ветер

I. «Был светлый и холодный день...». Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.

- II. «Тяжкий гул принесли издалека...».** Голос жизни. 1915. 18 марта. № 12. С. 12.
И опять на покинутых стенах Ярославна тоскует одна... — отсылка к «Слову о полку Игореве».
- Оставленная («Мы все томимся и скучаем...»).** Огонек. 1915. 26 апреля (9 мая). № 17. С. 12.
- «Когда Россия, улыбаясь...».** Собр. соч. Стихи. С. 235. Автограф в РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 298.
- «Железный мост откинут...».** Вечер «Триремы». Пг., 1916. С. 3.
Баязет I (1347–1403) — турецкий султан, унаследовал престол отца, Мурада I, в 1389 г.; покорил Болгарию, часть Сербии, Македонии и Фессалии, разбил 28 сентября 1396 г. венгерского короля Сигизмунда при Никополе, побежден и взят в плен Тимуром при Ангоре 20 июля 1402 г.; умер в плену.
- Белые ночи («Проспектов озаренных фонари...»).** Свирель: Третий альманах молодой поэзии. Пг.: Факел, 1917. С. 5.
- «Сердце мое пополам разрывается...».** ЦП-4. С. 12.
- «О том, что смерти нет, и что разлуки нет...».** ЦП-4. С. 13.
- «Жил когда-то в Петербурге...».** Звено. 1923. 29 октября. № 39. С. 2.
- Лубок («Есть на свете тяжелые грешники...»).** Звено. 1924. 3 марта. № 57. С. 2. Перепечатывалось: За свободу! 1924. 17 марта. № 74 (1129). С. 3; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 90.
- «О чем жалеть душе моей? Она...».** Звено. 1926. 25 апреля. № 169. С. 10. Подп.: Д. Квятковский.
- «Единственное, что люблю я — сон...».** Перезвоны. 1926. № 19. С. 589; Перепечатывалось: По страницам журнала «Перезвоны» / Вступ. ст., сост. Э. Б. Мекша. Даугавпилс: Даугавпилсский педагогический университет, 1994. С. 55.
- «Рассвет. Еще глоток вина...».** Звено. 1927. 1 августа. № 2. С. 82. Подп.: Дм. Квятковский.

«*Топить отчаянье в вине*» — измененная строка стихотворения Блока «Холодный день» (1906). У Блока: «Топя отчаянье в вине».

«*О, сердце разрывается на части...*». СЗ. 1927. № 32. С. 145.

Откликаясь на этот номер «Современных записок», Г.П. Струве написал: «Из стихов хороши стихи *Г. Адамовича* и *М. Цетлина*, особенно все три стихотворения первого: этот поэт редко дарит нас своими стихами, но зато дары его полнотенные» (*Г. С. [Струве Г.П.] «Современные записки». XXXII. Париж. 1927. Стр. 502. // Россия. 1927. 10 сентября. № 3. С. 3).*

«*Со всюю искренностью говорю...*». Собр. соч. Стихи. С. 245. Прислано Адамовичем Гиппиус 2 сентября 1928. Письмо находится в коллекции Томаса Уитни (ныне — в архиве Amherst Center for Russian Culture).

«*Нам суждено бездомничать и лгать...*». Новый корабль. 1928. № 4. С. 3.

«*“Кутырина просит...” — “Послать ее к черту” ...*». Собр. соч. Стихи. С. 247–249. Шуточное стихотворение к десятилетнему юбилею газеты «Последние новости». Автограф с пометами Адамовича сохранился в архиве А.А. Полякова (ВАР. Coll. Poliakov. Box 1). Вместо первых строф приписка рукой Адамовича: «Здесь должно быть было описание редакционной комнаты, — но я не помню его и не могу восстановить». На полях строк «...негодует Эразмус. / С “коровой”, с капустой лежат пирожки...» приписка Адамовича: «С коровой: он не говорил “с мясом”».

Кутырина Юлия Александровна (1891–1979) — литератор, мемуарист, племянница жены И.С. Шмелева, биограф Шмелева, хранительница его архива.

Седых Андрей (наст. имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1994), журналист, литератор, с 1919 г. в эмиграции, с ноября 1920 г. в Париже, парламентский корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня» (с 1926), секретарь И.А. Бунина в Стокгольме (1933), с 1942 в США, сотрудник, затем главный редактор (с 1973) газеты «Новое русское слово».

Ляля — Елена Николаевна Штром (урожд. Богданян; 1901–1962), машинистка «Последних новостей».

Калишевич Николай Викторович (1881–1941) — журналист, литературный критик, мемуарист, после революции в эмиграции в Софии, с начала 1920-х в Париже, в «Последних

новостях» с 1923 г. регулярно публиковал статьи и рецензии под псевдонимом Р. Словцов.

Ратнер Евсей Владимирович (1893 или 1895–1970) — журналист, сотрудник «Последних новостей» с 1920 г., после войны «Русских новостей».

Демидов Игорь Платонович (1873–1946) — общественно-политический деятель, журналист, депутат 4-й Государственной думы, в эмиграции сотрудник (с 1921), потом заместитель редактора (с 1924) «Последних новостей».

Абрамыч — Александр Абрамович Поляков (1879–1970), журналист, бессменный выпускающий редактор «Последних новостей».

мо-круазе — От французского *les mots croises* (перекрещивающиеся слова), одно из эмигрантских названий кроссворда (кроме него бытовали названия метерансцен и крестословицы). Попытку проследить распространение термина и самого феномена в эмиграции см. в заметке Р.М. Янгирова «Из наблюдений об опытах “ретроградного анализа” и “загадках перекрестных слов” Владимира Набокова» (Новое литературное обозрение. 1997. № 23. С. 439).

Августа Филипповна — Писательница, переводчица, журналистка Августа Филипповна Даманская (1875–1959), оказавшись в эмиграции в 1920 году, постоянно сотрудничала в «Последних новостях» вплоть до Второй мировой войны, публикуя рассказы, путевые очерки, рецензии и заметки.

Преемник Кропоткина... — Адамович называет Михаила Андреевича Осоргина (наст. фам. Ильин; 1878–1942) «преемником Кропоткина», поскольку тот именовал себя «беспартийным анархистом», будучи во всем вполне европейским джентльменом.

Алданов Марк Александрович (наст. фам.: Ландау; 1886–1957) — писатель, с апреля 1919 г. в эмиграции в Париже, соредактор журнала «Грядущая Россия» (1920), в 1922–1924 жил в Берлине, редактировал воскресное литературное приложение к газете «Дни» (1923–1924), весной 1924 г. вернулся во Францию, сотрудничал в «Последних новостях» с основания газеты, с декабря 1940 г. в США, один из основателей и соредактор «Нового журнала» (1942), с 1947 г. жил в Ницце. «Нобелевским конкурентом» Адамович назвал его, поскольку Алданов пользовался большой популярностью в США и долгое время рассматривался в эмиграции как потенциальный кандидат на Нобелевскую премию.

Владимир Андреич — Владимир Андреевич Могилевский (1879–1974), общественный деятель, журналист, в 1917–1918 г. керченский, затем севастопольский городской голова, с

1920 г. в эмиграции в Париже, главный бухгалтер, кассир, заведующий конторой «Последних новостей».

Ступницкий Арсений Федорович (1893–1951) — журналист, юрист, участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Париже, один из ближайших сотрудников редакции газеты «Последние новости», правая рука П.Н. Милюкова, после Второй мировой войны возобновил газету под названием «Русские новости» и был ее редактором в 1945–1951 гг. (однако направление газеты было уже совсем другое, просоветское).

Колька — возможно, младший брат А.Ф. Ступницкого Николай Федорович (1897–1985), инженер, в эмиграции также живший в Париже.

Сарач Борис Маркович (1879–1974) — адвокат, общественный деятель, в 1917 г. городской голова Евпатории, с 1920 г. в эмиграции в Константинополе, с 1923 г. в Париже, бухгалтер «Последних новостей», председатель кассы взаимопомощи, после войны сотрудник и казначей «Русских новостей».

Шальнев Николай Степанович (1879–?) — адвокат, журналист, в эмиграции жил в Париже, сотрудник «Последних новостей» с 1924 г.

Кавальери Лина (Cavalieri; 1874–1944) — итальянская оперная певица (сопрано), неоднократно гастролировала и подолгу жила в России.

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — поэт, прозаик, журналист, участник Первой мировой войны и Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Египте, с 1924 г. в Париже, один из организаторов Союза молодых поэтов и писателей (1925), сотрудник редакции «Последних новостей» (сидел на телефоне, отвечая на звонки), с 1944 г. член Союза русских патриотов, сотрудник редакции газеты «Советский патриот», в сентябре 1950 выслан из Франции, жил в Дрездене, в марте 1955 г. вернулся в СССР.

Кобецкий Яков Яковлевич (1883–1945) — банковский служащий, общественный деятель, журналист, с 1919 г. в эмиграции в Константинополе, затем в Париже, биржевой хроникер «Последних новостей» с основания газеты.

Волков Николай Константинович (1875–1950) — агроном, общественно-политический деятель, депутат III и IV Государственной думы, товарищ министра земледелия Временного правительства, участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции в Париже, с 1923 г. директор-распорядитель (руководитель хозяйственной частью) «Последних новостей».

Кулишер Александр Михайлович (1890–1942) — историк, правовед, журналист, преподаватель Высших Бестужевских курсов в Петрограде, с 1921 г. в эмиграции в Берлине, сотрудник Русского научного института, во второй половине 1920-х

перебрался в Париж, сотрудник «Последних новостей» с 1923 года, в годы Второй мировой войны арестован нацистами, погиб в концлагере.

Еще одно шуточное стихотворение о «Последних новостях» с упоминанием большинства тех же персонажей написал Дон-Аминадо и зачитал на юбилейном вечере 1 марта 1931 г. по случаю 10-летия прихода П.Н. Милюкова в газету: *Дон-Аминадо*. Поезд на третьем пути. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. С. 328–334 (среди прочих там фигурировал «И Адамович ядовитый, / Чей яд опаснее боа»). Подробнее о газете и ее сотрудниках см.: Юбилейный сборник газеты «Последние новости»: 1920–1930. Париж, 1930; *Александров С.А.* Газета «Последние новости». Париж (1920–1940 гг.) // Россия и современный мир. М., 1994. Вып. 2. С. 180–186; *Бирман Михаил*. В одной редакции (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 1994. Т. III. С. 147–169; *Петрова Т.Г.* «Последние новости» // Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918–1940: Периодика литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 319–329.

Стихи в альбом («Я верности тебе не обещаю...»).
Инвалид: Литературный сборник. Париж, 1934. С. 16.

«Как ни скрывай, как ни обманывай...». Вестник (Балтимор). 2004. 13 октября. № 21 (358). С. 53. Стихотворение написано в альбом Присмановой и Гингера (University of Illinois Archives (Urbana-Champaign). Ms. 15/35/56 Sophie Pregel and Vadim Rudnev Coll. Box 3. P. 25).

О послевоенных вечерах за покером на квартире Гингеров см. в письмах Адамовича Гингеру и Присмановой, а также Бахраху: Письма Георгия Адамовича / Публ. и прим. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 257–319; то же с добавлением пяти дополнительных писем в кн.: *Адамович Г.* Одиночество и свобода / Сост., пред. и прим. В. Крейд. М.: Республика, 1996. С. 392–415. Письма Г.В. Адамовича А.В. Бахраху / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // Новый журнал. 1999. № 216. С. 98–146; № 217. С. 41–82.

«Сегодня был обед у Бахраха...». Собр. соч. Стихи. С. 251. Шуточное стихотворение из архива Бахраха (BAR. Coll. Vacheras. Box 1).

Бахрах Александр Васильевич (1902–1985) — журналист, критик, мемуарист, с мая 1920 в эмиграции, жил в Париже, с 1922 г. в Берлине, секретарь берлинского Клуба писателей (1922–1923), в октябре 1923 г. вернулся в Париж, член

Союза русских писателей и журналистов, с 1939 г. доброволец французской армии, в 1940–1944 гг. жил в доме Бунина в Грассе, в 1945–1949 гг. сотрудник газеты «Русские новости», с 1953 г. сотрудник, затем руководитель русского отдела радиостанции «Свобода», после войны один из ближайших друзей Адамовича.

О станции... — В 1953 г. В.В. Вейдле пригласил Бахраха работать в русском отделе радиостанции «Свобода» (в то время она еще называлась «Освобождение»), на что тот после некоторых колебаний согласился и вскоре привлек к сотрудничеству Адамовича.

Червинских шуток... — Поэтессу Лидию Давыдовну Червинскую (1906–1988) Адамович патронировал, долго с переменным успехом пытался устроить на работу на радиостанцию «Свобода», что в конце концов удалось.

Хозяйки чистый и лучистый взгляд... — Имеется в виду жена Бахраха (с 1952) Мария Кирсти (Kirsty; урожд. Веннола; 1913–1995).

Kufsteiner Platz — По этому адресу находилась квартира Бахраха в Мюнхене во время его работы на радиостанции «Свобода».

«нет в мире лучше края» — слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума» (Явление 22).

«Остров был дальше, чем нам показалось...». Опыты. 1953. № 2. С. 6. Перепечатывалось: Ковчег. С. 37–38. 10 мая 1953 года Адамович прислал в письме Л.Д. Червинской (BAR. Coll. Adamovich. Vox 1) автограф этого стихотворения с разночтениями — 1-2 строки: «Остров-то дальше, чем нам показалось. / Осень пришла и развеяла снег», 4 строка: «Лишь очертаньем обещанных нег», 8 строка: «Воспоминание — к ниточке нить», 10 строка: «В памяти только, совсем далеко», 15 строка: «С неба снежинки... как острая жалость».

«Был вечер на пятой неделе...». Опыты. 1953. № 2. С. 6–7. Перепечатывалось: Ковчег. С. 38; Мы жили тогда. С. 344.

«Как легкие барашки-облака...». Литературный современник. Мюнхен, 1954. [№ 4]. С. 48.

Публикация стихотворения удивила И.В. Одоевцеву, общившую об этом автору. 3 августа 1955 г. Адамович отвечал ей: «Что это Вы, Мадам, пишете мне о своем удивлении по поводу моего стишка в “Лит. совр.”? Этому стишку почти столько же лет, сколько мне, и стоит ли о нем говорить? Я его послал, чтобы отделаться, а впрочем — жалею» (Эпизод сокροкапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой

и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О.А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 412–413). Однако через 15 лет вторая строфа (с заменой лишь одного слова) была целиком воспроизведена в другом столь же коротком стихотворении («Пора смириться, сэр». Чем дольше мы живем...»). Это единственный случай дословного воспроизведения целой строфы в разных стихотворениях. Чем оно обусловлено, сказать трудно, возможно, Адамович действительно в обоих случаях по просьбе редакций дал стихи в не очень существенные для него издания, «чтобы отделаться».

Из забытой тетради

«Социализм - последняя мечта...». НЖ. 1965. № 80. С. 30. Перепечатывалось: ; Русская провинция. 1999. № 1 (29). С. 90.
«Крушение русской державы...». НЖ. 1965. № 80. С. 30.

Вспоминая акмеизм («После того, как были ясными...»). Содружество. Вашингтон, 1966. С. 13. Перепечатывалось: Русское зарубежье: Сборник / Сост. В. Ганичев, Г. Белякова, Е. Володина. М.: Роман-газета, 1993. С. 119.

В старинный альбом («Милый, дальний друг, прости...»). Содружество. Вашингтон, 1966. С. 14. Перепечатывалось: Русское зарубежье: Сборник / Сост. В. Ганичев, Г. Белякова, Е. Володина. М.: Роман-газета, 1993. С. 119.

Пять восьмистиший

1. «Ночь... в первый раз сказал же кто-то - ночь...». НЖ. 1969. № 94. С. 42. Перепечатывалось: Ковчег. С. 41; Даугава. 1988. № 1. С. 114; Мы жили тогда. С. 345.

2. «Нет, в юности не все ты разгадал...». НЖ. 1969. № 94. С. 42. Перепечатывалось: Ковчег. С. 41; Даугава. 1988. № 1. С. 114; Мы жили тогда. С. 345.

«Пора, мой друг, пора...» — заглавная строка стихотворения Пушкина (1834).

3. «Окно, рассвет... Едва видны, как тени...». НЖ. 1969. № 94. С. 43. Перепечатывалось: Ковчег. С. 41; Мы жили тогда. С. 346.

4. «Что за жизнь! Никчемные затеи...». НЖ. 1969. № 94. С. 43. Перепечатывалось: Ковчег. С. 42; Мы жили тогда. С. 346.

5. «“Понять-простить”. Есть недоступность чуда...». НЖ. 1969. № 94. С. 44. Перепечатывалось: Ковчег. С. 42; Мы жили тогда. С. 347.

«Там солнца не будет... Мерцанье...». НЖ. 1969. № 96. С. 74. Перепечатывалось: Ковчег. С. 42; Человек. 1992. № 6. С. 187.

«Пора смириться, сэр». Чем дальше мы живем...». РМ. 1970. 26 февраля. № 2779. Приложение. С. II.

Пора смириться, сэр... — из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912). У Блока: сюр.

См. также прим. к стихотворению «Как легкие барашки-облака...».

На чужую тему («Так бывает: ни сна, ни забвения...»). НЖ. 1971. № 102. С. 6. Перепечатывалось: Ковчег. С. 43.

«Смерть и время царят на земле» — из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

Памяти М.Ц. («Поговорить бы хоть теперь, Марина!...»). НЖ. 1971. № 102. С. 6. Перепечатывалось: Даугава. 1988. № 1. С. 113; Сгоревшая жутко и странно Российского неба звезда... М., 1990. С. 63; Ковчег. С. 43; Мы жили тогда. С. 347; Строфы века. С. 226.

14 сентября 1976 года И.В. Одоевцева писала Г.П. Струве: «А это Вам, в виде литературоведческого подарка — Адамович написал “Поговорить бы хоть тебе, Марина!” в конце 1970 года и тогда же прочел мне. Я, со своей непреодолимой страстью к исправлению чужих и своих стихов, посоветовала ему заменить “голос соловьиный”, как у него было, “голосом лебединым”, с чем он согласился. Но вторую мою поправку: вместо “Откуда никому — путей назад” — “Откуда нет путей назад”, он отверг. Об этом он мне тогда же “для будущего” написал из Ниццы, куда уезжал на Рождество: “Соловьиный голос” принадлежит Ирине Одоевцевой, а “Откуда никому — путей назад” остается, как было» (Gleb Struve Papers. Box 111-3. Hoover Institution Archives. Stanford University. Palo Alto. USA).

Мадригал Ирине Одоевцевой («Ночами молодость мне помнится...»). НЖ. 1972. № 108. С. 158. перепечатывалось: *Одоевцева И.* На берегах Сены. Вашингтон, 1983; Звезда. 1988. № 9. С. 128; *Одоевцева И.* На берегах Сены. М., 1989. С. 127. По словам опубликовавшей стихотворение Одоевцевой, Адамович сопроводил «Мадригал...» букетом роз и комментарием: «Это, конечно, не Бог весть что, но от лучших чувств. И правда, я ночью в Ницце думал о Вас, как все у Вас случилось в прошлом и настоящем <...> обнимаю Вас, шлю всякие пожелания и очень хотел бы знать, что все у Вас хорошо. Как Несчастливцев говорит Счастливице: “Ты, да я, кто же еще?” Это во всех смыслах» (НЖ. 1972. № 108. С. 158).

ПРОЗА

Даром прозаика Адамович не обладал. Его опыты в этом жанре, несмотря на то, что он начинал свою литературную карьеру именно с них, так никогда и не вышли за рамки пробы пера. Complimentарные отзывы Ю. Терапиано и И. Одоевцевой на поздние прозаические вещи объясняются скорее старой дружбой и снисходительностью к простительным слабостям знаменитого критика. В десятых годах это была проза, ориентированная на тонкие журналы и газеты. В письме к Одоевцевой Адамович с улыбкой вспоминал «те рассказы, которые лет 40 назад мы с Жоржем сочиняли для Бонди» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О.А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 426).

Стилистически это ближе всего к прозе М.А. Кузмина и его многочисленных в то время подражателей. По определению Р.Д. Тименчика, в прозе «Кузмин стремился приблизиться к прокламировавшемуся им идеалу “вторичной”, “непретенциозной” литературы» (Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 3. М.: Большая российская энциклопедия; Фианит, 1994. С. 206). Адамович явно разделял эти устремления и одобрительно отзывался о прозе Кузмина, который, по его мнению, «ввел несомненное новшество: он додумался записывать человеческую речь не в упорядоченном и сглаженном виде, а во всей ее бесвязности. Оттого его диалоги кажутся необыкновенно живыми» (Звено. 1924. 13 октября. № 89. С. 2). Первые рассказы Адамовича, равно как и Георгия Иванова или Юрия Юркуна, напоминают именно кузминскую бытовую прозу.

Ниже публикуются все известные на сегодняшний день прозаические вещи Адамовича, включая псевдомемуарный очерк «Вечер у Анненского». Тексты заново сверены по первым (и единственным) прижизненным публикациям.

Веселые кони. Голос жизни. 1915. № 8. С. 3–8.

Свет на лестнице. Рассказ. Огонек. 1915. № 40. 4 (17) октября. С. 9–15.

gardez-vous, madame — остерегайтесь, мадам (фр.).

11 марта: Петроградский рассказ. Биржевые ведомости (вечерний выпуск). 1916. 17 (30) марта. № 15447. С. 4; 18 (31) марта. № 15449. С. 5.

Павел скончался 11-го марта... — Павел I был убит в результате государственного переворота в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.

...я читала у Мережковского... — Драма Мережковского «Павел I», открывающая его трилогию «Царство Зверя», впервые была опубликована в журнале (Русская мысль. 1908. № 2. С. 1–70) и в том же году вышла отдельным изданием: *Мережковский Д.С.* Павел I: Драма. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1908.

Вологодский ангел. Рассказ. Огонек. 1916. № 14. 3 (16) апреля. С. 2–3, 5–6.

Мария-Ангуанетта. Петроградский рассказ. Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. 29 октября (11 ноября). № 15892. С. 5; 30 октября (12 ноября). № 15894. С. 5; 31 октября (13 ноября). № 15896. С. 5; 1 ноября (14 ноября). № 15898. С. 5.

«Encore un moment monsieur le bourreau» — «Еще минуточку, господин палач» (фр.).

Равнодушная дама. Повесть. Северные записки. 1916. № 12. С. 7–38.

бриз-бизы — занавески на металлических стержнях, закрывающие нижнюю часть окна.

femme de chambre — горничная (фр.).

Oui, je l'ai tuée — Да, я убил ее (фр.).

Кайо Генриетта (Caillaux; урожд. Ренуар; 1874–1943) — жена министра финансов Франции Жозефа Кайо, 16 марта 1914 г. застрелившая главного редактора газеты «Figaro» Гастона Кальметта (Calmette; 1858–1914).

Жизель. Рассказ. Звено. 1925. 9 февраля. № 106. С. 3.

Окоченевший мальчик. Иллюстрированная Россия. 1930. 20 декабря. № 52. С. 28.

Шевалье Морис (Chevalier; 1888–1972) — французский шансонье.

Линдберг Чарлз (Lindbergh; 1902–1974) — американский летчик, совершивший первый беспосадочный полет через Атлантику в 1927 году.

«Dors, dors, mon enfant!» — «Спи, спи, мой мальчик!» (фр.).

Вечер у Анненского. Отрывок. Числа. 1930/1931. № 4. С. 214–216. Подп.: Г. А.

Исследователи уже отмечали, что «очерк Г.В. Адамовича “Вечер у Анненского” <...> ни в какой мере не является

мемуарным и относится к беллетристике» (Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые открытия. 1981. Л., 1983. С. 117). О том, как юный гимназист Адамович единственный раз в жизни видел Анненского, сидя за школьной партой, он рассказал незадолго до публикации вымышленного «отрывка» (Адамович Г. Памяти Ин. Ф. Анненского (К двадцатилетию со дня смерти) // ПН. 1929. 28 ноября. № 3172. С. 3).

Литературная мастерская. Сатирикон. 1931. № 6. С. 4.

Рамон Ортис. Числа. 1931. № 5. С. 32–43.

Отзываясь на пятую книгу «Чисел», П. Пильский отметил лишь то, что «хорошо переданы у Адамовича возбуждения азартной карточной игры в рассказе “Рамон Ортис”» (Пильский П. Новая книга «Чисел» // Сегодня. 1931. 27 июня. № 175. С. 3).

В.В. Вейдле счел, что «“Рамон Ортис” Г. Адамовича гораздо зрелее умственно и душевно, чем рассказ Газданова или роман Поплавского; вредит ему только повествовательная форма, навязанная ему извне, внутренне ненужная (это особенно ясно в конце рассказа, где совершенно не оправдано превращение рассказчика в многоопытного семидесятилетнего старика). В сущности, все самое важное, что Адамович хотел сказать, он мог бы выразить в форме тех “Комментариев”, что не раз печатались в “Числах” и всегда были написаны очень хорошо, так что движение фразы действительно сливалось в них с движением мысли, чего о “Рамоне Ортисе” с тем же правом сказать нельзя» (Дашков Н. [Вейдле В.В.] «Числа» [№ 5] // Возрождение. 1931. 2 июля. № 2221. С. 4).

С. Литовцев в своей рецензии написал: «Адамович дал четко и остро написанный рассказ “Рамон Ортис” — самоубийство игрока-аргентинца на юге Франции, — которому придает значительность неожиданный финал: горечь жизни смягчается каким-то намеком на то, что ею не все кончается» (ПН. 1931. 2 июля. № 3753. С. 3).

А.Л. Бему рассказ, напротив, не пришелся по вкусу: «Рассказ Георгия Адамовича “Рамон Ортис” показался мне внутренне неоправданным. Повествовательная часть его — на тему, много раз уже художественно обработанную, об игроке — внутренне никак не связана с той художественной моралью, которая искусственным привеском оказалась в конце рассказа. А эта «мораль», как уже правильно было кем-то указано, куда больше связана с “Комментариями” Г. Адамовича, печатающимися на страницах “Чисел”, чем с повествованием о судьбе покончившего самоубийством игрока Рамона Ортиса. Смысл

этой морали все тот же — о безжалостности мира... Но к этой теме мы еще вернемся» (*Бем А.* Письма о литературе: «Числа» // Рувль. 1931. 30 июля. № 3244).

На русском Монпарнасе рассказ пользовался известной популярностью. Анатолий Штейгер, защищая Адамовича, именно этот рассказ приводил в качестве аргумента в письме к Цветаевой: «Если вы читали его “Комментарии” в “Числах” и “Современных” записках», “Рамона Ортиса” в “Числах”, некоторые его стихи, то неужели Вы все же будете обвинять и Адамовича в ничтожестве» (*Цветаева М.* «Хотите ко мне в сыновья?» (Двадцать пять писем к Анатолию Штейгеру). М.: Дом Марины Цветаевой, 1994. С. 68).

См. также обстоятельный сравнительный анализ «Рамона Ортиса» и пародийного рассказа Набокова «Уста к устам» в диссертации Сергея Давыдова, который прослеживал «прямую связь между рассказами Адамовича и Набокова <...> целый ряд сюжетных и фабульных переключек» (*Давыдов С.* Тексты-матрешки Владимира Набокова. München: Verlag Otto Sagner, 1982. С. 37–51, 215–216).

К сожалению, до сих пор не проделано столь же обстоятельно сравнительного анализа рассказа с повестью Альбера Камю «Посторонний», что прямо-таки напрашивается и по атмосфере обоих произведений, и по умунастроению их авторов.

«*И может быть, на мой закат печальный*» — из стихотворения А.С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...», 1830).

Начало повести. Из забытой тетради. НЖ. 1966. № 85. С. 40–48.

В своем отзыве И. Одоевцева писала: «“Начало повести” Георгия Адамовича бесспорно является украшением этого номера “Нового журнала”, Все напечатанное рядом с ней — насколько оно не было хорошо — как бы блекнет. Это действительно “беззаконная комета среди рассчитанных светил”» (РМ. 1967. 4 марта. № 2590. С. 6).

«*скудеет в жилах кровь*» — из стихотворения Ф.И. Тютчева «Последняя любовь» («О, как на склоне наших лет...», 1851–1854).

...и да здравствует, по Стендалю, наполеоновский кодекс... — Кодекс Наполеона, разработанный в начале XIX в., утвержденный и опубликованный в 1803–1804 гг., стал фундаментальным законодательным актом Франции и славится четкостью формулировок и стройностью изложения. Стендаль ежедневно читал Кодекс для обострения своего «чувства языка».

«*по небу полуночи*» — из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...», 1831).

«патент на благородство» — из стихотворения А.А. Фета «На книжке стихов Ф.И. Тютчева» («Вот наш патент на благородство...», 1883).

«Чиста и сильна, как смерть» — 10 июля 1894 г. принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская (1872–1918) вписала в дневник своему жениху, будущему императору Николаю II, любимое изречение: «Всегда верная и любящая, преданная, чистая и сильная, как смерть».

...бани с пауками... — В четвертой части «Преступления и наказания» Свидригайлов говорит Раскольникову: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (*Достоевский Ф.М.* ПСС в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. С. 221).

...клеим листочкам... В романе «Братья Карамазовы» (Ч. 2. Кн. 5. III) Иван Карамазов говорит брату Алеше: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо» (*Достоевский Ф.М.* ПСС в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 269–270).

...там не будет солнца... Тремя годами позже Адамович опубликовал стихотворение «Там солнца не будет... Мерцанье...» (Новый журнал. 1969. № 96. С. 74).

...так же стоял перед собором в Шартре, с его «непогрешимыми» — по слову Пеги — стрелами... — Шарль Пеги (Réguy; 1873–1914), когда заболел его младший сын Пьер, совершил паломничество в Шартр в июне 1912 г., о чем писал своему другу Лотту 27 сентября 1912 г.: «Я теперь новый человек. Я много страдал и много молился. Ты не можешь себе представить... я совершил паломничество в Шартр... был в экстазе. Все мои мерзости разом спали с меня. Я стал другим человеком» (*Пеги Ш.* Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия. М.: Русский путь, 2006. С. 278. Вскоре Пеги написал цикл «Покров Божьей Матери», в который вошло посвящение от Босы собору в Шартре, а также пять молитв, как бы произнесенных в Шартрском соборе.

«Читатель, ты мне говоришь ~ По nive словесности нашей!» — В романе «Московский чудак» Андрей Белый приводит эти стихи как сочинение героя Задопятова (*Белый А.* Московский чудак. М.: Круг, 1926. С. 14). У Белого:

Читатель, ты мне говоришь,
Что, честные чувства лелея,
С заздравною чашей стоишь,
Ты в день моего юбилея.

Испей же, читатель, — испей
Из этой страдальческой чаши,
Свидетельствуй, шествуй и ссй
На ниве словесности нашей!

«*Qui craint la mort?*» — «Кто боится смерти?» (фр.).

«*Господи, я и не знал до чего она...*» Но вы эти строки едва ли знаете и мысленно их не докончите... — из стихотворения И.Ф. Анненского «Прерывистые строки» («Этого быть не может...», 1909): «Господи, я и не знал, до чего / Она некрасива».

«*Пошли, Господь, свою отраду ~ бредет по знойной мостовой*» — последняя строфа стихотворения Ф.И. Тютчева «Пошли, Господь, свою отраду...» (1850).

Игла на ковре. НЖ. 1970. № 100. С. 39–59.

Ю. Терапиано, рецензируя сотый номер «Нового журнала», писал, что «рассказ Георгия Адамовича “Игла на ковре” одним своим сюжетом уже является необычным в зарубежной литературе, не говоря уже о советской» (РМ. 1970. 24 декабря. № 2822. С. 8–9).

«*Что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый*» — из стихотворения И.Ф. Анненского «Пэон второй, пэон четвертый» цикла «Трилистник шуточный» (1906).

«*В блеске зимней ночи тающая...*» ~ «*Ты, снегами тихо веющая, обрати ко мне свой лик...*» — из лирической драмы А.А. Блока «Незнакомка» (1906). У Блока: «В блеске зимней ночи тающая, / Обрати ко мне твой лик. / Ты, снегами тихо веющая, / Подари мне легкий снег».

Как они назывались? Кажется, керосино-калильные... — Керосино-калильные фонари применялись в Петербурге наряду с газовыми в 1870–1910-х гг., постепенно вытесняясь электрическим освещением.

вежетьель — от фр. vegetal, растительный: жидкость для смачивания волос из подкрашенного в зеленый цвет разведенного спирта и цветочных духов.

Виленский, 4 — По этому адресу Адамович действительно жил в Петербурге в 1910–1912 гг.

Маргарите Францевне ~ я не раз у нее бывал и, сидя у ее лубокого кресла, слушал рассказы о далеком прошлом... — Адамович, вероятно, имел в виду Матильду Феликсовну Кшесинскую (1872–1971), у которой он и впрямь бывал в Париже и о которой не раз писал, см., в частности: *Адамович Г.В.* Беседа с М.Ф. Кшесинской // Русская мысль. 1971. 4 марта. № 2832. С. 7.

Чинский Чеслав Иосифович (Czyński; 1858–1932) — оккультист, парапсихолог, хиромант, предсказатель, в 1906–1913 гг. жил в Петербурге, основатель русского отделения Ордена мартинистов.

ПЕРЕВОДЫ

Переводческая деятельность Адамовича началась еще в Петербурге, он принимал участие в коллективном переводе Эредиа, над которым работала студия М.Л. Лозинского, много переводил для издательства «Всемирная литература» (часто вместе с Георгием Ивановым и Гумилевым). Продолжал заниматься переводами и в эмиграции, особенно часто в первые годы после отъезда. Самым замеченным оказался совместный их с Георгием Ивановым перевод «Анабазиса» Сен-Жон Перса (этому переводу повезло больше других — он несколько раз переиздавался, как в эмиграции, так и недавно в России).

Французский язык для Адамовича был практически родным (в семье говорили равно на русском и французском). Английский он знал гораздо хуже. Георгий Иванов, завидя умению своего бывшего друга, писал В.Ф. Маркову, что «ведь вот и тут устроился профессором в Манчестере <...> а по-английски едва-едва плетет лапти» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955-1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. В.46). Адамович и впрямь нередко испытывал затруднения, пытаясь объяснить своим студентам какие-либо высокие материи, и когда ему не хватало слов, переходил на французский. Сам Георгий Иванов, по свидетельству Одоевцевой, тоже «конечно, английского не знал, все по подстрочнику делал» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 20). У акмеистов вообще английский большим успехом не пользовался. Ни Гумилев, ни Мандельштам толком его так и не выучили, а Ахматова, взявшись как-то на склоне лет прочитать что-то по-английски сэру Исаяе Берлину, привела его в изумление своим произношением. Переводили, тем не менее, с подстрочника все, а Адамовичу в послевоенные годы случалось и публиковать статьи на английском языке.

Несмотря на приличные первоисточники, свидетельствующие об отменном вкусе, Адамовича нельзя назвать безукоризненным и даже значительным переводчиком. Хотя Одоевцева и считала, что «Адамович хорошо переводил» (*Одоевцева И.* Избранное. М.: Согласие, 1998. С. 20), лишь отдельные строчки его переводов удачны, в остальном это откровенная халтура. Да он и сам не скрывал этого. Из воспоминаний и переписки хорошо видно, что Адамович, как и большинство его приятелей, ни в России, ни в эмиграции не считали этот вид литературной деятельности имеющим самостоятельное значение. «Переводами в те голодные годы кормились решительно все поэты» (*Иванов Г.* Ответ гг. Струве и Филиппову // НЖ. 1956. № 45. С. 302). При этом «к переводам никто не относился серьезно; это халтура, легкий способ заработать деньги» (*Одоевцева И.*

На берегах Невы. Вашингтон: изд. Камкина, 1967. С. 261). Тем не менее, это тоже страница истории русской литературы.

В настоящий том вошли почти все переводы Адамовича, за исключением больших по объему коллективных работ:

Байрон. Странствования Чайльд-Гарольда. В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 327) хранится рукопись перевода с редакционной правкой Н. Гумилева.

Отрывок из песни IV опубликован в приложении к статье: *Гаспаров М.Л.* Неизвестные русские переводы байроновского «Дон-Жуана» // Великий романтик. Байрон и мировая литература / Отв. ред. С.В. Тураев. М.: Наука, 1991. С. 211–221.

Байрон. Дон-Жуан. В РГАЛИ, в фонде издательства «Академия» (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 342) хранится рукопись перевода 1–3 песен с редакционной правкой Н. Гумилева.

Анализ в сравнении с особенностями перевода Гумилева и Георгия Иванова см.: *Гаспаров М.Л.* Неизвестные русские переводы байроновского «Дон-Жуана» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1988. Т. 47. № 4. С. 359–367.

В архиве М.Л. Лозинского сохранилось обращенное к нему недатированное письмо Е.И. Замятина, в котором тот писал: «Нам заказано тома два Байрона — между прочим, “Дон Жуан”. Часть его переведена Г. Адамовичем и Н.С. Гумилевым (посвящение). Но для того, чтобы кончить всего “Дон Жуана”, Адамович хочет от 8 до 6 мес<яцев>, а мы располагаем не больше, чем 1–1½ мес<яца>. Адамович предлагает еще проект: сдать перевод тресту из Адамовича, Г. Иванова, Оцуа и Рождественского. Тогда, кончит, м<ожет> б<ыть>, к сроку; но есть опасность пестроты, и потом — другим членам треста я не так доверяю, как его главе.

Перевод Гумилева (посвящение) — точен, но неуклюж.

Есть перевод Козлова; я сравнивал этот пере<вод> с текстом и пере<водом> Адамовича. Адамович, по-моему, лучше.

Не откажите в любезности быть судьей и дать свое заключение о пере<воде> Козлова: нельзя ли все-таки взять его, б<ыть> м<ожет>, проредактировав. И затем — можно ли на Оцуа, Иванова, Рожд<ественского> — так же положиться, как на Адамовича» (Частное собрание. СПб.).

Вольтер. Орлеанская девственница. Поэма в двадцати одной песни / Пер. Г. Адамовича, Н. Гумилева, Г. Иванова под ред. М. Лозинского. Вступ. ст. С. Мокульского. В 2 т. М.; Л.: Всемирная литература, Госиздат, 1924. Перепечатывалось: *Вольтер. Орлеанская девственница: Поэма в двадцати одной песни* / Под общ. ред. А.М. Эфроса. Перевод под ред. М. Лозинского. Вступ. ст. С. Мокульского. Комментарии Л.Н. Галицкого и Д.Е. Михальчи. М.: Academia, 1935; *Вольтер. Орлеанская девственница.* Магомет. Философские повести.

М: Художественная литература, 1971; *Вольтер*. Философские повести. Орлеанская девственница / Сост. С. Канарейкина; Послесл. Н. Жирмунской. Л.: Художественная литература, 1988. С. 219–425; *Вольтер*. Орлеанская девственница. Поэма в двадцати одной песни. СПб.: Вита Нова, 2003.

Адамович перевел две песни из первого тома и четыре песни из второго тома, а также варианты (совместно с М.Л. Лозинским).

Георгий Иванов в одной из статей вспоминал: «Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца трудился, как каторжник, над переводом “Орлеанской девственницы” Вольтера. В день я переводил до полутора ста строк добротным пятистопным ямбом, избегая неполных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, начатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной — переведены им. При большевиках, по заказу Горького, за “Орлеанскую девственницу” взялся Гумилев. После смерти Гумилева работа перешла ко мне. Целый клад: двадцать одна песня, четыреста строк убористой печати, не считая вариантов. Горьковская «Всемирная литература» оплачивала (и довольно щедро) рукопись по представлению, не стесняясь размерами: пять строк, так пять, — десять тысяч, так десять тысяч. <...> На гонорар за “Девственницу” я решил уехать за границу» (*Иванов Г. Качка: Отъезд из России // Сегодня. 1932. 4 декабря. № 336. С. 4*).

В 1954 г. В.Ф. Марков написал в своих заметках, путая переводчиков: «Пушкин только начал переводить (несколько строк) отвратительную вольтерову “Девственницу”, но бросил. Гумилев продолжил, и его хватило на целую песнь. Кузьмин довел до конца весь перевод. Мера внутренней поэтичности» (*Марков В. Из дневника «нового» эмигранта // Литературный современник: Альманах: Проза, стихи, критика. Мюнхен, 1954. С. 203*).

Откликаясь на это, Георгий Иванов 29 июля 1955 г. писал Р.Б. Гулю: «Довели “до конца” Адамович и я — кажется, я 12 песен, а Адамович 10. Гумилев обожал “Девственницу” — отдал он нам ее за недосугом, “оторвал от сердца”, как выразился отдавая. Гумилев принес нам ее, т. е. заказ на перевод, в качестве подарка на новоселье “моим лучшим переводчиком” и даже обиделся, когда мы недостаточно ликовали и благодарили. У меня в сгоревших в Биаррице книгах было первое издание, где ясно было сказано, кто, что и сколько перевел. Потом было еще издание. Уже без наших фамилий, просто “под редакцией М. Лозинского”. Но откуда взяли Кузьмина (да еще сь, что тоже надо знать). Кузьмин бил поклоны по всем богомольням, ненавидел всякое кощунство и “Девственницу” презирал, вероятно, не меньше Маркова» (Георгий Иванов — Ирина Одоевцева —

Роман Гуль: Тройственный союз. Переписка 1953–1958 годов / Публ., сост., коммент. А.Ю. Арьева и С. Гуаньелли. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2010. С. 222).

Завязав вскоре переписку с В.Ф. Марковым, Георгий Иванов в декабре 1955 года писал ему, что когда Гумилев «отдал мне и Адамовичу перевод “Девственницы”, он говорил: “От сердца отрываю эту душку, никогда бы не отдал, все бы сам перевел, да времени нет”. Перевод этот требовался Горьким срочно — мы и перевели его в два месяца и довольно блестяще» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. В. 7).

Перевод высоко оценил Б.В. Томашевский: «Перевод “Девственницы” запоздал на 150 лет, но в данном случае — лучше поздно, чем никогда <...> Выполнен он чрезвычайно тщательно, с попыткой соблюсти детали подлинника, напр., его рифмовку» (Русский современник. 1924. № 4. С. 266–267. Подп.: Б. Т.).

С гораздо большим скептицизмом отнесся к нему В.В. Вейдле: «Все доброкачественно в этих двух больших томах, <...> начиная с бумаги и кончая стихами перевода. <...> Переводчики, продолжившие Пушкина, являют нам странную картину. Это поэты, перелагающие стихами язык очень крупного писателя, но язык по существу прозаический. Стихи Вольтера не только не поэзия, это почти не стихи. <...> Можно сказать, в общем, что чем лучше в стихотворном отношении перевод — а он часто бывает хорош у всех трех авторов и следует очень отметить несколько пассажей, удивительно выразительно переведенных М. Лозинским, — тем дальше он от Вольтера. Исчезает как раз то, что характерно для вольтеровского письма и составляет его специфическую ценность: равномерная текучесть рассказа, стертость ритма, полная дискурсивность языка. Стиха в подлиннике все равно что нет; по-русски он, не без блеска иногда, заявляет о своем существовании. Но это тем хуже, и перевод еще труднее дочитать о конца, чем подлинник. Неизвестно, можно ли было достигнуть большего приближения к настоящему стилю “Девственницы”; неизвестно, впрочем, стоило ли вообще переводить ее» (Звено. 1925. 20 апреля. № 116. С. 4. Подп.: W).

Робин Гуд и нищий. В кн.: Баллады о Робин-Гуде / Под ред. Н. Гумилева. Предисл. М. Горького. Пб.: Всемирная литература, 1919. С. 79–95. (Всемирная литература. Вып. 8).

«Баллады о Робин Гуде» были одним из первых начинаний издательства «Всемирная литература» и вышли восьмым по счету выпуском. Переводы были выполнены в первой половине 1919 г. Помимо Адамовича, в переводе принимали участие

сам Гумилев, выступавший также в качестве редактора книги, Георгий Иванов, Адриан Пиотровский и больше всех Всеволод Рождественский, который перевел более половины текстов (7 из 12).

Томас Мур

Огнепоклонники: Поэма. Константа: Российская газета свободной творческой ассоциации. 1996. № 9–13. С. 1–6.

Перевод третьей из четырех вставных поэм, включенных Томасом Муром (1779–1852) в роман в стихах и прозе «Лалла Рук» (1812–1817), выполнен Адамовичем для издательства «Всемирная литература» в 1918–1920 годах и отредактирован Н. Гумилевым, но в то время напечатан не был. Машинопись с рукописной правкой Адамовича и Гумилева впервые опубликована Е. Витковским в 1996 году.

Жозе Мариа де Эредиа

Раб («Голодный, загнанный, в отрепьях нищеты...»). В кн.: *Эредиа Жозе Мариа де.* Трофеи. М.: Наука, 1973. С. 41. (Литературные памятники). Коллективный перевод «Трофеев» Эредиа осуществлялся семинарием под руководством М.Л. Лозинского. Членами семинария по стихотворному переводу при Литературной студии (1919–1923) были Галина Васильевна Рубцова (1898–1976), Татьяна Михайловна Владимирова, Мария Никитична Рыжкина (1898–1984), Раиса Ноевна Блох (1899–1943), Екатерина Романовна Малкина (1899–1945), Ада Ивановна Оношкович-Яцына (1896–1935) и Михаил Дмитриевич Бронников (1896–1941/1942). Помимо студийцев, в коллективном переводе принимали участие также Н. Гумилев, Г. Иванов, Г. Адамович, К. Липскеров, А. Пиотровский, О. Брошниковская, А. Курошева, В. Лейкина и Н. Сурина. Перевод в то время не увидел света, будучи «запрещен, так как уже вышел в Госиздате в переводе Глушкова» (*Оношкович-Яцына А.И.* Дневник 1919–1927 / Публ. Н.К. Телетовой // *Минувшее: Исторический альманах.* 13. М.; Спб.: Atheneum; Феникс, 1993. С. 429). Узнав об этом, Адамович писал в «Откликах»: «Из России получены в Париже “Трофеи” Эредиа в русском переводе. Мы почти не сомневались, что перевод этот принадлежит М. Лозинскому. С крайним удивлением мы прочли на обложке другое имя. Итак, существует два полных русских перевода “Трофеев”, — редкая в нашей литературе роскошь! Изданный сейчас в России перевод не может идти ни в какое сравнение с еще мало кому известным переводом М. Лозинского. Почему было дано ему предпочтение — понять трудно. Причины этого предпочтения едва ли литературного порядка. М. Лозинский перевел многие сонеты Эредиа единолично, другие — в со-

трудничестве со своими слушателями в студии петербургского “Дома искусств”. Некоторые его переводы удивительны по точности передачи текста, по звону, пышности, блеску, напоминающим блистательный оригинал. Покойный Н.С. Гумилев считал эти стихотворения лучшими образцами русской переводной литературы. Едва ли он ошибался. Во всяком случае, никогда Брюсов — крупнейший мастер перевода — не достигал подобного совершенства. Будет ли когда-нибудь издан этот “классический” перевод? На доход с издания его рассчитывать трудно. Придется, вероятно, Лозинскому подождать появления на Руси новых меценатов» (Звено. 1925. 30 ноября. № 148. С. 4. Подп.: Сизиф). Адамович не вполне точен, издание 1925 года не являлось полным переводом «Трофеев»: *Эредиа Жозе Мария де. Трофеи* / Перевод Д.И. Глушкова (Д. Олерона), предисл. Б. Л<ившица>. Л.: Госиздат, 1925. Перевод студии М.Л. Лозинского был опубликован лишь спустя полвека в серии «Литературные памятники»: *Эредиа Жозе Мария де. Трофеи*. М.: Наука, 1973.

Джозеф Коттл

Призрак: Быль («— Эй, матушка! Где переехать выгон?..»). В кн.: *Саути Роберт. Баллады* / Переводы под редакцией и с предисловием Н. Гумилева. Пб.: Государственное издательство, 1922. С. 72–75. (Всемирная литература. Вып. 50).

Стихотворение, как выяснили создатели сайта «Век перевода», принадлежит не Саути, а его издателю Джозефу Коттлу (Cottle; 1770–1853), «как оно попало в книгу Саути — неясно, но, видимо, это произошло из-за того, что книга вышла в 1922 году: редактор книги, Николай Гумилев, уже был расстрелян, а сам Адамович эмигрировал» (<http://www.vekperevoda.com/1887/adam.htm>).

Шарль Бодлер

Падаль («Припомните предмет, что видеть, дорогая...»). Звено. 1923. 9 июля. № 23. С. 2.

Жан Кокто

«Мне путешествия скучны. Я был в Мадриде...». Звено. 1924. 7 января. № 49. С. 2.

«Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица...». Звено. 1924. 28 января. № 52. С. 2.

Наполеон I

«Наследник юный мой, далекое виденье!..». Звено. 1925. 26 января. № 104. С. 3. Подп.: Г. А.

Райнер Мария Рильке

«Я тот, кто спрашивал когда-то...». Звено. 1925. 29 июня.
№ 126. С. 2. Подп.: Г. А.

Сен-Жон Перс

Анабазис. Отдельным изданием: *Сен-Жон Перс. Анабазис* / Пер. Г. Адамовича и Г. Иванова. Париж: Изд-во Поволоцкого, 1926. — 63 с.

Книга предварялась «Предисловием» Валери Ларбо и «Предисловием переводчиков», которое ниже воспроизводится целиком: «Переводя “Анабазис”, мы прежде всего стремились передать с дословной точностью французский текст. Но не всегда это было возможно. В “Анабазисе” строки и страницы прозаические перемежаются с правильными александрийскими стихами и со строками, в которых отчетливо слышится ритмическое построение. Мы старались сохранить это и в русском переводе. По Жуковскому, мы хотели быть не “рабами”, а “соперниками”. Но вводя стихи в перевод, мы иногда принуждены были жертвовать дословностью. Внимательный читатель заметит, что эти редкие и незначительные жертвы оправданы звуковой близостью к оригиналу».

После войны Николай Татищев вспоминал: «В 20-х годах тон здешней литературы задавали Поль Валери и Перс, автор “Анабазиса”, тогда же переведенного на русский язык Г. Адамовичем и Г. Ивановым» (*Татищев Н. Среди книг // Опыты. 1956. № 7. С. 72*). Прочитав это, Адамович язвительно написал Одоевцевой 17 июня 1956 г.: «Самое лучшее — скажите Жоржу! — что Татищев написал, что русская поэзия началась с нашего перевода С.-Ж.-Перса! А мы и не знали!» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О.А. Коростелева // *Минувшее: Исторический альманах. 21. СПб.: Atheneum: Феникс, 1997. С. 429*).

Через несколько лет фрагменты «Анабазиса» были републикованы в эмигрантской печати (*Мосты. 1961. № 8. С. 113–119*). 29 января 1962 г. Адамович писал Александру Бахраху по поводу переиздания собственного перевода: «Бербериха настаивала будто бы, чтобы печатали Перса полностью, а я хотел бы знать, кто этот опус прочел, и в силах был прочесть хотя бы в отрывках! Вот тема: “о жульничестве новой поэзии”» (*BAR. Coll. Vacheras. Box 1*).

В России фрагменты поэмы были напечатаны в журнале: *Иностранная литература. 1989. № 7. С. 134–136*. Полный текст перевода опубликован в книге: *Сен-Жон Перс. Избранное* / Вступ. ст. П. Мореля. М.: Русский путь, 1996. С. 22–64.

Алексис Раннит

Литания («Разлука — пролетает желтая птица...»). Новый журнал. 1965. № 81. С. 104.

Рецензируя очередную книгу «Нового журнала», Ю. Терапиано счел стихотворения Алексиса Раннита «интересными», а перевод Адамовича «мастерским» (РМ. 1966. 12 февраля. № 2425. С. 6).

Осень («Все, все перемешай...»). Новый журнал. 1965. № 81. С. 104.

«О, не ищи игры в напеве...». Новый журнал. 1971. № 102. С. 110.

Альбер Камю

Незнакомец. Отдельным изданием: *Камю А. Незнакомец* / Пер. и пред. Г. Адамовича. Paris: Editions Victor, [1966]. — 133 с.

Книга сопровождалась небольшим предисловием «От издательства», которое здесь воспроизводится целиком:

«Роман Камю “L’Étranger” переведен на русский язык поэтом и литературным критиком Георгием Викторовичем Адамовичем. В свое время Г.В. Адамович входил в группу поэтов-акмеистов, возглавлявшуюся Н.С. Гумилевым.

В двадцатых годах в издательстве Всемирной Литературы, которым заведовал Горький, Г.В. Адамович переводил на русский язык французских и английских поэтов и в частности полностью перевел поэму Байрона “Странствования Чайльд Гарольда”.

Литературный дар Георгия Викторовича Адамовича, его заслуги как поэта и критика и его блестящее знание русского и французского языков побудили издательство обратиться именно к нему с просьбой о переводе романа Камю».

Перевод выполнялся с издания: *Camus A. L’Étranger. Roman.* Paris: Les Éditions Gallimard, 1942.

Помимо предисловия «От издательства» книга включала также «Предисловие» Адамовича, которое также уместно будет привести здесь целиком:

«До появления небольшого романа “L’Étranger” имя Альбера Камю не было почти никому известно.

Роман этот, — название которого я передаю словом “Незнакомец”, объясняя дальше причины, побудившие меня предложить перевод несколько вольный, — вышел в свет в 1942 году и не только поставил Камю в ряд крупнейших современных французских писателей, но и дал ему в этом ряду свое, особое место. Определить, охарактеризовать в нескольких словах это место было бы не легко. “Властитель дум”? Нет, не совсем то, и, пожалуй, эту пушкинскую формулу правильнее было бы

отнести к тому писателю, с которым Камю постоянно сопоставляли, в особенности до их резкого идейного расхождения: к Жан-Полю Сартру. Камю принес в литературу не столько новые мысли, сколько новый тон, забытое, исчезнувшее из литературного обихода доверие к каждому своему утверждению, к каждой написанной фразе. Это несомненно самая существенная черта его творческого облика: нельзя было не почувствовать, что в противоположность большинству своих собратьев, автор «Незнакомца» пишет не для того, чтобы блеснуть, обратиться на себя внимание, удивить, заинтриговать, очаровать, а для того, чтобы, оставаясь художником, по мере сил помочь себе и другим разобраться в жизни, вникнуть в ее противоречия, устранить те из них, которые возникли по общей нашей вине. Время было тогда тяжелое, темное, война еще не достигла своего перелома, смущение умов было гораздо сильнее, чем многие теперь стремятся представить это. Внезапно раздался голос, всех заставивший насторожиться, ни на какой другой не похожий: было в нем что-то, напоминавшее некоторых великих писателей прошлого, и напоминавшее тем, что в голосе этом звучали сомнения, недоумения и надежды тысяч и тысяч людей, которые сами были бы бессильны их выразить. Литературные критики могли по инерции или по профессиональной рассеянности заняться разбором «Незнакомца» на привычный для них лад, указывая, например, на достоинства или недостатки в развитии фабулы, делая те или иные стилистические замечания. Но довольно скоро стало ясно, что «Незнакомец» — не просто одна из удачных, оригинальных повестей текущего литературного сезона, а своего рода явление и даже событие: событие в том смысле, что явился в литературу человек, способный возвеличить ее значение как насущного дела, как разгадки или хотя бы отражения загадок бытия, — притом без всякого высокомерия, без всякой претензии на учительство, — как беседы с теми, кто бредет по жизни, сам не зная куда. С каждой новой книгой положение Камю упрочивалось. С каждой новой книгой он становился нужнее и дороже бесчисленным своим читателям, французским или иностранным, — пока в 1960 году, вскоре после присуждения ему Нобелевской премии, автомобильная катастрофа не оборвала его жизни. Гибель писателя в полном расцвете сил многими была воспринята как подтверждение той «абсурдности» существования, о которой Камю настойчиво говорил. Действительно, утраты более тяжелой французская литература понести не могла.

Бесспорно, духовный облик Камю обрисовался с совершенной отчетливостью не сразу, а лишь после выхода таких его книг, как «Чума» и «Падение», а отчасти и с развитием его публицистической деятельности. «Незнакомец» был, в сущности, только залогом того, что автор его призван сыграть во француз-

ской литературе роль очень большую. Но залог был верный и обещание оказалось полностью оправдано.

В старой русской критической литературе нередко ставился, в связи с какой-либо книгой, вопрос несколько наивный по форме, однако далеко не бессмысленный и напрасно осмеянный: что писатель хотел сказать? Да, художественные образы не поддаются переложению в логически ясные суждения, и естественно было бы ответить, что «писатель хотел сказать то, что сказал». Но *что* он сказал? Намерен ли он был только развлечь читателя, дать ему возможность отдохнуть за книгой от повседневных хлопот, от житейской суеты сует? Озабочен ли он был, слагая прекрасные стихи или мастерски развивая фабулу романа, мыслью о том, к чему приводит, к чему может привести встреча человека лицом к лицу с судьбами, от которых, по трагическому стиху Пушкина, «защиты нет»? В большинстве книг, навсегда удержавшихся в истории литературы, в книгах, запомнившихся людям, ответ, пусть и смутный, на такие вопросы дан. На крайность можно в них найти лишь попытку дать ответ, лишь понимание, что ответ необходим, — и книги Камю именно тем и выделяются в современной, более или менее талантливой, более или менее интересной и блестящей литературной продукции, что эта попытка, это понимание одушевляют их неизменно.

Что рассказано в “Незнакомце”? Думаю, у всякого непредубежденного читателя, после того, как он закрыл книгу, должно возникнуть чувство, что Мерсо, герой повествования, ни в чем не виновен, хотя он и убил человека тоже ни в чем не виноватого. Если Мерсо осужден, если он по установленному выражению должен “платить свой долг обществу”, значит то общество, которое такого платежа требует, организовано грубо и почти бесчеловечно, несмотря на весь свой внешний лоск. Если суд приговаривает Мерсо к смертной казни, значит в этом суде нет того милосердия, того внимания к человеку, той правды, которым полагается в нем царить. В “Незнакомце” дана лишь карикатура суда, с глупым, хотя и добродушным адвокатом, с прокурором, заранее готовым на любые ухищрения и уловки ради личного торжества в процессе, но за этой карикатурой есть в книге Камю упрек, обращенный дальше, выше, к тому, с чем наша цивилизация свыклась и с чем она мирится. Мерсо — преступник, но Мерсо и жертва: в этом смысле, т.е. в раскрытии этой очевидной, хотя и противоречивой истины, в создании типа невинного убийцы, в понимании того, как часто “от судебных защиты нет”, “Незнакомец” — книга внутренне религиозная, пусть Камю и был всякой церковности чужд. Дело ведь не в исповедании каких-либо догматов, а в ощущении безвыходной и безжалостной житейской неразберихи, от столкновения с которой никто не застрахован.

Тут надо бы сделать указание, которое для русских читателей Камю, думаю, особенно существенно. В основном, углубленном своем содержании “Незнакомец”, — как и все другие книги того же автора, — продолжает по прямой линии идейное и моральное вдохновение былой, великой, к сожалению умолкнувшей русской литературы, и не случайно в рабочем кабинете Камю, как он сам рассказал, было только два портрета: Толстого и Достоевского. Не будем, однако, поддаваться патриотической заносчивости и связанным с ней иллюзиям: западная литература в различных своих национальных разветвлениях, конечно, не менее велика, не менее глубока, чем литература наша, и оспаривать это никто из русских, не одурманенных патриотическим “квасом”, — изготовленным по прежним или новейшим рецептам, — надеюсь, не станет. Но ощущение неправоты веками устоявшегося бытового уклада, иное, более широкое, более вольное представление о справедливости, о добре, о зле, даже о преступлении, о воздаянии, все это принесла литература русская, и не только художественными ее достоинствами, а именно этим ее духом объясняется длительное волнение, возникшее в конце прошлого столетия на Западе после знакомства с ней, в частности после выхода книги Мельхиора де Вогюэ о “Русском романе”. Впечатление было похоже на толчок: не спите, прочитайте, оглянитесь вокруг, вдумайтесь в то, как все мы живем, в то, что считаем нормальным и необходимым. С тех пор, однако, впечатление ослабело, книги, его вызвавшие, стали предметом солидных, обстоятельных литературных исследований, все вошло в обычную колею, да и могло ли быть иначе? Но Камю вспомнил то, о чем другие забыли, и как бы принял к исполнению, к творческому продолжению то, что другим кажется несбыточной, пусть и прекрасной мечтой.

В “Незнакомец” есть эпизодическое лицо по имени Селест, хозяин маленького ресторана, где Мерсо, притворяющийся с ним, обычно завтракает. Во время судебного процесса Селест выступает в качестве одного из свидетелей. Председатель спрашивает его, что он думает о преступлении своего клиента. Селест этого вопроса ждал, по-видимому к нему готовился, но говорить он не привык и беспомощно повторяет одну и ту же фразу:

— По-моему, это несчастье. Все знают, что такое несчастье... Так вот, по-моему, это несчастье.

Председатель суда утомлен, он, вероятно, торопится, — как его собрат по профессии в толстовском “Воскресении”, — и не без раздражения прерывает свидетеля, давая ему понять, что сказанного достаточно.

Эпизод этот сам по себе незначителен, так же, как и роль Селеста в романе. Замечательно, однако, то, что в одном из данных им интервью, чуть ли не через двадцать лет после того,

как “Незнакомец” был написан, Камю назвал незадачливого ресторатора в числе трех созданных им лиц, которые ему “особенно дороги”. Трудно не вспомнить при этом всего, что было написано о суде, о воздаянии, о преступниках, — “несчастных”, по былому народному русскому выражению, — теми романистами, от которых Камю вправе был вести свою духовную родословную.

Но, конечно, всякий писатель — сын своей эпохи, дитя своего времени, и в силу этого Камю испытал и некоторые другие влияния, особенно в области внешней, технической. Он сам признал, что использовал повествовательные приемы новых американских романистов. Однако, по его мнению, техника эта ведет в тупик. В “Незнакомце”, особенно в первой части романа, до заключения Мерсо в тюрьму, она могла ему пригодиться потому, что героем его был человек, на первый взгляд, лишенный обычных для других людей побуждений, человек “пассивный”, ограничивающийся “ответами на задаваемые ему вопросы”. Но при более широком ее применении, при отказе от авторского вмешательства в повествование даже в тех случаях, когда повествование не представляет собой монолога, техника эта привела бы к замене живых людей автоматами. Она соответствовала бы той постепенной «механизации», которая по мнению Камю угрожает миру и жизни. Признавая достоинства и заслуги американских романистов, Камю, по собственным своим словам, “готов был бы отдать сто Хемингуэев за одного Стендаля или Бенжамена Констана”.

Мерсо, герой “Незнакомца”, — отнюдь не автомат, хотя, бесспорно, это человек странный, на что указывает и название романа. Отличается он от огромного большинства других людей главным образом тем, что не понимает условностей, на которых держится общественная и даже частная жизнь, и потому он никогда не лжет. Нельзя было бы сказать, что условностей он “не признает”: это могло бы вызвать предположение, что Мерсо с ними борется. В действительности же он о них просто забывает, и живет так, будто их в нашем быту и нет, будто забыли о них и все другие. Жизнь он страстно любит, не предъявляя к ней, однако, особых требований: море, солнце, не слишком трудная работа, не слишком сильные любовные увлечения, больше ему ничего не нужно. По-своему он счастлив, как мог бы быть счастлив первобытный человек. У него нет ни малейшего честолюбия, нет почти никаких отвлеченных интересов. При чтении начальных глав романа возникает впечатление, что Мерсо недоразвит и что умственные его способности не превышают способностей, скажем, двенадцатилетнего мальчика. Камю, вероятно, не без умысла это впечатление поддерживает, заставляя, например, своего героя в роковой для него день похорон матери твердить, что он очень любит кофе с

молоком, повторять и другие пустяки. Но автор “Незнакомца” ждет от читателя творческого сотрудничества и не хочет сразу раскрыть свой замысел. Мерсо говорит о кофе потому, что он в самом деле очень любит его и не понимает, почему такое признание может вызвать усмешку. Впрочем, не только усмешку, а и злобу, возбуждаемую на процессе его безотчетным отказом от какого бы то ни было притворства. Мерсо всегда искренен и правдив, ничуть не заботясь о производимом его словами действии. Люди обычного типа одно скрывают, другое преувеличивают, безотчетно или сознательно стараясь выставить себя в выгодном освещении, и вражда их к Мерсо возникает из-за его отличия от них. Правда, Мерсо — убийца. Но нет никакого сомнения, что убийство совершено им беспричинно, непроизвольно, и когда на суде, под сдержанный хохот публики, он говорит, что всему виной было солнце, от истины он ничуть не уклоняется. Нелепое стечение обстоятельств, нестерпимый зной, головная боль, одиночество, растерянность: не будь этого, преступления не было бы, и даже бессовестному лицемеру-прокурору не удалось бы добиться смертного приговора, если бы в качестве самого веского довода не мог он сослаться на бесчувственность Мерсо в день похорон матери. Камю когда-то резюмировал содержание “Незнакомца” такой фразой:

— В нашем обществе всякий человек, который не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни.

Конечно, как утверждение дословное, это неверно, и позднее Камю сам признал парадоксальность своей формулы, дополнив и расширив ее. Мерсо приговорен к смерти потому, что общество чувствует потребность избавиться от чуждого себе элемента. Убийство — лишь удачно подвернувшийся повод для смертного приговора, а не подлинное его основание. Прокурор это понимает, рисует нужный ему, умышленно искаженный портрет Мерсо, пугает присяжных опасностью, угрожающей устоям и основам цивилизованного, благоустроенного государства и добивается решения, которое представляет собой, если вдуматься, нечто много более ужасное, нежели то, что совершил Мерсо. Сослаться в оправдание его на “солнце” было бы во всяком случае невозможно: все в этом приговоре обдуманно, узаконено, упорядочено, вплоть до указания, что голова будет отрублена осужденному “именем французского народа”.

Главы “Незнакомца”, в которых рассказывается о пребывании Мерсо в тюрьме, до и после процесса, бросают на личность его свет более яркий, чем прежде. Мерсо согласен с тем, что сказал в суде его простодушный приятель Селест: произошло несчастье, непоправимое и необъяснимое. Он знает, что убив почти что незнакомого ему араба, погубил и самого себя, но не знает, зачем он это сделал. Старого ханжу, судебного следова-

теля, пытающегося обратить его к христианскому раскаянию, слушать ему скучно, и, оставаясь верным себе, он и тут отказывается от притворства, хотя притворство могло бы в данном случае облегчить его участь. Особенно драматична встреча Мерсо с тюремным священником в заключительной главе “Незнакомца”. Мерсо боится казни, ничуть не скрывает своего животного, неодолимого ужаса перед смертью, но загробные надежды или утешения ему непонятны и даже отталкивают его. Тяжелая, неловкая беседа кончается внезапным взрывом гнева Мерсо и лихорадочной его речью, единственной на всем протяжении романа, в которой он раскрывает свою несколько загадочную, хотя в сущности чистую, ничем еще не испорченную душу. Смысл этой речи: жизнь абсурдна, никто ни в чем невиноват, или, если угодно, все виноваты во всем. Священник исчезает. Прекрасная последняя страница романа показывает нам Мерсо человечнее, чем когда бы то ни было. Нет, в сердце его озлобление отсутствует. Нет, вопреки клеветнической болтовне прокурора, мать свою он помнит. И да будет то, что будет, раз свершиться это должно.

Идея бессмысленности, абсурда как основы существования, — идея далеко не новая, хотя нельзя отрицать, что Камю по-новому ее иллюстрировал и неразрывно связал с настроением, широко распространившимся в западной духовной культуре нашего века. В романе было уловлено и отражено то, что носилось в воздухе. Не к чему вспоминать Шекспира и макбетовское определение жизни, как “сказки рассказанной идиотом”. Не к чему нам, русским, вспоминать Лермонтова с его “пустой и глупой шуткой” или Блока с его “мировой чепухой”. Слова поневоле остаются везде те же самые, но содержание слов разнится. Разнится и отношение к содержанию слов. Камю был несколько торопливо причислен к философам и чуть ли не апологетам абсурда, хотя последняя страница “Незнакомца” довольно ясно говорила о том, что успокоиться на этом своем убеждении и принять его без поисков выхода автор не в силах. Почти одновременно с романом и как бы в теоретическое дополнение к нему, Камю выпустил очерк под названием “Миф о Сизифе”, где развивал мысли, близкие тем, которые заложены в “Незнакомце”. Казалось, философская его позиция обрисована отчетливо. Замечательно, однако, то, что в “Мифе о Сизифе” он приводит стих Софокла, утверждающий, что, несмотря на тягчайшие испытания, для человека неизбежные, “все прекрасно”, т.е. прекрасен мир, прекрасна жизнь, какими они были бы, если бы их не исказили люди, — и приведя этот стих, Камю провозглашает его священной заповедью. Не требовалось большой проницательности, чтобы понять и почувствовать, как мало имеет общего этот молодой писатель с рядовыми преуспевающими литераторами, которые ловят

модные темы на лету и со слепым увлечением их разрабатывают, не принимая за них никакой личной ответственности. Камю никогда не играл с огнем. Можно даже сказать больше: он никогда не отступал от того, что представлялось ему истинной, и эта его естественная, бесстрашная “честность с собой” в той же мере окружила его особым ореолом, как и определила его литературную судьбу.

Предисловие к одному из ранних романов Камю не может и не должно превратиться в беглый обзор всей его деятельности, с перечислением произведений, указанием дат и прочим. Но таков характер его творчества, что даже и в подобном предисловии нельзя обойтись без указания на связь первых его опытов с позднейшими писаниями. Иначе и в “Незнакомце” многое осталось бы в тени. Камю непрерывно рос. Он мог сомневаться, отступать, ошибаться, пересматривать свои взгляды, он вовсе не принадлежал к фанатикам-однодумам, но был в его творческом сознании некий образ, которому он остался неизменно верен, — и с риском быть обвиненным в пристрастии к громким словам, надо бы сказать, что этот образ: человек, человеческая личность. Если я только что упомянул об ореоле, окружавшем Камю, то именно это имея в виду.

Человек — величайшая ценность: нет утверждения более избитого, более распространенного и вместе с тем вызывающего большее безразличие. На словах все согласны: дороже, важнее человека нет в мире ничего.

На деле... но надо ли напоминать все то, что в нашем столетии произошло? Не были ли мы свидетелями чудовищных насилий над личностью, то во имя далеких, призрачных идеалов, то даже без всякого разумного оправдания? Камю с первых написанных им страниц стал на страже, принял отстаивание человека, как задание, не допускающее сделок с совестью, — и остался непоколебим. Отстаивание это на протяжении лет выразилось в разных формах, и художественных, и публицистических. Нередко оно уходило глубже, к самым корням бытия, к вопросам, которые повелось у нас называть “проклятыми”. В романе “Чума”, например, умирает в страшных мучениях ребенок, очередная жертва эпидемии. Священник успокаивает себя и других благочестивыми соображениями о первородном грехе и неисповедимых путях Провидения. Присутствующий тут же врач гневно возражает ему:

— Но ведь он-то, он во всяком случае ни в чем не виноват, и вы это знаете!

Кто, читая это, не вспомнит двух братьев, двух Карамазовых, сидящих в трактире за чайным столом, и страстные, недоуменные речи одного из них о детских “слезинках”, которые могут сделать неприемлемой финальную “мировую гармонию”? Но Иван со своим недоумением обращается к Богу. Камю Бога не

упоминает, и отношения с религией, точнее, с христианством, у него были сложные. Если европейская культура развилась под двумя скрестившимися воздействиями, афинским и иерусалимским, то душа у Камю была скорей афинская, классическая, с тягой к синему морю и солнцу, заслонившими всякие потусторонние видения. Но в своей моральной чуткости, в нравственной своей несговорчивости он был близок началам христианства, и именно в этом смысле “Незнакомец” — книга, на которой лежит, по-моему, их налет, как бы ни был несчастный Мерсо нетерпим и резок в беседах со следователем или тюремным священником.

Отстаивая человека и его право на жизнь по своему усмотрению от всяких посягательств, Камю отнюдь не был противником государственности в каких бы то ни было ее формах. Наоборот, в поздних своих писаниях он настойчиво и напряженно искал ответа на недоумение, лежащее в замысле “Незнакомца”, этой повести о юноше, который стал преступником по случайности и будет казнен по бездушию, безразличию и лицемерию окружающего его общества. Можно ли было, однако, оправдать убийство только на том основании, что произошло оно случайно? Если государство существует, если существовать оно должно, в состоянии ли оно будет когда-нибудь возвыситься до преодоления, до примирения подобных противоречий? Осуществимо ли на деле то, что в размышлении представляется необходимым? “Так что же нам делать?”, спрашивал Толстой и готов был спросить Камю. За абсурдным поступком Мерсо, за абсурдной его участью встает вопрос общий, связывающий всех людей, без каких-либо национальных или социальных различий. Написать такую книгу мог только романист морально пытливый, прирожденно встревоженный, не способный удовлетвориться обычными, пусть и самыми пышными, литературными лаврами. Камю принес в литературу то, чего в ней с каждым десятилетием становится все меньше и без чего, — как автор “Незнакомца” и опасался, — она может превратиться в пустую забаву, каким бы обманчивым глубокомыслием ни была она прикрыта.

Именно требовательная, не согласная на компромиссы совесть придает духовному облику Камю его особую значительность.

P. S. — Несколько слов о переводе “L'Étranger” на русский язык.

Роман написан от первого лица, и если мне хоть сколько-нибудь удалось передать неподражаемо-своеобразную интонацию Мерсо, я считал бы, что главное достигнуто. Трудность перевода была в том, что не только интонация, но и самый стиль рассказа иногда резко изменяются. Не будь Камю большим и взыскательным художником, можно было бы предположить,

что местами он вмешивается в монолог своего героя и пишет за него. Страница, предшествующая убийству, например, имеет крайне мало общего с большинством других глав. Простодушие уступает место сложной, несколько болезненной образности, объясняющейся, вероятно, растерянностью Мерсо. Надо было в переводе уловить единство одного с другим.

Перевести с совершенной точностью название романа на русский язык невозможно. В предисловии к американскому изданию книги Камю заметил о своем герое, что тот «чужд обществу, в котором живет, и бродит вне его, в околотках частного существования».

Сохранились и другие авторские записи на ту же тему. Например: «Я ни отсюда и ниоткуда. Мир — всего только незнакомый пейзаж, в котором сердцу нет отклика. Л'Этранжэ: кто может сказать, что это слово значит?». «Признаться, что мне чуждо все решительно».

Ближе всего был бы следовательно перевод — «Чужак». Но слова имеют не только смысловое значение, а и окраску, привкус, тон. Разговорное, несколько развязное словечко «чужак» резко расходится со строгим и печальным определением, которое Камю дает своему герою. Названия, составленные именем прилагательным, — «Чужой», «Неизвестный», «Посторонний» или другие, — представляются мне мало уместными из-за их зыбкости, незавершенности, противоречащей лаконизму Камю.

«Незнакомец» — перевод не безупречно точный, не совсем дословный. Но искажения авторского замысла в нем нет, и если Мерсо «бродит вне общества», значит обществу он именно незнаком» (*Адамович Г.* Предисловие // Камю А. Незнакомец. Paris: Editions Victor, [1966]. С. 4–12).

Ю. Терапиано в своей рецензии на это издание счел, что «перевод сделан превосходно: роман от начала до конца читается как будто он был написан по-русски, перевода, как это бывает обыкновенно, нигде не чувствуется, настолько адекватны слова с содержанием каждой фразы — случай редчайший» (*Терапиано Ю.* «Незнакомец» Альбера Камю // РМ. 1966. 18 июня. № 2479. С. 6–7). Б. Зайцев также отметил в своем литературном дневнике по поводу книги Камю: «Перевел ее Г.В. Адамович — очень хорошо» (*Зайцев Б.* Дни // РМ. 1966. 4 августа. № 2499. С. 2–3).

Несколько лет спустя Ю. Яхнина, проанализировав три перевода книги Камю — Адамовича, Н. Галь и Н. Немчиновой, — пришла к иному мнению и, попеняв Адамовичу за старомодность языка, отдала предпочтение переводу Н. Галь (*Яхнина Ю.* Три Камю // Мастерство перевода. Сб. 8. М.: Советский писатель, 1971. С. 255–286).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- 11 марта: Петроградский рассказ 261 / 606
12 марта 1801 г. – см.: 1801 г. («Вы знаете, это измена...») 1801 г. («Вы знаете, это измена...») 163 / 589
- Анабазис. *Сен-Жон Перс* 461 / 618
Анне Ахматовой («По утрам свободный и верный...») 203 / 597
«Ах, весна, ах, прекрасное лето...» (Забытая) 167 / 590
- Баллада («Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...») 70 / 562
Балтийский ветер («Был светлый и холодный день...») 204 / 597
«Бегут, как волны, быстрые года...» (Элегия. 1) 124 / 597
«Без отдыха дни и недели...» 64 / 560
«Безлунным вечером в гостинице вдвоем...». – см.: «Осенним вечером в гостинице вдвоем...»
- Белые ночи («Проспектов озаренных фонари...») 209 / 598
Болезнь («В столовой бьют часы. Как пахнет камфорой...») 169 / 590
«Был вечер на пятой неделе...» 229 / 603
«Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...» (Баллада) 70 / 562
«Был светлый и холодный день...» (Балтийский ветер) 204 / 597
- «В зоологических садах орлы...» 111 / 581
«В последний раз... Не может быть сомненья...» 89 / 568
В старинный альбом («Милый, дальний друг, простите...») 233 / 604
«В столовой бьют часы. Как пахнет камфорой...» (Болезнь) 169 / 590
- В. Ф. («О, сердце, не бейся, не ной...») 159 / 589
В. Ф. <2> («Все понимаю, все – одно сиянье...») 159 / 589
В. Ф. <3> («Четвертый раз над этой жизнью...») 160 / 589
Вагнер. 1. («Падает снег, звенят телефоны...») 143 / 586
Вагнер. 2. («Туман, туман... Пастух поет устало...») 154 / 588
«Ведь только тюльпана упал цветок...» (Ночи <2>) 114 / 582
Веселые кони 243 / 606
Вечер у Анненского. Отрывок 339 / 607
Вологодский ангел. Поэма. («Царь Христос, побудь с нами, Царь Христос, ты нам помоги...») 181 / 591

- Вологодский ангел. Рассказ 270 / 607
 Воробьевы горы. – см.: «Звенит гармоника. Летят качели...»
 «Вот все, что помню, мосты и камни...» 125 / 583
 «Вот жизнь – пелена снеговая...» 126 / 583
 «Вот, под окном идут солдаты...» (Последняя любовь) 128 / 583
 «Вот так всегда – скучаю и смотрю...» 109 / 580
 «Все, все перемешай...». (Осень). Алексис Раннит 478 / 619
 «Все понимаю, все – одно сиянье...» (В. Ф. <2>) 159 / 589
 Вспоминая акмеизм («После того, как были ясными...») 232 / 604
 «Всю ночь слова перебираю...» 78 / 565
 «Вы знаете, это измена...» (12 марта 1801 г.) 163 / 589
 «Выходи, царица, из шатра...» 122 / 583
 «Вышел я на гору высокую...» 132 / 584
- «Где ты теперь? За утесами плещет море...» 94 / 573
 «Голодный, загнанный, в отрепьях нищеты...». (Раб). Жозе
Мариа де Эредиа 451 / 616
 Голос. – см.: «Тихим, темным, бесконечно-звездным...»
 «Граф фон дер Пален! Руки на плечах...» 201 / 6597
 «Гуляй по безбрежной пустыне...» 156 / 588
- «Да, да... я презираю нервы...» 73 / 563
 «Девятый век у северской земли...» 173 / 590
 «Дон-Жуан, патрон и покровитель...». – см.: «На Монмартре,
 в сумерки, в отеле...»
- «Едва расслышу я два-три последних слова...» 165 / 589
 «Единственное, что люблю я – сон...» 217 / 598
 «Если дни мои милостью Бога...» 198 / 595
 «Есть на свете тяжелые грешники...» (Лубок) 215 / 598
 «Есть, несомненно, странные слова...» 99 / 576
 «Еще и жаворонков хор...» 145 / 587
 «Еще переменится все в этой жизни, – о да!...» 197 / 595
 «Еще, еще минуточку...» 166 / 590
 «Еще, еще немного краски синей...» 162 / 589
- «Железный мост откинут...» 208 / 598
 Жизель. Рассказ 331 / 607
 «Жизнь! Что мне надо от тебя, – не знаю...» 164 / 589
 «Жил когда-то в Петербурге...» 212 / 598
- «За все, за все спасибо. За войну...» 75 / 563
 «За все, что в нашем горестном быту...» 193 / 594
 «За все, что ты помнил когда-то...». – см.: «За слово, что помнил
 когда-то...»
 «За миллионы долгих лет...» 142 / 586
 «За слово, что помнил когда-то...» 67 / 561
 «За стенами летят, режут моторы...» 161 / 589
 Забытая («Ах, весна, ах, прекрасное лето...») 167 / 590
 «Заходит наше солнце... Где века...» 180 / 591

- «Звенели, пели. Грязное сукно...» 133 / 585
«Звенит гармоника. Летят качели...» 134 / 585
Зигфрид («Я не знаю, я все забыл...») 121 / 583
- «И жизнь свою, и ветры рая...» 127 / 583
Игла на ковре 363 / 611
«Из голубого океана...» 103 / 577
«Им счастье даже не снится...» 168 / 590
- «Как дымный парус, жизнь моя...» 170 / 590
«Как легкие барашки-облака...» 230 / 603
«Как ни скрывай, как ни обманывай...» 226 / 602
«Как трудно вечером дышать...» (Ночи <1>) 114 / 582
«Как холодно в поле, как голо...» 97 / 574
«Качается фонарь. Белеет книга...» 157 / 588
«Когда, Забыв родной очаг и города...» 178 / 591
«Когда в предсмертной нежности слабея...» 139 / 586
«Когда мы в Россию вернемся...» 76 / 564
«Когда Россия, улыбаясь...» 207 / 598
«Когда с улыбкой собеседник...» (Элегия. 2.) 124 / 583
«Когда успокоится город...» 79 / 566
«Крушение русской державы...» 231 / 604
«Куртку потертую с беличьим мехом...» 196 / 595
«Кутырина просит...» – «Послать ее к черту...» 222 / 599
- «Летит паровоз, клубится дым...» 192 / 594
Летом («Опять брожу. Поля и травы...») 120 / 582
«Летят и дни, и тревоги...» 130 / 583
Литания («Разлука – пролетает желтая птица...»). Алексис
Ранит 477 / 619
Литературная мастерская 314 / 608
«Ложится на рассвете легкий снег...» 194 / 594
Лубок («Есть на свете тяжелые грешники...») 215 / 598
- Мадригал Ирине Одоевцевой («Ночами молодость мне помнит-ся...») 240 / 605
Мария-Антуанетта. Петроградский рассказ 277 / 607
«Милый, дальний друг, простите...» (В старинный альбом)
233 / 604
«Мне путешествия скучны. Я был в Мадриде...». Жан Кокто
457 / 617
«Мы все томимся и скучаем...» (Оставленная) 206 / 598
«Мы так устали от слов и дела...» 129 / 583
- «На Монмартре, в сумерки, в отеле...» 199 / 596
«На окраине райской рощи...» 146 / 587
На чужую тему («Так бывает: ни сна, ни забвения...») 238 / 605
«Навеки блаженство нам Бог обещает...» 190 / 594
«Нам Tristia – давно родное слово...» 102 / 577
«Нам в юности докучно постоянство...» 77 / 591

- «Нам суждено бездомничать и лгать...» 221 / 599
 «Наперекор бессмысленным законам...» 82 / 567
 «Наследник юный мой, далекое виденье!...». *Наполеон I* 459 / 617
 Начало повести 355 / 609
 «Не в книге прочесть и не в песнях узнать...» 176 / 591
 Незнакомец. *Альбер Камю* 480 / 619
 «Не знал и не верил в Бога...» 116 / 582
 «Невыносимы становятся сумерки...» 202 / 597
 «Нет, в юности не все ты разгадал...» 234 / 604
 «Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица». *Жан Кокто*
 458 / 617
 «Нет, ты не говори: поэзия – мечта...» 96 / 574
 «Ни музыки, ни мысли... ничего...» 105 / 578
 «Ни с кем не говори. Не пей вина...» 61 / 559
 «Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды...» 84 / 567
 «Ничего не забываю...» 100 / 576
 «Но правда, жить и помнить скучно...» 131 / 584
 «Но смерть была смертью. А ночь над холмом...» 89 / 570
 «Ночами молодость мне помнится...» (Мадригал Ирине
 Одоевцевой) 240 / 605
 Ночи <1> («Как трудно вечером дышать...») 114 / 582
 Ночи <2> («Ведь только тюльпана упал цветок...») 114 / 582
 «Ночь... в первый раз сказал же кто-то – ночь...» 234 / 604
 «Ночь... и к чему говорить о любви?...» 85 / 568
 «Ночью он плакал. О чем, все равно...» 87 / 568
 «Ну, вот и кончено теперь. Конец...» 74 / 563
- «О, если где-нибудь, в струящемся эфире...» 68 / 561
 «О, если правда, что в ночи...» 66 / 561
 «О, жизнь моя! Не надо суеты...» 138 / 586
 «О мертвом царевиче Дмитриии...» 137 / 586
 «О, не ищи игры в напеве...». *Алексис Раннит* 479 / 616
 «О, сердце, не бейся, не ной...» (В. Ф.) 159 / 589
 «О, сердце разрывается на части...» 219 / 599
 «О том, что смерти нет, и что разлуки нет...» 211 / 598
 «О чем жалеть душе моей? Она...» 216 / 598
 Огнепоклонники. Поэма. *Томас Мур* 395 / 616
 «Один сказал: “Нам этой жизни мало”...» 88 / 569
 «Окно, рассвет... Едва видны, как тени...» 234 / 604
 Окоченевший мальчик 337 / 607
 «Он говорил: “Я не люблю природы...”» 101 / 577
 «Он еле слышно пальцем постучал...» 200 / 597
 «Он милостыни просит у тебя...» 83 / 567
 «Опять брожу. Поля и травы...» (Летом) 120 / 582
 «Опять гитара. Иль не суждено...» 144 / 586
 «Опять, опять, лишь реки дождевые...» 123 / 583
 «Осенним вечером в гостинце вдвоем...» 92 / 571
 Осень («Все, все перемешай...»). *Алексис Раннит* 478 / 619
 Оставленная («Мы все томимся и скучаем...») 206 / 598
 «Остров был дальше, чем нам показалось...» 228 / 603

Отступление из Польши («Там страшный вождь, коварный и жестокий...»). – см.: «Там вождь непобедимый и жестокий...»

«Падают снег, звенят телефоны...» (Вагнер. 1.) 143 / 586
Падаль («Припомните предмет, что видеть, дорогая...»). Шарль Бодлер 455 / 617

Памяти М.Ц. («Поговорить бы хоть теперь, Марина!...») 239 / 605

«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно...» 90 / 570

Песня («Ах, весна, ах прекрасное лето...») 167 / 590

«Печально-желтая луна. Рассвет...» 149 / 587

По Марсову полю («Сияла ночь. Не будем вспоминать...») 158 / 588

«По темно-голубому небу мчались...» 140 / 586

«По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...» 65 / 560

«По утрам свободный и верный...» (Анне Ахматовой) 203 / 597

«Поговорить бы хоть теперь, Марина!...» (Памяти М. Ц.) 239 / 605

«Под ветками сирени сгнившей...» 91 / 570

«Под глухой подавленный гул...» 117 / 582

«“Понять-простить”. Есть недоступность чуда...» 235 / 604

«Пора печали, юность – вечный бред...» 95 / 573

«“Пора смириться, сэр”. Чем дольше мы живем...» 237 / 605

Посвящение. – см.: «Ложится на рассвете легкий снег...»

«– Поскучай дружок, поскучай...» 171 / 590

«После того, как были ясными...» (Вспоминая акмеизм) 232 / 604

Последняя любовь («Вот, под окном идут солдаты...») 128 / 583

«Приглядываясь осторожно...» 104 / 578

Призрак: Быль («Эй, матушка! Где переехать выгон?...»). Джозеф Коттл 452 / 617

«Припомните предмет, что видеть, дорогая...». (Падаль). Шарль Бодлер 455 / 617

«Проспектов озаренных фонари...» (Белые ночи) 209 / 598

«Проходил под лесами. Кирпич...» 175 / 591

«Проходит жизнь. И тишина пройдет...» 155 / 588

Раб («Голодный, загнанный, в отрешках нищеты...»). Жозе Мариа де Эредиа 451 / 616

Равнодушная дама. Повесть 293 / 607

«Разлука – пролетает желтая птица...». (Литания). Алексис Раннит 477 / 619

Рамон Ортис 343 / 608

«Рассвет. Еще глоток вина...» 218 / 598

«Рассвет и дождь. В саду густой туман...» 191 / 594

Робин Гуд и нищий 385 / 615

Росмерсгольм («Темнеют окна. Уголь почернел...») 152 / 588

«Светало. Сиделка вздохнула. Потом...» 72 / 563

Свет на лестнице. Рассказ 252 / 606

- «Сегодня был обед у Бахраха...» 227 / 602
 «Сердце мое пополам разрывается...» 210 / 598
 «Сияла ночь. Не будем вспоминать...» (По Марсову полю) 158 / 588
 «Скоро день. И как упрямо...» 110 / 580
 «Слушай – и в смутных догадках не лги...» 69 / 561
 «Со всею искренностью говорю...» 220 / 599
 «Социализм – последняя мечта...» 231 / 604
 «Стихам своим я знаю цену...» 59 / 556
 Стихи в альбом («Я верности тебе не обещаю...») 225 / 602
 «Стоцветными крутыми кораблями...» 119 / 582
 «Сухую позолоту клена...» 118 / 582
 «Так беспощаден вечный договор...» 113 / 582
 «Так бывает: ни сна, ни забвения...» (На чужую тему) 238 / 605
 «Так тихо поезд подошел...» 112 / 581
 «Там вождь непобедимый и жестокий...» 150 / 587
 «Там солнца не будет... Мерцанье...» 236 / 605
 «Там, где-нибудь, когда-нибудь...» 98 / 575
 «Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...» 71 / 562
 «Темнеют окна. Уголь почернел...» (Росмерсгольм) 152 / 588
 «Тихим, темным, бесконечно-звездным...» 60 / 559
 «Тихо, мирно мы теперь живем...» 172 / 590
 «Тогда от Балтийского моря...» 135 / 586
 «Тридцатые годы. И тени в Версале...» 148 / 587
 «Туман, туман... Пастух поет устало...» (Вагнер. 2.) 154 / 588
 «Ты здесь, опять... Неверная, что надо...» 62 / 559
 «Тяжкий гул принесли издалека...» 204 / 598
 «Тянет сыростью от островов...» 93 / 573
 «У дремлющей парки в руках...» 189 / 594
 «Устали мы. И я хочу покоя...» 179 / 591
 «Холодно. Низкие кручи...» 153 / 588
 «Четвертый раз над этой жизнью...» (В. Ф. <3>) 160 / 589
 «Чрез миллионы лет – о, хоть в эфирных волнах...» 195 / 595
 «Что за жизнь! Никчемные затеи...» 235 / 604
 «Что там было? Ширь закатов блеклых...» 77 / 565
 «Эй, матушка! Где переехать выгон?...» (Призрак: Быль). *Джозеф Коттл* 452 / 617
 Элегия. 1 («Бегут, как волны, быстрые года...») 124 / 583
 Элегия. 2 («Когда с улыбкой собеседник...») 124 / 583
 «Я верности тебе не обещаю...» (Стихи в альбом) 225 / 602
 «Я думал: вся земля до края...» 174 / 591
 «Я не знаю, я все забыл...» (Зигфрид) 121 / 583
 «Я не тебя любил, но солнце, свет...» 80 / 566
 «Я тот, кто спрашивал когда-то...». *Райнер Мария Рильке* 460 / 618

Содержание

текст / прим.

От составителя.....	5
<i>Олег Коростелев. «Без красок и почти без слов»</i> (поэзия Георгия Адамовича).....	12

СТИХИ

«Единство» (1967)	59 / 556
«Стихам своим я знаю цену...»	59 / 558
«Тихим, темным, бесконечно-звездным...»	60 / 559
«Ни с кем не говори. Не пей вина...»	61 / 559
«Ты здесь, опять... Неверная, что надо?...»	62 / 559
«Без отдыха дни и недели...»	64 / 560
«По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...»	65 / 560
«О, если правда, что в ночи...»	66 / 561
«За слово, что помнил когда-то...»	67 / 561
«О, если где-нибудь, в струящемся эфире...»	68 / 561
«Слушай – и в смутных догадках не лги...»	69 / 561
«Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...»	70 / 562
«Твоих озер, Норвегия, твоих лесов...»	71 / 562
«Светало. Сиделка вздохнула. Потом...»	72 / 563
«Да, да... я презираю нервы...»	73 / 563
«Ну, вот и кончено теперь. Конец...»	74 / 563
«За все, за все спасибо. За войну...»	75 / 563
«Когда мы в Россию вернемся... О, Гамлет восточный, когда?...»	76 / 564
«Что там было? Ширь закатов блеклых...»	77 / 565
«Всю ночь слова перебираю...»	78 / 565
«Когда успокоится город...»	79 / 566
«Я не тебя любил, но солнце, свет...»	80 / 566
«Наперекор бессмысленным законам...»	82 / 567
«Он милостыни просит у тебя...»	83 / 567
«Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды...»	84 / 567
«Ночь... и к чему говорить о любви?...»	85 / 568
«В последний раз... Не может быть сомнения...»	86 / 568
«Ночью он плакал. О чем, все равно...»	87 / 568
«Один сказал: «Нам этой жизни мало...»	88 / 569
«Но смерть была смертью. А ночь над холмом...»	89 / 570

«Патрон за стойкою глядит привычно, сонно...»	90 / 570
«Под ветками сирени сгнившей...»	91 / 570
«Осенним вечером, в гостинице, вдвоем...»	92 / 571
«Тянет сыростью от островов...»	93 / 573
«Где ты теперь? За утесами плещет море...»	94 / 573
«Пора печали, юность – вечный бред...»	95 / 573
«Нет, ты не говори: поэзия – мечта...»	96 / 574
«Как холодно в поле, как голо...»	97 / 574
«Там, где-нибудь, когда-нибудь...»	98 / 575
«Есть, несомненно, странные слова...»	99 / 576
«Ничего не забываю...»	100 / 576
«Он говорил: «Я не люблю природы...»	101 / 577
«Нам Tristia – давно родное слово...»	102 / 577
«Из голубого океана...»	103 / 577
«Приглядываясь осторожно...»	104 / 578
«Ни музыки, ни мысли... ничего...»	105 / 578

ДОПОЛНЕНИЯ

«Облака» (1916)	109 / 578
«Вот так всегда, – скучаю и смотрю...»	109 / 580
«Скоро день. И как упрямо...»	110 / 580
«В зоологических садах орлы...»	111 / 581
«Так тихо поезд подошел...»	112 / 581
«Так беспощаден вечный договор!..»	113 / 582
Ночи	114 / 582
I «Как трудно вечером дышать...»	114 / 582
II «Ведь только тюльпана упал цветок...»	115 / 582
«Не знал и не верил в Бога...»	116 / 582
«Под глухой, подавленный гул...»	117 / 582
«Сухую позолоту клена...»	118 / 582
«Стоцветными крутыми кораблями...»	119 / 582
Летом («Опять брожу. Поля и травы...»)	120 / 582
Зигфрид («Я не знаю, я все забыл...»)	121 / 583
«Выходи, царица, из шатра...»	122 / 583
«Опять, опять лишь реки дождевые...»	123 / 583
Элегии	124 / 583
I «Бегут, как волны, быстрые года...»	124 / 583
II «Когда с улыбкой собеседник...»	124 / 583
«Вот все, что помню: мосты и камни...»	125 / 583
«Вот жизнь, – пелена снеговая...»	126 / 583
«И жизнь свою, и ветры рая...»	127 / 583
Последняя любовь («Вот, под окном идут солдаты...»)	128 / 583
«Мы так устали от слов и дела...»	129 / 583
«Летят и дни, и тревоги...»	130 / 583
«Но, правда, жить и помнить скучно!..»	131 / 584
«Вышел я на гору высокую...»	132 / 584

«Звенели, пели. Грязное сукно...»	133 / 585
Воробьевы горы («Звенит гармоника. Летят качели...»)	134 / 585
«Тогда от Балтийского моря...»	135 / 586
«О мертвом царевиче Дмитрие...»	137 / 586
«О, жизнь моя! Не надо суеты...»	138 / 586
«Когда, в предсмертной нежности слабея...»	139 / 586
«По темно-голубому небу мчались...»	140 / 586
«За миллионы долгих лет...»	142 / 586
Вагнер. I. («Падает снег, звенят телефоны...»)	143 / 586
«Опять гитара. Иль не суждено...»	144 / 586
«Еще и жаворонков хор...»	145 / 587
«На окраине райской рощи...»	146 / 587
«Тридцатые годы, и тени в Версали...»	148 / 587
«Печально-желтая луна. Рассвет...»	149 / 587
«Там вождь непобедимый и жестокий...»	150 / 587
Росмерсгольм («Темнеют окна. Уголь почернел...»)	152 / 588
«Холодно. Низкие кручи...»	153 / 588
Вагнер. II. («Туман, туман... Пастух поет устало...»)	154 / 588
«Проходит жизнь. И тишина пройдет...»	155 / 588
«Гуляй по безбрежной пустыне...»	156 / 588
«Качается фонарь. Белеет книга...»	157 / 588
По Марсову полю («Сияла ночь. Не будем вспоми- нать...»)	158 / 588
В.Ф.	159 / 589
I «О, сердце, не бейся, не пой...»	159 / 589
II «Все понимаю, все – одно сиянье...»	159 / 589
III «Четвертый раз над этой жизнью...»	160 / 589
«За стенами летят, ревут моторы...»	161 / 589
«Еще, еще немного краски синей...»	162 / 589
1801 («– Вы знаете, – это измена!...»)	163 / 589
«Жизнь! Что мне надо от тебя, – не знаю...»	164 / 589
«Едва расслышу я два-три последних слова...»	165 / 589
«Еще, еще минуточку...»	166 / 590
Песня («Ах, весна, ах прекрасное лето...»)	167 / 590
«Им счастье даже не снится...»	168 / 590
Болезнь («В столовой бьют часы. И пахнет камфарой...»)	169 / 590
«Как дымный парус, жизнь моя...»	170 / 590
«– Поскучай, дружок, поскучай...»	171 / 590
«Тихо, мирно, мы теперь живем...»	172 / 590
«Девятый век у северской земли...»	173 / 590
«Я думал: вся земля до края...»	174 / 591
«Проходил под лесами. Кирпич...»	175 / 591
«Не в книге прочтешь и не в песнях узнать...»	176 / 591
«Нам в юности докучно постоянство...»	177 / 591
«Когда, забыв родной очаг и города...»	178 / 591
«Устали мы. И я хочу покоя...»	179 / 591
«Заходит наше солнце... Где века...»	180 / 591
Вологодский ангел.....	181 / 591

Из сборника «На Западе» (1939).....	189 / 592
«У дремлющей парки в руках...».....	189 / 594
«Навеки блаженство нам Бог обещает!..».....	190 / 594
«Рассвет и дождь. В саду густой туман...».....	191 / 594
«Летит паровоз, клубится дым...».....	192 / 594
«За все, что в нашем горестном быту...».....	193 / 594
«Ложится на рассвете легкий снег...».....	194 / 594
«Через миллионы лет – о, хоть в эфирных волнах!..».....	195 / 595
«Куртку потертую с беличьим мехом...».....	196 / 595
«Еще переменится все в этой жизни, – о, да!..».....	197 / 595
«Если дни мои милостью Бога...».....	198 / 595
«На Монмартре, в сумерки, в отеле...».....	199 / 596
«Он еле слышно пальцем постучал...».....	200 / 597
«Граф фон-дер Пален! – Руки на плечах...».....	201 / 597
«Невыносимы становятся сумерки...».....	202 / 597

Стихотворения, не включавшиеся в сборники .203 / 597

Анне Ахматовой («По утрам свободный и верный...»).....	203 / 597
Балтийский ветер.....	204 / 597
I «Был светлый и холодный день...».....	204 / 597
II «Тяжкий гул принесли издалика...».....	204 / 598
Оставленная («Мы все томимся и скучаем...»).....	206 / 598
«Когда Россия, улыбаясь...».....	207 / 598
«Железный мост откинут...».....	208 / 598
Белье ночи («Проспектов озаренных фонари...»).....	209 / 598
«Сердце мое пополам разрывается...».....	210 / 598
«О том, что смерти нет, и что разлуки нет...».....	211 / 598
«Жил когда-то в Петербурге...».....	212 / 598
Лубок («Есть на свете тяжелые грешники...»).....	215 / 598
«О чем жалеть душе моей? Она...».....	216 / 598
«Единственное, что люблю я – сон...».....	217 / 598
«Рассвет. Еще глоток вина...».....	218 / 598
«О, сердце разрывается на части...».....	219 / 599
«Со всею искренностью говорю...».....	220 / 599
«Нам суждено бездомничать и лгать...».....	221 / 599
«Кутырина просит...» – «Послать ее к черту...».....	222 / 599
Стихи в альбом («Я верности тебе не обещаю...»).....	225 / 602
«Как ни скрывай, как ни обманывай...».....	226 / 602
«Сегодня был обед у Бахраха...».....	227 / 602
«Остров был дальше, чем нам показалось...».....	228 / 603
«Был вечер на пятой неделе...».....	229 / 603
«Как легкие барашки-облака...».....	230 / 603
Из забытой тетради.....	231 / 604
I «Социализм – последняя мечта...».....	231 / 604
II «Крушение русской державы...».....	231 / 604

Вспоминая акмеизм («После того, как были ясными...») ...	232 / 604
В старинный альбом («Милый, дальний друг, прости...»)	233 / 604
Пять восьмистиший	234 / 604
1 «Ночь... в первый раз сказал же кто-то – ночь!»	234 / 604
2 «Нет, в юности не все ты разгадал...»	234 / 604
3 «Окно, рассвет... Едва видны, как тени...»	234 / 604
4 «Что за жизнь! Никчемные затеи...»	235 / 604
5 «“Понять-простить”. Есть недоступность чуда...»	235 / 604
«Там солнца не будет... Мерцанье...»	236 / 605
«“Пора смириться, сэр”. Чем дольше мы живем...»	237 / 605
На чужую тему («Так бывает: ни сна, ни забвения...»)	238 / 605
Памяти М. Ц. («Поговорить бы хоть теперь, Марина!..»)	239 / 605
Мадригал Ирине Одоевцевой («Ночами молодость мне помнится...»)	240 / 605

ПРОЗА

Веселые кони	243 / 606
Свет на лестнице. Рассказ	252 / 606
11 марта: Петроградский рассказ	261 / 606
Вологодский ангел. Рассказ	270 / 607
Мария-Антуанетта. Петроградский рассказ	277 / 607
Равнодушная дама. Повесть	293 / 607
Жизель. Рассказ	331 / 607
Окоченевший мальчик	337 / 607
Вечер у Анненского. Отрывок	339 / 607
Литературная мастерская	341 / 608
Рамон Оргис	343 / 608
Начало повести. Из забытой тетради	355 / 609
Игла на ковре	363 / 611

ПЕРЕВОДЫ

Робин Гуд и нищий	385 / 615
<i>Томас Мур</i>	
Огнепоклонники: Поэма	395 / 616
<i>Жозе Мариа де Эредиа</i>	
Раб («Голодный, загнанный, в отрешках нищеты...»)	451 / 616
<i>Джозеф Коттл</i>	
Призрак: Быль («– Эй, матушка! Где переехать выгон?...»)	452 / 617
<i>Шарль Бодлер</i>	
Пададь («Припомните предмет, что видеть, дорогая...»)	455 / 617
<i>Жан Кокто</i>	
«Мне путешествия скучны, я был в Мадриде...»	457 / 617
«Нет ничего страшней, чем спящих женщин лица...»	458 / 617

<i>Наполеон I</i>	
«Наследник юный мой, далекое виденье!..»	459 / 617
<i>Райнер Мария Рильке</i>	
«Я тот, кто спрашивал когда-то...»	460 / 618
<i>Сен-Жон Перс</i>	
Анабазис	461 / 618
<i>Алексис Раннит</i>	
Литания («Разлука – пролетает желтая птица...»)	477 / 619
Осень («Все, все перемешай...»).....	478 / 619
«О, не ищи игры в напеве...»	479 / 619
<i>Альбер Камю</i>	
Незнакомец	480 / 619
<i>Примечания</i>	553
<i>Алфавитный указатель произведений</i>	629
<i>Содержание</i>	635

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
Собрание сочинений в 18 томах
Том 1
Стихи. Проза. Переводы

Художественный редактор *Е. Березина*
Технический редактор *Е. Тихомирова*

Сдано в набор 27.05.2015 Подписано в печать 04.08 2015
Формат 84×108¹/₁₆. Бумага офсетная
Гарнитура «Petersburg» Уч.-изд л 34
Тираж 500 экз Заказ № 3647.

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филiaal «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт www.chpd.ru, E-mail. sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59

